

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (431)

2011

СОДЕРЖАНИЕ

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. В русском жанре–41 3

ПОЭЗИЯ

Виталий Лехциер. «Плитка гранитная, европакет...» *и др.* 8

Максим Бородин. «когда тебе в морду...» *и др.* 14

Алексей Порвин. «Ротой, по улице проходящей...» *и др.* 182

Феликс Чечик. «Всё просто и хитро...» *и др.* 185

Мария Ватутина. «Переславль Залесский» *и др.* 188

Владимир Алейников. Квинтет 202

ОПЫТ ПРОПАДАНИЙ И ВОЗНИКНОВЕНИЙ

Валерий Володин. Повесть вре́менных лет. *Жизнь четвертая* 17

ПРОЗА

Нина Горланова. Зеленая клякса. *Рассказ* 193

Александр Мирро. Монстр. *Рассказ* 198

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей Боровиков. Триумфы Евг. Попова 208

Алексей Александров. Эта волшебная литературная жизнь 210

Алексей Колобродов. Непобеждённый на стройке 211

Анна Сафронова. Опять про «Двадцать два» 213

Сергей Трунев. Кушать подано! 216

Алексей Александров. Самарский неформат 219

Виктор Селезнев. «...но я поэзию не представляю без такого, как он короля!» 220

Леонид Фишман. Ньютон для нас 223

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. О больных, великих и жестоких..... 226

© «Волга», 2011

Сергей БОРОВИКОВ

В русском жанре–41

***

«Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы». Пушкин. Пиковая дама.

А напиши он, как все писали и пишут: «коротко остриженной», где бы это невероятное, прямо-таки на ощупь, впечатление?

***

«Натуральная» смерть у Некрасова мне ближе, понятнее, необходимее всех романтических поэтических смертей: «В полдневный жар в долине Дагестана...»

«Птичка Божья на гроб опускалася // И, чирикнув, летела в кусты». А «О погоде»?

Пушкин-то, который все про все знал, романтизм смерти переадресовал глупому Ленскому...

***

Великие творцы были аристократами духа и не зависели от «общественного» мнения, не тщились демонстрировать презрение к власти по любому поводу. Так, Валентин Серов, бывший вне политики, взялся писать портрет Николая II – интересно, денежно. А Аркадий Аверченко, политически ничтожный, но либерал, в ответ на чисто человеческое приглашение того же царя посетить его в Зимнем и почитать рассказы, ответил громким отказом, о котором с его подачи раззвонила вся «прогрессивная» пресса. Только где Серов и кто Аверченко.

***

Методы достижения всемирной славы и репутации до Солженицына обкатал М. Горький. Личное бесстрашие, вера в собственное мессианство, публичный – обязательно публичный! – вызов власти, карнавальность, которую Бунин столь едко подметил в поведении, костюме, манерах Горького, и продолжил Войнович – его Сим Симыч и фамилию-то носит Карнавалов. Да и обыденные пиджачки у него, как и у Горького, не в чести. Непрестанная – устная, печатная борьба. С «contra» всегда проще – отмена крепостного ли права, свобода печати, восхваление коллективного труда, повторение как заклинания слова «земство». С «pro» всегда случалась закавыка. Что мог предложить в качестве позитива ДАЖЕ Герцен – крестьянскую общину!

Замечу, что многажды осмеянный в роли моралиста-поучителя автор «Выбранных мест» и поучает как-то застенчиво, словно даже стыдясь за докуку – уж, извини брат, сказалось словечко по поводу, не хочешь не слушай... Да и сами советы не советы. Скорее маниловские мечты. Горький же и Солженицын за грудки хватают: делай, как велено!

«Почти невозможно представить себе этого художника с его огромным дарованием – без жезла, без посоха учительского, иногда просто без дубинки... И не в том худое, что учит миру и любви, – учить надо, а в том, что невнимательных и несогласных бьет тяжелой книжкой по голове» (И.Чегодаев о Горьком, Русская Воля, 1916, 24 дек.).

***

Москва была 1-й ступенью ссылки, что сейчас кажется невероятным. Казалось бы, какой смысл ссылать провинившегося из Петербурга в старую столицу, остающуюся культурным и умственным центром? Получается, что единственный – удалить от центра власти, от близости власти, и только это.

***

У Катаева в романе «За власть Советов», который затем был назван «Катакомбы», в 1941 году у «довольно известного юриста» Бачея дома не только домработница и газовая плита, но «в кухне пощелкивает машинка холодильного шкафа». Домашний холодильник тогда был сенсацией, и был в Москве у одного человека – писателя Валентина Катаева.

Как расчетливо, чтобы не писать напрасно или опасно, он выстраивал свою тетралогию. «Белеет парус одинокий» – 1936 – чего тогда о 905 годе не написать. 2-й книгою станет по времени написания последняя по хронологии – «За власть Советов» – 1948, вынужденно переделанная к 1951 (все равно не уберегся, хотя писал о недавнем героическом прошлом). Вторая по времени публикации – третья по хронологии действия «Хуторок в степи» о смутном, но все же идейно ясным «позорном десятилетии» появилась в 1956 году, когда только-только что-то развиднелось, а уж о совсем опасном времени сразу после 1917 с белыми-красными, т.е. по хронологии 3-й роман «Зимний ветер» печатался последним в 1961.

***

«Потом Ванечка дал кому-то по морде кистью вялого винограда». В. Катаев. «Растратчики», 1926. «У тебя нет гарантии, что ты не получишь в «Колизее» виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека». М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».

Что это – Булгаков позаимствовал у Катаева, или мода тогда такая была кабацкая – бить по морде кистью винограда?

***

У Василия Гроссмана («Жизнь и судьба») персонаж, воспоминая гражданскую, с удивлением отмечает, что самой лихой музыкой для атаки «хоть на Варшаву, хоть на Берлин с голыми руками пойду...» была «По улице ходила большая крокодила».

Ни герой, ни Гроссман просто не знали, что мелодия пресловутой «Крокодилы» это марш «Дни нашей жизни» знаменитого военного капельмейстера, автора многих маршей, Чернецкого.

***

«№ 36 ЗАПИСКА Г.К. ЖУКОВА И А.С. ЖЕЛТОВА В ЦК КПСС О ЖАЛОБАХ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ-ОТСТАВНИКОВ НА ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПЕЧАТИ

31 июля 1956 г.

Считаем необходимым доложить Центральному Комитету, что за последнее время в центральной и местной печати стали часто появляться статьи, фельетоны и рассказы, в которых в крайне неприглядном, отталкивающем виде изображаются офицеры Советской Армии, находящиеся в отставке и запасе.

Характерно, что упор при этом делается не столько на сами факты недостойного их поведения как советских граждан, сколько на их принадлежность к офицерскому корпусу, на то, что они получают большие пенсии, живут якобы в роскоши, пьянствуют и т. п.

В саратовской областной газете «Коммунист» (рассказы Г. Боровикова) и в газете «Сталинградская правда» (фельетон в номере за 6 апреля 1955 г.) были опубликованы материалы, в которых офицеры в отставке изображаются опустившимися, никчемными людьми, носителями чуждых нам пережитков прошлого».

***

Из писем в редакцию «Волги».

«*Григорию Коновалову*

Ставлю в известность.

Одну пытались обесчестить, повредили поверхность плевы, незрелый организм 8 лет девочки понёс перелом не вынося преждевременности – верхнего отдела позвоночника, нарушение и искривления грудной клетки, сутулость плеч.

Дико.

Я хочу вот чего – надо в СССР делать медосмотр в год раз постоянно с 6 до 16 лет (организмы разные) лиц женских конечно с поврежденными плевами надо выявлять и изучать... Может это принесёт пользу людям, науке.

Если в этом есть толк, то умоляю как за своё кровное – похлопочите об этом. Читала Ваши «Истоки». Желаю Вам и в детях, и внуках своих родить Гения, великого человека яркий талант.

Святые подземные
Могилы духи мощи
Одарят гением.
Спасибо
Ваша читатель».

***

Как-то он, вернувшись из Москвы с пленума СП, на котором говорил хитрую речь о молодых, которых строки не прочитал, и где запил, то с вокзала, боясь идти домой, с чемоданом завернул в «Волгу». Бегал по кабинетам и добрался до нас – меня и вмиг при виде его побледневшей Ольги Г. Тряся мокрыми корявыми усами, надолго прикрывая страшные глаза забрякшими веками, без конца брал у Г. из пачки американские сигареты (над которыми мы тряслись и лакомились) и вел провокационный разговор: как сподобился быть и даже ночевать у Леонова, как тот перед беседою накинул на телефон ватник и говорил о том, что «Николашка-то, Николашка, садить-то никого не велел, Григорий Иваныч! Александр-то, Александр Первый Иванову-то, живописцу 30 тыщ дал в Рим ехать...» и так очень долго с точными датами (память у него чудовищная, и тем более все это жутко, хотя его и давно знаю, эти точные знания, слова и определения в сочетании с грубым пьяным лицом и нарочито простецким говором), о том, как Микеланджело в каком-то храме при осмотре Папой его работы уронил сверху бревно, которое Папу по башке, и как Да Винчи тоже папу или кардинала мазнул ненароком по морде кистью, а тот лишь утерся, а сейчас всякий неграмотный деятель лезет всюду, хамит.

Потом спросив у «Ольги» разрешения спеть, что та с ненатурально заинтересованным лицом разрешила, свесил голову и без голоса, но хорошо, как умеют петь лишь в народе, запел песню про возвращающихся с боя казаков. Пел долго, вздыхая.

Во время всего этого представления раз десять спросил меня со смирением, донесу ли я «дяде Грише» до дому чемоданчик. И когда уже он стал затягивать пребывание, я напомнил. Он униженно сказал, что как только я велю, так он и пойдет. Вышли.

Он двинулся в горку пешком. «Да на троллейбусе поедем», – говорю я. Он себя хлопнул по карману: «А деньги у тебя есть, Сергей?»

Поехали.

В троллейбусе он говорил о молодых. А, вспомнил! Он еще не сказал речь на пленуме, а лишь ездил утверждать ее и во время разговора в редакции несколько раз сказал, как вызвали его в ЦК и упрашивали, а он отказывался: «Я не могу – Виль обидится, он у нас молодыми ведает». Говорил о том, что молодые – гении, что ни Толстому, ни Достоевскому не удалось написать мать так, как они.

В троллейбусе, на выходе, униженно-умильно пропускал всех вперед себя.

Были лужи (кажется, ноябрь). И тут я скажу то, меня поразившее, чего ради, собственно, я и вспомнил этот случай.

Он был пьян. Я трезв. Он стар. Я молод. Он без умолку говорил. Я молчал. Он не смотрел под ноги. Я только туда и смотрел. Но я вдруг увидел, что ноги его сами по себе ступают на редкие сухие места, и брюки и ботинки его совершенно чисты, а у меня заляпаны грязью.

Вот тут мне стало страшно. Есть в нем что-то дьявольское. И понял я его успех. Пьяный, много делающий дурного – он всегда ухитряется ступать по-сухому.

А говорил он так: «Молодые-то, Серёга, всех зачеркнули – о войне как пишут! Симонова – на х..! Бубеннова – на х..!» И еще кого-то туда же – на всю улицу. «Чье влияние, спросишь, чувствуется? В первую очередь: Достоевский. Досто-е-вский! И Бунин. Ну, Бунин, Сергей, Бунин-то, а?»

У самого дома лицо его стало совсем уже страшным, и он зашептал о том, как Василий Белов зазвал его в Вологде к себе и сказал: «Мы не должны выступать, мы должны только писать, и не открывать себя врагу. Они ведут с нами истребительную войну».

***

В «Поднятой целине» герои не пьют. Совсем. Только белобандиты Половцев и Лятьевский.

***

«Чкалов – это был богатырь! В ЦДРИ, помню, были Ставский, я и Чкалов, еще кто-то. Валерий заказал 12 бутылок коньяка, выпили и поехали летать. У меня был очень бледный вид» (Шолохов в дневнике В. Чивилихина).

***

У Чехова дьякон говорит, что от водки бас гуще. Слыша великолепные, не только «поставленные» по-старому, по-театральному, но еще и особо звучные, мужские голоса старых мхатовцев Ливанова, Грибова, Массальского, я не могу не слышать, как в тембрах их отзываются многолетние «вредные привычки». Без них эти великолепные голоса были бы невозможны.

***

В именах и фамилиях двух великих актёров моего времени, тёзок, родившихся в один год с разницей в один месяц, ЕвгЕния ЕвстигнЕЕва и ЕвгЕния ЛЕонова, отчего-то заметно преобладает буква Е.

***

Из мемуаров академика-кораблестроителя Алексея Николаевича Крылова:

«Невольно вспоминается образ жизни Андрея Михайловича, продолжавшийся неизменно около 50 лет до самой его смерти в 1895 г. Вставал он рано, часов в шесть, и начинал что-нибудь делать в мастерской, занимавшей две комнаты во втором этаже сеченовского дома. Каждые пять минут он прерывал работу и подходил к висящему на стене

шкапчику, в который для него ставился еще с вечера пузатый графин водки, маленькая рюмочка и блюдечко с мелкими черными сухариками; выпивал рюмочку, крякал и закусывал сухариком. К вечеру графин был пуст, Андрей Михайлович весел, выпивал за ужином еще три или четыре больших рюмки из общего графина и шел спать.

Порция, которая ему ставилась в шкапчик, составляла три ведра (36 литров) в месяц; этого режима он неуклонно придерживался с 1845 по 1895 г., когда он умер, имея от роду под 80 лет. <...>

Известно, что Иван Михайлович Сеченов по окончании курса Инженерного училища, прослужив недолго в саперах, вышел в отставку и поступил на медицинский факультет Московского университета. Здесь он сблизился и подружился с С.П. Боткиным. О чем была докторская диссертация Боткина, я не знаю, но диссертация Ивана Михайловича была на тему: «О влиянии алкоголя на температуру тела человека». Не знаю, служил ли ему его родной братец объектом наблюдений, но только через много лет, в конце 80-х годов, Иван Михайлович передавал такой рассказ С. П. Боткина:

– Вот, Иван Михайлович, был у меня сегодня интересный пациент, ваш земляк; записался заранее, принимаю, здоровается, садится в кресло и начинает сам повествовать:

– Надо вам сказать, профессор, что живу я давно почти безвыездно в деревне, чувствую себя пока здоровым и жизнь веду очень правильную, но все-таки, попав в Петербург, решил с вами посоветоваться. Скажем, летом встаю я в 4 часа и выпиваю стакан (чайный) водки; мне подают дрожки, я объезжаю поля. Приеду домой около 6 часов, выпью стакан водки и иду обходить усадьбу – скотный двор, конный двор и прочее. Вернусь домой часов в 8, выпью стакан водки, подзакушу и лягу отдохнуть. Встану часов в 11, выпью стакан водки, займусь до 12 со старостой, бурмистром. В 12 часов выпью стакан водки, пообедаю и после обеда прилягу отдохнуть. Встану в 3 часа, выпью стакан водки... и т. д.

– Позвольте вас спросить, давно ли вы ведете столь правильный образ жизни?

– Я вышел в отставку после взятия Варшавы (Паскевичем в 1831 г.) и поселился в имении, так вот с тех пор; а то, знаете, в полку, я в кавалерии служил, трудно было соблюдать правильный образ жизни, особенно тогда: только что кончили воевать с турками, как поляки забунтовали. Так, вот, профессор, скажите, какого мне режима придерживаться?

– Продолжайте вести ваш правильный образ жизни, он вам, видимо, на пользу».

Виталий ЛЕХЦИЕР

***

Плитка гранитная, европакет,
всем воевавшим дается бесплатно
мраморный монумент.

Автосалон закрывает кредит,
школа язык предлагает китайский,
кто мне мечтать запретит?

Дружно и весело: bon appetite!
кушайте ролы, доставка бесплатно,
встретимся? ладно.

Ляжем бок о бок, друг другу под бок,
изготовленье, покупка, продажа,
чмокни меня... чмок!

Фарфоровая свадьба в Праге

I.
Очередное колено
теперь копченое, с дикими травами, вымоченное в пиве
подается на вертеле
с небольшим гарниром
испытай железную головоломку
от палача
молодого парня из Новосибирска
разговорами ублажающего русских клиентов
повариха на площади
протягивает горячие картофельные драники
в быстрые руки туристов
улыбается вифлеемской улыбкой
поглядывает на исторические часы
на городской ратуше
в надежде на окончание рабочего дня
заранее припасенный бутерброд
как нельзя кстати в кафе «У Платона»,
в университете, бывший ректор которого
был поджарен как окорок

Виталий Лехциер родился в 1970 году в Ташаузе (Туркмения). Окончил филологический факультет Самарского госуниверситета, доктор философских наук. Публиковался в журналах «Волга», «Золотой векъ», «Воздух», в антологиях «Нестоличная литература», «Девять измерений» и др. Автор книг «Раздвижной дом» (1992), «Обратное плавание» (1995), «Книга просьб, жалоб и предложений» (2002), «Побочные действия» (2009). Лауреат фестиваля «Культурные герои XXI века» (1999).

за свои протестантские идеи
площадь is crowded
билет на рождественские гимны
в монастырскую библиотеку
за пятьсот корон
только ради аутентики

2.
читаем рукописи Кафки
мнем глиняную массу под каббалистический шепот
желаем успеха на всех фронтах
добру-молодцу Голему
черные лакированные ящички
речь инстанции в телефонной трубке
мутный ужас оборотня Грегора Замзы

3
мы не увидим черепичных крыш,
зато глинтвейн попробуем на рынке,
нам ехать долго, может ты поспишь?

«мы не увидим» – это из другой
не венской оперы, мы Вену отменили,
мы чешский изучаем день-деньской

летец, позор, вонявки, почитач,
пшешту станицу, Пражский град, подводник,
филармонический скрипач

из Украины, Чехии, Москвы,
гранат сакральный, карп средневековый,
отдельный меч для каждой головы

пешком, пешком, пешком, пешком, пешком
на Карлов мост, к дворцам, к универмагу,
мистическую изложите Прагу,
пока свиньи не давишься куском

Авгу́ст своих любовниц ублажал,
что взволновало так экскурсоводшу,
мне 40 лет, я двадцать лет мужал

мы двадцать лет, но только здесь одни,
неси пуховики, еще по пиву,
Ave Maria, Silent night, взгляни

какой фарфор, какой Франц Хальс, курфюрст
все замечает, всех желает сразу,
бесчетный женский бюст

мы двадцать лет, и вот сейчас часы
на главной ратуше показывают десять,
нам хорошо, останемся на месяц,
уединимся посреди тусы.

***

Cassiopeia на обоях
фосфоресцирует – симбол
обмороженья нас обоих.

Душа, ушедшая под плитку,
живет на плиточном растворе.

Прочти ей что-нибудь навскидку.

Хотя бы так: ТЦ напротив,
затем по линии трамвайной.

До девяти я на работе.

Потом до двух я буду пялить
свои глаза в квадратный ящик.

Прочти ей что-нибудь на память.

Хотя бы так: сервиз кофейный,
из Минска вывезенный летом,
как с фронта пистолет трофейный.

Нажми слегка на выключатель –
получишь ночь и планетарий.

Игрушку новую скачайте.

Я помню стол у Нарачанки,
Луку, орущего в селектор,
и Хайдеггера распечатки.

Взбодри ее холодным пивом,
замри, моргая, на Немиге,
пройдись до «Бровера» курсивом.

Я должен быть там ровно к часу,
поэтому уйду в двенадцать,
а ты не опоздай в сберкассу.

***

Барабанною дробью по стенке,
просыпаясь, себя обозначь –
не в оценке все дело, в оттенке,
глаз наметанный, тертый калач.

Но, сумняшеся, делает мину
тот, кто все отрицает внутри,
не держи карандаш, как дубину,
и душевные сопли утри.

***

От полной чепухи до «ой, как хорошо»,
от левого крыла до правого колена,
как от галета до Галена.

Раскачка, головняк, трусливая ленца,
ретивый женишок бежит из-под венца,
не сдерживай его, спасая подлеца.

Кругом одни огни, агония и гнет,
от шариков глазных до шариков воздушных,
как говорят, «улет!».

От взвеси кормовой до смеси паровой,
мой дед прошел ГУЛАГ, я жив его преданьем,
библиотекой мировой.

***

этим летом я съездил в Али́тус
на родину моих предков по материнской линии
здесь я почувствовал себя литовским евреем
в жизни которого есть синагога,
река Неман, окружающие ландшафты,
сто пять километров до Вильнюса и небольшой городской парк
а потом меня уводили в большом потоке
за город, в лес
где погибла семья моего деда
и где сейчас стоят
белые пирамиды-надмогильники
видимые издали, с той самой дороги,
по которой нас вели
огромный черный чугунный могендовид
изломанный символ моей судьбы
нависает в тишине и полном молчании
посреди высоких деревьев
в отличие от горы крестов
где поют песни и устраивают фестивали
молятся и фотографируют аистов
здесь, в Визгирском лесу
лишь большие улитки присосавшиеся
к белым поверхностям коллективных могил
постоянно в курсе исторической трагедии
но вы также можете узнать, как найти это место,
в холле находящейся рядом литовской компании,
производящей для местного населения чистую питьевую воду

***

хорошее постельное белье:
подушки, одеяла, покрывала,
меняй на новое свое старье

услуги юридические здесь,
леченье позвоночника, от пуза
нажрись арбуза ныне, присно, днесь

на факультете изучают право,
после обеда выдают аванс,
скрипит сустав в ладонях костоправа

давай стремглав за профилем на *птичку,**
за Волгой иволгой висеть над озерцом,
не удаляй профайл, пока я в личке

не в смерти дело и не в кабинете,
клянусь последним опытом любовным,
что все ок, как оттиск на монете

по *тыще* собираем на банкет,
кода придут дожди, то будет поздно,
не путаем добро и этикет

хочу тойоту, смету и крупу,
кто ни на йоту, тот уже не с нами,
полмиллиона кануло в трубу

ты помнишь фильм «Удар», так вот в ударе
сама себе и тем, кто смотрит с полок,
играет дочь на новенькой гитаре

***

деньги веером, пиво бочкой,
сушняком отвечает тело,
отмечаю пирушку строчкой

как ты здорово похудела!
все сидит на тебе как внове!
где предел моего предела?

начинаю движенье, дальше
пропускаю того, кто справа,
отпусти ее, отпускай же!

**«Птичка» - это действующее народное название старейшего самарского рынка, который когда-то действительно был птичьим, а теперь является рынком стройматериалов.*

это что за буржуйский почерк –
львы стараются вон из кожи,
не на ту надавил я, во черт!

изменяешься ты в лице, на,
убедись, что с тобою стало,
ну так стало и что, драцена?

***

рассматривать под лупой, как блоху,
невнятицу в подшивке документов,
труху

фактичности, формальности, отказ
цинично спровоцирует разборку
не раз

обжаловать, составить, заявить
– глаголы тематического ряда,
как пить

дать, славные, убойные – глаза
выкатываются из орбиты,
мы биты

поднимемся наверх через балкон,
надеемся, как было испокон,
на чудо

и на себя, расстройся, рассмеши
всех, кто вокруг, и дядьку-психопата,
пиши, пиши

Максим БОРОДИН

***

когда тебе в морду
бьет
ветка
цветущей вишни
воспринимай это как должное
ты
только ветер
в этом саду

***

убегает улыбка словно маленький ребенок
в другую комнату
где наша девочка
где
прибегает
выглядывает из-за угла
подходит
и
улыбается

***

кажется
что дождь никогда не закончится
будет идти и идти
идти и идти
идти и идти
в общем одни «и»
и никаких других букв
кроме «и»

***

напишу книгу стихов
еще одну
еще одну
тогда можно
поездить по миру
как облако
исландского вулкана

Максим Бородин родился в 1973 году в Днепропетровске. Окончил Приднепровскую Академию строительства и архитектуры, где в настоящее время преподает. Публиковался в журналах «Воздух», «Арион», «Новая Юность», «Крещатик», «Союз Писателей» и др., а также в антологии «Освобожденный Улисс» (2004). Автор книг «Лошадь тумана» (2000), «Правила ближнего боя» (2005), «Никакой анестезии» (2007), «Париж» (2007), «Свободный стих как ошибочная доктрина западной демократии. Избранные стихи» (2010).

разоряя
компании
производители йогуртов и конфет «кис-кис»
наводя панику
на
библиотечных работников
северных штатов
и
на детей
со слабой психикой

***

мокрая от дождя
площадь
скулит
стоит
девушка
двушка
эх
собака
собака
говорю я
собаке
стоящей на противоположной стороне

***

болезнь
«шизоидный менеджмент»
не лечится
ровно в полночь
сказал вчера один мой знакомый поэт
стоя
у местного
«макдональдса»
(извините, что маленькими буквами)

***

посадили два дерева
две сливы
надеемся
что приживется
наше
будущее

***

писать стихи легко
труднее
бегать
бегать
бегать

за историей
чтобы остаться в ней
например
кричать
например
петь
например

***

если вы никогда не оставляли мусор на берегу реки
вы не человек
вы животное

***

только что вышел на улицу
постоял в темноте несколько минут
коснулся невидимых деревьев
послушал сверчков
и
подумал
надо написать стихи про сверчков
вот и написал
стихи про сверчков

***

небо
не всегда
над головой
иногда оно
в голове
иногда
и
вместо
головы

Валерий ВОЛОДИН

Повесть вре́менных лет

Жизнь четвертая

В мое отсутствие деревья так выросли, что этого города мне уже не увидать. Он затмлен незнакомой зеленью, прикрыт избыточным небывалым. Город мой сменил свой любимый лик на хаотичные, разлапистые лики инаких деревьев – их словно переселили сюда из других, непоправимо чужедальних мест и принудительно тут прирастили, обманув глупые, тельные эти стволы чем-то присутственно лучшим. Из других, очень смутных и, наверно, сомнительных мест, которых я не знал никогда, в лица их местностей не видел, с которыми даже промельком из убывающего окна не был знаком, звуком просторечивым не перемелькнулся, не смолвился.

Этот и прежде легко плутавший и заблуждавший город теперь потерялся, в полном неведении уж скитаясь, в моем непролазно чащобном, сучками да корявою ветвью поросшем сплошь прошлом, ликом дичалым на себя не похожим. Выберется ли? Настанет? Что-то говорит: боже, как же ему не вернуться! Нынешних дней городу моему не узнать, не вызреть, верткое их сквозное лицо не разгадать. И в приходе каждого непрожитого, еще нелюдимого дня будет вновь и вновь лишь явленье какого-то странноликого неустанного прошлого, беспомощно назойливого в своих призрачно-прозрачных явленьях, но которого в прикосновенной действительности давным-давно нет, – оно отправилось куда-то потерянно странствовать – туда, где доступа даже моим былым следам нет. Те следы теряются где-то совсем уж, совсем в иных, совершенно внеликих местах. Их местами не назовешь – отсюда, из земных беглых дней, из мертвящих, провальных земных отдалений. Их не увидеть из здешнего взгляда. Не различить никаким сверхзорким усилием... Пусть лучше они тихо смотрят в меня, зачем-то душу мою на просвет изучая меж ее коряво разросшихся в мое отсутствие строк.

За ними прибавленной отсутствиями души мне уже не увидать.

На что же смотреть мне отныне? – ни города вокруг, ни души. Да и я под огромным вопросом, изрядно меня разредившим. Эта ровная, словно мысль ни о чем, мерно и призрачно тень-тенькающая, сепетящая кузнечиками степь предо мной так неискусно прикидывается то массивами бывалых домов, то выбежавшей погулять моей неугомонной задушевной утайкой, покрадываемой все исхищающим маревом. Как глубоко степь обманет меня и обманом своим завороженным проникнет? Как и мне б обмануться вместе с пространной тщетой, со степным тем пространственным лганьем, как принять бы доверчиво легковейный обман – чтобы увидеть в ярко ослепленных глазах распахнувшийся навстречу город и себя, в нем стоящем с восторгом печальным, с подступающим к горлу трудным комом людей неизжитых, еще не прожитых, и законченных, и лишь брезжущих чуть грядущим, беспрекословно пресекшим дыханье немного пропавшим грядущим? Оно зачем так рано стало бесценной утратой? Зачем столь просто меня потеряло, ни на душу малую меня не прожив?

Слушаю как музыку мудрого человека.

Отвык средь населенья от музыки мысли.

И от глухой и таинственной музыки себя, к печали моей, отвыкаю. Слышу изнутри подступающий барабанный бой, который приведет неизбежно массовые колонны моего завзятого личного существа. Поневоле придется праздновать какой-нибудь лишний вселичный праздник, чудовищно развернувшийся во мне на всем изумленном колоннами моем протяжении. Это населенье чуждого праздника

Валерий Володин родился в 1956 году, закончил отделение психологии биологического факультета Саратовского государственного университета. Три части «Повести...» опубликованы в журналах «Волга–XXI век» и «Волга» в 2007–2009 годах. Живет в Саратове.

будет пустынно. Оно слишком много меня искрадет, убавит. Оно страшно много не вернет моего, в себя навсегда запрятав, собою присвоив, загромоздив широкой и неуклюжей растратой или подменой. Раскраденному, сколь долго, куда мне стоять на теряющихся в глазах перекрестках безвестья, среди одной-единственной в целом мире солнечной тишины, так прекрасно сохранной, усеянной обмертвевшими птичьими голосами, излетевшими полетами насекомых и моим недоумением? В каком направлении едва-едва начать хотя бы призрачно мыслить – шажками украдчивой, шарахающейся во все стороны мысли, легко бегущей себя самой, очень охотно и сладострастно в себе пропадающей? Эта самоубийца и тебя норовит утащить за собой – чтобы не скучно было в тесной, добротно отсутствующей компании.

Придется резко себя в своем мышлении избегнуть и не учесть, дабы остаться среди пусть бы и мысленно уцелевших.

Я так и не уехал никуда из этой все небытийственнее сквозящей во мне дыры, меня исскозившей начисто. Так и не осилил отсюда пропасть. Как жалко, бездарно пропал я в это пустое селение...

Теперь немыслимо долго и далеко отбывать, замирая, в собственный затерянный где-то мир (местами необратимо изъезженный), который стоит огромной нежизни еще осваивать и обживать неведомым способом необживанья и новыми видами недожизни.

Куда и когда я приеду? С кем? И приеду ли я – тот, который только и хочет, стряхнув прах напрасный селенья, куда-то приехать, будучи хотя бы случайно кем-то самим собой или близ того, около? Кем-то самим собой – мимолетом и невпопад, наугад называясь то ль коренным, то ль как бы заглавным моим человеком.

Да и будут ли туда свободные билеты приемлемой, не слишком ограбившей бы меня цены?

Далеко не последний вопрос, немаловажный. Даже жизнеутверждающий в чем-то последнем вопрос, резво отпугивающий это последнее, чтоб не крутилось оно постоянно возле меня, не путалось под ногами, сбивая их с толку и с правильной мысли, которой, правда, и самой еще не известно, куда бы вести, всей моей бренностью косной и тщетною направляться, наобум выбредая из злобких тенет распаучившегося Неверкина, которое так измалило меня, что и ограбить-то безликого стало не в чем: ни гроша за душой, ни души, лишь постылый, пустынный остаточек тела, кем-то выброшенного за ненадобностью... Ох, все-таки надо вернуться к нему, тело все же какая-никакая, но ценность: не расклевали бы его на обочине птицы, здешние птицы из неперелетных. Совсем уж без тела ходить нынче стало вовсю неприличным, зазорным: не понять очень крепко могут – и от себя самого превосходно, в два тонких взгляда легонько тебя избавят.

В возрасте я, в неисправимом уже никакой редактурой возрасте, когда многое, в том числе и лишнее, начинает падко болеть по причине простой беспричинности. Попросту по причине откуда-то взявшейся странноватой причинности, от которой рукой подать до ее диковинного отсутствия.

Даже просто из-за отсутствия должных причин – и то не преминет вскольнуть, как тому отсутствию ехидному надобно. Просто по желанию некоторых безумноватых причин отчего-то пострадать – во мне, излюбленному ими логову, и, коль на то пошло, бедным и безответнейшим мною. А мне, невольному их вместилищу, вот боли себе да стенай, на радость им и на здравие. Где ж тут хотя бы крошечная справедливость – в кричащих резях да припадочных коликах изматываться, измываясь над собой, за какие-то неведомые причины, а тем более – за чванливые, взбалмошные эти причиноподобия?! Не нанимался я за них страдать, пусть мой прижимистый, все экономящий на мне возраст болит во мне отдельно! И непременно за свой скупердяйский счет. Дружба-то дружбою, а табачок – врозь, к тому же курить я скоро заброшу, отрезав возрасту последнюю дорожку ко мне. Вот так-то, многоуважаемый возраст, нуди, пожалуйста, себе наособицу сколько тебе вздорно влезет! Иначе быстро мы взаимно растратимся и с Богом иль, на худой конец, с полубогом убудем каждый в прекраснодушные свои дорогие нули, долгожданные наши пристанища, тут же нас и всецело объявшие, крепко-накрепко в ни чём упокоившие. Ни одна смерть нас в нулях не возьмет, зубки-то гниленькие о нулевые бока быстренько пообломает. Нуль защитный – препятствие неодолимое, крепостка неприступная. Приглашаю, господа, всех к нулю, будет праздничек – закачаешься, блистательнее заезженных этих, уже навязших в зубах шашлыков и девочек средь отсутствий одежд, в прямом безбелье на голышке-природе.

Все страстнее, мой возраст, вожделею нуля (уж прости меня за темные страсти, за их необузданность). Только ты об этом никому ни гу-гу. Не то засмеют до зримых, очень прочных отсутствий-умор, до отсутствий – пустых хохотушек. Ну, пока, я иду без тебя погулять; прошвырнусь от души как следует. Вдоль по улицам украдкой поюношествую. Ты тем временем без меня всыть поваливайся, поблаженствуй на дремлющей то и знай кроватушке – она сегодня опять не выспалась от ночных моих страстных боковерчений и одного до ужастиков страшного, переполошившего ее моего сновидения, которое и меня заодно чуть не прибило до смерти развевающимся своим, хищно реющим покровом. Еле-еле я из него уволокся, еле конечности от ночных видений унес, обнаружив себя поутру валяющимся близ конечностей непредвиденных – в ногах у моей госпожи кровати. За что вымаливал я у нее горячечного прощения? За что она меня все не прощала, не отпускала вину мою вплоть до явления солнца, до укоризн его лучезарных, прощения мне пред нею так-таки снискавших? Тут-то кровать моя сконфузилась, царственной быть перестала, бретельку узкую алого света на спинке своей смущенно все поправляла и поправляла, заметавшийся взор потупляя. Да и что ей оставалось делать? – зарвалась в страстях темных бедняжка, возомнила сделать меня помыкаемой во всех заделья́х тряпкой безвольной. Но, как видите, всем телом и прочим приватьем своим я не дался. Целый день буду бескроватно свободным, юношествуя тишком на сквозящих привольем улицах, покинув излишний, открыто порочащий и срамящий меня на людях возраст!

Вот что значит иметь благие надежды, помноженные на мою избыточно хромированную и поэтому не очень стальную волю, а в знаменателе чтоб я сидел в зимнем пальто, округленный в первом приближеньи до целого... еще в знаменателе шапка бы мощная не помешала, желательно из натуральных пушистых мехов (преимущественно обожаю бобра: животное чистое, опрятное и незлобиво)... также овечьи варежки толстой, двойной вязки, можно с незамысловатым узором. Пора задумываться, на нуль по возможности не делясь, и о насущных кальсонах – это дело становится не из последних, так как все более я становлюсь одной только тепловой дырою: больше пылу-жару истратишь, чем калорий обычно намнешь с одиозной и во всем подряд бестолковой едой. Чересчур много всего скапливается в знаменателе – опять сплошь одни лишние вещи, не продохнуть. Ох, тяжел мой знаменатель, тесен мой дробный путь... Выпорхну ли на свободу, выпорхну ли я, в душе числитель несчастный... зато высокий... похоже, отделившийся уже от дроби? В какие небеса с утреца пораньше сегодня летим, граждане отдыхающие? Почем у вас эти июньские облака? Э-э, дороговато. Небось в Китае такую роскошь подделывают, а нам потом впаривают. Резко иду на снижение. По верхушкам пешочком за бесплатно пройдусь. Вылеты нынче что-то кусаются.

– Уже красивее меня какает! – в припадке обуявшей его нежности восхитился отец полугодовалой дочки, любуясь и витиевато гордясь ее заключительными произведениями. – А что в мои годы будет?! Уму непостижимо! – Тут он и потерял свою бывалую отцовскую голову, размягченную безудержной и затейливой нежностью, зажегшейся от младенческих, до ахов сердечных страшно родных выделений. Дальше воспитание протекало почти безголово, лишь простым течением папы-маминых сил и их прихотливым, иногда дурноватым извивом. Но что-то да само собой воспиталось, что-то само собой чем-то стало, вопреки всему, плюя на суровый, обычно скупящийся миропорядок. Дочка выпятилась из себя со временем мощноватой такой человечиной, отчасти даже бабищей! Любой глаз до краев наполняла мгновенно милой призрачностью человечности, просветленностью женственной миражей. Вот что значит вовремя похвалить человека. А если бы отче наш, то бишь папаш, еще и цветом какаш восторгнулся, что бы из дочки тогда с годами повысунулось! Последствия отрекаются тут даже просчитываться. Последствия гаснут заранее, смущенно потупясь, виновно краешек будня текущего теребя, – их не звали, про них забыли, сиротинушки они никчемушные на вольном гульбище праздноголовой жизни. За участие в ней всем спасибо.

Терпеть не могу эти ваши ожиданья дрянные, которые ждут от меня непременно чего-то плохого, сбивают душу с ровного, вдумчивого, прекрасно расчисленного шага и понуждают ее бежать рваной нервной побежкой, оторопью замельтешивших, умом опрокинутых чувств куда-то к вам в задействованную пустотой неизвестность, которая про себя лишь знает одно величественное ничто.

Ваша неизвестность до ужаса похожа на давно мною избытую унылую жизнь.

Ваша неизвестность – с невероятным трудом покинутая мною пустыня. Я там уже изгорал. Я

жаждою там не раз выпит до глинистых трещин земных, как такыр.

Пожалуйста, ждите кого-нибудь другого, я устал быть беспрестанным притяжением вашим. Мне никак невозможно сейчас умереть и прийти к вам безвременно в одночасье. Давайте условимся сразу (так и быть, сделаю уступку, под видом ощутительной весьма скидки): я приду к вам без времени, но не сейчас. Никогда, ни за что не сейчас. Ну, до будущего неумиранья! До новых и ярких наших невстреч повсеместных, которые нас конечно же взаимно обогатят!

Я отчаянно их не люблю. Ужасно. Необратимо. (Я. Не люблю. Их. = моя нежизнь, мое извечное для них отсутствие.) И вне отчаянья. И вне ужаса. Вне себя я их не люблю и помимо. Под умоляющим точной реальности чувств пистолетом мне их не суметь утонченнейше возлюбить.

Их невозможно любить даже всем запредельем и всеми крайностями моей до отвращенья терпимой любви, при одном их намеке всесветное терпящей бедствие. Даже последней зазубринкой острогугольного сердца, смутившейся вдруг обожать, быть незубристо приязненной. Всеми правдами и неправдами недоступно их как-нибудь сурово взлюбить, жестковатой слезой скуповатой, умягчившейся благостно ненавистью, совсем потерявшей себя, взявшейся слепо подлюбливать.

Их нельзя и божеским сердцем любезно объять. Они исподтишка его изожрут, в виде соляночки ласково слопают.

Их также напрочь нельзя: укрывать кое-как скопленным личным теплом, приветствовать лучезарной улыбкой, ждать в гости, впускать в друзья; нельзя делиться с ними даже обыденными прикосновеньями, обмениваться самыми незначащими словами, превозмогать праздники, тихо праздновать горести среди них абсолютно дурное и бессмысленное занятие, это запретное под страхом смерти дело. С ними лучше не быть в двух смежных жизнях, а в проходных – тем более: за общий свет не расплатишься, проблемы столпятся орально в районе святого для них санузла.

Их ничего – нельзя. Во весь свет ничего. И ничего – кромешно.

Им нужна не вразумительная, внятная, крепящая обильно любовь, а старая добрая палка, хорошо проверенная во всяком деле, да и та их не осилит спасти, на полезное ни на что не подвигнет, незряче пощупывая им бока, никуда не выведет. Возможности палки для них беспомощны: таракан на снегу, бес, застигнутый крестовиденьем. Их не исправит и сверхмощная, супервлиятельная сила – могила, в которой обычно заложены безграничные возможности исправлений и совершенств, улучшенных преображений; их, смертию смерть защитивших и возродивших в себе, получивших житейское право быть стойко и блистательно мертвыми... царствие вам безнебесное, пусть вам хотя бы земля будет пухом... Пусть она в вас побудет немного живой, хоть и процветшей, но неизменно все процветающей.

Пустота может быть разной: пресыщенной, тупой, бессмысленной, рассеянно наборматывающей прежнее сумасшествие, от которого кое-как излечилась. И т. д. И т. п. не преминет здесь поиметь свое прихотливое место. Она всегда с признаками предыдущего содержания, которое ее как бы немножко замарывает.

Какая пустота всех пустей?

Ну какая ж еще-то? – да человеческая же.

Она стервенеет пустеньем уничтожительнее всех прочих пустот.

Она наиболее исчерпанна и обессмысленна. В ней хищно человек побывал. Собою он там поохотился, на диво успешненько.

Вот скорый на дурную расправу и дурной на скорую славу пис (всем писам он пис, из впередсмотрящего ящика впередсмотряще глядеть опережающий, из впередсмотрения толстоморденько не вылезающий, скрытной ножкой взлягивая задних, пристающих теснить его с продуктивного места): «Можно сказать, что Пушкин всеобъемлющ, – а можно сказать: «Содержание Пушкина – пустота», и будет примерно одно и то же. В конце концов, прекрасная болтовня – это и есть образец высокого и бесполезного искусства». Формально все вроде бы правильно. Однако почему все во мне сопротивляется? – хоть я далеко и коряво пуст, но вот, оказывается, есть чему во мне испротивиться да с сучком и задоринкой поцепляться.

А гармония, а музыка – тоже наша пустота вожделенная, нами взыскуемая?

Нет, значит, в пустоте с пустотой что-то не так. Именно она что-то сама в себе не состыкует, сама

с собою не вяжется, в таком случае пустотою быть наотрез отказываясь.

Да пусть бы хоть и пушкинское абсолютное ничего – но все же не голизне оно вашей ровня и тем более уж – не вашим высокотворимым, ноль совершенно заевшим успехам! Пушкинская пустота явно не чета пустоте обыденной, заурядной, писовски понимаемой и принимаемой за пустоту. За нее обожаемой. Которой он владеет сполна, полагая, будто обладает истинной пустотой, что сама за него все и как нужно скажет. Но его пустота говорит все другое, и речи ее как-то упадочно возвышенны и претенциозны, точно она пустоты объелась, как простой белены. А нам после его текстов галлюционируй, самым отъявленным причем образом!

Но каков сей мельтешащий по природе своей мастер многокультурного пустословья! Он нас крепко смутил, несмотря на то, что перед отсутствиями мы стыда никогда не теряем, щекою со стороны пустоты беспричинно не пунцовеем, а голову в растерянности – не роняем. Теперь вот, после мимолетного контакта с ним, ничего ни в нас, ни у нас нет в совершенности полной. И куда только он всех нас попрятывает? Это ж какие нужно иметь помещения, чтобы поворованный мир складировать?! Небось весь могущественный гонорар спускает в пыль и прах за аренду немыслимых тех континуумов, ангаров.

Пустота пустоте – великая рознь; иной раз две пустоты и в лицо-то друг дружку не враз признают, по именам сквозящим не в ту же минуту окликнутся. Потопчутся-потопчутся вокруг да около – и разойдутся куда ни попадя, приняв одна другую за нечто иное. А что говорить о солидных наполненностях и величинах! – эти просто теряются в смыслах, и не было случая, чтобы они когда-нибудь друг друга узнали в мало-мальски приемлемой полноте, хотя бы в частичке ее изумительной грации. Величине очень неприятно обнаруживать себя в супротивной величине под видом жалкой, еще не состоявшейся, но цепковато тянущейся уже навстречу ничтожности, которая вот-вот, того и гляди, которая непременно настанет. Не было еще пустоты, которая бы не наставала. Иначе бы с миром произошло что-то окончательное, непоправимое и он стал бы до невыносимости жить здесь полным.

Тотчас по приезде в мой город запретный чувствуешь себя крепко заматеревшим изгоем. Я настолько здесь чужд, очужал и по всем ощущениям – небывал, словно заедаю век всякого, к кому ни забреду в качестве былого, чересчур былого знакомого, в виде вылинявшего за сезон смены шкур друга. Чувствую: слишком убывший я знакомец (слишком убивший?), чрезмерно растраченный на иное и не по делу приятель. Человек, лишенный общепринятых и общеприятных свойств, не досягающий уже до элементарно искренних чувств, чтобы суметь видеть во мне потребного, состоявшегося хоть бы в бедной радости гостя.

Как можно так оказаться ненужным за 23 года прежнего жизнетечения тут? Понять мне это немыслимо, неосилимо... Словно я вовсе и не жил некогда тут, а лишь подготавливал кропотливо массу зловредных, подрывных в отношеньи себя отсутствий. Скапливал взамен жизни личные мощные небыванья, истратив на это идеально прозрачное накопительство все силы, все распыленное, все пропавшее еще в те годы, в те бездарные призраки-годы мое прошлое.

Но нет же, это не так: я тут все-таки жил; есть приметы любви, подающей признаки жизни. Есть подтверждающие меня улики-отсутствия – ими доказан я к существованию, реабилитирован быть былым.

Или столь слабо я был привержен тем прошедшим не мною дням, что городу ничего не оставалось, кроме как в упор меня не узнать, сделать вид отвлеченный, будто здесь никогда я не бывал и ни о чем не жил? Даже тенью своей многоживной не блуждал в разъятиях мертвенных его площадей – коммуналок чутких и гулких, пространных, для жильцов неприкаянных душ.

Но это не так ведь, ни такочки не так. Что-то крепче жизни во мне тут жило, превыше всякой моей поднебесной смерти.

Город мой со мной раззнакомился, первым меж нами став незнакомцем. Что оставалось мне средь химер делать? Поневоле стать пришлось небывальцем; я прикинулся чужаком, в коем не узнал бы себя и я сам, несмотря на то, что очень часто и до безобразия хорошо узнаюсь, сколь бы от собственных глаз ни скрывался упорно: надоел проходимец мельтешить в диком поле моего зрения, заросшего психоватым чертополохом да нервно-паралитическим ковылем. Убить его давным-давно мало.

А ты прощай, давний город... Ты прощай меня иногда...

Что-то ж было с нами. Что-то нами бывало. Память, что ли, стала пропащей бродяжкой, не помнящей ни своего, ни чужого родства? Пойду ее поищу на улицах моих незабвенных, может, сообразим на литровый годок или на чью-то неуклонно похожую на сто прежних грамм скользнувшую в подворотню улыбку, которой легче быть прошлым, чем не быть вообще. О, здравствуй-здравствуй, моя гулящая память! Отчего стала ты такой несусветной, такой повсеместной бомжихой, зачем так шикарно меня позоришь? Где лачуга твоя? Ну, встречай дорогого гостечка! Будем пить чуть согретый закатом бескрайне вечерний наш, безукоризненно личный наш чай. Разливай же по чашечкам, робко, без веры ждущим, разливай, как всегда! Пусть поверят чашечки целомудренные – мы свои, бесконечно мы им свои.

Этот человек измелькался на нет.

Одна слабая и явно хворая дыра в пространстве от него осталась. Тревожно-призывно сквозит из нее недавней ранкой простора, бледно кровоточащей солнечной излетающей кровью. Кто там? Ну кто же там, Боже? Безголосицей хоть кто-нибудь отзовись. Кто отныне ты, бедный? Усопший? В безвестье неловко сбежавший? Добровольцем ушедший в пропажу, на фронт юго-восточный личных потерь? Или крохотку космоса сбрендило в том незадачливом, испропащающем месте, объявившемся взамен любых образин? Трудно ли быть тебе ныне космосом, просто космосом повседневным, сдобренным крепко вакуумом протяженьем меж звезд? Дай немножко тебе по-человечески как-никак помогу. Я сейчас из своей вселенной на тебя теплым ветерком заздравно подую. Ведь должно же тогда что-нибудь в тебе помягчеть, встречь открыться. Я буду ветром изо всех своих сил южным, по возможности не суховейным. Я буду ветром не из пустыни, нет, и не дыханием океана, повевать стану из ниоткуда – чтобы космос твой, неизвестности полный, родственно встрепенулся. Итак, начинаю осуществлять призрачность движенья в ясной призрачности твоего направленья. Только сориентируюсь, по-быстренькому сделаю привязку к местности, которую, возможно, из себя представляю, которой с некоторого времени, по всей видимости, стал являться, избежав отрадно в себе человека.

У меня есть на свете лишь один в незаменности точно мой человек. Явственно его, но не очень все ж таки близко чувствую.

Безуспешно ищу моего, целиком мне тождественного, человека без малого 47 уже лет пустолетних.

Присутствие его вседневно так остро и горкло: неразличимый, он вслепую бродит где-то округ меня, листая в рассеянности нечитанные пустоты, но не может никакого меня отыскать, никакими ухищреннейшими способами поимки не умеет буднично мелькающие мои, врассыпную бегущие личности изловить. И печально, словно осенний день, мой человек угасает. Мне не высвободить его из просторной пропажи. Неужели он кончится, устав не находить меня, обременившись моей пропажей, скверную шутку со мной играющей?

Недостает пустякового какого-то чуть-чуть для простейшего и благостного совпадения. Очень могущественного, непреодолимого чуть-чуть, которое длится всю мою проживаемую под видом жизни малую, бренную вечность. И обещает продлиться еще таковую же – что-то грустно на это указывает.

Но он есть у меня на свете, мой идеально единственный, только и желаемый истинно человек, и мне хорошо быть с неразлучной мыслью о нем, малость лишь самую не пришедшим.

У других зачастую и этого нет, – отродясь им некого и не о чем ждать.

Где же ты, неподменнейший, в каких промежутках недосягаемых бродишь? Где тебя случайно или как-нибудь заслучайно бы, на изнанке потерь обнаружить, в точности мой – без зазоров и пагубы, – безупречно мой человек невозвратный, все запинающийся и запинающийся о преткновенное то чуть-чуть, вставшее гранью несоприкосновенных миров между нами?

Что такое есть, это великое и непосильное для меня чуть-чуть? Но и разгадать, уяснить его недостает чего-то опять же чуть-чуть... И чуть-чуть я сбредаю с ума, на чуть-чуть лишь не став сумасшедшим... Да разве можно такому доверять подлинного человека?! Чтоб и его втихаря выжил он из ума? Он ведь даже рулить человеком не сможет, в очередной кювет его спроворит и навернет! Мы подсунем ему идеально похожего какого-нибудь прохожего, пусть он будет игрушкой самообладания для его расходящегося в сумасшествии верном ума. Дефицитную чудо-женщину всучим для отвода глаз или более-менее опрятного бомжика? А-а, сначала сунем что попало, а там посмотрим! По его реакции сразу будет видать, кого дальше и сколько еще можно подсовывать.

Еще двух собак завести можно смело.

Одну воспитать, прожить ее сроки и похоронить, другую воспитать – и то же самое, со всеми подобающими собачьими почестями итог упокоить.

На два собачьих существования моей жизни хватает. На две полноценно сопровождающих жизни. Это ли не огромный срок?

Гораздо легче жизнь избывать, когда ее меришь псами, попутным тебе гав-гав бытием, поддерживающим, укрепляющим, любовью точной снабжающим, – в пса веришь крепче подчас, чем в себя самого, преданного бог весть какой неизвестности, смазливой какой-нибудь, верткой превратности, влюбившей в себя изящной случайности, которая тебя обязательно бросит, родивши тоску – твое ль то дитя?.. да, ужасно мое... Как с лица она на меня сиротливо похожа! Ну иди же скорей ко мне, сиротка, не хнычь, буду тебя систематично воспитывать. Станет с кем век вдвоем коротать и умереть в один день счастливо.

Терзко видеть встречающую вымершим взглядом свою состарившуюся собаку, которую ты взял неразумным щенком и взрастил. Она явила жизнь твою в миниатюрном подобье, но умирать оставила тебя – одного. Главная жестокость собак заключается в их короткой жизни, которая так невзначай коротает твою, в порыве взаимного милосердия сужает ее до своей.

Всякий раз в вагине скрываешься как за пазухой у Христа.

То укрытие всесокрывающее.

Хорошо в женщине прятаться от жизни. Лучше убежища нет.

И хорошо вспоминать – предаваться воспоминаниям, – как прятался впервые, еще до рождения. Тот опыт скрываний бесценен.

С каждым разом исчезаешь в женщине все надежнее, привычно притираясь к нежащим исчезновениям. Тебя уже не найдут. Не найдет и та, в ком ты подался в бега.

Но в этом бегстве не чувствуешь себя покинутым – одинокое дыхание, нежно рвущееся дыхание женщины изнеможенной сопровождает тебя всюду, куда бы ты ни направил свое исчезновение, растерянно мечущееся наугад, не зная за собой ни пустиночки места.

В трамвае преобладающее выражение, с каким на тебя, затасканного жизнью, смотрят: ха, и этот как я, безвестный и неудачник; вот и еще один точь-в-точь как я, слава богу...

Разочарую взглядом из промозглой, ненастной всегда безвестности: не этот и не такой! Отнюдствуем!

Мой взгляд, в отличие от меня, пока умеет спорое оказывать сопротивление, кандидат он в мастера по блужданиям вольным стилем. Я за свою сугубо индивидуальную неудачливость и несостоятельность постоять могу зримо! Кто побережет кровное мое, родное, кроме сторожко стерегущего меня зрения, дающего твердый отпор распылителям моей и без того порядком просыпанной, печальной известности личности? Это мы еще посмотрим, кто кого перещурит на перегоне Воскресенское кладбище – Стрелка и обратно! Взглядом напруживаюсь, смертельно немею... Медленным зреньем теряюсь... Мертвенным виденьем в жестоковыйном человеке напротив безнадежно скитаюсь... Го-отовенек! Можно уже выносить на остановке. Только, будьте добры, не вперед ногами. Может, еще очухается. Ну, так кто же из нас следующий?

Этот человек всегда перемывает за другими посуду.

Просто из общего недоверия к человечеству.

Он человечеством брезгует, а не посудой. Посуду еще кое-как пережить можно.

В разное время я с рвением составлял население различных городов. Но все безуспешно. Напрасное было занятие. Я так ничего и не составил, вероятно, тяготея подспудно к нулю, в нем уютное логовко чувствуя. Ни один город собой не прибавил, только население зря марал.

Теперь составляю анонимное население Бог знает чего; докатился, конечно, до крайности, хуже составлять ничего уж и немыслимо, одни непотребства тут приключаются. Мрачная безликость затерянной местности. Это, по всей видимости, и есть ныне я, во всем остальном до предела безвестный и беспрозванный. Даже в единицы населения что-то не гожусь, до ровного счета никак не дотягиваю, припадочно сразу мелькать и рябить начинаю, огромные даю искажения. Какой-то синдром извра-

щенной народности, а может, превратного народонаселения мгновенно со мной происходит, стоит мне до единицы личности невзначай округлиться. О, сколь бурные тогда резвятся эксцессы! Даже и не по себе иногда знаю.

Вот такие массовидные явления психики неугомонно во мне копошатся, взбухают креативной толпой, делая меня внутренним моим переполошенным народом. Который, к великой беде моей, мало чем отличается от внешнего врага – в виде народа наружного, окружного, чем ни попадя вооруженного вплоть до зубов. А если народы объединятся? Живого места ведь от меня не останется, так что где хочешь, но прячься, хоть в щелке межбытия... Очень здорово не бывать, слышал я, в лунном свете. Но как в него напроситься? У кого взять свидетельствующие обо мне в благоприятном свете рекомендации? У речки вчера просил отсутствий – она про меня молчит.

– Здравствуй, – говорю повинно, – моя забубенная головушка. Бедная ты, бедная... Вот я и пришел... Сколько тебе приходится терпеть от меня, выносить всякого-разного, в основном напрасного, в том числе и ходовую, расхожую болванку меня целиком...

Некручинно моя головушка отвечает, с надменным вызовом, за которым сразу и почувствуешь настоящую силу и мощное ее дыхание подлинной женщины:

– Здравствуй. И прощай заодно. Теперь вряд ли когда свидимся, алкашня несчастная, глаза бы мои на тебя не глядели, в жизнь бы подобного ничего не видели! Бесповоротно желаю нефиктивного развода и девичьей моей скромной, но честной фамилии, которую ты смолоду запятнал кровавым портвейном!

Ну на, непутевая ты башка, лелеемый тобою развод, жалко мне, что ли... – мямлю про себя диковатым шепотом, чтоб только отвязаться от навязшей в зубах темы. Да и обострять дальнейшее ни к чему. У дальнейшего и без меня скоро гастрит или заворот кишок будет. То-то вместе с ним крутанемся да ой-ой-ейкнем – и веселья никакого не надобно. Веселье пшиком покажется пред вертящейся той и громокипящей забавой. Повеселимся уж как следует потом, по ту сторону жизни, где, говорят, некоторые от передозировки смеха животы в един момент надрывают. Там же заодно и отдохнем, ежели, за неимением высоких дел, не отдОхнем.

Вовсе и не собираюсь ни до кого докричаться. Да и криком разве делу поможешь, вызволишь его из немотствующей немочи? Нет, лишь напугаешь всякое дело до полусмерти, а еле живенькое, приволакивающее лишнюю ножку дельце куда годится?

Успеть бы до себя докричаться, и этого с меня предовольно. Эй! Эй! Где ты? Вылезай скорей! Хватит тебе темнотой сидеть в одиночку. Давай с тобой знакомиться, что ли, а то мне снаружи скучно ужасно, крайне порожне, тревога отсутствия снедает меня...

По пути к себе и так устану от собственного крика, от воплей постоянной потери себя. От голых одних и дебильствующих децибелов заранее сбежишь от себя любимого, не говоря уж о прелестях мерзости личной, которою хочешь не хочешь, а тоже ведь обладай, лицом вытворяя наружность владельца сокровищной собственности. Чтобы в грязь лицом не ударять в обступивших со всех сторон очах предсмертной общественности.

Я сегодня что-то необыкновенно веселый и жизненно необходимый. Неспроста это и настораживает. К добру ли я ныне так жить расспешился? Не разбиться бы на серпантине петлистого, высокообрывного дня.

Вечер изъявит потери и обретения. Вечер безжалостно подведет подо мной свою вычитающую, всю в закате вывалянную черту.

Не оказаться бы в минусе. Уж и то б хорошо. Отсутствие минуса приравнивается к небывалой удаче. Наличие скромных следов отрицаловки – к нормально прожитому дню. Такая нелинейная у меня арифметика, подпочвенно, видимо, сообщающаяся с матанализом. Вчера долбанул меня уличный шальной интеграл – и все за то, негодяй, что я принципиальный противник выхолащивающего обычно суммирования. С интегральной раною поперек лица лежу в нравственных тупиках, в столбняках, не ведая, куда бы, с духом соплюсовавшись, сколь споро податься, столь резво же и не подаваться, движению не уступив ни пяди мной выстраданной, кровной моей кровати, которую выслужил, пусть и в единственном экземпляре, всей бумажно-прикладной своей жизнью. Кровать у меня теперь вместо

гонораров и орденов третьей и четвертой степени проходит в отчетах пред Богом. Не знаю, потягается ли она с орденами запредельно высоких степеней ценности. Да должна бы. Ей ничего это не стоит. Больше удручает поведение Бога: устраивает мне ежедневную выволочку из моей не мешающей никому кровати, утверждая при этом, что я только приписками да прилежками собственной личности заниматься горазд. Когда, дескать, этому безобразию будет положен предел? Вот и поживи тут.

Я выпал внезапно в осадок себя самого. Господи, сколько во мне мутного раствора! И это все я был? Он самый я без изъятия? Перестаешь даже верить в цельномонолитность собственной веры... Господи, за что Ты сделал во мне так много всего непрозрачного? Глазу ведь отдохнуть не на чем. Мутит мой глаз тошнотворно.

А вас никогда глазом случайненько не рвало?

Сегодня исходил остатками отравившегося мной зрения. Напоследок пошел желчный свет. До последнего фотона меня вывернуло. И вдруг хлынула зрительным трактом чистая тьма. И была она благоуханна. Кажется, я начинал спасаться, понемногу приходя в себя.

Дурак – строение вечное, непошатываемое. Это сооруженьице все живое перестоит. И до неживого доберется – и его заодно перестоит, так и так стоять, вертикалью торчать, ноги зачем-то же дадены. Страшись заранее, косная материя и мир каменных снов! Неизбежно вам теперь побывать в дураках, ни гранитами, ни мраморами не отвертитесь, ни целыми Гималаями, ни в бессильном бешенстве свирепствующими океанами не отгородитесь. Дурак все равно будет крепче во всех случаях жизни, а равно и смерти – как здешней, так и заокольной. Это ведь не какая-нибудь эфемерность наподобие солнечного затмения. Дурак, дай наводку ему, солнце бы затмил раз и навсегда, окончательно закрыв эту тему, чтоб не возиться повторно с дурацким капризом много возомнившего про себя светила, умничающего своим сиянием средь непонятно чем, с пустого места гордых небес. Пустотой своей, что ли, похваляться взялись? Вот пространные дурни! К тому ж, поговаривают, – голубые.

Женщина великой житейской пустоши.

Я в эту пустошь углубился слишком, потеряв оглядку. Я в эту пространность провальную глубо́ко утратил зрение.

Помертвело кругом. Буйно отовсюду вымертвело.

Как мне выбраться обратно оттуда, куда забрел опрометчиво много лет назад и где странных и диких многолет бродил помертвелым, не заметив родимой своей мертвизны, своего средь изживших пристрастного круговерченья.

Где теперь мое *обратно*? Возвращаюсь вслепую куда-то вперед. Может, хоть какую-нибудь редкостную потерю драгоценнейше обрету наугад.

Ищешь в поездке удовольствий памяти, но находишь преимущественно неисчислимые потери раскраденных временем воспоминаний, – смерть памяти на каждом шагу. А мне ведь не нужно уже никаких наслаждений, кроме радостной и смеющейся о печали, в печали памяти. Все иные услады и узки, и скучны, все больше невнятны: их язык я теряю. Я из них давно вырос, они стали для меня просто-напросто старыми, лишенными обихода вещами, и все дело лишь за тем, чтобы найти подходящий чердак, куда бы незаметненько этак сложить их в необидчивую груду, полную почтения к себе самой и располагающего к ней доверья. С этой кучей захочется вдруг остро дружить – так заманчива она, взволнована встречей, гостеприимна. И в один прекрасный миг, не помня себя, взревешь: давайте дружить кучами! Тут-то самое главное и начнется, во всю прежнюю жизнь прячась и остерегаясь начаться. А вы говорите: чердак, чердак... Вот вам и чердак. Чердаки разные бывают.

У Розанова еще – раздавленность, у меня – уже уничтоженность. Из нее, родимой, из уничтоженности, веду свой удавленный, закатившийся за край света прямой репортаж. Граничу постоянно (дружим семьями) с сумерками духа, забраживаю на полыханье огней вечерком в светелку к развратно ведущей себя ностальгии, режемся что есть духу и сил с десяти шагов и навылет в картишки.

Вот легкий дрейф писателя за один век (Розанов точнехонько на сто лет меня старше): от раздавленности – к уничтоженности.

– Не так уж и плохо. Главное, движение есть. И эволюция не топталась на месте – также прогрессом была занята, даром не развивалась.

Мы с ней люди совершенно противоположных жизней. Наши жизни менее похожи, чем различные планеты.

Мы люди разных богов.

Даже боги наши враждуют, что, конечно, им не к лицу да и мир чрез богов тех не красит.

Как нас допустили в одну жизнь, как мы пересеклись в единовременном и одноместном существовании – загадка из вселенски неразрешимых. И мы только думаем, что сосуществуем. Но в теплой, но в живой, в нежной реальности друг для друга отсутствуем ярче всяческой пустоты, один для другого мертвее самой отъявленной смерти. Вот это и есть протянувшаяся сквозь жизнь наша жизнь. Грех на такую жаловаться.

Многие приходили на нас завидовать и снимать с нас натуральные копии счастья, чтобы тыкать этими сертификатами в рыла собственным жизнищам и учить их законно быть нам подобными, стыдя нами похвально. Но их жизни по-прежнему рыла воротят, наглядевшись тайком на нас помимо своих людей, возможно, до их рождения, когда были они преимущественно до-мертвыми, во многом еще никакими, как мы сегодня.

У бесперебойного этого человека практически не бывает мышления. Даже в качестве какого-нибудь реликта или не с того боку отросшего рудимента. Даже в виде каких-нибудь приблудных наружных декоров: шляпа там, скажем, особых извивов, со смыслом иль всенаружно умышленный, допустим, жилет, запрятавший в складках с прищуром аргумент сногсшибательных свойств. Ничего и подобного нет. И наружно ничего не выглядит. Просто отказывается тотчас же выглядеть, содрогаясь быть внешностью видов.

Он стрекочет одной чистой, незапятнанной с рождения мыслью. Пустотища так и распространяется вокруг первозданная. Возможно, именно та, с которой начиналось сотворение мира. Спросить бы у Бога, с какой пустотою Он дебютировал, с какого отсутствия все предпринял, да и успокоиться принародно. А может быть, этот человек начал с правильной вполне пустоты и путь его давно уже как ни у кого верен?

Написать свою небывало обособленную, неприступную ни с какой мыслимой стороны прозу. Герметичную – до непрочтения. Свет поглощающую – до черной дыры, со свойствами антитяготения. Почти на бессловесном уровне. На грани соприкосновения с немотствующим идеально молчанием, а точнее, с молчащей о нас мудро смертью. В мирах, где нас почти уже нет и где почти ничего не бывает. Кроме вымерших сюда, за невозможностью жить средь людей, слов, еле унесших свои небожественные в основном звуки. За ними гнались след в след, но мы вовремя прозу закрыли, никого лишнего успев не впустить. А в качестве вахтера я ничего смотрюсь! Даже как-то, знаете ли, выгляжу.

Время, словно мстящее за свою жалкость, недаровитость, не прощающее никому ущербной собственной нищеты. Бедное-бедное, изблуждавшееся время, как ему, видимо, не по себе, как оно, наверное, по ночам в укромках своих безутешно рыдает, мокря бессильем секунд провременённые насквозь подушки.

Ваше время выглядит сегодня ужасно бледным. Не обследоваться ли ему в срочном порядке?

У него сильное недомогание, в острой форме недержанье кишечных масс. Возможно, с утра оно съело испорченную, тысячеруко захватанную минуту.

Все неудачники процветают.

Все удачники в крайнем упадке.

Захиренье в прогрессирующей форме охеренья, которого многие из нас с такой потаенной надеждой и так упоительно ждали столько впустую длинных, нагло напрасных веков.

В этом человеке ни одно чувство никуда не ведет. А ум всегда ведет в обратном направлении. К чему бы это?

Полный бессмысленности труд он преодолел, ворочая массивными, грубо щелкающими рычага-

ми ума, так что после осуществленья труда смысла стало чуток больше. Он поневоле зауважал свою внутреннюю богатость, которая все время норовила обернуться бессмыслицей, произвести впечатление проказничающей абракадабры, желательнее всего – величественной. Но он строго стоял на страже личных налево змеящих извилин и лезущих вне очереди безотлучно осмыслял кулаками. Порядок наблюдался на всем протяжении мысли полный. Обиженных на всю голову не поступало.

Сколь катастрофично сделалось оттого, что человек добровольно перестал быть тайной. (Вернее, повелением времени из человека тайну убрали, выкинули, а еще вернее будет сказать: поспешно и с мошенничеством большого искусства выкрали, дабы на ее место вправить другие мозги.) Как плоско катастрофично... Как пОшло, как подло трагично... Примитивно вокруг стало эсхатологично: сушь великая, пустошь средь отощавших, тщащихся душ. Как живется, дистрофаны, вам с бестайною чужой? Временем, как океаном, пройдем и не оставим след? Ну, туда вам и дорога. Вы уж больше сюда, пожалуйста, ни ногой. Бесследности и без вас здесь с избытком хватает.

В районе сорока лет (очень недобрая, с колким прищуром глядящая местность!) у меня образовался провал в затяжных несколько лет. Чем я его только не заполнял, не заваливал... Весь мусор из себя повытряс, по отечественной привычке всякой дрянью укрощать любые выемки, впадины, овраги и мимо зевающих царственно урн. Но он так и остался полноценным провалом. Никакого мусора во мне не хватило, чтоб сровнять его с лицем земли.

Я от него быстрей убегу в жизнь поглубже. Чтоб по случайности или неосторожности не сверзиться в этот провал снова.

Вечно этот растяпа шляется, не озаботясь, куда ставить в высшей степени сомнительную ногу... Вечно не туда пропадает. Потом жди его исчезновений, откуда, как водится, и не ждали.

И бреду я вразброд... – так себя потихонечку собираю... В укромочки будущего потаенного все чего-то прибираю да приживляю... Вот осколочек лунного неутоленного света, вот тленное полотнище безумно прошлой газеты, лишь немножко навравшей про нас, потом нас навеки забывшей, вот речки заросшей, постаревшей детский кусочек, вот промельк несказанного чувства (цвета пустырника, местами – беглый закатный оранж), взвившегося в небеса и там неисследимо пропавшего, а этими незабудками и этой клейкой от вечного мая веткой березы я украшу, я склею распавшийся день многолетней давности, который чуть было не состоялся однажды пропащим июнем 2042 года средь одуванчикового ли, тополиного ли – отсюда не видно – пуха моей всесветно распущенной в мир головы... Что-то я сегодня непозволительно далеко в свою жизнь забежал, три раза смерть собственную пересек (зря только ноги небытием загудронил), через пять подозрительно похожих на мою собственность гробов в охоточку и удовольствие, как молодой, резвясь, перепрыгнул... Суметь бы когда хоть разок возвратиться. Неужто не вернусь? И совести хватит?

Пустой словесный дар, вымороченный в суесловье. Единственное его богатство, да и то – видите, какая это бедность.

Язык повсеместного плебса – вот теперь наш национальный язык. Вволюшку трепитесь, утучняя здоровье, по всем направлениям грязи.

Братец-матец стал тотально крепежным веществом улиц, речи, всякого почти человека. Это же ужас чистой воды (она вздрагивает, слыша, как тишина средь кустов выражается) – когда улицам, речи, всякому почти человеку крепиться и обосновываться стало практически больше нечем, ибо мат стал, по сути, нашим национальным хребтом, сравним также по ценности с золотовалютным запасом.

Или то, о чем я сейчас думаю, мозгами вихляя, – тоже призрак? Ах, матушка-перематушка, возроди мне поскорей реальность мутной силой своего влиянья! Сил моих больше нету! – вне крепкого слова без вины виноват получаюсь, как есть пропадаю.

Из насыщающего я имел на сегодня только дивно дальний вид из окна (а остальное, все остальное, как сговорившись, было отнимающим и убавляющим) – сочный, живящий, моментально брызжущий солнечным непредсказуемым соком, когда помимо мысли хрумкнешь им невзначай, под облака от себя возмечтавшись.

Август сказал, языком заплетаясь, чушь уже заметно неся:

– Я кончаюсь, с меня довольно! Надоело мне быть августом вашим! Сколько можно пошло желтеть и мокнуть? Ищите других дураков...

И стал улепетывать спешно, разрастаясь на горизонте в непомерную, даже издали слышно стенающую в скорбях осень. Август стремительно в лицах своих переменился. Никто не успел и оглянуться, как они осенью стали, запрощавшейся с нами мгновенно.

Все хорошее обычно не столько начинается, сколько кончается, – печаль, изнутри подкравшись, мне легонько шепнула, душу погладив, как высокоосуществившегося на свет младенца.

Сколько на ветках позднего августа яблок, выслуживших свою совершенную форму, столько и моих румяных с одного бочка, крепеньких жизней.

Я рассыпчат жизнями, антоновское яблоко. Мне хорошо обитать среди вас накануне осени.

Потом, как в детство, впаду в протяжный сентябрь с его долгорукими далями цепкими.

Но я и в маразме буду пригож, вот увидите. Там, среди юного, легкого на подъем всерассветного заморозка, все-таки не сравнить мой бодрый, свежий упадок с человечьей вашей развалившейся на мертвые куски старостью.

Это говорю вам я, антоновское яблоко, краткое и скоротечное в своих словах. Засим умолкаю, снедаемое бочкотарой, где умокаю в будущую моченость, в приличную рассольную личность. В следующий раз явлюсь к вам в терпко-сладком образе зазимья, едва из погреба только достанусь и на стол добровольным порывом подамся. У меня еще осталось для вас несколько слов, будем надеяться, самых главных. Под шум заоконной метели я поведаю вам тайну своего пребыванья. Хорошо хоть будущее не грозит мне в животе вашем – верю, тракт пищевой будет ко мне доброклонен и лицеприятен, вежлив на сомнительных поворотах. Знаю – он меня в заблужденьи не бросит, доведет, куда душеньке моей возмечталось и сызмальства ей было угодно, куда еще мальчишкой-кисляем я устремлялся, падая по временам с ветки, источенный голубившимися во мне, без ума влюбленными друг в дружку червями... С тем честь имею быть антоновским яблоком средних размеров, так сказать, личностью невыдающейся, общежитейской.

(Антоновское яблоко, будучи прекраснодушным по своей натуре созданьем, сильно заблуждалось относительно будущего, ему выпала обычная судьба, какая всем выпадает после прохождения желудочно-кишечного тракта, вследствие преображения его сомнительной проработкой, грубым перистальтичным воздействием. – Прим. стороннего наблюдателя, которому, несмотря на посторонний характер его присутствия, яблоко только что тюкнуло изо всех радостных живительных сил по макушке, на ветке устав дожидаться благодеяний пустых воздухов. Честь имею быть малость стукнутым. Яблочный ваш всюду спас.)

Какая бдительная странность! 25 августа 2003 года я, будучи ровнехонько 46 лет 11 месяцев от роду, сел подозрительно ранним утром за стол и отбыл, не ожидая того от себя, в неизвестном направлении. Что характерно, даже не выходя из дому; стол не сдвинулся со своего многолетнего стойбища ни на былинку домашнюю. В трезвом, как штык, был я уме и вообще упоительно трезвый – соперничаю что есть сил со стеклышком и с разного рода сверкающими поверхностями, из коих предпочитаю для единоборствования кривляющиеся про меня зеркала: среди них злость меня лучше берет, и мгновенно от бутылки я отсыхаю.

Приметы, конечно, были, ведь я без примет не бываю, если только в самую редкость: перво-наперво какой-никакой рост, приращенный значительно кепкой, затем телосложение, теловычитание, телоумножение также – скучная арифметика плоти; из бросающегося в глаза наподобие родимого пятна у губы иль родовой травмы, – избыточная, порой кощунственная молчаливость, нередко переходящая в откровенную чушь немоты. Ничего особого не наблюдалось. В смысле неотразимых, иногда уголовничающих исподтишка примет.

Закралось сразу подозрение: не отправляюсь ли случаем, в качестве неопровержимого послания, бандеролью на небеса? Заказной или ценной? – въедливый тут сам собой возникает вопрос. Ценной оно, конечно, надежней, но это встанет в кусающуюся копеечку, к тому же помноженную на небеса. С уведомлением ли о благополучном прибытии? И во сколько груз оценить, если вдруг решусь отправлять себя ценной поклажей? Какая сумма попадет в самую точку, не унизив, но и ни на соплю

высокомерную бесценность мою не превысив? Ураганная гибель разрывающих меня на мелкие клочочки вопросов. Даже если бы уцелел, не подавшись в неизвестном направлении и оставшись добивать бестолочь рассвета за не менее благополучно бестолковым столом (отдадим ему должное), – все равно бы погиб от одних этих оползневых вопросов, под обломками и громыханьем которых лишь для приличия гибели, а не ради живота своего я кое-как стенаю, в несколько воплей ужав мой ответ грохотанию мира.

За поимку или удачное обнаружение укрывища ль, схрона ли этого скромного, обаятельного, на редкость смирного трупа без вредных привычек вознаграждение гарантируется. Размер благодарственного гонорара по взаимной договоренности и по предъявлении поимки или прямого наличия все того же застенчивого во всех отношениях мертвеца (это условие обязательно), цена которого, естественно, возрастает по мере нарастания его скромности, заключающейся во все увеличивающейся массе отсутствия, прямо пропорциональной чему-то, несмотря на действующее тут инобытийное искривленье небес и на утрату пространства – гаранта законов.

Впрочем, я не совсем еще умом тронулся, – а точнее, я совсем и не трогался им никуда, мне и так чай рассветный пить хорошо, вне мозгов, на цветущих выселках разума, – чтобы разослать это полное детективных страстей объявление во многие тотчас бы оклеветавшие меня слету, захлебнувшиеся от восторгов несчастий моих газеты. Нет! И еще раз – нет! (2 раза) Только в любимые и избранные печатные органы! Только в любимые и избранные! (2 раза) С любимыми не расставайтесь! (здесь 1 раз, единожды не солгав, и желательно без припева: он может выдать взахлеб обличившие бы меня чужие страсти) Петь нужно медленно, очень медленно, до замирания звука. Следующая остановка – близлежащее сердце.

Мое предназначение?

А вовремя умереть.

Вернее, не умереть без времени.

Только-то и всего? (Эге, ну и плачевная же малость, однако!)

Не качнувшись в сомнениях: да! А чего вы еще-то хотели? Этого и так невпроворот, неосилимо много. Чуть-чуть мне справиться и успеть во всю жизнь. Едва подгадать к своевременному убытию, сиганув в речную посудинку затяжным аморальным полетом, за неименьем убранного уже для лучшего случая трапа. Представляю, какими словами обложит меня Харон за совершенный в обход инструкции полетный демарш, за пренебрежение правилами на водах! От одних этих слов хочется пожить как можно дольше, куда подальше, чтоб оттянуть свидание с Хароновыми устами и встречными их обязательствами.

То, что я пишу усердно, на краю напряженья и сил мучительски издеваясь над этим самым пустяковым и смехотворным Володиным, – сущая выворачивается тягомотина. Звероподобное рвение с медвежьей услугой дарит звероподобные результатищи, недуром ревущие, хоть народ прикрывай – народ, имею в виду, как успешно коммерческое предприятие.

То, что пишет во мне кто-то другой, явно не я, – воздушно, летуче, мне на зависть погулять спешит в небеса.

Как бы уловить этого не себя, выражающего меня точнее себя самого? Как бы мне, черт меня побери, незаметно стать им? Попробую русскую рулетку: коли я – то убит, если не я – значит, жив, выстрел был вхолостую, благодарение скрытному тому, легко отводящему напасти человеку (буду ближе знать, кем быть)... Ё-мое, осечка! Опять ни то, ни се. Ускользнул стервец в промежуток... Теперь попробуем достать его оттуда какой-нибудь всегда нанотехнологичной дубиной. От дубины еще никто не скрывался, на зависть всем другим поискам и пропажам. Ну, здравствуй, великорусская, как давно тебя не было, как остро тебя не хватало, заждалися ведь! Что, дорогая, можно уже понемножечку ухнуть? Сама пойдешь? Ну, ладненько... Проблемка у меня, помогай, прошу неотложного во мне участия: ищу себя в промежутках жутких, давай там скорей восстанем. Я – бесссмысленно, ты – беспощадно, потом наоборот, с последовательностью строгою чередуясь, для тотальности кромешных исканий, для установления самых мелких личностей этого проходимца и их проскоков, для повальных облав на него и самых проникновенных поимок, на молекулярном уровне неотвратимо суровых арестов. Он у нас дождется! Сажать отловленного будем на срок от жизни и больше. И непременно на прежнее место

(так будет всем лучше и вместе с тем – хуже, но заранее не печальтесь, меры примем), за письменный стол, дышащий на ладан, с видом на порожний, неправомерно продленный в даль и валяющийся даром август. И пусть этот стол только заартачится: не того дали ему сидельца, с одним подобным до конца своих дней намаялся досыта, понаслаждался, – и стол мгновенно упечем в вечность, чтоб знал, как вести себя здесь и сейчас в отведенном ему в мгновении месте, а то разбаловался врать в окно наугад про неисчерпаемый и, уж тем более блажь и гиль, бездонный август, херню-то гонит!

Алкоголизм есть поселившееся на пмж в человеке катастрофически чревоугодное, вечно невскормленное земноводное, которое заглатывает его живьем и смачно, в усладу себе переваривает. А сам полеживает, гад, на своеобразном солнышке, и словно дела ему ни до чего нет, словно только и делает он – отсутствует! Полеживает да полеживает, в глуби организма все отдувается, вихри враждебные взметывая, улыбаясь рептильно и не спеша – а куда торопиться? все само собою успеется, – кормясь методично поступающими в перистальтику остатками паразитированного им человечинки.

Это он так заморил червячка, называется. Гад! Гад!

Вилкой после закуски постараюсь исковырять его в себе до пфыкающих да пукающих в нем отходняком рваных, приветливо зияющих дыр. То-то он сдуется, схлопнется в себе самом, вялой шкурой напрасно шурша и виясь, бесталанно ею близ земли поволакивая! Так и сражу наповал свой личный алкоголизм. Буду пить без помощи земноводного, всухую.

Человек стертого ядра личности.

– Простите, а вы кто будете? Мне никак не удается попасть в вас даже убийственным взглядом.

Пришла внезапно, своей нежданностью одарив, дорогая гостья, комнату и меня осияла; одна она солнечно так умеет. Ее приход застал меня на полуслове. Я сказал:

– Займи, пожалуйста, себя чем-нибудь ненадолго. Я только мысль завершу. Чтоб окончательно не пропала.

Когда я кончил записывать (приписками собственной личности занимался), любимая с любимой улыбкой проговорила:

– Какая длинная у тебя мысль, однако! На целых двадцать минут протяжением. Таких мыслей, наверно, не бывает. Это, скорей всего, и не мысль была, а что-то другое длинное, какая-то немыслимая невероятность...

– Мысль. Мысль это была, уж точно. Не длинная, а ветвистая. Ее ни с чем не перепутаешь, – сказал, улыбнувшись на так тепло и ясно понятное мне в ней, осиянной. – Длиной у меня мысли, к сожалению, в одно мгновение, но ветвятся, ветвятся, не остановить, не угнаться – живой непознанный куст перед тобой вырастает...

Ветвистость, оказывается, и есть их настоящая, не призрачная длина, которую не пробежать одним прямолобым мгновением. Даже и жизнью целой не пробежать. Как хотя бы приблизиться к нестерпимо слепящему тому деревцу, до сих пор осиянному присутствием родной, несказанной моей женщины? Я не заметил, как она тихо ушла... С горечью запоздалой теперь понимаю, как незаметно я не заметил... Ветвился... Но разве ж куда я пророс, во что-нибудь вырос? Нет, ничего этого не произошло, я растился впустую. Прорепетируем заново твой неповторимый приход. Любимая, заходи же скорей, можно теперь и не стучась! О эта робкая музыка недопришедших твоих каблучков, затеявших веселую болтовню с моей онемевшею было прихожей! На этот раз ты застала меня на четвертьслове... Н-да, ситуация резко мельчает, сдвигается в сторону очевидных пропаж... Упустить всё становится проще и легче... Ты, любимая, уж не уходи, на чуток задержись, отчуждая обиды мной творимого уединенья. Побудь тут для верности ясной константой. Что-то в слове сегодня я распадаюсь и весь теряюсь... Ты меня как-нибудь придержи, не пускай дальше в слово... Я с твоей осенью нахолодавшей, шепчущей молчаньем ладони перейду в этот мир. Будем слушать вместе вечер, осенним пронизанный дивом и мукой моего так-таки убежавшего от меня взгляда. Погнался, видимо, по следам слов, давно миновавших наш вечер. Отчего не согревается твоя ладонь, зачем по-прежнему она непоправимо прохладна? Впрочем, и самой тебя давно нет, горстку целую десятилетий, так и недопришедших сюда... Ты была ль? Я ли был? Вдрызг я, кажется, изветвился, разлетелся в никуда... Но как чудно, с каким вознесеньем надежд нераздвоенная наша мысль до сих пор еще начинается в юности, лишь чуть-чуть заветвясь! Посмотри же! Скорей посмотри!

С чего вы взяли, будто я посредственно отношусь к женщинам? Нет, это все только мысль, сбежавшая от ума. Эк ты, матушка мысль, женски глубоко хватила да приударила! зарываешься уже, матушка мысль, пользуясь мягким, податливым и беззащитно нежным! нехорошо, нехорошо, подруга моя – мысль, употреблять в своих целях слабость чужую и позволительность! Так ее поукоряю, она и пропадет сама собою, залившись потоками едкой, угарной совести и румянцем имманентной стыдливости. И не просто странноватая бывает эта самая описываемая нами мысль, а зачастую и премного шальная, если не прямо залетная, с еще горяченьких и вкусненьких разумом чужих мозгов.

У меня мыслей о женщинах ужасно на любой вкус много, даже лишнего, пожалуй, из фонтанов моих биёт и витает, ибо изобильной частью они шляются уже, горланя невпопад и напролом, в области несколько дурноватой, хоть и подчеркнуто сексапильной, а это многое сразу прощает и послабляет, дачную дает мне амнистию. Одно сногсшибательное количество мыслей указывает на то, что я по отношению к нашим вторым половинам очень неровно и прелестно дышу. Откуда же взяться тоннам сим напложенного разума, как не от прелести. Насильно, мил человек, и на килограмм сухощавый не надумаешься. Любовь все, любовь. Любовью думаю, любовью их воздушную прелесть прозрачно итожу. Нередко и любовь, чтобы не пускать дело на самотек, заломив мне незримую миру конечность, мною массово и с пристрастием думает о ком-то из них. Всяко бывает. Жизнь – довольно кривая штуковина. То ты ее, то она тебя, и неизвестно, что это за широкозахватное отношение, в котором вы с жизнью как бы в полубраке состоите, не из неприличий ли одних ткется оно.

Я весь дышу пристрастием к женщинам. Весь только и состою из вздохов и не менее редких выдохов (не забываю, чтоб по числу совпало, дабы не быть уличенным в подлоге чувства) по отношению к ним, половинам заветным. Разве всякая другая любовь может быть сильней и наглядней? Не дрогнув сомнением, пылко скажу: не может! никоим образом ничего другого быть тут не может! И, не менее (а все более) пылкий, чувствительно взвинченным сердцем добавлю: тому не бывать, даже если тому бывать очень и очень возможно!

Разве я не доказал, что достаточно одного самого легкого повода женщины, какой-нибудь ее щекотливой пылинки или слабого дуновения далекого пола, чтоб я тотчас бы не сказал: просто от вас умираю! Я, простите уж, самым обворожительным образом не могу не умереть. Тем и счастлив нередко помимо себя бываю, хоть и не ведаю, что делаю это (т. е. счастливлюсь) помимо себя. Вот до каких потерь себя доводит любовь, а вы еще что-то рептильное про нее несете, даже когда навскидку молчите! Ведь ничего в мире лучше нет, говорят, массовых потерь себя: сбрасывается все излишнее, шлаки. Вы случайно по делу о моем убийстве не проходили? Ну так пройдите, пожалуйста. Не ошибетесь. Вам, надеюсь, в ту как раз сторону. Будем на многие лета в попутчиках.

Настолько отвык от легкости, что даже если физически чувствую себя очень легко, внутренне просторно, то машинально выкуриваю одну сигарету за другой, чтобы хоть так, полуосознанно, обрести прежнюю тяжесть, спасительно улегшуюся во всем нежащемся в тягомотине теле.

Привык за жизнь обрастать и прирастать тяжестью. Без нее – никуда и никто я. Не ощущаю себя свойским человеком, если не тяжек и не обузен, не стопудовен. Она и есть моя суть и моя натура – милая тяжесть, без которой давно б улетел вверх тормашками в тартарары сквозь лишенную трения и невесомую, до невозможности легкую землю, ничего-ничего не умеющую удержать, кроме напрасных, напрасных, напрасных своих мертвецов, которые лучше бы и не умирали...

Кундера: русские писатели слишком увязают в чувствах. А я-то при езде в незнаемое все убивался в шибком непонимании, коря себя в непревзойденной узости и прочих подлитературных грехах: и отчего ж Кундера, чтоб меня расшибло, так мало всё интересен, так блекло всё выразителен, нероскошен? нет, это с моей подловатой в некоторых отношениях головой (только дай ей куда-нибудь поотноситься) сущий происходит непорядок и кавардак! – Да ни в чем наш новый, на старости лет, француз особенно мощно-то не увязает, меж тем пребывая Стендалем в новейших – по последним новостям – умах, современным Стендалем, которого несут интеллектуально развинченной немного походкой с базара. То-то этого нынешнего Стендаля, кундер его в бок, читать замечательно скучно! Кажется, все до него вдоль-поперек и высОко поверх того уж написано. И, представьте весь ужас происходящего, скажу совершенно кощунственное, – в русской зарывающейся и зарвавшейся прозе, которой недалеко, ох как недалеко дочиста и завраться.

Невыносимая все-таки легкость-то бытия, скромное ты обаяние буржуазии! Представьте себе – опять же непременно до ужаса, чтоб мало не показалось, – буржуазно принастроенного Достоевского и капиталистически устремленного в прекрасный и яростный мир, капиталутонченного Платонова... до какого бы безобразия укатилась русская литература, докуда бы, обывательства полная, приударила вскачь, нам ее бы и не найти.

Вот потому-то у чехов и нет, как-то все не бывает великонькой литературы – в чувствах плохо увязают, чувствами не слишком затронуты и не утоплены: не смеют смело, с отвагой тонуть; не захлебнуться смертопрекрасно эмоциями никогда. А Я. Гашек прозябает на сельском кладбище – *он высмеял чеха* (здесь цитирую не помню кого), чехом считается чохом, за это ему и воздалось всенародно, и перепало, он недостоин продолжать помирать средь столицы, пусть себе длит издыхание под жандармским надзором похрюкивающей рядом чужбины. (Плосковатого и анекдотического Швейка я тоже не очень-то в себе привечаю и, так сказать, перевариваю, чаще всего книгу проглатывая; но тем не менее, тем не менее... особенно когда тем не более.)

Среди современной роскошно цветущей, как нигде, русской литературы Кундера – писатель уже притемненного ряда... позаботимся, чтоб ему чувствительно дальше было видать, а то далекая Франция, видно, смотреть мешает. Где-то рядом с великой и ужасной Улицкой посиживает (не переполошился бы в темноте соседством) или с несчастно устроившимся в лит-ре городом К. на реке Е., уверенно впадающей всякий раз не туда, промахиваясь океаном. Писатели это все европейского уровня, Кундера ничуть нашей дачной прозы не хуже, ни в чем не уступит, свое не отдаст, не на того напали – он прилично крупный, достойный певец среднезападных, обывательствующих лишь слегка ценностей. О бреде каком они там в темноте трубадурят, чего в душных сумраках мира для нас насумерничают? Ждем-пождем. Ну а вдруг на ночь глядя придет загулявшее и совершенно отвязанное откровение, расколошматит на год условно последние окна?.. О, не приведи, Господи... Пожалуйста, не приведи. К черту такие шальные, припадочные подарочки! Спрячемся лучше с Кундерой, раскрытым посередине или чуть далее, под благословенное одеяло, оно нас спасет, должно непременно спасти. Пусть только попробует в спасениях отказать, помочами побрезговать! – сверхэмоциональными ножками в протестах требовательности засучим мы как никогда и нигде! Где наша ни пропадала! – усилим уж циркуляцию незримой крови сего подзастоявшегося мира! То-то кровушка мира сконфузится да о лучшем своем применении, может быть, призадумается. Хватит ей не туда дремать.

Симулякр

А писать толком не смыслите, вот и умысливаете, вот и выпендюриваете всяческие уловки, граждане бледнокровные симулякры! Каково вам симули/к/ровать свою шитую белыми нитками состоятельность, полноценность? КАково? Легко ли быть симулякром теоретически, а также реально, в условиях потекшего из всех углов глобального кризиса, добротно развившего свои бесподобные челюсти?

Вот лярва-то какая заразная, бедственный ты наш, коллективно ушибленный разумом симулякр! И что это за зверь мясистый такой, с чем его заматерелые в терниях феминистки едят, с каким фуражом уминают отпетые суфражистки, с чем – визажисты, консьержки и просто рядовые самбисты, с кем сидит он один на один, когда некуда страшно идти? Загадки всё века.

Поставить бы тебе, бедному негодяю, памятник, да кто ж знает, что ты такое... Какому образу и подобию гипотетично вскочившему памятнику следовало бы подражать? Кого каменно и патетично ему из себя расшибительно изображать? Я бы этого симулякра высек только за то, что он с будущими памятниками дурно так, непочтительно обращается, водит их за нос, за все остальное, для цапу и хватки неподобающее. Очень плохо себя с ними ведет. Никого это не красит, пусть и действует исподтишка тут один исключительно симулякр. Вот делов натворил, беспредельный смутьян! Целый мир нам вернул побледневшим, измордованным и вне себя... И куда помордованный мир теперь тронется, куда, с затрудненьем скрипучим подумав, направится, к кому попросится переночевать? А вдруг никогошеньки не осталось, у кого можно испросить ночевку? Ведь давно вокруг расстилается не то ночь, не то сплошь беда, сколь нищая, столь и отощавшая. Ты бы спас нас как-нибудь на досуге, дорогой симулякр, а то что-то сумнительно и смутительно, что-то мира опять нет нигде, здравствуй, тетенька

грусть беспросторная, чем сегодня ты мощно и грезоподобно попотчуешь, с кем сведешь по уму ли, с ума ль?

Да здравствует благополучно мертвенький извеку постмодернизм с его дорогими покойниками! В число которых с прискорбием вынуждены включить богов его, авторов и многоуровневых героев... Казнь получилась у постмодернюги массовой, почти что парадной... А птичку жалко. Она летела мимо и невзначай попала на этот парад лощеных и сытых смертей. Пропала птичечка средь хлама смерти. И где нам взять живую песню?

«Мир есть только заговор негодяев против честных людей». Не помню, откуда это взялось. Но точно уж вылетело не из моей головы, даром что она непутевая. Голову мою давно не находили в первоисточниках. Этот аргумент всегда на моей стороне страдательного причастия прошедшего времени. Пусть это будет мне заодно и алиби, а то напрасно валяющиеся головы попахивают криминалом, кроме, естественно, натуральных амбре. И привлекут меня за мою же собственную не на месте свалившуюся голову. Ну ее. Пусть сколько влезет себе валяется подалее от меня. Если что, скажу – не моя, знать ничего не знаю, отродясь такого безобразия не видывал и не одобряю. Если вдруг ее начнут обнаруживать, с другой стороны обнаруживая меня под нее, кремнисто скажу, отречения полный: все равно не моя, всесторонне на этом настаиваю; такая голова в моей практике не попадалась, прекратите немедленно темные ваши дела, не то до конца повести буду на вас жаловаться и таскать по судам! Пусть потом доказывают что угодно, но принадлежность меня моей голове ни за что не докажут, даю голову на отсечение, будь оно хоть и всемирное.

Жаждаю истинной, а не измысленной множеством других свободы, напложенной праздным умом. Их свобода – это, как правило, верная моя неволя. То, что они под свободою разумеют, не годится мне для вольного обихода, для превозмогания и укрощения рабовладельческих дней. От их скучной (и ужасно тучной), насквозь опошленной ими свободы я непременно уж сатанею. И становлюсь неприятно себе измертвлен.

Немедленно уберите вашу мертвецкую, смердящую глубоко в мои дни бессвободу, иначе по-нехорошему зашумлю! И нарушу своим нервно-паралитическим гамом какой-нибудь стройный хор мира.

Но этим их не проймешь. Для них и какой-нибудь стройный хор мира – бред собачий, собачьего же пошиба гулящая свадьба. Присоединиться, что ль, к ней да вволю погавкать, стать свободным хотя бы на протяжении псового грая... Гав-гав-гав, гав-гав-гав. Ничего, получается. Быть свободным я, похоже, умею. Пусть собачьей свободкой пока. Ну так что ж, – век за веком мало-помалу эволюционирую, подтянусь от сугубо собачьего до демократичных высот, поскольку иного способа достижения личных свобод что-то не предвидится даже и в антиближайшем, глубоко-глубоко не моем будущем. Но чье оно будет, уже сейчас отприватизированное у меня? Ведь чьим-то оно в конце концов станет, ничейности убежав, будущими просто так не разбрасываются. В хорошем обществе это не принято.

Кто тот рейдер, кто собаку на моем захвате съел? Не моя ль то была собачечка, мирно во мне подремливающая? И последнюю псину, сучье отродье, отняли во мне, с корнем подсознательным выдрали... Чем теперь я, падкий на стремленье вперед, весь футурумный такой, буду эв-люць-онировать? Не попробовать ли издыханием? Силы в нем заложены небывалые, удаль немереная, молодецкая, так как вокруг расстилается земля русская, необъятная... Надоело ей, видать, обнимать... Одной побыть хочется. Как я понимаю ее, как ей безгранично сочувствую! – земляки мы с ней по основополагающим отвержениям и неприятиям, по прочим с визгом рвущимся из-под ног, словно наступленное порося, коренным и даже инородным эмоциям. Эх, вот бы всю жизнь так... Лучшей судьбы и не придумаешь: песнь судьбы под простыми ногами, не заслуживающими и похабных частушек!

А встречались ли вы с безысходностью, знаете ли, что это такое, когда из мест личного заключения никуда невозможно уехать – на всю перспективу жизни, на всю оставшуюся нежизнь, на ничем не растрачиваемое никогда?

Знаете, что такое тюрьма в отдельно взятом, неизбывном по гроб жизни месте – по причине абсолютной, беспродыхной невозможности покинуть его, выбраться оттуда, хоть бы и куда глаза не глядели, на пару проезжих недель?

Лучше бы вам этого не знать. Да только вы знаете, вынуждены знать. Вся почти Россия, вся без

уклона и без остатка эту тюрьму знает, на себе методично опробывает доморощенными изощреньями. Вся глубинная Россия – невыездная, сторожко стережет свое гибельное выживание. (Вот где настоящие-то сидельцы бытуют – во глубине России!) За исключением, может быть, нескольких как бы сиждущих ныне, бывших разъездными в особо крупных размерах финансов, которые после всех тюрем народов знают великолепно, куда убыть, чтобы потом опять с пронзительной силой заняться неотъемлемо им присущей благотворительностью и широко образующими все вокруг образовательными программами. У них все, конечно, получится, все получится у них конечно. Иначе ведь никак нельзя. Иначе и быть не может, для того и складывался новый порядок вещей. А если не будет быть, посадим. Не может сидеть – научим, сам посидеть захочет, будет нудно проситься, канючить, дела позабросив: возьмите меня в камеру! ну возьмите же, я вам еще пригожусь! Освежевательностью ветра перемен так вдруг и повеяло, воссияло прямо подшкурно. Обнаружим себя не далее как к утру, похоже, мертвецки новыми. Да здравствуют из чувства бережности неупомянутые здесь товарищи по сидельным несчастьям моим – олигархи, собратья по местам задним, от каторг мозольным.

Некорректно быть бездарными – против природы это человеческой и в гуманистическую ей обиду, наносит природе величественную, долго не заживающую, истлевающую в обидах пощечину.

Остальное все корректно, даже и сапоги всмятку, штаны через голову (это почти святое), не говоря о затронутости чьих-то суперсверхнеприкосновенных, прибереженных, видимо, для какого-то сразу сакрального воровства фамилий, а также о запретности тем при потере себя в острой форме на тушении мирового пожара в крови. Господи, не столько благослови, сколько, конечно уж, пронеси...

Я нашел способ жить в мертвом пространстве окололюдей: не дышать. Просто впитывать этот непродышиваемый многоугольный воздух острым пытливым глазком, не подавая иных, разоблачивших бы признаков жизни. Сохранность тебе обеспечена будет полная. Полнее, чем если бы ты дерзал существовать дышливыми видами пренатурального чуйствования.

Итак, я нашел способ существования в безвоздушном пространстве, причем в неизбежной, привычной, как шуба, форме существования белковых тел, многими нами столь пылко и широко любимой! Теперь дайте мне кровную мою премию (имейте же совесть! – полагается за сверхурочное), на которую я обычно не распространяюсь из прижимистого чувства собственности. Премия моя пропыленная, изрядно засморканная лежит на верху книжной полки. Хоть с устатку ею утрусь. Ну дайте же, хоть мое-то не зажиливайте так откровенно. Вот жмоты! Опять плоды, поты и крови трудов своих, выступившие по всему телу в изобильнейшем беспорядке, черт просто ахнет зверски, – опять все свое достояние вытирай половой ухмыляющейся про меня тряпкой. А вон и на полу целая лужа, в прихожке какие-то мокрые кости в деталях валяются, не расчлененка ли? Эх, везде набрызгал, все собою вокруг надрызгал! Не-е, друг изобильный, это с тебя теперь ой еще как причитается. На этот раз тебе не расплатиться. Ты поставлен на счетчик. Та-ак... И взвешен ты на весах... В кильке толков и то больше, а крику-то, крику было! И какую недвижимость в нем описывать будем? Штаны! Опишем его штаны! Я помогу вам их описать: они были пожилые штаны; исподтишка всегда мятые и угрюмые, словно с вечного перепою, вдоль моих ног со звероватым видом стояли, и до чего же скверного были они характера... Наверняка уж ввек тогда от меня отстанут.

Я не сдамся конечно же нет. (Знаки препинания расставить приблизительно как в любимейшей фразе отечественного, ровно война, народа: казнить нельзя помиловать.) Верней, хрен я сдамся. А если быть совсем точным, до предела точности, а точней, до точноты тошной предела: на хрен оно мне это сдалось – сдаваться. Значит, сдаемся, коли сдаться по-хорошему никак иначе не получается, самому натуральному хрену, растущему пышнолико на огороде, а не разным косящим под всякую хреновину подделкам, проделкам. (Вы успели обратить внимание? – хрен исподтишка вылез в главные герои моего заштатного повествования, оттер настоящих, сокологрудых героев! Только этого, конечно, и не хватало, к бесам горлодера такого! Но что поделать? – он в нас неумолимо пророс, пустил едкие свои ответвления, шаловливые, втайне нежащие, прямо общеловывающие душу метастазики.) Ну, встречай, герр хрен, в широколиственные свои раззелены объятья, пришел в плен к тебе сдаваться с поклоном, надеюсь, без концлагеря обойдемся сегодня? Или опять как получится, как уж начнется, хотели как лучше, а выкукишили и нахреначили как всегда? Да что ты говоришь?! Быть того не может,

ушам родимым не верю! Вот и вправду ты редьки не слаще, не зря молва ползет о тебе лихая. Чудные дела творятся на свете Твоем, Господи! Так поневоле и свободным станешь, хочешь не хочешь. Да пропади ты, так и скажешь себе легонько, пренатуральнейшим самым пропадом, глаза бы мои тебя никогда не видывали, под шкурой и под предлогом меня никого не обнаруживали, персоны во мне никакой не знали! На том и пропадем, исполненные бескрайней свободы, пышущей счастьем просторов, их извивами и многоцветьем в ассортименте довольно широком, какого нет и в неверкинском круглые сутки зевающем к вашим услугам ларьке. Так и быть, что-нибудь, взбарахляясь, прикупим, чтобы оживлялась в здешних краях бойкость сухощавой торговли! Мне, пожалуйста, один презерватив на развес, для усугубления населения. А что, они и с усиками бывают? Для меня это изумительно! Это открытие сотрясает мои основы! Ишь, тараканы какие... И ползают? И далеко?

И куда, спросить бы себя по-хорошему, я попру сей гондон в рамках отдельно взятой свободы? Куда с ним наперевес, на какие обезумевшие от оргазмов редуты? Это равносильно в моем случае смерти – я ведь еще не безумство храбрых. Поторопился торговлю осуществить, сгоряча ее не так реанимировал, на свет белый извлек... Лучше бы четвертинку, дурак, взял нарасхват, – хоть бы на два-три коротких глотка изнутри стал прекрасно, неповторимо свободен... Вот сбивает нахальный маркетинг меня с направления должного! Вот всучает неверную мне на всем протяженьи дорожку, презирающую очень заметно и криво меня... Ну, куда-нибудь все равно себя сбуду, не лежать же на неприкосновенного запаса заветных складах все вернее, увереннее, все изрядней и натуральней подпорченным. Это надо ж до наглости такой докатиться, в кои-то веки дорваться! И куда отходняк свой потом будешь сбрасывать, личное нетто по ночам украдкой истаскивая? Не найдешь ведь такой свалки, которая не отреклась бы наотшиб от тебя. Ссыплю остатки свои прихотливые в мой любимый и всегда добросклонный ко мне овраг. Пусть мой глинистый друг побережет меня до поры, до времени и так далее, но не далее, чем во веки веков: будет пусто так длинно лежать... Хоть бы время, что ль, скорей наступало, сколько еще веков осталось ждать до него? Сказано же: времени не будет. Вот оно и есть что ни на есть – не будет. Ох, как мы такого поворота событий не ждали, как умертвительно крепко не ждали, как жадно ни сном и ни духом не ведали! А вы говорите: еще не рассвет... Он давно уже был, много множенек раз на веку нашем перебывал, вот его-то мы и не приметили, зазевали... Струит сейчас многолюдный, лишь чуть пасмурный день, правда, не того самого, а другого какого-то и, скорее всего, нездешнего дня... Как не по-нашенски обратиться к нему с приветом, рассказать неразумному, что такое есть солнце и как оно чудом встало? Как это сделать не по-людски, чтоб по адресу точно дошло?

Разбор полетов, выводы, частные определения: надо иногда сооружать на свою голову специально устроенное хорошенькое несчастье (компактное, работающее желательно на микропроцессорах), чтобы все было отлично и замечательно. И дело здесь вовсе не в иммунитете против всякого рода бед, а в оздоровительной и отчасти возвышающей силе несчастья. Лучше не сходить в аквапарк, не смотаться на голубые веселящие воды, а побыть наедине с собой убийственно разнесчастным, вообразив, например, будто сосед-отставник бодро въехал на «Запорожце» в вашу машину, раздавив попутно и ваше с тех пор умершее безнадежно сердце, – все как рукой у вас моментально снимет, а бицепсы бестренажерно, сами собой, силой истины личной упруго надуются в оздоровительное положение и еще кожи запросят, как для собственного могутного расширения, так и для более тесных самоличных ваших знакомств, чтобы сделать кое-кого отставником побольше, поотставнее. Ни бассейна, ни тренажера даром не надо... да и соседа такого теперь и на дух не перенести: духом его отныне и на три сантиметра никуда не сволочишь, противно к нему притронуться, а шибануть все-таки придется, чтоб зря виденьями твоих катастроф не баловался. Плюс сэкономленная машина, на самом деле – не разбитая, невозможно целехонькая (блистающая даже большей реальностью, чем была она до реальности изгубления). Но это уже в качестве приза, неизвестно еще, выиграете ли реально. Тут пятьдесят примерно на пятьдесят, но может с шансами обстановочка быть и значительно лучше, в зависимости от конкретного состояния на данный момент вашего несчастья, начинающего кой-чего понимать и просекать отдельные утончившиеся заметно детали.

Обращаются к камню всегда одинаково.

Надо набрать воду из ближайшего водоема, облить камень, собрать стекающую воду и полить ею

страдающего. При этом говорят: «Стану я, Валера, благословясь, пойду к синей реке. На синей реке, на крутой горе лежит бел-горюч камень Алатырь. Как скатилась с тела белого студеная водица, так отпрянь от Валеры родимая огневица с буйной головушки, с ясных очей, с черных бровей, с белого тельца, с ретивого сердца... С ветру пришла – на ветер пойди, с воды пришла – на воду пойди, с лесу пришла – на лес пойди. Отныне и до века». Старое белье надо снять и надеть все новое.

Спер из клочочка пробульварной какой-то газеты; но почему, вопрос горячит и горчит, там писано черным по белому про меня, да еще и с разоблачающими втайне и обличающими явно рисунками, с неясными знаками других укоров, с мясным набором (хорошо хоть – без видимых наружно костей) отборных и превосходящих диких титек диких тетек, своими дулами расстрельно выманивающих меня из спокойного моего обывательства, из мирного, но уже поставленного на грань срыва сосуществования с самим собой и краткого, отдышливого перемирия с тем же самым, будь он неладен (так и хочется от упраздняющих путем казни феминистических дул кинуться под защиту каких-нибудь крестоносцев или рыцарей, в бой ходивших свиньей; мыслится также и дружинку варягов привести на княжение целой безженственной совершенно дивизией), с анекдотами в конце номера со сплошными изъятьями – буквально рваными живыми кусками – из жизни моей и без того ободранной, уже боков никаких на ней нету, непосредственно сразу увеличенная богато печень и скукоженный до мрачного состояния детской писюльки желудок прощупываются... Или это я сам, по забывчивости себя, походя того шального Валеру в клочочек вставил? По желтой прессе стали белое тельце мое таскать! Куда ж ты смотришь, родимая огневица с буйной головушки? Прямо смотри, взоры свои и ретивого сердца оглядки в сторону не уводи. Не дело это потому что. Иначе испишут этого самого приблудного Валеру всего и насквозь в бульварном синем порядке, так что и мне прилично достанется, рикошетом от имени. Вот тогда-то и станешь, благословясь. Очень даже легко и быстренько станешь, не денешься уж, милок бел-горюч, никуда, не отвильнешь в слишком легкую для тебя и спасительную в основных небываньях своих пропажу!

Литературу превратили просто в слова. В сор около людей, который может быть и немного красивым – но сор это, чисто сор. Какая-де разница, кто их произносит и по какому поводу, эти самые слова. Ну поговорят, помусолят, делов-то куча... Невелика беда. Невысока стезя. Смехотворна потеря – которая, как обнаруживается, и не потеря, а так, варежка пропала. Туда ей и дорога, не о том, значит, блажила. Во благо народное она плодотворно заткнулась.

Подразумевается, что зрелой силы и тончайшего действия слова способен произнести теперь любой любитель. Кому только не лень брякнуть сдуру иль примерещилось. Будь он хоть трубадурствующей из телевизора страшно окультуренной головой. Креатив безудержно полыхает средь даровитого сплошь и наотмашь населения, остановить баловство креатива некому, так как одними пожарными здесь не управишься, не отделаешься, надо какие-то еще утушающие, глобально величественные насосы, которые есть неизвестно что и когда.

Тайну сперла у слова, выкрала шваль человеческая и перепрятала ее в глухом, недоступном месте: рассеяла в толпе. А толпу ярко, крикливо выставила напоказ – чтобы буйно сбивала еще больше с толку. Свинья не съест, толпа не выдаст.

Толпа – самое виртуальное явление последнего века. Интернет перед толпой отдыхает, скучая заметно по отдельному умному человеку, который бродит часто где-то не здесь и не там. Что не скроешь в интернете, отлично можно прятать в разбродной и мельтешащей среде людишек – спрятать не промахнешься. Это вселенское убежище, лучшей затерянности на Земле нигде не найти. А по некоторым особо важным параметрам эта юркая виртуашка – качественнее и замечательнее самой образцовой смерти, которая недаром на миру становится красна. От стыда, наверно, за собственное несовершенство. Ну, так тебе и надо, пунцовей дальше, если в конкуренции слаба, в маркетинге никудышна, тонка кишкой и трепещешь в коленках. Худшего качества, короче, и не придумать. От поставок такого товара мы отказываемся: он по внешности несбываем. Ищите дураков в другом месте. Мы вам не толпа.

Нет, увы, она не по-настоящему, не *задворками* души добра, не предпредельными ее потрохами. Все чудятся в ней какие-то недобро формализованные, автоматичные чувства, возможно, не чувствуемые отчетливо и ею самой. Этакие стройненькие, предприимчивые призрачки подлинного недобра, изящно занявшего ее преисподнюю сущность. Но внешне она во всем старается быть приязненно *люд-*

на и неизменно стремится стать в этом заметной, общеодобренной. (Четко, даже жестковато неотступно ведет она линию добра, но как-то произвольно, рассеяньем равнодушья пущена та линия, которая и не помнит, где начиналась, не знает – длиться чем и зачем.) И то усилие прекрасного поступка, та натужка благодеяния заметны слишком. Все как бы несомненно для нее сущностно добротное совершается ею будто переступая через себя, балансируя на грани торга, враждуя с собой и беря волевым усилием каждую непокорную и неприступную частичку себя – и точно оставляя после шествования своего добра территории, где остались лишь обугленные похождения огня и меча, тупые блужданья орала...

На этой войне не ждите меня в мародерах. Я там тоже где-то осилю погибнуть. Ищите на пепелищах. Последнее время я средь пеплов обычно бываю, сутками напролет пропадаю, по-видимому, трудоголю. У призраков нынче такая работа. Жить-то ведь чем-то надо. Да и питаться совсем бы не помешало. На любую призрачную работенку кинешься, как на добычу, по ошибке еды жадно рвя ее на сколь уместные во рту сладкие части и возможно большими кусками заглатывая, трудовой утираясь книжкой вместо носового платочка (просим поотвращаться; итак, полюбуйтесь со знаком минус, до чего довела жизнь трудягу, перепутал работу с закуской, утирку с подтеркой, а себя – с собою, что практически вообще невозможно! скоро водку начнет разливать в рюмашки в виде божьего дара, а это распоследнее дело, там уже рукой подать до печали, долился чего ни попадя куда не след, бродяга!). Эх, костистая попалась работа... Опять подавился не тем горлом... А так хочется служивых лакомств! Вот полакомлюсь слегка писанинкой, пусть и замороженной, с явно утерянным сроком годности... Не из Америки ли мне ее наслали в одном ящике с ножками Буша? Ну, попишу – узнаю. Так как поживем – увидим. До скорого, кажется, несвиданья, до самых бурных и непроникновенных невстреч. Неужто не обнимаю – развоплощаю? Наверное, было бы так, если б не мой истишка посылаемый вам горячий, просто нестерпимо пылкий всем неостывающим прежним привет. (Что за такое се ползающее тут между срок «истишка»? – это значит скорей всего: сердце; в словарь чувств, раскундер иху мать, уэльбек их отца, вечерком заглянем, когда никого не будет и никто не увидит, лучше под одеялом, с зажмуренными от себя на множество лет глазами.) Может, выдать его, приветец-то, на расправу скорым на досуг пожарным, чтобы ощутимо урезать количество полыханий на душу и без того полуистлевшего населения, снизить уровень как пылающего, так и огневого потребления, не обеспеченного запасом пожаров, и вынудить жизнь наконец-то жить по законно прижитым, от всего сердца зажегшимся средствам?

...А вот нечего было душой трепыхаться, сверкать, как голизной родимою ныне! Досверкались! Доблагодушествовали! – на коптилку малую нет теперь крохотки света... Где ты, мое редкое солнце, зачем от людей и от чувств их потемневших отъялось? Каким вселенским ау до тебя дотянуться? Ау, мое бедное, мое бледное, ослепленное солнце, ау на посошок... и стременную тож от меня, пожалуйста, не уклоняйте (ну, чтоб как аукнулось, так и откликнулось, братцы-соколики и не меньшие братья наши – алкоголики!)... скакать куда-то ж надо, волей-неволей придется, чего ужом приплюснутым, непродвинутым сидеть на вплотную пригревшейся к тебе и мало-помалу без едока тебя жрущей, без ножа режущей сковородке... Да и не выливать же, пользуясь одним голым разумом, в раковину такое добро, добытое шпионским сотрудничеством со мной моего интеллекта, который вместе с теплейшим сочувствием выражает огромное мне, укрепляющее взамен живых чувств соболезнование. Так что не грех на посошок повторить и еще посошок, для углубления в себе твердости проходимого и пройденного материала, – и сразу резко потом не обидеть и стременную, нельзя никогда этого делать – стременную обижать забыванием, во избежание зыбкости и неверности мнемопроцесса. Пусть они будут настолько во мне наизусть, что и ночью меня разбуди, из гроба ли подними для повальных проверок, из мглы ли какой беспробудной для тотальных обысков моих знаний, отвечать смогу что посошком, что стременною как на духу, так четко и ясно, настолько не перевирая сложный текст ни на бульк, что заученная эта глубже моего существа текстура только от зубов будет блестяще отскакивать! И подвернувшийся откуда-то препод (как с небес он упал!) ясным по ясному, светлым по светлому скажет: ну просто молодец! выше, чем на пять с пребольшим плюсом! на золотую медаль будешь тянуть? а-а... кажется, уже тянешь... А я это, грешник, любил всегда – то есть когда меня хвалят, то есть, вернее, когда еще в бытность мою при жизни хвалили. За такие вещи могу не только горы свернуть, но и небеса обустроить ли, переустроить ли – все тогда будет едино, трем женщинам одновременно в трех жизнях

подряд достойное материальное существование обеспечить. Но если уже больше, – вряд ли осилю, тут надо привлекать кого-то другого, примерно на два десятка порядков более способного, умственно крепкого и разворотливого. Буду тогда лучше иметь дело со скромным преобразованием или тихим текущим ремонтом небес. С ними уж буду потихонечку, в усладу себе копошиться, там заляпаю, здесь подмажу, вместо ярко и очень полно зияющей до сих пор своим отсутствием на земле моей редкоземельной дачи. Все вот не успокоится никак дачечка! А ведь давно бы пора. И чего ей ни свет ни заря все неймется?! Небесное мое терпение тоже не бесконечно. Могу очень быстро не утерпеть и возвратиться, чтобы на месте проверить, как обстоят в действительности дела, да и дела ли это вообще таким заревом полыхают оттуда. Ну, на пленэре разберемся, будем действовать по обстоятельствам, не избегая вовсе и обстановки – тоже не последнее она дело, учитывать при больших предприятиях возвращенческих поступков нужно каждую мелочь, иначе грехов потом, как репьев, не оберешься... А вот и поднабрался уже проворных репьишек... Эх, как во все кругом изросла, подзабурьянилась моя некогда дивная дачка... Ты меня просто удивляешь, дорогая! Все-таки хоть немного следить за собой надо. А то и себя, и вид человеческий совсем потеряешь, будешь как я человеческий вид с успехом только позорить. Ладно уж за себя, какой с тебя спрос, ты б за какой-нибудь человеческий вид поделикатнее, что ли, да и активнее бы постыдилась, гражданскую позицию за тебя Пушкин проявлять будет? Давай-ка подсуетись. С тебя ж так и так не убудет.

Какое главное чувство к олигархам?

Да презренье, конечно, тихое омразенье. И даже без всякого главного чувства. Ровная, спокойная у меня к ним пустыня длинных подлинных чувств.

Как так? А должна бы ведь быть, жечь зависть, по естественному ходу эмоций, охорошенных прелестью новшеств, фиолетово и ультрафиолетово разукрасивших жизнь.

Нет, и должно бы естественным ходом быть – презрение, лишь пологая скучноватость моих неплодоносных на всем протяжении к ним чувств. И в сослагательном наклонении я не могу испытывать к ним иного, тотчас оттуда быкать да быбыкать начинаю. И в тех редкостных, покинувших нас областях, где все люди – братья, я поперхнусь отвращеньем и выдохшимся давно презрением: пиво сдохнувшее и то лучше. Вот, не хватало еще скопытиться путем подобного удушения, коим даже с/из земли достанут меня расторопные где не надо, очень точные в своих попаданиях и попАданьях олигархи... Второго угробленья себя не потерплю! Я и от одной вашей смерти в полном, до верху моего удовлетворенном достатке. Разрозненный, но довольно представительный комплект своего, к сожалению, однотомного, слабо выпущенного в свет изжелтевшего от ветхих страниц тела, вышедшего досрочно в тираж, прилагаю, чтоб не вносить собой путаницу в честное опознанье, которое, верю, настанет, неотвратимое, как чудо-возмездье, гроздья которого что-то плохо в этом году зреют, несмело. Наверное, не той водой поливаю: ни мертвой, но и ничуть ни живою. Неурожай опять точно будет. Ну, как в воду, братцы отставники жизни, глядели... Смотрите уж хоть в нее-то не каньте: там чуть глубже Лета забвения плодоносным, страннокипучим пластом пролегает, ждет не дождется, рада радешенька встрече с нами. Рано радоваться взялась, речонка! Явно же, пронизанная коррупционными струями, подкуплена на предмет богатств своих и на предмет наших досрочных уворований кем-то из порожних на беглый просвет, элитно, либидно и импозадно ослящихся в свет длинносумов. Из наших нескончаемых километров, что ли, шьют они эти шальные сумищи, баулы? До всего вот додумаются, оторвяги! Голь на выдумку не зря ведь бывает богато и столь щедро хитра.

Но какие приятственные все-таки это мерзавчики (не путать с четвертинкою честной во всю глубину, неподкупной, словно элита, водки, у которой всякий мерзавчик по струнке ходит, содержится в небывалой строгости)! Просто упасть и не встать. Ибо залюбовываешься. И чуть не до смерти до самой в восторге визжачем покатываешься и начинаешь от тьмы обожаний чаще всего не то и не тех целовать. Ну, с кем не бывает промашечки всегда пристрелянных, в общем-то, чувств?.. О, во мне миллион их на тысячи верст размещенных окопчиков! Я врагом, меня размывающим, плохо учтен: в виде белых пятен на карте противника. А это разве я могу быть? Это просто кто-то из супостатов в пароксизме аппетита нашу сметану ел, салом нашим в удавку закусывая, и от судорог наслаждения на обороноспособность накапал. За что и ответит по всей строгости перед начальством, и не думая, что до последних своих потрошков за меня отвечает. Так и победим чужими нутрями, килотонными

мощами, заложенными в органы внутренних дел дорогого нашего супротивника, организовывающего нам прилично невыносимую и успешно отвратную жизнь, какую мы и сами достойно умеем неплохо испортить, в чужой помощи не нуждаемся. Мы люди гордые. И звучим хорошо. Народы и страны порой до обмороков эстетических нас заслушиваются, впадают в экстазоидальную кому. А некоторые страны при первых же наших звуках целиком шарахаются, не выдержав услаждения пеньем, в нравственные тупики прогресса, чтобы там от нас хорошенечко отсидеться и хоть малость прийти в себя, так как в других местах что-то никак им от нас в себя не приходится.

Хоть один человек в России совершил глубокий и разносторонний финансовый поступок, да к тому же и далекоидущий, только неизвестно куда! Поступок этот сродни перевороту в краеугольных местах головы (как известно, разруха начинается оттуда), перевороту, лишь чуть только меньшему, чем Октябрьская революция, а с великой французской заварухой тютелька-в-тютельку вровень, а по некоторым позициям очевидно ее превосходит, оставляя мешкотно топтаться ее позади с допотопной гильотинкой под мышкой, вынуждая растерянно старушку мигать под старость на дурость исщипанными, довольно обнаженными бровками: весь ужас секса в одном лице нагрянул.

А дело вот в чем: математик Григорий Перельман отказался от миллиона долларов – «премии тысячелетия». Сослался на то, что всем обеспечен, в том числе, выясняется, и кое-какой головой, что является для нашего времени странностью, настораживающей необычностью. Конечно, скорее всего врут насчет его головы. Во всяком случае, приукрашивают: головы если и бывают, то такими не бывают, обычно они земнее, приземленнее, как-то человечно человечнее, в основном похожие на ленинскую – а та будь здоров калганчик, множествами жертв ой как практично и наизусть ворочала, мнимыми числами оперировала свободно, как калошами. Главное в любой голове, помимо анатомического реала, ее лепок, карнизов и другого барокко, – земная ее привязка, если угодно – святая и вместе с тем простая, безыскусная тяга к навозу. Если она на дороге не валяется – значит, уже непреходящая ценность, валяющаяся же голова – полунепреходящая ценность, но может быть и щедростью полунепроходящей. Однако самое главное в феномене башки – чтобы мозговая извилина всегда стралась цепляться за пахотную борозду, дабы от головы была непрерывно зримоотдача, черноземная нутряная польза. Вот тогда это настоящая голова! Вот тогда это наша голова! Гвозди можно делать из таких башищ, расширяя гвоздевой ассортимент до родимо-осиновых сувениров в местах наибольшего скопления падких на наши головы иностранцев, да только фиг им чего хотя бы от наших посконных ушей перепадет: свои верхние боевые наконечники прятать мы умеем лучше некуда, держа их в состоянии стратегической готовности для увяданья голов вероломно вероятных противников.

Не то с головой, этим органом секреции точности, у расплывчато сбрендившего математика Г. Перельмана, извратившего вверенную ему Отечеством голову в беспредел и явно находящегося не в ладах со своей математической совестью, даже при большом округлении весьма и весьма нечистой, в первом же приближении совестью-то как раз и не оказывающейся: утратил цифирный делец всякое понятие множеств, давая понять свою ложную настоящую цену деньгам, выставил их в нехорошем и очень не выгодном свете, опозорил целый миллион долларов на весь мир, так что миллион долларов теперь хоть никуда и не заявляйся, не высовывайся, глаза миллионные не знаешь куда подевать, – и тем самым этот пресловутый тип злопыхательски опорочил саму идею благородства финансов, их метафизической фееричности и внутренней необоримой ничем красоты. И это, спрашивается, голова? С таких вот и начинаются повальные кризисы, да и к свино-птичьим гриппам они наверняка причастны, без них ни одна зараза не обходится. Таких голов нам и близко не надо! Пусть они лучше на дороге валяются в сколь угодно больших количествах и в исчезающе малых величинах, которые только врут про количество, а на самом деле они тоже большие, но скрытные, втихаря на миллион точно тянут, а на миллиард зубки уж точат. Да и вообще, пускай вон она себе, перельманова голова, свободно валяется на своей исторической родине, у нас и своего мусора для наших мест хватит, нечего тут всяким мусорить! Если всему подряд разрешить валяться, что же тогда с местами будет – они предел терпимости знают, в отличие от некоторых, что с утра в плюс-бесконечность по-дурному рванут, а к обеду, гляди, еле ноги тащат в минусовом беспределе, не дорожа топчимыми ими не только местами, но и собственными шагами, которые от призрачности их мельканий лишь только на завтрашний день в уме вдруг беглою тенью заметишь и до убийственности мучительно думаешь, припоминанием себя

рассвобождающе добивая: да что же это такое было-то, что за напасть вчера мелькала? не пошастывать ли начали призраки? а-а! да это ведь я домой спьяну шел!

Всучить бы вспомогательные эти средства, долгожданно освободившиеся от глупости математика, ощутимо и сами обрадовавшиеся, и как-то в глазах общественности сразу взыгравшие, – всучить бы, говорим, их в первую очередь, как особо нуждающимся, олигархам – на вопиющую в застенках души бедность их, на устроение их ветшающих пошатновений, а то чего они всё у наших недр бойко клянчат, вглубь земли непрерывно ноют, тамошний ад по пустякам пугают и отвлекают его от насущности горячо практикуемых дел. Все наши природные внутренности испопрошайничали вдрызг, люди на паперти и то себя лучше ведут: все-таки здесь культура витает.

Нет ничего замечательнее, поучительнее заказанной от всего сердца романтической переписки писательницы Л. Убицкой с осенью олигарха, – это новый листопадный и тапочкослетательский жанр такой проникновенный, пронизывает до личности атомов, до уличенья особо зловредных подличностных электронов, ведущих себя де-факто как гниды. Вот и нате вам: продавец и покупатель, будьте взаимно бессовестны! Тут даже уголовнички прекраснодушные отдыхают: вон смотрите, как они посреди текста златозубо расслабились, поразлыбились, саблезубо посверкивают, урк-урк, урк-урк. Ну, малость ошиблись, еще не амнистия, рановато в романтику вдарились, легко читабельные вы наши, господа урки. Но наглядные пособия татуированных площадей их кожных просторов в развернутом виде все же очень хороши, очень, любо-дорого и т. д.! Поневоле призадумаешься о прекрасном. Где-то даже помимо себя восторгнешься до боли, до неприкосновенных запасов страданий, глубоких, как руды. Вот что такое подлинное, прямо хватающее за шкуру искусство! Это вам, население, не баланду хлебать среди вольных российских просторов. Тут искусства много не надо. Лишь бы правда была, которая порой нужней ложки, но редко бывает нужней самого ушибленного жизнию, по весям и градам заезженного в пух и прах олигарха – лучше бывают только бомжи, да и то до чрезвычайности редко, если они в ударе или в самом разгаре. Ну а на миру смерти никого их не бывает красней (олигархичная смерть – украшенье и гордость наций, редкостное национальное достояние). Это по определению исключено. Тут уж, будьте добры, не шалите. Утонченных и продолговатых дрём, господа! Тишину выключаем. Пора экономить беззвучие, раз на свете мы бескрайне растратились.

Теперь о сути, так как литературой все равно ничего не скажешь, а посему и нечего здесь ею бредить, пустышно баловаться. Пишет Л. Убицкая осени патриарха: Не сиди ты там за швейной машинкой столь мучительно долго, горб наживешь, геморрой неудобный и прочный. Пишет осень олигарха Убицкой: Стараюсь; нынче похолодало, утки потянули на запад; грустно мне быть швеей в своем Отечестве неблагодарном. Но специальность освоил, все пригодится в жизни увядшей, да и шитьем незаметно увлекся. Искал я на воле дырку в законе, поиграть мне с массой косной хотелось. Но вот теперь разыгрались беспредельно со мною, оставили мне на зоне дырку в законе. Но лучше ли она, ой, Люся моя, Люся, лучше ли она дырки от бублика? В тюрьме дырка от бублика значительно как-то виднее. И глубже. А как видится тебе эта дырища с воли, Люся? С точки зренья свободы она более или, напротив, менее ужасна? Ты по-прежнему ее положительной дырой находишь? Это было бы печально. Здесь могут затаиться истоки наших диаметрально противоположных мировоззрений. Хотя, скорее всего, речь меж нами – только разный подход к близкому мировоззренью. Скажу прямо и без ложного страха: все подступы к нашим мировоззрениям, Люси, перекрыты. Дело рук ФСБ это. Без ножа, одним ФСБ тупым мы зарезаны. Здесь вся истоптанная правда. Пишет Убицкая осени олигарха: Не пой так грустно, Миша, о Миша! Еще не вечер. Скоро уж утки прилетят на запад, о! там великие кормы! А у нас на Москве погоды плохие, лягвы взялись этим летом квакать на звезды, выть на Луну, как простые волки. Что бы это значило применительно к нашим судьбам, каждая из которых в несчастном нашем отечестве из одной заведомо неделимой разрастается и плодится неудержимо в целую зону?! И чем лучше судьба, креативнее, тем она обычно зональней. Ты не заметил на собственном примере, Миша, актуализации этой закономерности? Исключения можно пересчитать по пальцам, да и то они все на Западе. Разумеется, говорю про исключения. От наших пальцев мы никуда не денемся, наши пальцы, как Париж, всегда с нами, Михель. Не вздрагивай, это я так пошутила, чтобы тебе там развеялось и не так плохо было сидеть за швейной строкой, которая не всегда и знаешь, куда приведет, но ведь куда-то же, будем надеяться, она ведет! О, что бы было, если б не так?! Убийственно жить в нашем отечестве,

Миша. Лучшие люди нации обречены стать швеями. Пишет осень олигарха Убицкой: А я и не пою. Я привык доверять своему многоглазому разуму, строго выверенному, пропущенному сквозь фильтры через совесть, но на выходе решения из ума глаз должен быть всегда строго один, причем очень точный и взвешенно прищуренный. Так что ты фильтруй базар, Люся, на нас смотрят многие очи мирового разума и пространства! Люблю также поверять свои поступки логическим действием, окрашенным в какую-нибудь положительную эмоцию. Еще из любви: обожаю грибы подосиновики на склоне любимого российского дня. Как они этак балуют красноголово светом, озорники! А вот с сыроежками проблемы, что-то с ними у меня не срослось: я на них аллергирую всем телом и на три недели теряю способность к бизнесу. При виде брошенных чужих детей меня охватывает страшное чувство растерянности, мое сердце тогда стучит, как ненормальное. Думаешь: отдал бы половину всего, лишь бы произошло это лишь бы! При виде своих детей тоже есть всякие чувства, но это очень личное, об этом не будем. И тоже думаешь, но вряд ли отдал бы. Вот мои пристрастия, если не сказать – слабости: обожаю шить сапоги с отворотами (не ботфорты пошлые, нет, а обувку с русским нашим ободряюще вольным размахом), увлекаюсь топтаться на кухне в предвкушении приготовленья второго блюда (три дня меня не корми – только дай приготовить макароны по-флотски или фиги под соусом по-олимпийски). А ответов на твои вопросы я и без тебя не знаю. Но дырка от бублика, похоже, тут момент ключевой. По крайней мере, как мне представляется, именно там и нужно искать не покладая рук. Главное, сдается мне, в этом метафизичном и сакральном районе кроется. Но найдется ли, Люся? Сомнений у меня все больше и больше, одолевают они меня, иной раз думаешь: ведь прикончить могут. И куда их девать, во что превратить сомненья мои, наугад даже не знаю. Горьким швом стрекочущей моей машинки их затаптываю, стираю. Но шов остается, как след по жизни гэбиста. И вместе с ним на пошивочной вещи пролегает моя неизгладимая сердечная рана. Пишет Убицкая осени олигарха: Что ж, демократии нет в наших осинах; это печаль большая; мне чрезвычайно грустно. Как и не бывало ее, как будто она здесь и не валялась. Уж поиграть не дают умному человеку с дыркой в законе немножко, поразмять среди массы инертной игривую мышцу рассудка. А это ведь и вместо теперь недостающих тебе витаминов полезно. Что ж с того, что человек поиграл, увлекся, нельзя за одно только это упекать по тюрьмам, точно против его воли передержанное в духовке второе блюдо! Взыграл человек чуть больше, криминалом не пахло – смешно его за это горбить швейной машинкой, снабжать на жизнь подсидным геморроем! А если рассмотреть вопрос диалектично: и чего тут стонать, с другой стороны? Можно ведь и сидеть себе на здоровье. Вообразить, например, продолженье игры, твоей былой игры, как бы метнувшейся с воли к тебе в отсидку. Все сразу встанет на свои места в зоне. Через изменение отношенья к миру найдешь в себе и себя измененным, и сиденье вдруг оборачивается благодатью, а долгий срок может представиться необременительной дорогой в дюнах, причем в сторону моря, а не от него в удаленье. О игра! Сколько бы песен тебе сложить дивных, сколько упоительных гимнов, только вот для этого, наверно, талантом большим я не располагаю (хоть и врут про меня, будто я крупный прозаик, но из скромности верить в это не представляется мне возможным), мой дар на другое перезагружен, а грешный мой язык несет другое все, другое, как слабы мы, как не владеем языком своим, как страшно, странно он владеет нами... Да и времени у меня совсем нет, Миша, не имею совсем этих самых времен-то, в дефиците они у меня, в вечной всё недостаче. За что они так ко мне относятся, мною пренебрегают? Я ведь им ничего плохого никогда не сделала... Вот цейтнот за картошкой сейчас на рынок бежать, обещалась, можно сказать, всему свету. Сам понимаешь, ни туда без картошки и ни сюда нам. О игра! Ты как женщина в пору самого влечительного обострения овуляционного цикла! Чего ж тебе еще желать большего, Миша?! Большей резвости тебе никто не предложит, лови момент, твоя игра теперь навсегда с тобою. И чего тогда понапрасну убиваться надбавками срока? Перемени к себе отношение, сыграй в себя, стараясь переиграть себя и выиграть, вырвать победу над собой хотя бы на финише, когда силы, как тебе показалось, покинули. И ты увидишь, что получишь! Ты наткнешься обязательно в себе на нового человека, которым и будешь вознагражден всенепременно! Ты выйдешь на свободу другим человеком, вернешься – а многие тебя не узнают, ибо ты претворен и очищен! Игра есть игра, так будь же мужествен наедине с нею, дерзай, Миша, сыграй в себя предельно точно, с ювелирным изяществом! Это главное теперь у тебя, неотъемлемо твое, игра в тебе – это святое. Просто не надо этого никогда забывать, не надо этого в себе стыдиться, и все будет, все будет прекрасно! От игры еще никто в жизни не умирал. Играючи не умрешь,

– говорили древние. Относись, Миша, к своей безнадежной вроде бы ситуации максимально играючи, как бы даже иной раз танцорски: ты очень интересно и блистательно поиграл с массами, теперь грубо, бездарно и откровенно без правил заигрывают с тобой, белыми нитками шьют тебе и вокруг твоего имени совершенно не те швы, которых заслуживаешь, которые просто обязаны были бы заслужить тебя, чтобы иметь честь называться твоими швами. Помни же: ты играешь лучше всех, мой блескунчик, равных тебе игроков еще не родилось! И главное, чтобы игра не закончилась. Главное, не выходить никогда из игры, – эта среда для тебя естественна, натуральна, они там тебя не возьмут! И тогда мы придем, Миша, друг к другу на чашку великолепно свободного чая, в более демократичной обстановке особенно вкусного! Только ты, пожалуйста, не кончай игру, не оставляй им угрюмого, набыченного ими шанса! Впрочем, в следующий раз давай лучше, Миша, пошире поговорим о птичках. Глубже копнем, так сказать, небесную тему. Простираюсь к тебе дружескими объятьями, которые за время переписки получили право на существование и заметно окрепли! Пишет осень олигарха Убицкой, но пишет в стол, чтоб увесистым чувством не убить адресатку: Какая же ты, Люся, дура, ей-богу! И неважно, придуряешься, Люся, ты дурой или это природно взыгрывает в тебе природа, чистая, незапятнанная, так сказать, натура в обнаженно дурацком виде. Эх, зря я в тебе измарался! Больше не хочу, не желаю, хоть сажайте вы меня на три жизни кряду, отрекаюсь полоскать в тебе свое застиранное тобой имя! Знал бы, с кем переписываюсь, не стал бы с тобой связываться и под угрозой расстрела, до ветру на одном поле с тобой не сел бы даже в жизни загробной. Знал бы, что за паденье ты будешь во мне, постелил бы молчанья соломки, стога три-четыре, а может, и пять, но не мешало б поболе, чем бесконечней, тем лучше оно, соломистей... И вообще, смех без причины – признак дурачины... – А сам именно и захохочет, так что иной раз с помощью лишь конвоя можно было смех отодрать от него. Подумает-подумает – и опять за свое, в писанину угрюмовато уткнется, да горько так, почти обреченно: Дура ты, Люся, дура, а я и не знал... И, забросив в упадок другие дела, все пишет и пишет в стол, все пишет и пишет в уже пышнотелый от его бумаг стол, прямо на глазах становясь непризнанным писателем, потом шовчика три отчаянья своего строчнет пулеметно на машинке, вроде как свинцовую очередь даст по себе, для оживленья собственного убийства, для впрыскиванья извращенно бодрящей его смерти. И опять, опять за свое, пошел дальше строчить. Хорошо, видать, Люся его достала, душевно проникла, до глубины руд (умеют наши авторы, когда захотят, быть проникающими, как ранение!), снабдив всегда благотворными для писательского труда среднерусскими страданиями. Вот что одно и то же, как заключенно помешанный, пишет он в совершенно разжиревший словом стол и вот что он, как рассвобожденно помешанный, написал одно и то же в заключении своей жизненной карьеры (и было очень заметно по мускулистой, набравшейся силы писательства строке, что он уже не играл, потерял к себе и в себе всякие игры и умирал каждой буквой всерьез и надолго): Дура ты, Люся, дура, дура, дура, дура-дура-дура дура? дура! дура? дура! дууура!!! д-у-у-у-ра??? дуууууууура!!!!! дурадурадура Ура-а-а! Ура-а-а!

Вот что изъявила миру писательница Убицкая. И вот что изъявила, оторвавшись от пошивочных дел мастерства, осень олигарха из мест, как многим показаться может, столь отдаленных, – тут более внушение себе расстояний, нежели сами по себе расстояния. Суть их изъявлений, если вкратце, проста: свободному человеку идти до себя всегда играючи коротко, а другие пути не очень-то для него бывают и мало они приемлемы. Что мы и видим на примере вышеописанных героев, в каких бы неволях или жутко антидемократических условиях они не обретались. Также наши герои прозрачно намекают на то, что можно, даже вопреки классику, жить в обществе и быть в основных отправленьях своих свободным от общества. Сделался завядший олигарх писателем, личиной олигарха навсегда погаснув, перестав быть маяком финансов. За это и за самовольное угашение олигарха в себе (то есть за приблудное писательство и за антиприписки собственной личности, немедленно запропастившие олигарха) впаяли ему довольный срок, вручили про запас дела и для дополнительных совершенств две новейших швейных машинки, абсолютно, как ни странно, исправных, так и играющих на трудовом солнце жизнерадостно блескучей иглой, которая, надзирателю мнилось, не столько шила, сколько уклонялась и не о том шустрила, тщилась, едва тащась, все время найти какую-то дырку, чтоб и неизвестно что с ней поделать (но это явно было уже надзирателево наваждение, дремать кое-кому надо меньше)... Так люди и становятся писателями... Ну, одним писателем больше стало. Поду-умаешь! Ничего страшного. И не заметим. Еще и не то не замечали!

Последующее течение мысли и прочее тарахтенье гремящих тут прибамбасов прозы, чтобы меня наконец-то за дело не привлекли, даю на всем протяжении дальнейшего повествования в высшей степени высшего прорежения пунктирно и фрагментарно, – дабы ничего о нас толком так и не поняли, в открытую не узнали, не уловили б ни фактом и ни на чушь не поймали – и на повышенный срок за стол мой не посадили бы, за тот самый стол мой письмовный, который давно обещается посадить меня за совращение его еще малолетним, когда он был ДСП совсем юным. Ждать от него всего можно, свою угрозу способен он реализовать в любое свободное от меня время..... И вот нахожу себя при писательстве – отъявленнейшем из всех мыслимых ныне преступлений, которое становится также и крупнейшим покушением на человечность. Чую все явственнее – скоро попрут нас за шкирку в Гаагу. Впрочем, дело уже подошло к концу последнего абзаца, срок я свой отмотал, не много его заметив, вину искупил часа на два, вина исхлебал с замахом на рубль, а испилось на копейку. Про остальное ничего не знаю – на воле давненько не был, а внутренним слухам как доверять – не знаю: они всё не о том привирают. На свободу с чистой совестью! Я, стол, заметно перевоспитался и не буду больше к тебе приставать по интимам, стану лишь походя к тебе обращаться по мелким бумажным вопросам взятья, убратья и положитья: это невинно. Вот только опять на конце существительных несносно заякал – а это, по всем признакам, надвигается проза, дело подходит вплотную к писательству, в опасной близости от него и входит в состав его преступления. Будь осторожен, не переступи черту, не дай вовлечь себя в групповой сговор, в мошенничество в особо крупных размерах, в распространенные здесь рейдерство и бандитизм в условно-печатных листах, не дай, не дай себе погибнуть!.. Да уберешься ты или нет от этого стола куда-нибудь несопоставимо дальше, чем твоя мысль расположена к столу, хватит тут подсознательно крутиться! О, не соблазняй себя преступлением, не соблазняй! Мельк! – и вот опять ты преступник будешь. Не соблазняй соблазном, это масло масляное получается. А за двойное и отвечать тебе придется вдвойне. Плюс судебные издержки, которые никто не отменял. Это тоже неплохой убыток. Такой обильный наплыв убытков мои исчезновения начинает радовать. Они изнемогают от изрядно их нагрузивших отсутствующих наслаждений. Просто валом повалили отсутствия на мои согнувшиеся от тяжести исчезновения, словно засыпая их снегом забвения. А вдруг моих исчезновений совсем не будет, вдруг исчезнут они под забвением? Какой бы это был ужас!

Олигархические структурки да структурочки успешно встроились в пространство очень сущностной для всех нас окололитературы; навещают они иногда, как в бреду, и самое врасплох захваченную литературу. Уж не открутится, дуреха пусторечивая! Теперь она у нас как следует заговорит и о чем надо! Живо хорошую правду расскажет и возопит нужную нужность, даже, средства большие в нацзапас экономя, пыток никаких утонченных на нее тратить не надо, сама залопочет, что лопотать положено! Фенечка это у нее такая.

Так вот и живем прекрасненько. В олигархическом бреду до невозможности современной литературы, до небывалости актуальной. На что-то еще жаловаться не приходится. Да и только попробуйте – язычок вам быстро убавим, на три вечности кряду отсрочим! Говорите тогда своим сокровенным молчанием сколько вам взбрендится. Молчанием очень полезно душу выговорить, дурные излишки ее повытрясти. Час немот приравнивается к одному дню телесно-разгрузочного голодания: сок развесистой клюквы, членоподобный конечно ж банан (сеанс эротического потощания), пасмурный на всем протяжении дня хвост еще в юности хватившей лиха и навсегда охудавшей селедки. Фигура гарантируется. Образцы прилагаем. Исчезайте во все утучняющееся здоровье!

Олигарх – это только состоявшийся лучше всех неудачник.

Вижу, вдруг ошарашиваемый, на уличной растяжке внезапно утешительное толстоморденькое, немножко лишь плутаршье личико досрочно повешенного писа и выдающегося полупоэта современности Дмитрия Букова, немало-таки брендоватое, очень немало... Что бы это значило, что есть вдруг сей воздушный сон? Если судить по физиогномике (которую мы на психологическом отделении в детстве еще проходили), чистый ведь висит олигарх, прямо ни с чего возникает, самостихийный, над улицей. Двояковыпуклыми зеркалами души посверкивает, в омута их дивнозовущие затягивает. Только бы не пропасть в чарах их и получариях... Это брендовое лицо случайно не сбрендило ли? Сей надуличный фонарь лица не офонарел ли, вися высоко, повисывая, думу тяжкую да громоздкую все

навеивая, праздный ум раззявный, пусторазверстый темным облаком нахлобучивая? Карл у Клары украл кораллы иль погодил? – первая возникает с опаской мысль. И следом – другая, внушающая чувствам безликую боль: Димана обаннерили! Мурлятинки на улице враз стало больше. Это помимо воли насильственно как-то радует.

Ну, олигарх и олигарх (олигархов, что ли, мы не видали? – каждый второй в них теперь благорастворенно витает), только в области духа, в своем роде и, ясно дело, в своем духе, в твердой памяти, трезвом уме, при невыясненных обстоятельствах; труп, как водится, прилагается... За что его, беднягу, распяли, ни в чем не повинного, ни в чем не замеченного? Свои повесили. Не удержались... На всю голову обаннерили! Как же его, бедняжечку, разукрасили... Просто лица на нем нет, обычно занимающего бОльшую часть туловища. Просто разлюли какую-то мордоворотину извратили из этого сыплющего скорлупками не притронутых умом слов, самим ходом рынка умерщвленного буквенного человека. Ах, Буков, Буков... Какой ты несуразный буков, прямо чудовищная одна какая-то, бессмысленная буквина!

Жестоко-то как! Какие негодяи балуют всё воздухами и явно заниженными против мировых стандартов, уворованными здесь полунебесами?!

Так-то расправились мерзавчики над Митиной и прочей любовью...

А лежачего все же не бьют. (Но, слава Богу, он висячий. Это сразу меняет положение, в один натуральный момент!)

Небезуспешно плакал дурными слезами Пелевин: кончилась вечность... Вот и кончилась. Сами всем открывшимся бессердечьем простора видим: с облегчением ничем она разродилась. А птичку все-таки жалко. В районе растяжки напуганная физиономией, теперь не больно-то везде она полетает, вспорхает, лелея струимую ею вечность-беспечность. Предусмотрительно будет остерегаться полетов, отныне оглядчивая, землеходящая. И с питанием дело иначе наладит: будет кормиться не как легкомысленны птицы небесные, а займясь земледелием, пропашными культурами в зоне рискованного плодотворчества (хрен особенно бодро иногда приударяется в урожай, завалить до отказа им можно все забитые чем-то не тем ларечки, прибыль попрет тогда страшная, всеохватная).

Эх, смутил, Митя, птичку, на весь и без того заполошный свет зачирикав... Лучше бы ты, Митя, пошел с транспоранта в неизвестном (можно в известном) направлении прямо в летящее вокруг, головокружительно звенящее смыслами лето. Глядишь, нашел бы чего, в хозяйстве куда-никуда б сгодилось... Не мешай птичке, Митя, не мешай, иначе самым бессердечным образом отдадим тебя в литературу, в замусоренном обрезками бытия мастер-классе за строгую парту посадим, правильную литературу до восторженного визжанья ушей писать научим, при условии, конечно, если не окажешь ты сопротивления с помощью внутренне практикующего в тебе дебила; тогда разговор будет короток: безнадежен, приговорить к пожизненной немоте осеннего света. Ух как там, в литературке-то, страшно, особенно в ночь слов глухую! Ты себе, Митрей, и представить не можешь, в россыпь глаза разбегаются просто! Сходить до ветру, как ты часто пишешь, и то невозможно: бесперспективно. Узнаешь тогда, почем в животе фунт лиха. Оно тебе это надо? Нет, ситуация просто – обделаться и не встать, умереть, увидев! Не личит никого, Митрован, такая нужда, между нами, сидельцами, говоря. Все выходит со стульчака сплошь натужная одна, чрезвычайно нужнецкая рожа, да и то неважнецки. Ну куда ею, на кой ляд и на какой свет, опять же, посмотришь? Мордовато, боимся мы тихим ужасом, выйдет. А это ли нам, убитым ликами, зачастую перепрятанным от талантов в землю, это ли не мордоворотно? – спросим из очень к нам расположенных недр. Что не есть образец корректности. Больше жизни боимся из-под земли соблюсти всё не те приличия. Приглашаем, кстати, на покойный бал-маскарад. Белый танец призрачным быть – гарантируется. Извольте пройти: станцуемте! Порхай и пляши во всю ширь подземельной нашей всеобщей души! Да ты чего же это делаешь-то, Митяй, как ведешь себя здесь?! Не только ноги – души все взял и топотом своим на здоровье нам поотдавливал! Чем мы дальше танцевать будем небесно? Нет, тебе здесь не место. Выдь на транспарант. Там мордовей дальше.

Все самое важное о человеке можно сказать по тому, чтО он любит и о чем легко ненавидит. Правда, по ненависти гораздо меньше и ошибочнее скажешь. Почти ничего не скажешь: слишком большие дает она погрешности. Все-таки надо смотреть человека со стороны любви. Оттуда высветляется он ярче очевидного: уж и насквозь виден – виден даже больше, чем человек. Вроде бы уже и совсем не

тот, на кого мы смотрим, совсем не то... Облако? Реки небесные? Дремлющий в облаке послеполуденный Бог? Медленно исчезающее в синеве спешное бегство Бога? Вот бегут уж и те, за ком бегства не заподозришь...

Отчего оно едва ль не паническое? Самого себя разве Бог пугается? Вот никогда не подумали бы... Не увидали бы в самых нелепых, ужасных снах... Виденье человека, увы, помогло. И печально-печально так все помогает и помогает, вприпрыжку бежать поперед себя подбадривая.

Посмотрел передачу о Юрие Осиповиче Домбровском, забитом в ЦДЛ в год благодушного моего окончания университета. 4 сидки, 17 лагерных лет, самых, в основе своей, что ни на есть колымских. Вернулся последний раз сорокашестилетним. Я почувствовал, я был чувством просквожен навылет: Домбровский меня защитил, за меня отсидел. Сил даровых мне теперь на год всклень хватит. Как ничтожны мои трудности перед величественной неубитой судьбой, которая многих и многих еще переживет, прочной жизнью кого-то одарит! А вот от отсидки Ходорковского мне легко не становится. Силы, что ли, какой-то в ней нет окончательной? Хотя он вроде бы и достойно сидит, конверты клеит успешно. На досуге порой до потери себя залюбовываюсь этим мастером на все бесперебойные руки, теребя в изумленных конечностях бог весть что, может, легкий прах себя самого, порожденный невольной задумчивостью, уходящей в далекую даль... не в отсидку ли моя задумчивость норовит, не в нее ль подалась, притяженная исчаровывающим магнетизмом кудесника?

Сегодня для того, чтобы быть надежно отверженным, достаточно твоего несогласия с некоторыми мерзостями мира, высказанного даже тайно, наедине с собой, под одеялом, самой глухой, не проницаемой в слове едином ночью. Вот что такое современно развитые, легко достающие тебя за ушко да на солнышко коммуникации! Дальше самого меня они вглубь идут, за архетипы уже, за фрейдистскую чушь заглядывают. Весь исполосован этими далеко во мне не кончающимися не то верстовыми, не то телефонными виртуалостолбами. Лежу в ночи как малобюджетная глокая куздра в продолговатую клеточку, всей глыбистой темнотою мира из слабовеличественного моего окна надежно преследуемый. Спрячусь скорей под одеяло энной степени плюс бесконечность. Может, так сбегу на немного и не надолго, на краткую вечность захудалой какой-то секунды... пусть хоть страх мой сослужит мне добрую службу – превратит ее в облегчающее, все смягчающее столетие... Эх, ухнем? Или сам добровольно пойдешь, с легко поднимающейся средь восстаний души повинною? Ну, где ты там роешься средь постельных нор?! – давай-ка являйся иль сам по себе, иль в близкое ко всему в ночи отделенье высокоощутимой милиции! Пора ближе знакомиться. Сейчас мы тебя вслух прочитаем, правильно разобьем на абзацы, чтоб покороче было, читабельнее. Правоохранительные наши глаза любят беглое чтение: тут же мы его и отловим, пускай не бегает больше и думать забудет, как беглым быть. А то нам недолго ему и срок припаять.

Мне было бы очень приятно быть частицей гордости за Россию.

Одно из самых значимых моих возможных удовольствий, за неимением ничего значимого в особо крупных размерах.

Но – не допущают. Стращают. Машут отрицательными, а то и косноязычными прямо руками.

Повсеместно отменили должность ценной частицы России, а сокращенный народ расплескали задаром на улицах.

Сплошь остались только вакантные места ценной частицы Америки или каких-то других малоопознанных стран, к вечеру пролетающих косяком на закат по невозможно счастливому небу моей невозможно земной родины, покидающих меня оставаться беспредметной тоской в бескрылом моем месте, курлычущем некоторое отдельно взятое лопотанье на забытом давно языке, оставшемся, видимо, здесь зимовать-куковать, лишенное перелета в места отдаленные наверняка благословенной кормежки: вести оттуда идут хорошие, добро откормленные, мордастые, на жизнь и знать забыли, как жаловаться. Жизнь им теперь – плюнуть и растереть, обожают они заместо нее новостные поводы. Вот что бывает, когда прелестей души от пуза перебираешь. Вот что бывает, когда ничего не бывает.

Радуюсь, как частично помешанный, рождению каждого чьего-то ребенка. Вероятней всего, и здесь замешано благотворное влияние маломесячного моего Лизка. Своим рождением она расселила

радость щедрым влияньем и во все будущие рожденья.

Старею. Исподтишка древнею.

Это во мне уже дедовская, преклонная радость новых человечьих явлений, обнаружений. Остро и безоши-бочно чувствую: сейчас, вот прямо сейчас, в скором зазоре мгновения, где-то средь Африки, скорей всего в Занзибаре, уродился крепенький такой, сбитенький и румяный, прекрасно орущий на жизнь негритеночек, заблаживший на весь белый свет, так что и до России волной блаженства достало, – то-то мне радость, то-то восхищением я обуян, именины сердца пышут во мне на всем моем протяжении нежном живехонького того негритенка! Жаль вот только немножко увеличения земной численности, ей-то каково приходится? Перенаселению Земли, конечно, в первую очередь достается, да и мне 240 тысяч рождений за сутки бывает довольно-таки тяжеловато и невпроворот перенести: ухайдакаешься так, словно в одиночку отнюдь не одинокий товаром вагон разгружал, прелести потребления на склады оттарцевывая, причем за бесплатно, за одни красивые глазки.

Убавление и остывание жизни во мне неизъяснимым образом компенсируется прибытием иных свежих рождений, случившихся даже на другом конце света, о которых я узнаю из утренних новостей своего сердца. От известия о них хорошо, просветленно; как-то бодро и утвержденно в своих ногах стоишь, точно с каждым ребенком и сам украдочкой малость вновь прирождаешься. Чудом умудряешься оживиться на чуткую, отныне нестираемую, неизнашиваемую, отныне без смерти частицу.

Люблю, когда России много. Не для того мы сюда приходили, не для того, чтобы России не было!

Пока людей у нас еще много и они чрезвычайно дешевы. Но через поколение-другое в России каждый человек будет на вес золота, детородное в ином направлении юношество обеспечит нам эту не стоящую ничего дороговизну.

Всяк вздорожает неимоверно.

Даже и наши покинутые мертвецы запамятной поры возымеют пристойную, не сбиваемую курсом валют недрогновенную цену. И обретут в новых финалах достоинство, каковым при жизни им обладать позволено не было. Колымская скелетная мерзлота будет намного дороже и весомей очень пристальной ныне и пристрастной весьма распорядительницы-нефти.

Дело решительно, бодро идет к наивысшей – загробной – оценке ценностей, что отчасти воскресительной радостью радует, а отчасти безумно тревожит. Половинчатую эту эмоцию толком и не поймешь, с пристрастьем дознания к ней не приступишь, да к тому же она целиком пока в будущем, что сущая вообще незадача. Кто ты, неизведанное чувство? Что плодишь во мне многолико? Открой пророческое свое небывалое личико. Но есть ли оно у тебя? Эх, и последнее-то лицо с тобой утеряешь, посеяв все лики свои на узнаванье твое...

Лизок прибавила в этом году Россию не на один лизок, нет, – на целое поколение и на целую мою потерявшуюся было, избегнувшую меня так разорительно страшно любовь. Как нежданно прибавление это, как нежадно!

Вот что такое мой необыкновенно улыбчивый и уже заметно добродушный Лизок, – если она унаследовала добродушие своего деда, моего отца, то мало чего можно впредь бояться. Она очень многое спасла во мне от пропаж и немотивированного изгубления. Она углубила меня и распросторила на бесконечную мою любовь к ней – а перед этой любовью я кажусь себе до крайности малскуден-беден. Нужно еще расти да расти, много каши житейской съесть, чтобы стать вровень с этой припозднившейся в жизни любовью к моему несмышленышу, мыслящему пока глазовитой улыбкой, – в ней столько врожденной протянутости навстречу!

Всему-всему навстречу, без разбора, лишь бы это было человечьим движением или чем-то, пусть отдаленно напоминающим его, или под него – чаще всего – обманывающим. Впрочем, ничего уже и не важно, когда есть на дальнейшую жизнь решительно все, когда распоследняя бедность глядится шикарным богатством. От избытка чувств пойдешь и изящно стрельнешь идеально уличную сигарету, чтоб внести в гармонию окончательный штрих.

Лизок ежедневно помечает свою территорию. (Тоже занят человек государственным делом!) Обдает меня теплым смешным душиком. Теплым смешным душком. А что являюсь я безраздельно ее территорией, – это не подлежит в ее инстинктивном разумении сомнениям. Иначе за что же мне еже-

вечерний дар щедрых писюлек? Или точнее будет – писулек? Ее, моих ли слов увлажненных? Нет, не понять, где чьи тут слова, взаимопроникшие, двойного, видимо, авторства. Опять Лизок не мимо меня пописала. Так она мной пописАла росчерком одним вдохновенным, превратив меня в горстку малую совершенно пеленочных слов? Вполне законный теперь возникает вопрос: надо ли их застирывать? А вдруг нашла она слова вечные?

Малость дочери появилась, сотворив во мне чудо переворота. Образовалась из моего изумления, из всех моих удрученных невероятий. Теперь хоть одному человеку я без ничего нужен. Всецело, бесконечно потребен. До самой обморочной глубины, до скрежета истины этой потребности.

А думал уж – все, глупый финиш, бездарный финал, закончу дни свои в кромешной ненужности, как в темнице, в безвестности желаний и намерений. Изгоем от всех надоб людских, на выселках их потреб глухих и завядших страстей, сосланный их ожиданьями в ссылку, без права возврата в судьбу, лишь с тайным правом вглубь себя переписки, на бессрочную вечность срока.

Ну да, я не в изгнании. Ну да, я в послании. Куда бы послать мне сегодня себя с утреца? А пошел бы ты на хи-хи, – вдруг за углом явственно что-то ко мне отнеслось, вскидываясь ощутимо, явно мельтеша контурами и величественными котурнами. Неужели то был конкретный совсем человек? Вот бы обидно было, так обидно. А если тебя на хи-хи посылает безличная сила, это мне как с жидкостнотерпимого гуся вода. Даже радостней обычного отчего-то становится. Вот за такие вещи и люблю безликую силу из-за угла. Не знаю, что б я без нее и делал.

Но радости бы точно под ногами и чуть выше по ним не чуял. А сейчас стою в радости выше колен, своеобразные гольфы. Уровень заметно повышается, полные штаны скоро будут радости. Откуда это половодье чувств? К ночи не нахлебаться бы.

Ожидаемая, но все-таки странно неожиданная в чем-то самом простом и обыкновенном дочка пришла на помощь лет на тринадцать – четырнадцать, до того как в человеке начнет перевешивать чуждая всем неприкасаемая жизнь.

Очень вовремя родной несмышленыш пришел на выручку. Я уж принялся было и впрямь в себе разочаровываться и подумывал с настойчивостью, достойной лучшего применения, о более худшем своем применении. Это применение меня угнетало и вконец испечалило, но оно казалось последней, единственно благожелательной ко мне участью – концы отдать она позволит не безобразно, хотя конечно же и безобразно. Ну, худа о двух концах не бывает, и то хорошо, просто замечательно. А одним концом никогда до конца не скончаешься, хоть и не окочуривайся, зря только в это высокотехничное дело ввязываться, пустые хлопоты. Проверено. Вплоть до самой смерти. И чуть даже над ней пролетая: не гнездо ли это случайно кукушки, еще земноватой, полной беспечного мая? С легким разлетом безумья зеленого оптимистически потусторонний май... Там тоже, выходит, есть сумасшествие? Вот, как видите, – существует себе на здоровье, нам желая всегда тютелька-в-тютельку точно того же. Здравствуй, здравствуй, маниакально-депрессивный психоз, как давно тебя, дружок, не было! Где был, пропадал, что за весть принес? Боже, но что с тобой сделала эта мастерица невероятная, эта проказница смерть?! Просто лица на тебе нету! Тебя теперь как узнать? Ну, давай будем знакомы незримо. Невежливо целую вечность друг на дружку молчать. Первый ход за тобой, ты играешь сегодня белыми, а я постепенно твой цвет нагоняю. Дальше пойдем ноздря в ноздрю, совокупно светя, поминутно символизируя единство того мира и этого. Двойной обгон и лихачить категорически запрещается. Здравствуй и ты, тетушка шизофрения, не будем невниманием тебя обижать. Диву даюсь: какая до сих пор обаятельная ты штучка! Не сутулься. Сколиоз будет. Узнаю в тебе прежнюю шалунью, а дальше теряюсь, узнавания стремглав прекращая... Неужели тут сплошь виды одного сумасшествия? Дыр бул щил... то есть: здесь был я, что ли, если ботать по-тамошнему? Так я и знал – умному человеку там делать нечего.

В заждавшейся кроватке лежит сверхкрохотная, малоимущая возрастом Лиза (там и Лизы-то, повторимся, на один насущный лизок!) в одеяниях из каких-то тигров и львов, из неловких для местного глаза саванн, смущенных туманов и совершенно не здешних, отпрянувших чужевато тревожных небес, ярко кричащих закатов, которые немилосердно выпроваживают тебя на родину, депортируют

без оговорок в собственные обжитые небеса, в привычные облака, удобно знакомые для прохождения взгляда; я чувствую себя на небывалом сафари, причем немножко отловленным, как-то прекрасно пойманным. Лишнего переложившая на молочный желудок Лизок публично икает, как бы демонстрируя чистые возможности четко отлаженных пищевых путей сообщения и решив побросче проявить себя, в противовес кощунственно длительному своему, чуть было насовсем не размывшему ее небытию. И кажется, будто дом, встрепенувшись и пробудившись новыми чувствами, коих он никогда не испытывал, в охоточку, в прелесть свою содрогается, играя с собою в резвые прятки, от ее восхитительно человеческих иков, звучно и как-то очень точно и чисто пятнающих накопленную годами здесь тишину, которая долго пряталась, а теперь вышла, тишайше сияя, встречать необычайные звуки. Вон она ясно как улыбается, наша сиятельная тишина!

Все тут делается от вышедшей на передний план тишины новеньким.

Жена говорит: «Икает как ты, когда пьяный», смеется от этого сходства, опорочивающего сразу двоих жителей Земли, и мне хорошо, внутренне тепло оттого, что моя дочка звучит по-моему, даже в нелепом: не может так не звучать. От нее пахнет млечным младенческим сном (и наверное, позднеавгустовским Млечным Путем, по которому сюда к нам она скорее всего прибыла, вопреки всему добралась-таки) – тем самым как бы межзвездным сном, о каком я начисто позабыл за двадцать с лишком лет, с той поры, когда мои старшие дочери перестали быть такой же крошечностью, как ныне крошечность – Лиза.

Едва жена выманится из комнаты какими-то кличущими из других мест заботами, я обожаю украдочкой целовать кроху дочери во что быстро получится, а в основном в темечко (меня попрекают за многосторонне наносимую вредительскую заразу), еле припушенное слабыми, почти не существующими, но уже явно одушевленными волосами: с чего б им иначе мечтательно пахнуть? Поцеловываю да приговариваю: «Ну, что, Лизок? Живем? Дожили до жизни?» – дальше шествует вольный отцовский бредок, который словам не поддается, словами передаться не в силах. Типичный бред маниакально-родительского психоза, за который, правда, в психушку пока не сажают, за что следует благодарить отдельно, но неизвестно кого.

Лизок весьма подозрительно и хитровато (откуда что только берется!) косит на меня и слова попархивающего бредка моим усовершенствованно азиатским глазом, что-то соображает еще не существующими мыслишками-призрачишками и до чего-то, видимо, все-таки досоображевывается. От этого ощутимо шевелящегося соображеньица даже плач насторожившийся остерегается плачем быть в те от непривычки пока затрудненно протекающие в ней вещественные минуточки, нашедшие-таки ее земные пути, по ним осторожно, покрадкой великой пустившиеся. Минуточкам трудно быть Лизиными, они от нее увиливают, все норовят улизнуть, желая остаться внечеловечными. Но как же плохо это у них получается! Попались минутки, от нашего теперь не отвертитесь!

Плач застопорило, укротило, и человечек реет средь собственной тишины – до первозданной, до прелестью пахнущей чистоты обезмолвленной.

Внезапно вернувшаяся и чуть было не застукавшая меня на нехорошем жена смеется на остаток моих уловленных ею слов тем взволнованным, нежно грудящимся в теснящей груди новогодним смехом нашей первой поры, снежно-елочно-мандариновым смехом (елка увешана добротно крепколикими, упитанно взирающими на свет щенячье-доверчивыми игрушками-увальнями, забредшими из нашего, прямиком из нашего детства), перезвоном счастливых, окликающих задорно друг дружку минут, ее глаза и насылаемые ими всякие взоры смотрят по-прежнему влюбленно, с сиятельным порханьем, ей нравится, что Лиза похожа на меня, отыскиваются немедленно в ней все новые, более затаенные и затененные похожести, милостиво вдруг приоткрывшиеся, как не обитаемые острова, и нам расчудесно быть средь повсюду ютящихся тигров и львов и невиданных очертаний крылатых деревьев, средь чуждых тревожных небес, тяжко обагренных нездешним, на безвестном наречии ярко кричащим закатом, что выпроваживает немилосердно вон, средь оцепененья каких-то уклоняющихся, все бегущих от чувств саванн, на сафари, где никого не убивают и никогда даже в шуточку не убьют.

И ощущается просветленно, с примесью чистого неба, с толикой явного первонеба, и в затишке души протяженно светлится: наши годы возвращаются вспять – им прелестно быть нашими годами, окрашенными в самый лучший, в самый не лунный наш цвет. Их ничейность с рождением Лизы становится все более призрачной. Их чужба сходит мало-помалу на нет. Годы начинают заметно теп-

леть, обретаться живыми, они хотят прорастать иным, чем ожидалось, будущим, они грезят очутиться совершенно на нас не похожим грядущим. К ним возвращается из невероятного, из невозможного далека блудный их смысл, давно затененный и беглый. Вот-вот былые годы младенчески пролепечут «агу» и подмочат пеленки. Где памперсы? Скорее! Скорее хотя б устаревший подгузник! (Улыбаюсь из шестилетнего возраста Лизы ее взращенной в свет шестилетней улыбкой.)

Я не выдерживаю лавины Лизиных похожестей, которую обрушивает на меня жена, и отдариваюсь ответной лавиной, которая стремится быть нежной и хочет стать не-лавиной: «Зато ушки у нее твои... и чуточку подбородка... Щеки также круглятся по-твоему...» Я без жадности делюсь Лизой: пусть ее будет побольше во всех. Мне отрадно, что я все больше дочери уступаю жене, – мне хочется в Лизе ее похожести не меньше, чем моей. В конце концов, ничья похожесть не лучше, так пусть будет все равно какая. Много-много всего нашего должно переплестись, в скорое будущее срастаясь, в умиротворяющем этом, все смягчающем беззащитном единстве, покряхтывающем средь зазевавшихся львов от избыточного молочка.

Давно бы уже пора спать, и мы стараемся заснуть средь пушинково вздымающихся, вовсе не от страха вздрагивающих, полетывающих, что-то лепечущих под Лизковым дыханием тигров и львов, отказавшихся сегодня преследовать щиплющих траву в глубине долин и души антилоп и замечтавшихся до небес – вместо веток – жирафов. Но сон нейдет. Спугнут он со своих пастбищ и, как бы сторожко, встревоженно замерев, стоит от нас в сторонке, в дальнем темном, фосфоресцирующем о чем-то углу, помаргивая вязкими веками и дивясь тем, что мы им пренебрегаем: совершенно небывалый случай в его многолетней сновидческой практике!

Мы слишком переполнены случившейся сегодня с помощью крошечного этого связника близостью, нужно успеть сказать очень многое, чересчур залежавшееся, опасно передержанное под спудом, а ночь как никогда коротка и чревата рассветом, и вот-вот, – она уже на близких подступах к шевеленью, о чем уведомляют нас ее изменившиеся сопенья, – проснется Лиза, непререкаемым и высоко возносящимся голоском требуя вновь себе какой-то еще жизни, средь глухоты и бесчувствия ночи и не поймешь, какой жизни ей, жадобке крохотной, надобно.

Как бы для нее напастись всякой жизнью? Всякой жизнью на все случаи и промахи жизни. Да разве ж такое дело ожизнишь...

Все мои горечи и неудачи, лихие провалы и поражения, все проворно юркнувшие в мою жизнь злобкие невозможности оправдало одно рождение Лизы. Ею во мне все оправдано. Тщетное и ложное выдворено из моей жизни, разочарованное и унылое лишено моей жизни, непотребное благополучно закончило свое существование, напоследок не преминув-таки чего-то пискнуть теряющим голос матом. Все прежде напрасное сделалось нетщетным и надобным. Их попросту больше не стало, былых поражений, они уничтожились в качестве поражений, ибо они оказались в точности необходимы – чтобы случилась Лиза, во имя ее, во имя явленного стечением неурядиц, случайностей, бед его высокосвященства – господина рождения. Мои утраты составили единственно верную последовательность судьбу родящих событий, которые и привели единственно к ней, к неотклонимо ее появленью на свет, на славный случившимися теми утратами свет!

Исполнила Лизок-на-один-лизок утраченную функцию пропавшего было Бога и лишь одним явленьем своим совершила то, чего Он, подчистую меня изобещав, отрекался для меня исполнить, видимо, изрядно подустав, приуныв от темной и смутной фигуры все явственнее становящегося брендом В. Володина (которого чрезвычайно успешно использую втемную) и до плевков отвращения разочаровавшись в ней и в том, чем набита она и что воровато ею несомо, облеченное шкуркой бездарственной оболочки. Кажется, чуток я смутил уже Бога прыгучим своим и стрекочущим, как цикада, поведением, повредил Его не нарочно в лучших Его намерениях – далекоидущих, но без меня... Впредь грозило мне брести Бог знает куда насквозь безбожественным.

Новому моему внезапно открывшемуся, обитающему средь домашних саванн богу, столь мастерски пускающему изо рта доверчивые пузыри, еще далеко до разочарованья во мне. Целая вечность из тринадцати лет. Пока бог не вступит в переходный возраст и не оглянется пристальней на себя, позабыв про другие оглядки, утратив легко идущие к людям возвраты...

Чем занимался?

А жизнью, знаете ли, жил. Я сегодня окончательно перестал существовать. Жить начал. Я резко переменил свой личный способ существования белковых тел. Являйтесь посмотреть – не оторветесь от видов моих, не налюбуетесь. Отныне живу сквозяще и дальновидно, как окрестность, солнечно мыслящая в сентябре, как денек погожий ближе к закату.

Я жить избрал по-сентябрьски.

Из тишины весь пребываю. Безмолвно в просторах сквозных сияю. Дни напролет там пропадаю. Тем и цел.

Да что же такое моя жизнь – эта вечная непонятица, дивная ты моя невнятица и нескладица?

О, это нечто! Нечто, неуследимо перетекающее в ничто.

И это перетечение прекрасно, прекрасно, я тому пристрастный, неотлучный свидетель. Даже только для такого истекновения стоило жить, все избывать понапрасну собою. А ведь есть у жизни еще и всякие льготы. Много также бывает бесплатных проездов в оба конца. Перепадают иногда, как стихийные бедствия, совершенно шальные, на шкуре явственно ощутимые гонорарии, а это очень хорошо, очень, до чрезвычайности, если не обнаруживать тут же их гонором, гонореей ли. Тогда бывает похуже, чем очень хорошо, очень, до чрезвычайности, – лишь слегка замечательно.

Я давно никого уж не знаю. Разучился знать.

Да и нет что-то охоты.

Мне еще немножко хочется себя знать, быть хоть в призрак с собой знакомым – но временами, местами, большими провалами. Чаще б всего и добротней – беспамятными пробелами.

Открою страшную, кощунственно выглядящую, наверное, со стороны тайну: я давно замыслил с собой раззнакомиться. Ищу только подходящего повода и темного поступка с другой стороны, вызывающего отторжение, заставляя меня питать неодолимое отвращение. Но он, объект раззнакомливания и последующего отчуждения, точно остерегаясь и переполошившись меня, отпрядывает и ловко прячется в пышноватых складках моего смутившегося разума, который делает тотчас вид, будто он отпрактиковал навсегда, с ним лучше не связываться, он теперь другим занимается. Я пока по-хорошему прошу вас, лукавый повод и вызывающе темный поступок, больше не наряжаться в мои мыслительные, много думающие о себе одеяния. Их и так осталось скудно, они дырявы, заношенны в пух и прах, мне бы самому было что до логического конца доносить. Иной раз на улицу выйдешь, прикрытый лишь фиговым листиком отзеленевшей давно и облетевшей в своем смыслепаде мысли. Тут же пальцем начинает показывать народ на обнаруженную пустоту в отдельно взятом зияющем месте, грубо тыкать в нее и пробовать натыканное на вкус прямо с непомытого, обвалянного улицей пальца (всплеск назавтра кишечно-желудочных). А как прикажете быть, если и меж собственных ног есть тоже я, как ни отрекайся прилюдно (дескать, не совсем это я, тут скорее ошибочка, чем я сам, зрится), как ни отверчивайся всем своим избеганьем: нечто болтается, неумолимо наличествуя, имея похабные названия на всех языках мира, как живых, так и мертвых. А это делает тебя для проверок гораздо прозрачнее, чем если б ты был объявлен в розыски Интерполом и вывешен на всех перекресточках света, на всевозможных чужих языках, как на виселице, болтаясь. И ничего не поможет, ничего, сколь высококачественно ни угробляй себя переводом.

В одном темном, особенно дрянном уголке шевелилось что-то невообразимое.

Это был, естественно, я. И тут без меня уж не обошлось, без меня не минуло...

Когда я об этом узнал, мне захотелось выть, орать благим матом и рвать волосы на том, кого даже вообразить нельзя. Но тогда ни о каких волосах не может реально быть ни молвиночки речи. Придется рвать на себе что-то другое невообразимо ужасное и скорей всего небывалое. А это грозит ужасно, ужасно неизвестно чем, что похуже будет всякого обезображенного лицом насущного страха. С кем я связался, зачем я на это пошел – быть собой, жить им сплошь и рядом?! Вот во что всей жизнью меня угораздило вляпаться. И так что ни день, что ни ночь она от меня, жизнь моя, страдает бедняжечка, хоть тело вон выноси и тайком где-нибудь закапывай, регулярно потом перепрятывай, для пущей интимности. Так и чувствуешь себя от собственных телес уголовником, из-за непростых взаимоотношений с ними.

Боже, какое дохлое тут небо... Мне даже нечем здесь умереть.

– А это еще кто?! Да ты, ты, мы тебя, кажется, спрашиваем, рыло-то воротить не надо! Чего тут торчать взялся?!

– Я автор. Кое-чего какой-никакой родитель.

– Таких не знаем. Вряд ли такие бывают, здесь подобного отродясь не водилось, такой глупости не наблюдалось. Проходи дальше, да пошустрей, народ не задерживай, а то целую толпу собой напрудил. Много тут всяких шляется! Зренья не напасешься на ваши блужданья да выкрутасы. Не трепыхайтесь-ка отдельно, а будьте ровной толпой. Нам глаз на каждого не хватит иметь. Мы глаза в россыпь не раздаем. У нас они оптом. Пшел, пшел, розничный, вон! Штуками не принимаем! Это нам западло.

Выродок из самородка. Лучше уж в жизнь ничего не бывает. Дальше сущий идет один запредел.

В любом человеке ему интересен только он сам да собственные его мельтешащие, обычно кишмя кишащие в других людях отображения.

Если он не узнаёт в постороннем ни приманчивой личной частицы, тут же отвлекается вслух на себя – громко и невпопад, мощным валом девятого голоса забивая гул чужих образов и дрогнувших в панике слов. И не важно тогда, какую лихую сумятицу нести ему, лишь бы отменно свое: свой бред всегда ближе к телу и к зябнущему без рубашки маразму.

Я не одинокий, я просто премного ушедший. Но, наверное, есть ведь еще люди, которые видели, как я уходил. Ах, найти бы их, порасспросить... – кто, кто же он и куда ушел, не отпросясь ни у единой моей печалинки, ни у одного моего желания, не взяв на дальнюю дорожку ни единственного заношенного, латанного-перелатанного прощания, которое бы на ночевке средь голого мира печалью бывалой согрело, глядишь, порадовало бы...

Скоро будет во мне поздняя осень, я буду грустно опадать – но с попытками порха на юг, порывистым в солнце слепое полетом.

Как больно кричит во мне перелетная птица!

Мне не остаться тут зимовать.

Мне тут никогда, никогда не остаться... Но осень перерезала все пути. Исхитила все покидающие местность сквозные полеты. Осень собрала щедрый урожай доверчивых моих смертей. Отсюда теперь никуда не возвратиться... И к себе-то не добрести: все время в полый, опустошенный ноябрь выбредаешь, понуро бредущий мимо страстей и дорог... Бельма дождей опять поведут не туда, на край не того света... Что же никто мне не даст пары самых простых, самых пусть и нелетабельных крыльев, чтобы осуществить великий осенний летальный исход?

Не хочется быть ничтожным, а куда денешься?

Деваюсь подальше от себя, чтобы хоть не собою быть ничтожным.

Я забрел в какой-то животрепещуще хамский переулок, растерзанный, но превыше всего – терзающий.

Ну чего тебе дома-то не сиделось, шаромыжкин ты, бродяжкин?..

Ходи теперь, кровоточь разобиженной, ушибленной переулком душой.

Пойдут наутро смачные по ней синячищи. Попросится она жалостливо в бомжи. Разжалобить меня нетрудно, я могу ведь не устоять и ее отпустить, пышно цветя компромиссом, хоть и буду потом клясть и изничтожать себя за милостиво разрешенное мной попущенье. Эх, душа, душа, что поделать с тобой, как тебя истворить вчистую, чтоб не клянчила ты понапрасну четырехсветных стезей и всесторонних, соблазнами полных рассеяний? Для прощупывающих опытов вскормлю-ка тебя, душа, репчатым луком угарным и каким-нибудь ошеломительно приземлительным салом. Может, отяжелеешь и свалишься от едового перегруза, как дурная, забудешься на часок-другой тихим сном пропаданья. Я устал ходить с тобою бессонной, мне надоело видеть сны твои наяву безотлучно, хочу снов твоих подлинных, неподменных, золотые видения просим не беспокоиться: интим нужен, только его и предлагать.

Фотографии, на которых был я еще неприлично счастлив...

То время ушло в безвозвратность; я сделался естественно печален, прилично одинок. Не стыдно показать себя людям.

Скажите вы мне хоть разъединственное слово. Я так изглодан, изнеможен, так низложен собственным безмолвием, что немотствует даже кишечник, безудержно речистый обычно, и бойкая кровь, столь острая на язычок. Вы ведь не хотите, чтоб я был только горсточкой ополоумевшего праха, который задумчиво – отняв у меня всякую мысль, всякий промысел – перебирает, словно старые письма, мое одичалое безмолвие, исказившее мои размышленья до неузнаваемости, до признания в них лишь чужих, не бывавших мною, со мной никогда ликов.

Когда же гостили во мне странноприимные мысли, на мерклый мой огонек постучавшиеся переночевать, наутро убредшие паломничать и проповедовать в другие головы, вознамерившись обратить упорные калганы в свою веру? В сумерках сознания я плохо их разглядел, но, вероятно, почаевничали мы знатно. Язык у меня сегодня как-то эсхатологично лиловый и гималайски бугристо шершавый, истерзанный до состояния выкинутой подметки, – это ж надо столько чаю выдуть накануне, какой нормальный язык выдержит этакие проливные чайные процедуры! Вот он, правильно делая, в рот и не помещается, не говоря уж о том, чтобы хоть разъединственное слово посредством себя сказать, в неуместно лишнюю плоть свою облечь словцо умозрительно мясисто и пышновато. Эх, глупец какой этот язык – дорвался до безответного чаю! Думает, в таком режиме существовать и надо, думает, теперь просто залюбуешься на него беззаветно, зеркало пунктуальное перед ним изощренно крутя. Оттого, неуемную величину обретя, и пропал, пустомясый! Нет тебя, нету! И не было, хлюст очевидный, по всей видимости, никогда! Спрячешься ты или нет, несчастная жертва глагола?! Быстро исчез, пока я на оставшиеся грамм пятьдесят добрый!

Ужасно зол я сегодня на собственный забунтовавший ложными величинами язык, так и отдал бы его бессердечно на мясо, по самой доходяжьей цене, которая уже и не цена, а гримаса рынка. В зеркале ее, гримасочку рынка, краешком тоже видать: мелькает. Пляшет шальная и пошлая в распутном ехидстве... Эй, денежно-товарная, давай-ка изыдь! Кышь, говорю, тебе говорят! Хватит тебе моей внешностью ухмыляться и ею меня искажать наугад! Не для таких искажений она более-менее создана, полстолетье уже благополучно кончается, а конца-краю пока не видно, пропади оно все самым счастливым и щедрым пропадом!

– Голову даю на отсечение!

– А давай. Видать, она у тебя напрасна. Довольно избыточная получается головенка. Все равно ее применить не к чему, за милую душу усекновим излишества анатомического барокко, сделаем как надо, чтоб все как у людей было. Будешь с легкостью шествовать без верхнего набалдашника, а то действительно он тяжеловат для повседневной носки. Ничего уж, что ли, поневесомей Бог придумать не мог? Вот по высшему недоразумению и носи на месте мозгов чугуны да расписные болваны. Это вместо мыслей как раз и выходит пренатуральная каторга, окрестно невыносимо звонкая, не говоря о веселости. Слышите звон? А не знаете, где он? Да головы видоизмененные это ботают, куда там до звона мозгового посконным тем, застыженно звякающим, конфузливым кандалам, – как будто противно чего-то канючат, когда прямое и обыкновенное дело по морде взвесить. Да где ж, однако, ее взять? Усекновили мордочку по совместительству с головой. Голову-то ладно, Бог бы с ней, головы как-нибудь найдутся, еще нарожаются, а мордочку зачем так опустительски не пожалели? У нас без нее никуда и не сунешься, а вот с лицом всегда возникают проблемы, обычно неразрешимые.

Кричали в луженые глотки безудержных площадей, в матюгальники свихнувшихся на не длении перекрестков, кричали на все громовое население, во все его легкие, а равно и тяжкие, кричали дома сумеречными поужинавшими оральниками и в мерзящихся, отвращенных душах (в них не переставал визжать и последний писк моды) – душеньки последние разнесли в прах, безбашенно и безнадежно, без слез, без веры, без любви.

Не осталось ни ау, ни уа, ни эха просторечивого, их подтвердившего, ни тпру, ни ну, ни самих обожавших кричать не узнать: крики употребили их и исторгли. Эти люди – лишь непереваренные остатки собственных прожорливых криков.

Тишина их уже не приемлет – она знает свою осторожную чистоту.

Так искричалось и вымерло криком в какие-то десять лет пол-России. Оставшееся население после столь усмирительных происшествий и горловых процедур боится и слово сказать, как воды в рты безрассудные понабирали. Живой? Или опять безнадежно обыденной, уже начинающей громко молчать?

Я не упоминаю их. Они не заслуживают собственного имени.

Да оно им и ни к чему – лишняя помеха, досадная тягота. Одна морока пустая с этим поименованием...

Даже их былые, кое-как точные, что-то в них разглядывающие и угадывающие имена им не к лицу.

Даже их лицо им – не к лицу: их оно ничуть не личит.

Вот ведь какая беда поголовная. Эпидемия пропаж выкосила три сословия. Население из одних дыр состоять стало. К чему бы эти смотрящие отовсюду на нас в недоуменьи прорехи? Дырчатые глазки отсутствий – что они высмотрят зорко? – Да лишь узорчатые наши пропажи, которым честь и хвала, потому что без них – никому никуда.

Растения с доверчиво глядящими, открытыми, неуклонно ясными лицами, которым в убеждениях не откажешь: так и сияют твердые человечные принципы в улыбках растений! Почетные граждане биологического факультета, с достоинством населившие портретами стены. Все, естественно, натуральные академики – за каждым шлейф крупных и светлых открытий, что ни растение, то сотенка-другая незримых нобилей за остролистыми и стеблевидными плечами:

Пролеска сибирская. Спирея зверобоелистная. Вероника широколистная. Касатик аировидный. Дербенник иволистный. Полынь солянковидная. Первоцвет крупночашечковый. Купырь лесной. Очиток едкий. Ветреничка лютичная. Мордовник обыкновенный. Тимьян Маршалла. Шалфей поникающий. Пупавка светло-желтая. Гониолимон татарский.

Чудный народец! Прекрасное население России! Вот бы так людей окликать... Здравствуй, мол, касатик аировидный. Каково почивала ты средь мрака своих очей, милая, неподражаемая ветреничка лютичная? Здесь даже грубость легко свести до пустой укоризны: эх, ну что ж ты натворил, гониолимон татарский, мордовник ты после этого обыкновенный!

Так всласть и побеседуешь, поругаешься малость (коли нужда в том отводить душу), будучи днями никем не запользованным, не приобщенным, за беспримесно дурное и беспримерное поведение выключенным давно из сообщительной цепочки человечьего биоценоза. Жду сегодня вечером в гости Веронику широколистую, но боюсь, как бы не заявилась Спирея зверобоелистная, которая повадилась меня ревновать. У меня и кровати-то издевательски просторной такой для нее нету. Что я делать с ней буду? Каково мне на старости лет приощутить себя мальчиком шибким по вызову?! Да и, не дай Бог, Ветреничка лютичная что-то обо мне прознает, постучит условленным знаком в мою забывшую про себя все на свете дверь. Ох, что тогда будет, даже подумать странно и сладко – что будет... Заранее в названиях нежных я утопаю, благостно теряюсь... Сам не помню, как случилось со мною сегодня меж строк неделовое свиданье высокоэротического пошиба: влип как миленький. А уж как повезло-то мне с редкостною периной! О том, славно почувствывая себя в тепленькой утайке, хорошо знает один лишь мой на опилки даже не годный возраст – мгновенно отсыревают они от всяких геронтомокрот.

Так и приподнимешься денька на три жизни целебным настоем травных высоконазваний, цветочкиных иносказаний. Ягодки, надеюсь, обязательно будут потом. Представляю, какие ожидают от них восторги, если уже от названий меня так повело!

Я-то в России вырос, это сомнению не подлежит. Как сейчас помню, – когда-то в России... Я ее застал еще нашими великолепными старорежимными стариками.

А где попроизрастали вы, будучи выкормышами шестой части суши? Вы-то как раз в совдепии и произошли, совдеповской повадкой рыщете, совковой злобой дышите. Совок и есть тот, кто совковым всё обзывается, рыло звездастое во всем ищет.

Что вам скажет обыкновеннейшая, суперпростая Россия, которую вы потеряли, ни на сердечинку бросовую, ни на пустырinку голую не обретя? Да она с вами и разговаривать не станет. Мало ли ей и без вас пустых речей оголтелых?

А вы только и есть речи пусты, в бестолочь изболтавшиеся, зажористые сердца. Ну, хоть болтовней-то вас обильно Россия снабдила, бедными никогда не будете. Надевайте скорее наше ситцевенькое бледнокровное небо – и марш, марш развалочным шагом порасторопней прочь, пока Россия не опомнилась и вам подарочков горяченьких не наслала. Не забудьте потом вернуть небо с возвращающимися. Оно нам еще понадобится. А если всем уходящим его раздавать (как не дать? – ведь околеют от холодрыги скитальческой) и не возвращать обратно, так никаких небес не напасешься, придется нам без неба сидеть, на сверхнемыслимой одной, прекраснодушной картошке.

Нахожусь на пути к Богу.

Не пропасть бы по дороге.

Сейчас многие исчезают, едва выйдя из дому на простор своих глаз, диких глаз своих, от людей убежавших, так небрежно их избежавших. Лишь величественная, равноведущая всюду цепенеется темнота. Что она лихо-лишенько высветит? Куда нас ото всей души пошлет на хрен? А так хотелось послаться получше...

Беда лиц, облеченных многой властью: ни на минуту не принадлежать себе, распыляясь по внешним заботам. Единственная мука ада, проникающая до глубины души: ни на крошечку времени не оказаться, даже вдруг, собой. Вот прежде всего отчего большая власть и есть большой ад, который гораздо потусторонней того самого адика, пренатурально потустороннего.

Но большинство лиц как раз и состоит из этого: не принадлежать себе (не в смысле, конечно, самоотреченного служения на благо, а – по закоренелому отсутствию в себе), ибо там чему-то принадлежать совсем-совсем нечему, одни откровенные фигушки показывает ретивая, зарвавшаяся пустота. Отрадное, спасительное для многих небывание. Целиком внешние, выкинутые из себя, потерянные собой люди мажорно торчат по парадным обочинам. Они прытко, с бодреньким ликованием (сил ведь дурных немерено природой намерено) бегают на посылках у внешних, у посторонних нужд, с облегчением побросав где-то жалкие и нестерпимо скучные, нестерпимо скудные остатки себя, кое-какое смутное барахлишко собственной разбазаренной, своелично омародеренной личности. Так и шпарят вдоль обезличенного населения одной голой практической личностью.

А попутчиком нашим был нас презревающий срам. Но и он отстал. От стыда за людей, наверно, сгорел.

...И тогда я хохочу над тонкой бессмысленностью их замечательно обнаграденных произведений... Они таки довели меня до истинного смеха и обескровили его смеховой истерикой, – вот последнего не надо бы делать, пусть бы истинный смех во мне оставался, немножко лишнего истинного не помешает.

Зато трудновоспитуемый мой организм в три самых скорых минуты очищен от словоблудных шлаков, закупоривших некоторые ответственные сосуды моего в целом неувядающего духа, плохо что-то все меркнущего, несмотря на поздний отечественный час. Он себе и закат, что ли, отдельный избрал, вразрез общезакатному делу? Вот безумец, воистину чистый безумец! Хоть бы детей – мысли свои пожалел... Прет прямиком по собственным деткам... Сколько ж еще-то идти в немыслимую бесконечность? Она будет тоже трудна? Ну, слава те Господи, коли так. Сразу ни с того ни с сего полегчало... А вот и совсем отпустило! Прекрасным никем в никуда лечу. Зато плюс есть один тут большой: просторы необозримые – наши! Глазам своим трудно поверить, но – точно уж наши. Точней просто некуда. Это кого-то, должно быть, радует. Теперь бы узнать – кого. Какое безвестье призвать на помощь? Наверное, лучше всего свое. Ведь свое безвестье ближе всего к телу и всегда трепыхается под рукой: ого! тепленькое! Ну, давай, дружок, прикурить. Нету ль примки случайно? А давай и поговорим. Большой я любитель потолковать по душам.

В наше уморительно веселое и необозримо оборзительное время, чтобы соорудить себе приличное имя, достаточно навалять пару заказных критичных статеек (в русле магистральных хвалений) и тройку разков вымелькнуть из телевизора, трепеща органами звука сноровисто, как сороконожка неизвестно даже какими, стрекочущими в обнемевших глазах ногами.

Серьезная проза имя неумолимо лишь умаляет и разрушает, к итогу жизни стирает до неразличимости, покушаясь заодно и на самый итог – чтоб и ему не благоденствовать, не благодушествовать

спрохвала, а продолжать страдать за все человечество, убиваясь по нему неустанно.

В прозе, если она истинной быть вознамерилась, всегда ниспаданье имен, так что и не понять через троечку десятков кремнисто упорных лет, кто же это там начинал, ярким, пылким именем взблескивая и едва ль не окрестно сияя.

Такая уж вот это отнимательная штука – проза, она и последнее, в смерть припасенное, отберет, приватизирует между делом небытие. Средь личности павшей и выжженной не брезгует мародерствовать и девушек наших водить в кабинет, для полноты жизни поя их твоим же последним портвейном, которого и так всегда мало, приходится, не единожды солгав, много раз бегать, только все удовольствия порастрясаешь вконец в побегах.

Так и зашагиваешь за жизнь вынужденно полным никем, до безымянности разоренный. Ты голее уйдешь, чем сюда явился: с тебя взятки безупречно гладки.

Ты родился сюда, чтобы стать окончательно нищим, всюду себе безродным, год за годом кропотливо превращаясь в чистейшей прелести чистейшую ничейность, в изящно текущую по нашим просторам свору стройных и грациозных исчезновений, – дикая грянула тут охота, где участвуешь неизвестно с какой стороны, неуследимо перетекая из охотника в добычу, обратно мелькать не забывая; из добычи плавно растворяясь в дырявленную во всех местах, убийственную идеально жертву. Потом, в завершение праведных дел бегловатых, благостно ужинаешь охотником отсутствующими великолепно зубами: мясцо ничего бывает, только до дурноты прокуренное, водками в беспредел, очень уж неудобоваримо промоченное – крепче обычного пованивает, напоминая порой до отвращения сладковатую человечинку... Хреновей, руку на сердце от бессилия положа, честно сказать, мало чего и из отбросов бывает.

В чине генерала всех отсутствий тебя с легкостью необычайною похоронят, с рук на руки передадут в жалобящуюся стыдливо землю (оттуда, бережные, они перехватят незримо, мигом разгладят на лице суровые, обиженные на поверхность земную складки). Только вот одно прескверно: приходится лечь генералом, – этого-то всеми силами ты и не добивался, всю жизнь плюясь оперативно на любого проскочившего в себе генерала, который обязательно в тебе настанет, сдуру как-то набрякнет, которым тотчас в три слоя густопсово сплошь обрастаешь, чуть только зазеваешься и дашь себе гибельное послабление, пусть и посмертным уже образом, тамошней, позволительной немного слабостью, которую, была б на то наша воля, можно и не учитывать, как исчезающе малую потустороннюю величину: жалобы не принимаются, их прием закрыт намертво, прекращен сразу с момента рождения. При условии, если оно когда-нибудь было. В противном случае жаловаться можно сколько угодно, сколько кому-то куда-то по самое некуда влезет. Здравствуй, бодро скажут себе, генерал-ефрейтор ты бесподобный, в отлучке ли ты, в отставке ли или в какой еще не известной пропаже? Он и отзовется сочным голосом бархатистым, в двух словах тебя в три голых мата обскажет. Да ведь больше-то и не надо, прелесть прозы в краткости берет начало: экономия средств, боже ж мой, какая! Полстраны содержать эпохи две-полторы хватит на сэкономленных обрезочках бытия. И потомкам больше разностей разных и всячины всякой по экономичной нашей причине настанет, обильно бывалое откуда-то внезапно для них привалит. Как с неба попадает. То-то новой жизни будет огромное изобилье, начнутся перспективные большие приплоды! Много плюсов есть в сжатой до отсутствия прозе. Столько плюсов в сгущенном виде даже в нефти и газе редко бывает. Может, раз только в столетие, когда ночью однажды папортниковыми соцветьями расцветут волшебные олигархи. И чего это они благоухать взялись, цветики-семицветики? Пахли бы себе изнутри, вглубь месторождения не освоенного еще своего отсутствия, а то запах их прямым курсом ведет к неизвестно какой темноты событиям. В темноте и не разглядеть – хоть глаза выколи, – события ли это или что-то сразу крепко, надежно дохлое. Но пованивает оттуда будь здоров. Мясокомбинаты намного скромней себя ведут. Все-таки сдерживаются: не последние же аморалы, чтобы смертью благоухать.

Боже, когда от меня стало пахнуть козлом? Ведь был же я юным. Иль не был? И запах козла и был моим единственным, всепоглотившим личность мою призванием?

Н-да, нечего сказать – искусно владеем тонко оркестрованной, прочувствованной дотошно козлятиной, данной нам в запахах, не без последнего слова слова, накануне его неминуемой казни. Через повешение будет казнь? Или путем гильотинирования? Самороспуском переводите слово в иные

миры? О, это что-то новенькое, должно быть, до ужаса интересненькое! Мы эту казнь за любые деньги возьмем! А можно казни у вас оптом приобретать? Запасец кое-какой иметь надо, мало ли чего случится, карман он не трет. Да и торгануть можно при случае, это, как ни крути, недвижимость. В нее что ни вложи, все обернется добром и несказанным избытком. Самая лучшая она в мире надежность. Никаких надежд за нею не надо, перед недвижимостью они просто теряются, похожие на одно великолепно огромное тьфу.

Мои земные дни ничего не значат.
А какие же мои дни что-то значат?
Ведь что-то во мне явно значит. Здешне. Неизбывно светло. Ни на крупицу не смертно.

Вспомни сегодня обо мне, вспомни сегодня обо мне, вспомни сегодня обо мне! Заклинаю тебя всеми ожившими во мне незабвеньями. Не то я вспомню о тебе, и наша враждебная разлука возобновится.

Если бы мне с какого-то мрака или переполоху доверили воспитывать младенцев, они бы у меня в одно поколение со всей радостью своей одичали.

Они о чем-то курлычут. Я о чем-то неспешно молчу. Так бы и одичали взаимно, не набираясь ничего досаждающе лишнего.

Мое молчание и прочее звуконеиспускание толково воспитают разве что камень, да и то на уровне коррекционной школы. Столяр-краснодеревщик из взлелеянного моим воспитанием камня уже ни за что бы не получился, тут возникает обусловленный мною профпотолок, на мне спотыкающийся обязательно экзистенциальный предел.

Хорошо еще, что бывают женщины и их неумолчные щебетания. Не знаю, что бы мы без них и делали, оставленные на лютый произвол младенцев, с убийственным недоумением в обоюдных лицах, один на один, без свидетелей, без умягчающей прокладки посредников, без защитной надежды, что выскочит откуда-нибудь засадный полк женской подмоги. О ужас, о мрак эта страшная битва воспитания, в которой неисчислимо пало лишь с виду отважных отцов! Воспитание и не таких перемалывало. И не таких молодцов в порошок стирало. А что говорить о сословии зыбких и бегловатых папаш? Они даже сквозь статистику жертв просачиваются, но сквозь воспитание им слабо просочиться, мокринкой одной несчастною не сквознуть. Словно мухи на липучей ленте рядами несут на воспитании дико отцовствующие потери и не пикнут, будто отхватили положенное, заудовлетворились, жизнь прожита не зря.

Только в обход воспитания, давая значительного, исключительно безмечтательного кругаля. Тогда они еще кое-как целы. Во всяком случае, остается надежда сохранить их для общества. Но что с ними делать потом? Здесь обиталище тупика, массово организованного недо- и переотцами. Нашли себе таки бегунчики тепленькое местечко! Вот здесь-то отцов да отечиков и наловим вволю, пока они на радостях убегания снулые! На многое дальнейшее их хватит. В этом году наверняка уж с будущим будем. Голода на события точно не будет.

Семенной материал, что ли, скурвился? Невдомек мне, как человек может быть в высшей степени крокодил, имея вместе с ногами отчетливые миру лапы, а вместе с мыслями и меж ними – какую-то отчаянно врущую насчет всего требуху или сам холодец-молодец (дрожит стервец крупным мясным подрогом, толстенной и наглой волной жировой презрительно ходит). Это ведь тоже искусно уметь надо, и с большим, скрупулезно взращенным талантом, с напряженным его каждодневным взбадриванием. С огромным лишь упорством, с великим обожанием цели к этому можно прийти, то есть добиться от себя абсолютного, убедительного крокодила, завершеннного во всех отношениях, доведенного до блеска в последних земноводных штришках. Ловким простым разгильдяйством и лежаньем на солнце турецком крокодила в себе не выманишь, не возьмешь – он не из тех, кто легко попадается. Тут три шкуры бог знает кого должно с тебя слезть, прежде чем что-то крокодилье в тебе хоть намеком начнет прорезаться, поревывать и с отвратительной нежностью первой поры – набрасываться... Но не все удовольствие сразу. Успеете быть крокодильи охвачены и поволочены по многим стезям... то-то в ужасе стежечки поразбегаются... бездорожный лежит один разглобалившийся крокодил, про все на все один, бог ты мой, бог печалующийся, испечаленный... Жалко-то как его, одинокого... Ах ты, мой разъединственный, несчастный! Да кто ж тебя злодейски так бросил, душегуб он ненасытный после

этого! – И со всей возможной нежностью и со всеми бережностями приобнимешь крокодиляку за шкирку.

Вот и имей после этого чувства! Какие же они могут быть порядочные после дикой страсти к земноводным, скомпрометировавшим себя еще в палеомезозой обнимкам, падким на бесконечно низкое? Только и давай этим чувствам куда-нибудь дико кинуться, без этого не существуют и существовать не хотят! Ах вы, эмоциональные сволочи, ах вы, мои дрянные прелести... Нет, увольняйте меня немедленно из распоследних самых чувств, иметь дела с ними больше я не могу, постепенно накапливаюсь и взбунтовываюсь! Чего-нибудь очень существенное обязательно выйдет. Обратно потом и в себя не придешь, не взойдешь, все личные двери, тайные лазы от повышенных чувств насмерть забудешь, останешься всю жизнь в дурной прихожке своей слабоэмоционально топтаться. И ходи потом целиком не собой, не собою куда-то пустодвижимый. Нет уж, в ваши игры я не играю, – лучше быть мертвецки спокойным, во всеоружии встречая дрыгающуюся не туда и не о том жизнь! В высшей степени хладнокровно в горсточку ее возьмешь и успокоишь, как маленькую: ну-ну, скажешь, дурочка, чего ты, ну чего? да не убивайся ты так, ведь почти все прошло, все пройдет и проходить будет все непременно... Разве постоянство такое не внушает практически незыблемую, как небесная твердь, надежду?

Я извлек из своей смерти несколько глубоких и чистых слов.

Они сияли. Они – чтоб не сказать большего – несказанно сияли.

Не помня себя, я обрадовался.

Только так и смог выжить, отвлекшись сиянием.

Потом чуда не стало, я стал обратно смеркаться в почти незаметно теперь светлевшую смерть. Но уже твердо знал, знал надежно, что на этот раз до конца не смеркнусь, – я успел захватить с собой про запас немного словесного света... вскоре, правда, выскользнувшего из слабой, недержачей души (в ней сегодня державы не было) в еще не заполненные, в совершенстве чистые страницы какой-то новой смерти, которая в это время что-то очень резво строчила, бумагу, видите ли, незримо марала и хотела выглядеть от меня отдельно, на творческую, надо полагать, особицу, – какова штучка? Да та еще штучка! Мы с ней долго потом по соседству – городьба к городьбе – жили, и без взаимно причиненных синяков на лице, с абсолютно нулевым битьем всевозможной посуды, без не столько пошлых, сколько обидных приводов в милицию: мы и не знали, что существует в природе сей независимый от солнцевращенья круглосуточный орган засилья. Я частенько брал у нее взаймы соль и спички, а лаврового листа у нее никогда вот не было, никогда, ни единого, распоследнего хоть бы разочка. (Не лавровыми ли венками была в детстве ушиблена?) Непредусмотрительная все-таки особа и, как все женщины легкого поведения, ветреная. Более легким, вернее воздушным, поведением только я отличался, потому и нашли с ней быстро общий язык. Прожили мы долго, счастливо, чуть было не умерли в единую одну секундочку, попеременно дыша друг дружке в затылок, в рвении опередить и похитить видневшийся на близких подступах финиш, самоотреченно завладеть им не для другого, чтобы тому умирать уже не досталось. Но не удалось: последнее мгновенье с невозможной точностью вместе схватили. Победителя и с помощью фотофиниша не представилось возможным даже в миллиардном приближении определить. Так и пребываем в единовременно чуть приотставших. В неприближеньи к концу продолжаем уверенно делить незыблимо твердое и почетное второе место, лидируя в серебре. Кто-то другой без нас был очевидно первым. Но мы его не знаем, не были с ним ни на былинку знакомы, отродясь никогда не видали, какой-нибудь наверняка светоскоростной, но ныне нашей смертью на редкость покойный, из одной тишины состоящий гномик. Впрочем, вернемся непосредственно к нашему соревнованью: оно, как всегда, в разгаре. Сегодня, говорят, Ахилл еще больше, еще прочнее не убежит от своей черепахи, несмотря на то, что в этом столетии его черепаха выдалась особенно резвой. В компьютерных играх, видать, насобачилась, ногу набила, быстрее быстрого стрекотать приловчилась... Но откуда такая прыть нынче в сдержанном всегда Ахилле?

Душа к вечеру изнашивается настолько, что ложишься спать никем, с первой попавшейся, неудобной и угловатой, душой, друг от друга с раздражением отвернувшись и умело пихаясь задами, для орудий взятыми от супружества.

Но наутро почти всегда просыпаешься сам свой, – душа успела за ночь кое-как добрести до тебя – чтобы тяжко, устало (как же некогда ей было вздремнуть!) вбухнуться в твое тело в самый момент

пробуждения. Чувство преследования еще не рассеялось, когда ты потерянно открываешь глаза. Но в первые мгновения никогда не понять сути того преследования, не уяснить, кто у кого ночь напролет шел по устрашенным следам, кто кого мог внезапно настигнуть – со всем нехорошим дальнейшим поимки: кто тут, кто? и кто сумасшедший? что за штука сегодня эта складная реальность по имени бритва? кому принадлежат эти к тебе ведущие, но вновь и вновь не твои, пропадающие в тебе даром следы, никуда уводящие, исходящие в никого?

На душу же ничего такого сразу и не подумаешь. В первые мгновенья она еще вне подозрений. Поначалу скорее себя заподозришь во всей той преследующей круговерти, так как именно ты обычно во всем виноват, тяжкий преступник всех вин по написанному где-то не здесь очень высокому определенью.

...И вот иду я, до мерзости красивый, пятидесятидвухлетний... Просто у самого тапочки слетают от обаяния сей ненаглядной мерзости, не говоря о посторонних калошах, ботах, мокроступах и прочей ножной белибердежке, вероломной по нераспознанной своей сути. Так и норовят эти самонадеянные обуви булькнуть вас, умыкнуть в какую-нибудь преспокойно выгуливающую себя перед сном лужу, вышедшую прошвырнуться со всем семейством дождя, непременно в сопровождении слабоветренной юго-западной собачонки с вполне уже человеческими ущербными комплексами, с увядшими осенями быстро промелькнувших инстинктов, того и гляди, по развратной злобЕ рванет на тебе безмятежно средь улиц бродящую, заотдыхавшуюся ляжку. Да ну вас к черту с вашей собачатиной! – хочу домой, где буду до мерзости прелестный иначе: квартирка смягчит мой возраст, упросит его быть не столь жестоким... В конце концов, и фотографию другую ему – возрасту неуемному, препротивному – сделать можно, чтоб походил он больше не на себя, а на какую-нибудь отвлеченную прелесть с высокооптимистичным уклоном. И что же? – сделал иную фотку. Теперь мой возраст за угрюмый вид, благодарение Богу, разыскивается милицией. Блеща прыщами, потом смутнея, сижу и дую чай в окно без многой леты за плечами, практически еще неполовозрелый, оставлен на повторный год, вот-вот попрут усы. Свалю, когда стемнеет, камнями окна бить училке. До крайности я доведен: не нравится, как предоставляет мне образовательные услуги. Просто бесит меня неудовлетворительность с ее стороны: дает все время не те услуги. Как Тузик грелку порвать ее – ужасно этого мало. Для всех будет лучше ее хорошо изнасиловать. Тогда узнает, как давать надо. Ну, пошел я сваливать. Самое то стемнело, можно уже неплохо училкой побаловаться, нехилый принять у нее экзамен, по полной программе. На аттестат зрелости как-нибудь ее вытяну. Как-то надо в жизнь учителей выпускать. Мы же не звери какие-нибудь. Поможем конкретно.

Спрятаться в этом мире можно только в одном малобогоугодном заведении – в себе.

При условии, разумеется, если ты – есть. Хоть на шевелинку самостоятельную существуешь, хоть на малую человеческую таракашечку.

А миру бедному и спрятаться негде, побыть с собой наедине. У него нет этого: в себе. Вечно рассеян. Вечно вовне и помимо себя проброшен. Лишь пожалеть крепко мир остается и принимать его иногда на постой в себя, чтобы он хоть немного был живым и домашним, по возможности теплокровным, пусть в иллюзиях. А иначе ему – пребывать в лютом мертвенном холоде, ни слезинкою не оплаканным и даже не похороненным. Лучше уж в личной своей братской могиле схоронить его, чем нигде, без вести в смерти запропадающим.

Людям, не обладающим собой, приходится в течение всей как бы жизни быть внешним неприкаянным миром, постоянно дрейфующим куда-то в безвестность, скитающимся бог весть где. И речи не может быть о том, чтобы эти отродясь рассеявшиеся человеконосители способны были кого-нибудь приютить, что-то действительно обустроить, хоть душу одну до изнеможений милых изнежить: самим-то бы кое-как поперебывать, неистончимое, чудовищно великое время как-то превыпроводить. Они с момента рождения сразу же начинают активно пропадать без вести и внезапно обнаруживаются лишь в виде странно возникших, до очевидности поддельных имен, путаной горсткой нескольких ощутимо порожних слов и цифр, гордо и даже с вызовом начертанных на кладбищенских памятниках, которые принадлежат неизвестно кому, явившись собственностью никогда не обнаруженных, никем не виданных людей. Куда стоят, о чем в массовом порядке бредут эти исчерканные напрасным чертоги?

Обманутые смиренные кладбища вынуждены, согласно данным последней рекламы, на 97,91 % заполняться никогда не бывавшими, всегда отсутствующими людьми. Чудовищные приписки здесь налицо. И никто за этим не смотрит, никто! Никого это, по всей видимости, не волнует. А ведь из этого складывается валовой национальный доход... он, оказывается, повальный?

Что сталось с моими редкими поездками – горячечными и бессильными убываниями из центра моего небывания? Как грустно, вняв безнадежности, они пришли в упадок, словно кем-то опустошенные изнутри, выеденные... Разорена целая моя счастливая и незаменимая страна – страна личного выездного пользования. Я никак не ожидал от своих поездок такого запустения и небытия, я всегда о них думал лучше.

Следует признать: поездки стали существами умершими.

Обесчувствленные собственными заботами, обескровленные лихим выживанием да и просто пожранные своими личными обжорками – эгоизмами, люди принимающей стороны ни на чуть не склонны понять (стороннее понимание сделалось недоступной роскошью): мне ведь не у них нужно пару мраков дней побыть, мне нужно *не быть* немного времени дома – в бездомье канувшего куда-то дома. Лишь пугливый его и нелепый, разуверенный в себе призрак облепляет меня подступающими к горлу и сердцу стенами.

Их дома посторонни... Их дома посторонние необходимы, чтобы, как в отдышке, в кратком промежутке потерявшей тебя погони, понебыть меж домами, оторвавшись от вцепившейся мертвой хваткой назойливой, испривыченной жизни, – если не вздохнуть помимо нее, задохнешься.

Тот воздух издышан задолго до тебя.

Тот воздух на родине не воздух уже и не родина...

Мне только понебыть хотелось меж вами, малость самую понебыть, как можно тщательнее отсутствуя для своего дома и для вас, с кем я так словообилен и до отвращенья себе улыбчив лишь для того, чтобы надежнее скрыть следы моего неприсутствия, явнейшего, отъявленнейшего непосещенья.

Мне так никто и не смог оказать неотложную первую помощь: дать возможность немножечко в городе моем понебыть, немножечко поисчезнуть невыносимо драгоценным тем городом... Его драгоценность с каждой встречей с ним все невыносимее... Не надорваться бы под бесценною ношей. Помоги, мой город, помоги мне тебя как-нибудь донести.

Но куда я его понесу, принародно тайно исхитив? Куда, в конце концов, доволоку на хилеющем прямо у дней на глазах горбу? Есть ли у меня место, где положить его на хранение, – чтобы город был ничем не стеснен, чтобы ни в чем не нуждался, ни в чем себе не отказывал, пока будет он, все густей и грустнее пылясь, занавешиваясь дырчатыми воспоминаниями, обретаться в бессрочно оберегаемых? Знаю я, знаю хорошенькое одно, не испорченное совсем и не дающее скуки местечко, где без проблем можно оставить город на вечное хранение! Там никакие покидания и расставания не вольны повлиять на целость его и сохранность. Через сотню лет верну вам город как новенький, будто и не жил в нем никто и не глядел во все направления, на все расстояния, будто не тратил никто здесь себе в удовольствие свои удовольствия. Только тряпочкой влажной фланелевой чуть его протереть, воспоминаньями свежими сдобрить слегка, бережно чьей-то давнишней любовью вспрыснуть – и можно пользоваться сколько хочется, сколько чему-то в вас к времени икс сильно – возможно, сильней вас самих – занадобится.

Все-таки они опустили меня до собственной низости.

Свое достоинство я хоть и с превеликим трудом, но уронил.

И стал для них полным, законченным благополучно никто. Очень хорошим, ярко выраженным, весьма и весьма всем удобным никем. Для них, счастливых моим обнажившимся ничтожеством. Что и требовалось с их стороны доказать вглубь меня, во всю мою глупь.

Стал ими же, точь-в-точь, бессмыслица ровно в бессмыслицу, только они заценивают лично себя выше, достойнее (любят значимость пустых мест), усмехаясь втайне на меня и на мое выманенное ими падение: а еще чего-то трепыхался, корчил из себя возвышенного, урод! И ничего не поделать с их подлой правотой: они-то никуда не упали, а я рухнул безбрежно, безбожно и продолжаю в них падать все ниже.

Скоро долечу до самого дна их мерзости. Уж тогда и спою.

За себя я еще могу кое-как постоять. Но защищаться вне себя для какой-то вымороченной своей пользы – нет, здесь-то меня и увольте мгновенно, сделайте безработным с возвращенным Творцу билетом. Здесь пусть кто-нибудь другой за меня постоит, пусть уж он не поленится. Ведь есть же еще кому-нибудь за меня хоть слегка постоять. Не может такого быть: не быть. Неужто некому в целом мире встать за мной на пару минуток, хотя бы делая вид прогулкам на свежем воздухе? И ободряюще подышать в затылок, пусть и не ароматом весенней свежести, а просто бытовым приземленным дышочком. И опереть меня противоопрокидывающим устройством – прикосновением. И побыть словом-тылом. Ну же! Ну же! – Как надежно моя пустота дышит опаляющим дыханием мне в затылок, и чутко оберегает прикосновением-неопрокидыванием, и беспредельно расстилается позади меня крепче слова молчащим, ни на щель не предавшим тылом небытия!

Сейчас прозвучит контрольное дыхание в затылок. Уж тогда и спою.

На вопрос «как ваше здоровье?» он говорит сквозь затяжное недоумение: движения замедляются. На вопрос «что так?» он отвечает простой растерянностью: старость вкрадывается... без стука и без звоночка, в каких-то ненастных ботинках...

Горечь вечного какого-то несвершения поддавливает изнутри. Тоска неопределенного происхождения отпускать не желает, стережет, тревожит, того и гляди низложит. А если бы не поддавливало, а если бы отпускало, то я, вероятней всего, так бы и не уяснил, как же я есть сам-как-бы-свой, кто пронзительно лично наличествует моей персоной.

Кто бы я был без горечи моей и отчаянья, великодушно дающих мне себя почувствовать, вручающих мне нечто явно неповторимо свое (словно из них и сотворена личность моей души)? – Некто неопределенного, смутного толка, вполне безличный, всему напрасный, от которого с испугом отшатнулся бы и отказался любой человек (а я – первым), не желая обращаться в такого расплывчатого и флуктуирующего самого себя, отрекаясь с таким ускользающим собой даже мельком знаться, брезгуя его неудобоваримым именем – оно обязательно в горле чьей-то костью застрянет. Ходи потом по приемным покоям, доказывай, что кость та – рыбья: хек нагадил мне поперек. Правды, конечно, опять не найдешь, в очередной свой раз. Да и лепешка была там, лепешка, хорошо еще, если не коровья (в виде ее немножечко депрессующего, с чувств сбивающего отходняка ходового цвета хаки). Нечего нагло врать про себя за счет безнадежно врачующего тебя бюджета!

И в какой заднице теперь обитает этот писатель?

А светился прямо в передовом взгляде человечества.

Знать, во взгляде быть ему не судьба, а в других местах, получается, самое оно то. Оптимальная, выходит, для него выгорела там жилплощадь.

Пришел, увидел, повесился. Повисел нехотя, судорожно привыкая. Мертветь надоедало. Бросился, пока силами свеж, в беспорядочных корчах вдогонку за жизнью, а она уже далеко усвистала. Отринулась, пока он в это дело ввязывался – висеть себе да ретиво повисывать.

Целой жизни не хватит, чтоб ее – жизнь – нагнать.

С досады на прыткую торопыгу вернулся из корч мирно довишивать, потихоньку-полегоньку перемочь, терпением запредельным истощить время, чтоб оно зря не пропадало, пустым не сквозило, эгоистично для себя одного бестелесно сочась.

Вот и все. Конец связи. Здешней и не очень – которая ни туда, ни сюда, одинаково ей безразлично, куда звать, кого окликать. А вот нечего вешаться – и связи дурацкой такой равнозначной не будет! Эх, всё жить торопимся и чувствовать спешим... Пришел, понимаете ли, – это ладно, это куда-то еще годится, все мы куда-нибудь отчего-то приходим, ну посмотрел разок-другой, тоже куда ни шло: где наша, бывает, ни пропадала? – засчитывается, начал набирать резко очки, ну что-то еще для острастки и для отвода глаз сделал, опять неплохо, все идет, как и ожидалось, по предусмотренному плану, ну покрутился в бессилиях комнат в бешенстве диком – с кем чего не бывает?.. а дальше-то чувствовать так быстро зачем? Пыф – и нету, видите ли, его! Ничего ведь и не случилось: у кого жены не уходят? Да у всех то и дело пачками, бурными поголовно восстаньями, целыми народными исходами беспрерывно уходят, каждую секундочку, даже еще и замуж не выскоча, не проскоча. Но население, тем не менее,

благополучно цело, процветает, шурует, набычась, вперед с прогрессом наперевес или уже под мышкой. А это говорит о том, что не в уходах дело, это криком кричит о том, что копать нужно глубже и не там, где может что-то кому-то начудиться сверху: не та это точка обзора, чтоб разрулить проблему.

И вообще, нужно быть заметно реальнее, но скромнее. Висеть молчком ведь тоже надо уметь, лишь в нужное время и место вставляяя свое несказанное слово. Это большое и недооцененное пока на земле искусство.

Что мне жаловаться, унынием изгрызать свои и без того малые дни?! – я человек, ни за что, ни про что отхвативший приличный кусок жизни. Некоторым и вообще ничего не досталось, Бог не допустил их на актуальную приватизацию и сопутствующую ей небесную распродажу, заранее стукнув им палкою по башке для отметины смерти. И живут же без жизни, не стонут. Имеют деньги, неробкие особняки, не хило несущиеся мерседесы и прочих мерсюшек.

Быть мертвыми и не жаловаться, а даже иметь во всем преимущество – для этого нужно обладать большим небывалым мужеством и иметь запредельное самообладание.

А ты до неприличия живой и еще кособочишься чего-то поныть. Стыдно. Уймись. Так живые себя не ведут. Это неуважение богатства, которое ты получил задаром и которого не досталось за преджизненные рваческие делишки некоторым отрицательно избранным персонажам.

Это неуважение мертвых, которые окружают тебя в изобилии... Они меня уже до дыр проглядели своими небогатыми глазенками, до смерти скупо отмеряющими мне и мои видения. Как мне узко в них, я в видениях ваших лишь на атом души помещаюсь... Вы, пожалуйста, не смотрите, осмертительно так не смотрите, не хочу быть незримым продуктом ваших узкогробовых воззрений и пронзительно к ним прилагающихся нанотехнологий, во многом еще на мой случай простой не открытых. Там, конечно, будут наноглаза, потому что какие ж иные могут быть в нанопристанищах зрительные чувствилища (вол, исполненный очей, тут не прокатит), надеемся, истинно чистые – голубые, васильковые, предельно насыщенных небесных тонов. Без голубых глаз все-таки плохо на этом свете, даже без микроскопически, неуловимо голубых каких-нибудь зеночек обойтись сложновато. Просто не представляю себе без них никакой жизни. Думаю, царство синеглазок именно здесь начинается, а значит, там моя родина, там мой народ. Это говорю вам я, гномик-нанопараноик, ныне обитающий в краях столь не столь отдаленных, что свободно сдам отсутствие квартиры для последующего местожительства и ведения присутствующего даже в исчезающе малых мирах совместного домхозяйства. А засим, извиняемся уж, исчезаю. Работа у меня такая.

Я скоро, совсем скоро наконец-то благополучно настану. Разве можно отсутствовать самым отсутственнейшим образом без малого 47 лет? Это вызывающе противоречит закону сохранения энергии и закону, поставленному мной над собой. Ведь так даже Всетерпимый утомится назойливым моим, невежливо ведущим себя отсутствием и откажется признавать мое бедное, изрядно выветрившееся имя и кое-какое причитающееся ему на добавок тело. Срочно нужно – хотя бы в порядке предварительного отмечания в неких списках некоторой очереди – обнаружиться в этом не самом худшем из миров, иначе Всетерпимый, как пить дать, наскучится одним полым, унывно звенящим на ветру моим поименованием и не глядя упразднит его, как излишне обременительную пустоту, обременяющую, в свою очередь, пустоту, в которой не оказалось никакого даже инфузорийного подтверждения человека.

Ну, нате вам. Вот он и я. Что ж вы шарахнулись вашим столь ярким неузнаванием? Неужто вы другой пустоты ждали? Ладно, предъявлю сейчас другую, у меня пустот много, на любой изощренный вкус, на любое отсутствие вкуса. Полная, новенькая колода исчезновений всегда лежит в душе моей наизготовку. Есть, конечно, и крапленые, как у порядочного: люблю иногда поработать красиво шулером, особенно с устатку, вместо пива, которого все чаще и веселее нельзя. Нет ничего замечательнее тогда в дурачка, да в подкидного, лучше всего – с самим собой! То-то за дурака по ушам битыми исчезновеньями нащелкаешься – реальней реального они вознамерены слышать, даже, настращавшиеся, чего и не было иной раз услышат от рвенья во всем тебе угодить. Везде есть свои выгоды, ну просто везде, куда взгляд ни кинь: под ногами как грязь валяются! Только не ленись быть богатым и умей пользоваться моментом – раз! быстренько, пока никто не видит, нагнулся, отвесил в землю не пустое лежанье свое, а один всего-то худосочный поклон, хватанул без разбора что само собою взялось, сдуру в руки тебе кинулось – и дуй скорей без оглядки куда глаза во все очи глядят. На полмира наверняка

в те же мгновения разбогатеешь. И никто не сумеет тебя дебогатизировать, никто и ни один безумно тебя охвативший кризис! Во всяком случае, такой прецедент в природе не создан. Ждем экспроприирующих нас открытий. Они непременно будут, – ни одно открытие мимо людей еще не проскальзывало, заворачивало на тлеющий огонек: это что за звери такие там в дремучих потемках мелькают? – и тотчас поймается это самое открытие, увязнет в людях, станет общественным, потом карманным. Обычная ловческая практика поступательного прогресса.

Все дело мерзко простым образом в том, что, если бы у меня была необидной суммы капуста, эти самые то есть деньжата (не преминувшие бы наличествовать победоносно и в моих гордо сверкающих овощной прибылью, неминуемо приосанившихся огородно глазах), они поддерживали бы со мной всяческие отношения и диву дающиеся явленьям своим приятности.

Сейчас отношения – в чистом виде.

Беспримесно враждебны.

Вот и будешь деньгам благодарен за то, что их славненько так нету. Спасибочки вам, дорогие бездарненькие, за ваше высоко ощутимое отсутствие! Как же мне его не хватало! А с другой стороны, денежки поневоле ведь уважать перестанешь – за то, что их чаще всего нету. Прямо зоологической ненавистью к ним порой дышишь. Вот и не знаешь напрочь, будучи денежными чувствами враскорячку, с каким знаком эмоции к ним испытывать, как с деньгами этими себя реально вести, есть ли они иль как не было их, так и нету.

Сколько играющей на лице сердечности, добра и уместной улыбки в Лизке среди тигров и львов на фоне африканских изгоняющих тревожно закатов, на сафари, где никогда не убивают и никого даже в шуточку не убьют! Она уже умнее будущего своего мышления и сердечнее грядущего своего сердца.

Только до предстоящих слов еще немножко недотягивает. Но и слов она как-то словеснее.

Эта крошечность улыбается прямо в душу. Потому что улыбается неприкрытой, совсем обнаженной душой. Всему веселится и на все радостно удивляется. Ведь во всем еще ее душа – приязнью источается, улыбкой бескрайней нежится, светится она ей отовсюду, нераздельно слиянная с каждой мелочью мира.

Убавление, сокращение раскидистого этого органа начнется не скоро. До осмысления кое-какой бессмысленности и несостоятельности мира длиться нескольким очень большим, спасительно длинным годам. Может, успеем что-нибудь с миром переменить. Может, что-то еще поправим.

С гордым поначалу величием сердца я увидел себя в перешагиваемой луже.

Насколько же я был в ней лучше себя!

Господи, да что за несправедливость творится на свете Твоем...

Зачем попущаешь Ты, чтоб я был хуже первой попавшейся лужи! Зачем Тебе это нужно? Мне-то уж точно это зачем-то нужно, но Тебе-то, Тебе...

Вот пришли бы и сказали, избыток восторга сплескивая руками, брызжа неряшливой веселостью и до фейерверков салютуя бешеноватыми глазами:

– Наконец-то! Ну наконец-то вы – наш всенародно признанный президент! Бог миловал нас редкостной, непостижимой удачей! – Сугубей сугубого помолчат, будучи с тайною наравне, и расколются окончательно: – Вы теперь не просто какой-нибудь там президент, а, просим заметить, президент банка! Вот оно, стало быть, что... Это самое на эксклюзив свернуло... Готовьтесь во всеоружии, значит, того,ептыть... Финансы теперь беспробудно наши!

Час от часу не легче! Ни одной укромной щелки существования нет, откуда бы тебя не извлекли за ушко иль подло отросший вдруг для изъятий таких хвостик и не сунули носом увильчивым в должность, обычно пахнущую всем подозрительным сразу!

– Да вы не с ума ль посходили?! Из берегов мозгов своих без мозгов ли не выскочили? – Взмахну негодующими руками, заплескивая их восторги по возможности в полноте целокупной обратно (зачем напрасно добро тратить?), а глазами вытворяя вообще ужасное, в зародыше погубляющее самые отъявленные, бьющие небо по темечку фейерверки. – У меня и на себя-то времени нет. К тому же

часто прибираю украдкой чужие моменты, чтобы побыть воровато собой. Под корень вы меня рубите, эх и ах – мне, увы – вам... Немедленно разжалуйте в дворники или в другие еврейторы бытия! Не то, за отсутствием себя, прямо на ваших глазах сейчас исчезать стану, с меня ведь так и так не убудет... Хай подниму, как порядочный правовей, на весь запад и полузапад мира. Довыдвигаетесь вы меня на должности, яркой катастрофы на свою голову непременно дождетесь! Лучше сразу, неподвижно на жизнь, назначьте золотарем бессменным. Так моментально сделается для всех лучше и даже окрестно светлее. В тот же миг от позлащения моего все взыграет средь местности прелестно забавнее. Увидите, сколько неистончаемого добра бесперебойно от меня будет, вам выгода ужасно огромная перепадет, можно в связи со мной над туалетной рентой подумать, обходные прибыли утрясти и пущенные через меня финансовые потоки до струйки последней прощупать – золотая тут открывается жила, неистощимая!

Но нет, золотаря им для меня отчего-то до невыносимости жалко. Просто накось выкуси ты золотаря. Зажмутся в бездонных карманах в восторженные твердоватости фиг, скуксятся, сделаются личностями постными, обезжиренными и телом, скромно оставшимся от употребления в фиги, поукрадчивей отойдут, волоча шлейф увядших восторгов в пыли, хвостатые былой радостью.

Это что же, золоту снизойти и сверх своих сил уподобиться золотистому во всех отношеньях дерьму?

Чтобы только быть во что бы то ни стало «наравне» и чтобы все было утешающе и утишающе «справедливо» – именно по нижайшей справедливости дерьма, по его неудержимо гордящейся каковостью личной прихоти.

Прощай, золото! Ты теперь – всецело былое. Тебя не будет, наверно, уже никогда.

Встретимся ли когда, свидимся? Друг друга узнАем ли за превратностями уподоблений и превращений? Не находишь ты, золото, что мы все точней обращаемся в непредсказуемость, в непредсказуемость уже на этом свете зарвавшегося и легко проврашегося небытия?

Теперь благим содержанием всякой работы стало похвально содержательное зарабатывание денег. Мечты? Дерзания? Порывы духа? Сердцеустроительное общее дело? – Ах, увяньте, дорогие материи, что за роскошь вы ненадежная, что за пустая и дикая блажь?

Не до живу, быть бы жиру.

Симулякр есть родной брат идиоту, а дискурс, увы, только двоюродный, ну а эта штучка-дрючка эксклюзивность, по большому между нами секрету, – молочная им сестра, только от своего названья скрывается дура болтливая.

Как жаль, как жаль...

Со сродниками так и не встренулся... Не получилось праздника, погиб на корню фейерверк! Плакали мои надежды, рыдали смешные в других ситуациях денюжки... Только я был тверд, как скала, втайне лишь по родне убиваясь. От выдержки нервов я казался себе совершеннейшим симулякром, наверняка двадцатидвухлетним. Просто чудо красоты, просто царем симулякров я был, весь мир предо мной на коленочках симулякричал. Симуля! Симуля! – кричал дурак старый, набитый, чаще теории вероятности нетрезвый, не по теории относительности на все падкий. Только попробуйте не поверить – этой же ночью вам премило приснюсь во всей красоте своих ужасов! То-то кинца насмотритесь... Новых фильмов можно будет уже и не снимать, так как мои сны точно будут концом вашей истории. Вот что значит быть честным во всех отношениях симулякром кристально чистой, не заспанной дурным сном совести. Мой поклон братцу-дискурсу и молочной нашей сестре по несчастью, бренд всемилостивый вас храни. Вчера сестрица не в первый уж раз скаканула замуж. Ее избранник – старый импотент, прожженный газетчик, циник, впрочем, веселый. Но ничего, мы ему мозги вправим. Стоять у него как у людей будет – голову даем на отсечение. Счастья сестрица вкусит и нам даст попробовать.

– А почему, собственно, нам должно быть интересно то, что он наглым размахом о себе вляпывает? Впаривает тут нам, понимаешь ли, вагоны лихой отсебятины, а нам негативными изумленьями столбеней, на передок слабей и в коленях!

– А почему мне должно интересно быть ваше то ли драгметалльное, то ли летальное мнение? Оно еще более неинтересно, чем я сам, сколько раз на собственной шкуре и помимо нее убеждался и, мож-

но сказать, убеждовываюсь. (У нас ведь теперь как-никак свобода: каждый волен запрезирать.)

Сужу по угасающим и замирающим признакам этого интереса, тогда как я человек вовсю еще не угасший. Даже несколько подполыхивающий; все ваши наличные интересы, прошу неумолимого с вашей стороны пардона, спеклись в моем улетучивающемся неотлучно мареве. Вот это я нажарил-напарил, до второго пришествия не понять-разобрать, как бы это каким-нибудь образом скушать...

Извольте, вот ваша запеканка. Я стихийным поваром быть изрядно старался. До отсутствия рук свои руки стер за ремеслом отъявленного кухарства.

Не мешайте же мне развлекать свои заугрюмевшие на одиноком постое потребности! Иначе не найти мне на них управы: они могут нелюдимо взыграть.

Не повредили бы мир, прыткие уж больно попались нам, сволочи!

На том и благодарим за углубленно-едовое, за неослабно кухонное внимание. До встреч за ломящимися меж нами густыми столами, заставленными чем только мои глаза не глядят.

Вот до чего доводит дурная свобода, попавшая не в те руки, а особенно если эти руки кухаркины! Пойду отрубать свои кухаркины руки (и без того почти, см. выше, отсутствующие), чтобы лишнего мира не натворили и его опасно блуждающих блюд. Это будут мои последние в жизни руки, другие не прорастут; им надоело, они устали. Дальше буду писать безруко и скорей всего безъязыко, обрубочным инвалидом начну активно двигать искусство в массы. Так наверняка лучше дойдет. Во всяком случае, зрелища больше. Навлеку на себя поневоле пристальное вниманье: и кто-й-то это у нас там все ползает, чего-й-то он взялся красиво корячиться?! Тогда уж точно не ускользну из ничьих глаз и ничьих пристрастий. Нет, весь я не уйду, свой прах ползком переживая!

Нечего отчаиваться из-за дикости. Просто люди управляемы до невероятного, до совсем уж немыслимого. Психология масс – это из области арифметики, и стадо баранов тоже управляется из области той. Сейчас ими движет дичь и дурь, вполне престижные и почитаемые ныне явления, только и нужно-то дать правильную установочку: грабь награбленное (святой лозунг у нас во все времена), падающего – аккуратненько подтолкни, чтоб раньше времени не упал без пользы. Но при социализме ими так же легко управляло «культурное мнение». Как миленькие читали! Попробовали бы с книгою быть не в ладах! – запрезирали бы их впрах, простые работяги граблями бы в пыль с удовольствием закатали, добили наслаждающимися мотыгами; потом бы, конечно, сочувствовали, чесали в затылках бугристых, ломброзовистых – лучше книги бы порешили... эх, вот опять мы не то угробили... В театры валили обезумевшими, выпученными толпами (правда, театр и сейчас не покинут: зрелище легкое, быстро усваиваемое). Только бы заикнулись о «культурном» прилюдно отзываться дерьмово! В каком бы массовом презрении очутились! Очень это было рискованно – выглядеть некультурным. Некоторые и портфели покупали специально для того, чтобы быть внешне умными. Чтоб и снаружи ум загадочно выдавал себя, несомый туго набитым (не исключаем – портвейном) умным портфелем. Я знал пролетарскую женщину, которая ездила за рулем личной машины в очках без стекол (зрение как на грех было нормальным, даже слегка ястребиным) – чтобы для встречных хоть промельком быть во всеоружии интеллигентной, – это не так давно было, 1989 год. Что такое 20 лет для едущей в ложных очках женщины? – Одно промелькнувшее в окнах ничтожество. Подобная остроглазка любое время обогнать может, ей времена нипочем, дальше их она видит, за них в один прыжочек зренья заглядывает.

Самое ценное, что было в соцвременах: оказался найден оптимальный способ совладания с массами, способ наиболее приемлемого в обращении с массами укрощения масс (они укрощения всегда требуют, уж стихия это такая, себя всегда превосходящая, из краев выходящая) – чтобы они были довольны своей ценностью-незаменимостью и в то же время незаметненько направлены на путь человеческий. Естественно, без всякого Бога и без царя в голове. Однако хотя бы направление, зачаток пути намечались верные, добрым быть – добро, а человечным – ничуть не смешно, а даже, напротив, серьезно, вплоть до привлечения суровой государственной важности, если чуть где чего попахивает нечеловечным и норовит сразу по большой нужде идиотничать, целой базовой кучей.

Но вот сейчас хоть Бог, говорят, и пришел, но пришел Он вновь к диким, точно начатым с чистого листа народцам – вечным для себя инородцам. Не второго бы пришествия предпочтительней ждать – а второго крещения. И не выпускать из какой-нибудь специально отведенной для процедур реки, пока не проникнутся до кишок и не взмолятся от кишочков же. И не выпускать из реки! Ни за что

не выпускать, пусть хоть сорок лет нужно тратить на них несчастную реку! Пока не прочитают пару писанных вменяемыми чувствами книг и не перескажут их (можно и хором, открытое небо стерпит) своими, пусть и примитивными, и придурковатыми, пусть косноязыкими, но словами, словами и еще раз всенепременно словами. Может, за речью и научатся мимолетом да мимоплывом чему-нибудь, на что раньше в скуке зевали, провоцируя черепные травмы, их квадратно-гнездовые мозги и прочая приплюснутая дребедень так называемой головы, от которой (мы про дребедень; впрочем, и про голову тоже, ее мы стараемся не упустить из виду) нынче цветет кругом столь же приплюснутый и угнетенный умом капитализмишко... клизмишко какой-то, наше плачевное всё, – как будто его мешком из-за угла сильно вдарили. Вон, полюбуйтесь, отовсюду смотрит, бледнокровный, от мешка еще не отошел. Ведь вообще инвалидом станет, вы что наделали-то? По-человечески его, конечно, жалко: совсем пропасть в наше уверенно крученое время недолго. Тоже ведь его, бедолагу, понять можно. Ему не сладко. Ну, не плачь ты, не плачь, неразумно дитятко. Петушка на палочке будешь, в уголке деликатно слижешь? Третьим, говоришь, будешь? Нет, это уже было – быть третьим, это уже слишком! Третьими иметься всем воспрещается, пора становиться иными! Прохожие, убедительно просим вас, в третьих не быть, в общественных местах не троиться, собой в тройном виде не появляться, оставайтесь прошедшими мельком прохожими, этого вполне довольно, чтобы прилично кем-нибудь быть. Так удобнее улицами сквозить, и без пробок домой доберетесь. Привет незыблемый жене квартиры, птичкам клетки, рыбкам аквариума, коту окна и невольникам сердца вашего – деткам.

Деткам ваших прелестных пустоточек и свобод кланяемся отдельно. Да и попробовали бы мы им как-нибудь не поклониться... Мы ведь заслуживаем их ровно столько, сколько пред ними с шикарностью нашей расшаркиваемся.

Как будто отменили само понятие пустоты!

Сказать ныне о писателе: пуст – это значит ничего не сказать. Это значит, скорее, – сделать ему порядочный комплимент и поприветствовать явление того, чего не было, что представало своим лишь отсутствием.

Теперь будет ругательством сказать о писателе: обилен, густ (меня, к примеру, один одноразовый дурак уел «суггестивностью», хоть его угрызать меня и не просили: я с достаточной хищностью изящно объеден, в приличную вполне пустотку сгустился).

– Кто посмел оскорблять нашу пустоту?! Наша собственность неприкосновенна!

Все меньше ветвистых писателей, все больше мир словесный пролегает средь жидких растений.

– Ну ничего, пропитание найдем в другом месте. Это – не пропитание и даже – не место. Долой эту вымороченную местность, где нет ни кусточка писателя, который и тени не даст, чтоб в самое пекло перевести запыхавшийся, едва приволокшийся сюда дух!

Сказала не веско – отвешивающе: не могу быть при ком-то – при гении, при муже, в приложении к детям; я, разумелось, ценная, непререкаемая отдельность, которой без особости просто и делать нечего, жизни смыслить нельзя.

А сама-то, истинно сама что ты значишь, чтобы быть самой собой, при себе? Чем тебе останется быть на особицу? Не боится вот остаться с глазу на глаз со своим отсутствием! Одно это вызывает к ней уважение. Какая отважная! Героическая ведь женщина! Что-то в ней все-таки есть – мысль закрадывается. И увядает, чуть лишь ее коснувшись, о нее моментально запнувшись: чем это мысль так долбануло? А вы говорите – никого здесь не стояло. Еще как стояло! Вон мысль моя упавшая, вся окровавленная, вопящая, в порванных клочьях белых одежд... Она свидетельствовать ничего не может, кроме корч своего вам почтения.

Поймите меня не то чтобы верно, но хоть как-нибудь да поймите. Поймайте хоть чуточку меня своим неотвратившимся сердцем. Пусть и наоборот, шиворот-навыворот, со всей разительной силой превратности, ужас как, но поймите, в мерзость примите!

Главное ведь не победа, а участие.

За всю многоемкую жизнь его наградили одной машинально врученной почетной грамотой да неучтенной массой презренья. Он помнил только о грамоте – и с безграничной всегда благодарнос-

тью. Хотя что можно помнить о желтом, съеденном временем листе бумаги, иссиженном беспутными мухами и его простодушными мыслями?.. Однако казенное это воспоминание жизнь давало. Пусть совсем бросовую, вспять никчемную... Но все же это жизнь была, жизнь, прилично долгая человеческая жизнь! Ее ни с чем не перепутаешь. Даже если очень – помимо себя – захотеть.

В нашей молодости широко блуждал анекдот: за углом раздавался девичий крик, постепенно переходящий в женский.

Самое хорошее во всем этом безобразии было слово «постепенно». Но тогда это слово я мало еще понимал. Любил слова взрывчатые и резкопереходящие.

Волнуют теперь славной волшбой слова медленные, плавно меня длящие, с любовью перебирающие и разглядывающие на тончайший просвет душу (ныне влюблен, например, в «»... эх, схлопнулось словечко от смущения, не успел его распознать).

К старости полюблю слова почти неподвижные и, наверное, нескончаемые.

На вечные меня вряд ли хватит – их исправит до легкого мига смерть. Натерпелась она тщеты от вечности.

Ах, тоска, моя тоска, вечная моя избранница, неотлучная ты меня со мной разлучница...

У нас были с тоской и общие детки. Да где ж теперь они?

Старость самим кормить придется.

В моем возрасте стыдно внешне смущаться. Позорно к таким годам не достичь уверенности в себе, неколебимой основательности. Уймись же ты наконец-то конфузиться и нравственно лепетать!

Эта несомненная правота немало изжитой, но вкопленной в тебя жизни должна бы угадываться за каждым междометием, за любым намеком на движение или порывом к слову. Особенно неплохо проглядывается правильная жизнь во внушительной, толстоватой осанке и добром животяшке восьмого месяца чем-то беременности. Да где ж взять и ту и этот, если отсутствуют со всей возможной для них бесстыжестью? Они ведь не всякому даются за здорово живешь. Их еще выслужить надо, а я за обеденным столом служить плохо умею, жую отвлеченно и совсем не гражданственно, за что и терплю на боках прямые убытки, нравственно засучив рукава, как это сделал кто-то у Л. Толстого.

Стыдно не иметь в мои годы уверенной, весомой личности. А я частенько вихляюсь и помахиваю хвостиком, дерг-дерг, дерг-дерг им из стороны в сторону, по востоку запад размазал, севером замотал весь юг – ненавидя себя при этом до самого его кончика; что ль бродячее происхожденье имею?

Ведь не могла вся жизнь моя сплошь быть грубой ошибкой, этого бы не допустила и высшая разумность теории вероятности. Что-то было в ней и крепко неувилистое. Несотрясаемое никакими дрогновеньями расшибного у нас пути иль подстрекающего сердца: есть, есть какой-то кремень жизни моей! Но хвостик двоедушный вдруг возьмет да и вильнет, круша вмиг мое хрупкое, из бросовых крупиц наспех сляпанное самоуважение и множа растерянность кровавого органа – сердца, вынужденного опять врать, что оно разорвется в клочочки, предварительно устроив мне карательную операцию. Видимо, пустит облавы по всему организму, вплотную к сомнениям меня приперев...

Гад он, этот хвостик, прямо скажем. Он меня всего извилял.

Сегодня, говорят, кончилось лето.

Не пугайтесь, у вас это лето никак не последнее.

А у нас – посмотрим.

У нас, быть может, лето и не начиналось.

Это уж как ляжет карта.

Пишу полуотчетливыми осколочками, случайной россыпью чувств.

Может, хоть случайно выговорюсь до конца жизни, наугад сказавшись точнее.

Впрямую я отчего-то все ускользаю, из себя выскальзываю. Впрямую как раз и получается точь-в-точь вкриво. Чем случайней, тем вернее слагаюсь! Но навзрыд или курам на смех? Этот вопрос надо еще порешать. Будем его муссировать, не покладая трудоголичных рук.

Я человек окраин и промежутков, теней и невнятно молчащих сумерек. Там и искать себя, вечно находя что-то малопохожее, ни на что не годное, плохо сочетающееся с личностью этого проходимца,

под коим не устаю себя разуметь, для добавочной кривизны пути и обходных маневров. В ярком свете и на парадной, чинно себя несущей улице я сразу пропадаю. Мне так отрадно сбежать в тень волнуемой и несомой солнцем листвы или стать этим чудесным, ненасытимым, этим могущественным шорохом множества шагов о тротуар. В нем струится, конечно же, божественная речь, еле внятно, еле внятная. Это высокие о нас слова шелестят. Этот шорох не нашего происхождения. Это только кажется: мы идем. Кто-то тут давным-давно нами прошел, сделав нас глубоко былыми, прошедшими.

В ту сторону нам никогда уже не умереть.

Да здравствует знаете что?

А фиг его знает...

Да здравствует пусть на первый попавшийся случай хотя бы мое незнание, коли нечему случилось вокруг подаздравствоваться. Пусть взбодрится за все немощное окружающее, вместо того чтоб лениво втуне пропадать, мое не хилое вовсе незнание, склонное, сдается нам, таить в себе пожелание всем вип-здоровья и прочих прелестей жизни, о которых только смутно, беспорядочно догадываются, но не смеют их бодро почувствовать мои заношенные жизнью, исхудалые в немочь желания – они даже не ведают, о чем бы слегка пожелать и что в их силах быть немного желаньями. Воистину не ведают, что творят! Воистину... Ох вы, мои грешные... Где же вы? Опять вас, как водится, нету! И когда это безобразие кончится?! Вот поэтому я и не кончаюсь – чтобы с данным в ощущениях мне безобразием разобраться, с ним сначала покончить, концы с концами кое-как свести на уровне ощущений. А там видно будет – прекращаться дальше иль вообще погодить, это дело застопорить намертво. И упразднить утраты, отменить институт отсутствий как таковой, прикрыть эти мелочные лавочки исчезновений – они все равно не платят налоги, а на шее налогоплательщиков их держать все труднее: непомерны и разрастаются.

Завтра будет что-то, чего никогда-никогда не было в моей в подарочном варианте изданной жизни и чего, возможно, никогда не будет у других за тысячу лет.

А я еще чего-то сетую и досадую, едрена вошь!

Как оказываешься мелок перед собственной скромно отстраняющейся в деликатную сторонку жизнью. И неблагодарен. И нетерпим. Другая бы жизнь на месте моей жизни давно плюнула и ушла, с крупным матом отказав мне в своем расположении, а моя, не теряя нежности, терпит, словно чудом надеется, что все-таки настанет благословенное время, когда выйдет из меня более-менее толк, хотя бы в виде пары еле годных к шагам подметок. Да еще иногда роскошно, изумляя именинами сердца, поощряет за безвестные заслуги этого дерзковатого, пока не видит никто, и в грубом ячестве, в темном приватьи погрязшего своего постояльца, весьма невоздержанного на всякий язык и ответы иной раз безумного, совсем не в себе организма.

Вот и пойми их, эти престранные, эти темноватые в извивах глубинных поступков так называемые жизни! То капризные, просто беспредел привередливости, не знаешь, с какого боку подойти заискивать, то до безумья податливые – с песней восторга пропадай сколько хочешь в них без возврата, без внятно нащупываемой надежды вернуться когда-нибудь восвояси. Запустевшее, грубой пылью мрака покрывшееся и тебя не узнавшее, смотрит восвояси как чумное, думая, что ты кто-то чужой, не туда вперся, будет сейчас, применив убийство, грабить. Пялится на тебя восвояси родное, ровно баран на новенькие ворота. И как тут быть? Как прикажете себя дальше растеривать?

Вот это и есть самое натуральное селяви. То-то и оно! – а то легко жить захотели!

Людям только покажи озверелую дорогу. Пойдут всем хлынувшим без остатка телом толпы. И не пикнут. И с животным даже восторгом. И не вспискнут запрятанной куда-то, а потом и утерянной по дороге в широкие беды, осторожненько выроненной на обочинах мертворожденною совестью.

Люди никак не хотят отличать спасение от погибели. Поэтому в основном и спасаются от ожирения. Поэтому такое изобилие вокруг спасения, и все быстрого приготовления, из рук стремительной выпечки поваров. А гибели у нас нету, как не было секса при социализме: сидел гад в подполье, как простой дезертир. Правда, надо отдать ему должное: высидел, перетерпел, улучил неотразимый момент, когда верхи не могли, а низы не хотели, – и дорвался, дорвался, вволю нами попользовался, всласть человечинкой развратился. И насладился, кончая! Вот только бы с гибелью так не случилось.

От передержки терпения и неврозов подпольных сидений не набросилась бы она, как ненормальная, с возликовавшими кликами. Вот шуму-то и беготни будет в животрепещущем избытке! Оживленнее и фееричнее всякого праздника, даже общенародного. И намного, должно быть, его лучше. Где-то примерно на уровне уже футбольного мудиналя, который вот и нам упоительно из будущего загрозил, хоть отменяй теперь 2018 год. Не удержусь процитировать: «Когда я вижу мудака, настоящего мудака, я всякий раз испытываю волнение и даже уважение, потому что наконец-то есть хоть какое-то объяснение, становится понятно, почему все обстоит так, как обстоит». Эмиль Ажар, «Страхи царя Соломона».

Не хочу ни перед кем ни в чем больше оправдываться. За жизнь наоправдывался до неотвязно тянущей, с долей восторга толпящейся изнутри тошноты.

Скажу для последнего оправдания с удобно прилипшей ко мне скамьи подсудимых: сами виноваты, что завели меня для обихода и выгулок в намордник по утрам, доставляющим удовольствие одним вам, а мне пляши старыми лапами с кочки на кочку и гадь из-под хвоста в отведенном строго для гаженья месте, дери неустанно ногу на каждый хоть чуть возомнившийся деревом куст. И это вместо того, чтобы широко приручить меня для чего-нибудь еще, в целях неутилитарных нужд.

Затем приговариваюсь к пожизненному заключению, с правом пребыванья в неучтенных местах, режим строгий: вольной побежки. Шаг влево, шаг вправо приветствуется восторженным винтовочным воскликом, пропадание поощряется всем пропадом единогласно.

В моей опечаленной, поникшей в недоумении местности водится лишь несколько дохленьких, вконец затасканных мыслей. Скоро и их сведут на живодерню. Чему тогда водиться в нашей выдохшейся для полноценных видов местности? Неужто привидениям? Каким-нибудь околомыслям, пустораздумьям иль зверомыслям, – разница чудовищ невелика близ пустыни людей.

Недалеко то время, когда заведутся здесь и будут вольготно блуждать, множа зловещие дикие тени, одни великие чудища людей. Вот уж походим в зверинец бесплатно! Только это и радует. Окончательно, надо сказать, утешает.

Опять перепачкался в этом человеке. Сколько зарекался не падать в это болото, да вот опять трясиною поглощен. Но ведь поначалу болотце всегда похоже на изящно мечтательный, загадочный пруд в тихом обрамлении леса, и я всякий раз обманываюсь водоемом. Тьфу ты, наглотался и душной тины, и водорослей труповатых, и окаменелых склизких улыбок, и разложившихся слов, всплывших брюхом кверху наружу.

На склоне чудесного вечера я блюю остатками болота, еле выбравшись на край мало-мальски приемлемой жизни, твердой желанной ношей ощутившейся в почти уже мертвых руках. Я все-таки ее и на этот раз спас, мою нырковатую жизнь, ползавшую без ума по болоту. Я все-таки вытащил ее из непроходимой бессмыслицы возмечтавшей меня заполучить грязцы! Я все-таки на пустом берегу, неотложно утешившем меня своей безлюдностью... И с чего бы это он пылким таким вдруг стал, бережок? Ты ли не бережок какой новый, не бережок ли новой, еще не открытой для яств сердечных пустыни?

Я типичнейший представитель самого себя. Типичнейший! Дальше просто некуда... да и незачем, лучше не связываться, себе дороже выйдет. Ярче никто меня не представит, чем этот подозрительный во многих отношениях, дикой мрачности полный и какой-то весь из себя клочковатый тип, в просторечии называемый мною, – точно из первых попавшихся в руку махров склеен и прошит для предотвращенья распада крепким цветным мулине, в целях показательных выступлений на районной вднх.

Ну, естественно, не без отклонений и не без погрешностей я себя репрезентую, представительную делаю потрохам и сознанию выборку. С кем чего не бывает: иногда и чрезмерно бываю, приходится слишком бывать, такая у меня распространенная служба. Спишем это на ярко выраженный мой личный идиотизм, который бы также надо типично представить собою, но тут вихреватые отклонения бешено берут надо мной верх и я теряю всякую прилично выглядящую силу владеть собой, зашкаливаю. Покрываюсь весь отрицаловом, как жиром сурок в удачно им обворованный пшеничный год.

Замечательные и еще не разведанные потенции заложены в индивидуальном идиотизме, господа!

Если бы его собрать воедино, так сказать, в один мощный ударный кулак, освободив от дурацкого, совершенно напрасного распыления, и изъять у него, как жало, негативный обратный знак, не представляю даже, какое бы восхитительное процветание объяло нашу стесняющуюся показать себя в лучшем виде землю. Смотреть закачаешься!

Но как отобрать у него негативный обратный знак? – Он не отдает по-хорошему. А по-плохому – ну его, вихри враждебные веют. С ним ведь свяжешься – потом не отвяжешься, так и будешь пастись на приколе, на радиус равной идиотизму веревки выедая до дна земли зеленцовый круг. И немалая есть вероятность стать ему подобным, а этого бы пока не хотелось, на это целая старость раздольно припасена. Всему свое время. Иначе в мире пойдет сплошь чехарда и все начнут ломиться всюду без очереди. А это мы уже проходили и были практически пройдены. Честь имеем состоять из кое-каких остатков неисхоженных, недобороженных и потерянных чьих-то дорог, из отрывков оборвавшихся внезапно путей, которые оставалось по жизни кому-то дойти, да вот не осталось, недослучилось...

Кому нужна моя галиматья?

Да моей же галиматье, вне сомнения! Вон как она, глупочка неразумная, радуется! От радостей просто сама не своя! Из себя, как с шестого моего этажа, выбрасывается; видать, от души полетать захотела, по себе узнавая яркость полета.

Я чувствую это как-то сверхотчетливо и в основном шестым чувством, нередко и седьмым, добытым с седьмого неба: именно моей заболтавшейся в себе самой галиматье пылко и неотложно нужна именно моя галиматья, завравшаяся в себе самой до беспощадности. Я вынужден удовлетворять запрос, так как чего-то просящий клиент томов премногих тяжелей. Пусть уж позабавится и порезвится моя соскучившаяся по миру и по прогулкам в нем галиматья, коли ее дырявый хозяин такой угрюмый и нелюдимый тип. Набычась в одну точку, лоб нормальный в комок бугров извратив, сидит очумелый, взъерошенно строчущий в неумолимо бессмысленную бумагу, разве что белены не объелся, а может, и беленцы успел порядочно хватануть, кто ж его знает, проверить и осадить зарвавшегося некому, до экспертиз тащить отсюда не ближний свет, все экспертизы благоразумно рассредоточились как можно далее, чтобы не связываться. И ни тебе лакнуть с ним на брудершафт, и ни тебе порхнуть в танце немеркнущей страсти польке-бабочке и другими способами повышенно эстетического передвижения, переживания. У-у, сидень проклятый, ненавистный, глаза бы мои на тебя не глядели! Всю жизнь ты мне выел, сковеркал, пропади ты пропадом, пень глазастый, писчебумажный!

Так, произвольно пользуясь нахватанными за жизнь женскими выражениями, твердит отсебятиной моя госпожа дребедень. И я не могу не быть со всех сторон с ней согласным, будучи кругом виноватый. А куда денешься-то, когда правда возьмется пыточно глаза колоть? У нее иголочки остренькие, дошлые, отточены прошлыми изощреньями. Тык-тык, повытыкает глазки блудливые, и сиди слепеньким, не нарадуйся разглядывать свою уличительную темноту. Но зато так есть шанс стать Гомером. Пусть и не всем сразу, не полным Гомером, но Гомером ужатого местного значения, эпическим слепцом цветов запоздалых Неверкинского подворья. Без выгоды так и так не останемся, сколько правда нас ни терзай, ни коверкай нам последние органы зрения.

Моя жизнь взяла меня на собственное содержание. А кому еще нужен такой неприбыльный и чаще обычного упадочный человек?! На него где сядешь, там мгновенно и слезешь, безвинный зад точно ошпарив: нескаковит, ленца поперед него бежит, прокуренной челюстью норовит цапануть седока за ногу, чтоб не громоздили спину. Спасибо, хоть осталось на жизнь опереться, ведь в дом престарелых инвалидов и не просись, напрасно только канючить будешь: не вызрел как следует в немочах и бессилиях, а также не вышел увядшестью лет, даже притворной.

Вот никогда не думал, самыми страшными снами не был предуведомлен, что буду коротать оставшиеся поздноватые дни в захребетниках и приживальщиках у собственной надменно помыкающей мною жизни. (Стерва оказалась еще та, то есть порядочная.) Экая непоправимая беда, экий неустранимый позор, какая неизживаемо низкая ты, судьба моя не моя... Бонвиван я после этого получаюсь; докатился, конечно, до крайности... К тому же неприкрытый адюльтерщик (хоть от риэлтора с копирайтером Бог меня миловал) и любовник на содержании у женщины... забыл, как это огульное словцо обзывается, французский ветер загулял в голове, треща там русским моим буреломом. Нахлебник? Подбрюшник? Нежный мокрушник? Лошадиная фамилия? Все мимо. Мимо единственно точного на-

звания любителя попастись вокруг женщин, при этом неустанно их окучивая и питаясь их соками из домашнего холодильника или непосредственно прямо из пылкого тела, не брезгуя разглядывать на досуге замысловатый их кошелек, чем только из глупостей не изукрашенный. Вылетело названьице из моей не столько блестяще сквозной, сколько местами дырявой башки, охотно припадочной на другие слова, которые бы век не знать, убытку не будет, и всем спокойнее сразу станет... Альфонс! Альфонс! Вот как он в конце-то концов называется, любовник на содержании у женщины, выудили мы его таки, голубчика пропащего, из словесного вертлявого исчезания, чтобы немедленно им стать... теперь не знаем, что с ним делать, куда пристроить его, подевать, на что устроить ему минимумы проживания... А давай-ка поразгружай уголь на первых порах, работать ведь где-то надо, харчиться на что будешь? – я и сам-то на содержании, спонсировать тебя не в состоянии, а жизнь моя содержать двоих крепко едящих мужчин не осилит, ей хватает до отвращения и меня одного, извини, Боливар двоих не выдержит, он устал, он отказывается, и-го-го! Даешь стране угля, голубчик ты наш резвочленный, мышечноразумеющий? Вот и давай, и давай угольку побольше. Это более прибыльное занятие, чем добывать полезные ископаемые, делая проходки в забоях и штольнях женщин еще не освоенных толком месторождений.

Впрочем, отвлекся немотивированно на сексуальное, практически в извращенной форме, как это чаще всего у меня и бывает: не успеешь оглянуться – а уже извратился, моментально подпал под готовую сладострастно тебя уловить статью закона. Вернемся к жизни, в форме еще недоизвращенной... Там, во глубине собственной редкоземельной жизни, займусь-ка я с неотрывно присущей мне предприимчивостью взращеньем капусты, чтобы время от времени отсутствовать под предлогом ухода за овощем и тем самым не так прочно сидеть на шее у своей открыто возмущающейся жизни и хоть крошку оправдать из куска хлеба, которым я ею кормим и томим. Пока мой досыта оскорбленный аппетит не скажет однажды решительно изрыгиваемое Нет и не поднимет всеобщее восстание молодой разъяренной блевоты, которая наверняка мир обдаст новым, еще не разгаданным смыслом, то вальсируя, то альфонсируя. Обещаем свежий репортаж с петлей на шее из жерла вулкана, как только начнутся событья и рвотные массы пойдут своим чередом, надеемся, в оптимальном режиме, – чтоб эту зрелищность в новости мира поспеть сообщать нормально.

Чем я рискую, пиша всякие острорыщущие далеко по сторонам, непредвиденные строки?

Только своей исчезающей от последствий блуждания головой.

О, этого так мало! Здесь нет почти никакого риска (следов рисковательного вещества на теле не обнаружено). Что моя голова? Ну, голова. Обычное дело. Ну, своего рода емкость. Емкостей, что ли, мы не видали?! Видали, и не такие. Подумаешь, калганчик с некоторыми сомнительными мыслями! – да к тому ж средь миллионов других калганчиков с некоторыми сомнительными мыслями. Невелика потеря. Даже наплакаться вдоволь никому не хватит по такой типовой голове, и рыданья не будут ярко индивидуальны.

Мала она для массовых слез, для народных рыданий. И не зрелищно плачевна. Новостного повода никакого с нее не сдерешь. Да и калганчик-то был без наворотов, охрененно старой модели, а выпуска – даже год называть неудобно. Сразу мхом обрастаешь от одного упоминания года.

Самое лучшее, что пишется у меня, – я не знаю, как оно возникает и получается.

Худшее – знаю.

О чем это говорит? Не знаю.

Значит, этот вопрос – также из лучшего у меня? Но это так обыденно и скучно для лучшего, просто обида берет от того, что такая наглая ерунда и серая дрянь бродят зачем-то в тебе, прикидываясь замечательным и эстетически ласковым.

Сколь вероломный обман при всем честнОм народе! Впору отказаться от себя, чтоб только истину не повреждать собою. Такое чувство, что я ее каждый миг искажаю, только и делаю, что ее прилежно затмляю. С этим пора кончать... То есть, выходит, со мною? Кончать-то? Что ж, придется поздней ночью его отвести в глухие рвы подсознанья, пусть наберется он мужества и возьмет себя в руки... Вынужден, ради всего святого, устроить ему массовые казни. Остатки восстания, чтоб врать неповадно было, сослать в Неверкино, там крепостное право само доделает с ними нужное дело, очень нужное всем общечеловечное дело!

Что мне до этих непрерывно идущих по улицам бесконечных людей?

Мне бы и самому-то как-нибудь пройти.

Успеть бы до смерти.

Но какое-то ведь есть, есть до этих людей дело, которое превыше и смерти... Отчего это ясно так чувствуется? Особенно пронзительным днем августейшим, уже сентябреющим в далях, тронутых безмятежностью легкосердечного увяданья, сединой отвыкающего корить простора, – он принимает тебя в свои дальние други, в никого свои, в собственные никуда, донельзя тебе родственные: как отчетливо всюду они замелькали, радуясь встрече, обокраденные встречаньем...

На денек я приехал к себе в долгожданные гости, а он отсутствовал.

Ну как же так? Ведь договаривались.

Он отсутствовал вечер, ночь, утро следующего дня, потом никакой явился.

И с кем мне встречаться?

Была бы нужда, но с таким нет охоты даже перекинуться словом. Сомнений не осталось: я умру от тоски, если буду длить общение с ним еще хотя бы минуту.

Вот всегда так: притворив дверь по возможности бесшумно, уйдешь в никуда. Хорошо еще, если это никуда – просто просторный осенний день. А вдруг оно действительно никуда? Это-то и смущает.

Ищешь-ищешь потом по улицам, сам не зная, кого, что, куда ищешь... Так окончательно и потеряешься века на два иль больше. Очнешься – время вокруг не узна́ешь, оно на себя не похоже, от себя отказалось. Вот ведь, успеешь подумать, беда какая, откуда совсем не ждали... И опять пропадаешь, опять тебя раз-два – и везде обчелся.

Перестану ездить к себе в гости – только напрасно века тратить. Да и нервов сожжешь кучу, на год вперед бы тепла равномерно хватило. Если, конечно, с умом отопленье наладить, тщательно лишние дыры утратить.

В последний месяц ощутил прилив свежайшей – точно она в затишке долго отстаивалась – молодости. Не физической, понятное дело, а какой-то внутренней молодости, высвободившейся из-под долго мертвевшего спуда. Необычайной – кажется, прежней – подъемной силы и едва початых надежд. Разрумянился я изнутри, в несколько дней отморщинился. Седина во мне стала достояньем и обличьем бросковатого с виду блондина. Чувство – будто так же легко могу все начинать, пустить жизнь с непримиримейшего нуля, как все начинаться умело в 22-23 года. И жизнь не выглядит страшной, необоримой громадой, которую – ужасался недавно – одиночным усилием не превозмочь, не своротить, и половину жизни назад я кажусь себе ровно таким же, как сейчас, и завидую тому мальчику-себе, который уже, успев намного опередить меня, что-то начал там, полжизни спустя, в отличие от меня сегодняшнего, еще мешкающего и только подступающего неумело к своей молодости, сильно пугающей и опасной из-за долгой от нее отвычки. Даже прикасаться к ней страшно, не то что ее во всеналичье иметь! И я инстинктивно ее сторонюсь, чувство самосохранения во мне исправно еще работает, не напрасно пьет свежеотжатые мои соки и поступающие с ними личностью моей полные витамины.

К 47 годам во мне вдруг открылась не бывавшая со мной никогда молодость, – я точно прожил некогда другой молодостью, а эту то ли потерял, то ли обошел рассеянно стороной, попросту не заметил, но она все-таки меня нагнала и настала помимо моих желаний, помимо всякой возможности. Я и не подозревал, что такое может случиться, я не ждал уже молодости ниоткуда: мне казалось – она вся прошла, вся пропаща. Но странным пришествием она объявилась, удивив меня самим собою – коим я давно отвык удивляться, устав наблюдать изо дня в день свои нудные заскорузлые мелочи, изборожденные неновым, чурающимся чуда сознанием, которому не помешала бы серьезная починка, а лучше – встать с сознанием на полгодика на капитальный ремонт; некоторые шестеренки меж временами вообще износились, надо бы их заменить, если только шестеренки такие теперь выпускают... Также поспрошаю и на базаре среди старья и блошиных услуг, вдруг повезет прибарахлиться. На днях должно повезти, чувства подсказывают. Да и наземный базар, говорят, расширяется близ Сенного рынка и в его с распростертыми объятьями нас встречающих всегда окрестностях (не за родственника ли они меня держат?).

Как-то изумительно обновленно мне открылось, что до 70 лет (возраст возможно нормальной интеллектуальной силы) жить очень долго, 23 протяженных, нежно всхолмленных наверняка уж года.

Целую еще юность. Еще эпоху легковейного, свободно себя самого несущего и крылящего времени. Доселе постичь этого не мог, недоступно было – то ли дорожка была не для просторечья ума, то ли какой-то клапанок внутри заедал, не открывался, и эти цифры вызывали неприязненную смуту да путаницу огромных и бессмысленных кусков жизни, которые делали будущее из одних кувырков и затяжных падений, из хаоса наводящей тоску кутерьмы. Царила во мне тогда возрастная паника, я от нее в основном бегал, скрывался, в то время как люди моего поколения пристрастно бегали совсем от другого и скрывались в другое. И были в своих пропажах правы.

Эти цифры не были еще моим опытом зрячи – он как будто дображивал потихоньку где-то от меня в сторонке, в бродильном чане устранившихся дней. У них не было моих пожилых чувств, которые в неожиданно освеженном и облегчающем свете предъявили те цифры преображенно самим себе, сняв с них невыносимую тяготу прежних количеств. И настала средь чисел во мне арифметическая мудрость.

Свобода больших величин наделила и меня свободой: я уж не боюсь жутких чисел лет, которые гораздо страшней просто чисел – обыкновенных, заурядных жителей земных множеств. В числах лет, в числах, связанных преступно с годами, корчатся лики многих погибших наугад и нами убитых, нами забытых, забитых в прах дней... Кто бы знал, как не хочется узнавать себя в прахе!

Сейчас молодость кажется во всю долготу оставшейся к проживанию жизни.

Прозревшим, отчетливо уразумевшим себя чувством понимаю теперь, кАк Гете не признавал собственную смерть, *перестал понимать свою конечность* – и показался себе бессмертным. Преодолевшим непроходимое небытие. Прежде это вызывало только усмешку – так иссложнился старикан, что умудрился запутаться там, где никто обмануться при всем желании не сможет, при всей невообразимой энергии заблуждений.

Так легко, оказывается, обмануться бессмертием и впасть в беспредельную жизнь, как в неслыханную простоту.

Со все более поздним изживанием дней изменились пропорции жизни, и точка отсчета сместилась глубоко в возраст, став достоянием приостывающих лет, а не лет стремглавных. Я иначе стал воспринимать ее размеры и соотношение частей. Изменилось и само строение жизни: вижу теперь в нем иное, неожиданное здание, которое стоит странным образом на прежнем месте. Раньше жизнь оценивалась только с точки зрения юности, не сдавшейся в силе и свежести молодости: как мало мне, спохватывалось отчаянное чувство, осталось быть прежним! Теперь это несущественный критерий. Он и отпал. Теперь любой год имеет лишь значение зрелости – и потому-то вся жизнь целиком, без каких-либо изъятий, обрела смысл (прежде она наполовину была как бы мертва и заведомо пропаща, всё, что перевалило за сорок, казалось, – непоправимо напрасный, неизлечимый балласт; я уверенно сомневался в добротных, животворных способностях этих лет, еще из юности наперед отвергая тот черный пробел жизни), и зрелые годы предпочтительнее и заманчивее ранних, они издали, из потаек не сбывшихся пока дней приободряют будущей, но уже греющей сокровенно отдачей: зрелость не сможет пройти впустую, ее самодвижущая сила одолеет любой вязкий застой и сама за себя скажет, даже когда мне говорить будет нечего. Или – отчего-то – незачем. Мне, увлеченному происками жизни в безжизненную немоту. Привлеченному поисками жизни в бесчисленные ряды преимущественно и распространенной вокруг немоты – немоты орущих всюду бессмысленных криков нашей величественной повсеместной смерти.

Впрочем, всё. Умолкаю. Для грандиозных последних прощаний позвать не обещаю. Извиняемся, нечем сделалось отчего-то вдруг позвать. Уважаемые граждане, подайте ветерану отечественной жизни голосишко на пропитание! Подайте, прошу вас, смилуйтесь! Совсем пропадаю. Сипом весь истекаю. Прошу вас: хотя бы копеечный голосишко... Кто-то кинул мне в шапку завета целый трубный глас... да на что мне он? Будешь неделю только им одним заниматься – ходить, его разменивать, вместо еды любуясь дорогой добычей, аппетитом маясь. И ничего так-таки не разменяешь – ни в одном ларьке голосов не хватает на сдачу, все визжачья бренчит там мелочь. Эх, верните мне собственный какой-никакой, пусть и лишенный цены, не говоря уж о рыночной стоимости голос! Что-то вякнуть хочу, есть предощущение личного горла. Остается только определить где-нибудь на теле для него более-менее приличное кучное местечко. Сейчас буду тщательно прощупывать подведомственный мне

организм на предмет приемлемого обитания моему новорожденному, по всей видимости, горлу. Нет, в районе пятки хоть и сухо, тепло, не тесно и не обидно, но органу пения там быть не пойдет, явно ему тут не место, – еще наступишь по случайности своей песне на горло – считай, жизнь пропала.

Я стал в своей жизни совсем-совсем другой... Быть может, и не очень похож на собственную жизнь: иной прохожий собственной судьбы. И мне с этим новообретенным человеком как-то необычайно отрадно, приятно быть собой. И теперь значительно легче, нежели прежде, узнать себя – он за 47 пространственных лет поистаскался изрядно, местами рассыпался, разброшюровался совсем, облетел, листы его от времени загнулись и пожелтели. Осталось переродить его вновь.

Думаю, для этого и одного бы прикосновенья хватило, необязательно и сильно волшебного. Хватило б и женского просто касанья – по дороге, возможно, от летней реки к позднему дому, вечереющему на безвестной опушке. Гляди – идешь уже совсем другим человеком, с совершенно незнакомой рядом женщиной, которая минуту назад была семнадцать лет твоей женою. Ну что ж, будем знакомы, милая спутница? И представишься как будто бы не своим именем. На что ответно получишь на законных вполне основаниях как будто бы не свое.

А так тебе и надо! Нечего столь прозрачно косить под другого! Вступишь во имя свое в легкую перебранку. Вот, гляди, и себя мгновенно узнал, и счастьем семейным всласть натешился, и дурь инаковая развеялась, как с яблонь дым. Но куда же исчез наш домик, торжественно вечеревший во всю грустящую о чем-то опушку? Да и сама опушка пропала, оставив нам лишь свою учтивую, предупредительно вопрошающую безвестность. Кто, куда мы идем и откуда? Позади нет и летней реки, шрам пространства косного хмуро бугрится. Вот те раз! Значит, нету и нас? Но хотя бы мы были? Я к вам, к вам обращаюсь, не уворачивайтесь, отвечайте не виляя: мы были? мы были? иль, выходит по-вашему, ни на пушиночку нигде не очутились? Последний раз спрашиваю по-хорошему: были ль мы? Ну то-то же: на нет и спроса нет. Пойдемте съедим по мороженому. После жаркого дня ничего лучше нет, чем немножко глотнуть безобидной прохлады. Но где расчудесная моя незнакомка, до недавнего времени безмятежно идущая рядом, пропадая рукою в моей руке? Эх, и ее в споре дико проспорил, истрепал в ничегошных словах... Так бездарно ее потерять, много лет ни на прогулочку не теряемую, ни на слово единое, ни на солнышко, ни на маленький, лгущий напропалую ветр... На себя, целиком на себя я сегодня ее потерял, обронил где – не помню в свое исчезновение... От реки до опушки зияю во всю тебя, моя близкая, запоздало нежным отсутствием.

Любил бы растительных людей, но они не зелены и не шумят листвой. Не взволнованы под ветром трепетом рвущейся в побег, мятущейся кроны.

А я это больше всего и люблю в людях.

Я вошел в чужую, насторожившуюся мгновенно комнату, очутившись здесь неожиданно для себя резким вторжением. С этой комнатой мы не были раньше знакомы.

Меня тотчас окружило барахло незнакомых потребностей, словно только меня оно поджидало, словно именно меня для этого барахла и недоставало, чтобы ему благодатно, в совершенстве восполниться, в идеале своем завершиться.

Оно было агрессивно настроено и требовало неясными знаками принуждения, чтобы мои потребности приняли участие и ликовали.

Но мне замечательно удалось мое отсутствие: я быстро сделался досрочными сумерками этой комнаты, очень точно сумел обезличиться и не допустил выхода своих паршивых потребностей наружу.

Я не устрою им совместный праздник низменных нужд!

На 11 августа 2003 года где сядешь, там и слезешь, дата с брыкливым норовом оказалась.

Я так и сделал, не скупясь на прямое решение: слез с этого дня, даже лихо сиганул с него прочь, показывая перед собой свою гарцевитую молодость, которую на днях при раскопках в себе обнаружил (в виде груды живописных развалин).

Затем нечаянно от себя принялся спать, прямо посреди белого дня убухался с разлету в кровать, обреченно разбежавшись для кроватного порха, путаясь в мешающих и досаждающих мне обычно ногах.

Только так что-то вроде слегка получилось или, во всяком случае, начало получаться, брезжить стало началом. Не было бы счастья, да несчастье помогло, уж в который раз. Не знаю, что бы я без него и делал.

Несчастье было в виде крепкого, умело организованного исподтишка, незаунывного сна. При ближайшем рассмотрении оно наотрез отказалось выглядеть несчастьем и упорно, хоть и призрачно, выдавало себя за редкостное по качеству, снедаемое самодостаточностью и высокомерием сновидение.

Спать дальше стало противно от наглядности такого вранья – противней стойкого ощущения меня самого. Пришлось возвратиться в белый, непритронуто целехонький день, но он был уже не такой и посматривал с неодобрением и с плохо скрываемым, топотко бьющим незримой ногой раздражением. Вынужден был опять насильно вернуться к своему только и любящему нынче меня несчастью. Так и спасся умелым, четко выверенным мельтешением от собственных преследований и травли моего неукоснительно осуждающего меня существа, которое посадило бы меня на неопределенный срок и вытекающий из него краткий паек, дай ему хотя бы карцерную волю и натужный момент ее истины.

Беда в том, что август кончился, истощил по всем фактам запасы примет, а сентябрь наступать ни в какую не наступает, ни сном ни духом не приоткрывается – упрямец, каких еще поискать. Один пустячно медлит, другой непостижимо и отчасти преступно опаздывает. Друг друга стоят голубчики в своем дружном нервении!

А мне из-за них пропадай, неожиданно находя себя очутившимся в промежутке, о каком не помышлял и в отборно дурных помыслах. Эх, настрочить бы слезную жалобу Богу на эти строптиво ведущие себя месяцы. Как заносчивы они, как чванливы! Поведение их воистину ведь безобразно, даже не похожую ни на что моду по ним выправлять бессмысленно, последнюю моду загубят.

Как же выбраться из провальной, ощутимо гибельной середины между августом-растеряхой и сентябрем-ротозеем? Это межвременье несносно. Хоть бы какая-нибудь незримая, но искушенная в извлечениях рука подалась мне на помощь. Но нет руки искушенной. Да и нет руки никакой вообще что-то. Или она слишком незрима, и ее наличность не по моим тщезрящим глазам, рыскающим в округе напрасно, уподобляясь стайке бездомной собачьей, а может, и громко говорящей, о чем-то на нервах совещающейся псинной их свадьбе. Н-да, ну и глаза мне взлаивающие достались...

Ощущение массы лишнего, грузно провисающего времени – при отсутствии отпущенного бы для него календарного срока. Время, лишенное формы, неизбежно принимает текучие формы тоски, которая тебя безобразно оформит.

По всей видимости, здесь должен бы существовать, протекать еще один месяц, но его либо все до тьмы позабыли, либо он был в порядке эксперимента благополучно разворован до нашего рожденья.

И опять как-то чересчур по-нашенски получилось, невзирая на то, что мы этого не хотели всеми силами противленья и самоубийства желаний.

Сумбурно печалуюсь. Ваш междусобойчик.

Пробки из шампанского и подсобных шипучек долой! Сегодня мне стукнуло (именно так оно и случилось, как проглаголило слово: шибануло изнутри голову, заставив понеотвратимей себя почувствовать в качестве личного наказания), – итак, стукнуло мне сегодня этим мозговым пошибом ровнехонько 47 лет. Не больше, но и не меньше, а в самую, стало быть, сердцевинную тютельку, от которой ни на соринку личную не отвертишься.

Но вслед за Станиславским (взял его у прошлого напрокат, а может, взаймы, – не понять-разобрать, столько лет прошло, форму заимодавства не определить, она лишь ярко мерещится) сразу же рявкнуло: не верю!

А не верю. Не верю, и всё тут. Сказало что-то ужасающе спокойно и уже моим голосом, ужасающе моим, ни капельки не посторонним. Довольно фальшиво сыграл многие годы. Оттого и нет мне никакой самой затасканной или выброшенной за ненадобностью веры.

Вот ведь и здесь в момент накривил: черкал эти крайне неправдивые строки еще за три с лишком недели до всамделишного, так сказать, легального дня рождения. Насчет 47-то. (С бодрящим хлопаньем пробок и всем логически и безлогически из этого проистекшим устроил себе партизанский день рождения в обход всяких метрик, будто бы и не существуют они для него, будто бы это уж и не документы ему, подтверждающие неопровержимость и без того наглого его наличия!) Что, мол, ровнехонько и

прочая пыль для пусканья в глаза, в их святую доверчивость. Даже тютельку приплел для беснования пыли, да причем с очевидного бодуна сердцевинную. Не ровнехонько! И не тютелька с трепетной сердцевиночкой, с допуском отклонения на соринку личную! Три недели с довеском, с препятствиями, по сильно пересеченной местности еще пилить до опрометчиво сказанного! Накликал себе на пустом месте непредвиденный лишний путь, без сомненья тернистый, а местами – кремнистый: он лежит предо мной, охотно предоставляя мне спотыкательные и терзательные свои услуги, прочую прелесть обочинных сервисов. Напророчил, дурачина суесловная, трехнедельную окольную дорожку; дурной голове, влекомой не менее дурными и пустопорожними ногами, семь верст оно, конечно, не крюк, но все же кому пойдет в удовольствие вхолостую вышагивать лишние, а в нашем случае и многодневные километры. И как теперь быть? Как выправиться, не уронив остатка достоинства, заметно выроненного и подгаженного предыдущим текстом? Эх, вылетел некстати с язычком-то развязным, развесистым, просили тебя, соловей ты наш где не надо, птах потемочный, лучше б ухал соловой совой, осовелый, блин, соловей... И со всей неизбежностью возникает вопрос: как можно доверять человеку, который не может справиться даже с собственным днем рождения и с его полными разночтений датами? Вот я и не доверяю. И всех к этому настоятельно призываю: пора возбуждать общественность. Давно уже время получше на него ополчиться да придавить как следует вручего таракана! Он не то совсем привирает, что надобно нашим враньям, чем мы обманываться рады. Под предлогом несгибаемой прямоты знай гнет свою бредовую линию, которая покруче будет иных кривых Отечества нашего:

Что ж, стало быть, будет еще время ярко переиграть эти фразы; иного выхода не видать, не проглядывается. Итак, приступим к репетициям. Кровавый пот, уморы, старания, радость-боль и жизнь не щадить, возгоняя их до последних степеней неподдельности. Умирать каждый раз просим всерьез и надолго. Поответственней, пожалуйста, отнеситесь к этому делу. Остался последний, единственно уцелевший для спасения шанс. В нашем распоряжении немного времени и большая призрачная возможность переиграть дурно сыгранные годы гибельно и блестяще. Это ли не редкостная удача, выпадающая, вероятно, один почти невозможный раз на сто тысяч душ до востребования посланного наугад населения?

Грусть в итоге всегда растекается мыслью по древу.

Особенно осенью – по облетающему древу, полному будущей палой листвой. Оно уже и не дерево, а куда-то собравшийся в растерянности человек – по листвяным же глазам видно, не утаить. И куда это, дружок, ты собрался? Смотри-ка, что за окном творится: все дали украли. Не очень-то есть куда побрести. Все пути-дорожки у тебя прямо из-под носа сперли. Докатился ты. Докатился. Скитайся-ка дома. Тут лучше есть, куда откровенней всего не прийти.

А вокруг души стало лето. Звенящее личностной моей музыкой, необъемлемо распросторное, распростертое в привлекающие к ясной ответственности дали, напролет сквозящее, да всякое желание вываляно в зное, сквозить никуда неохота, глаза б не глядели сквозить. Центростремительное лето бредет, центробежно медля тебя.

Лето-лето. Много-много. Ну и всесиятельно ты, лето, глядя на тебя, просто диву даешься! Поделилось бы, что ли, немножко со мной. Последнюю эпоху с сияньями у меня напряженка.

И душа моя, не сдержавшись, вдруг спроворила, как молодая особа, незнакомый мне и непредсказуемый танец. О невыносимо юное создание! С тобою и я – чистый безумец.

Вернулась запыхавшаяся и счастливая, в глазах позабытый смеющийся блеск: ну, как, мол, я? Но и с небольшой виноватостью там, средь влажного слезного смеха, средь вспыхивающего лукавинкой блеска, – ведь сбежала-то не спросившись, украдкой. Хи-хи все да ха-ха в кулачок.

Ну как не простить такую счастливую и летнюю! Такую счастливую и летнюю лгунью.

Поцеловал ее в сияющие глаза как дочь свою и улыбнувшимся сердцем отпустил потанцевать еще.

Пусть будет ей вволю. До краев любого чистого ее желания. (Как завидую я непорочности ее помыслов!) Пусть блистательно ей дотанцуется, юнейшей моей, беглейшей.

Ведь во мне скучном, изрядно зажитом все желанья уж давно завалялись, мертво ссохлись и пожелтели; скудный их гербарий грустно-грустно, с тусклым вопросцем глядит на меня (сбирая меня в свой ломкий гербарий, в сообщество неких отбывавших земное цветов). И на желанья мои печально даже просто взглянуть, мельком поддавшись соблазну пышно осеннего их отцветанья. А иметь их – чу-

довищным кажется имением. Обладание ими – это упадок уже обладания, морока из давным-давно разоблаченных морок. Лучше ничего не иметь, чем иметь такие практически неподвижные и неповоротливые движители: того и гляди разобьешься на самом простейшем личностном повороте, тащась со скоростью неохотного, вялотекущего личного пуканья.

Вот и я стал запущенным, редко посещаемым чердаком, на который выброшены мои изношенные и поломанные желания, исправно отслужившие потребный срок. Средь отринутых желаний есть, конечно, и с большим тщанием, натуго перевязанная пачка отслуживших любовь возлюбленных писем. Возможно, их пробежит чей-нибудь глаз и через век отдохнет легкой слезой иль улыбкой на моих невероятно прошлых желаньях, которые иной век за собственной новизной и слепотой, может быть, и не узнает. Даже не примет их за желанья. Не включит даже в разряд теней и призраков их. И они пройдут неприметно под знаком чего-то смутительно странного и неизвестно зачем бывавшего – то есть, по сути, и не бывавшего.

Их несуществование, точно речная воронка, утащит вслед за собой и меня, до тех пор еще перемогавшего и таившего, перехватывающего жизнь в каких-то остатках, в каких-то особо благосклонных ко мне прахах и крахах, позволяющих кое-как, кое-где, проворными украдочками и избежаниями, в скромных промельках и угасаниях, но – уцелевать, уцелевать, во что бы то ни было, братцы мои, уцелевать!

Итак, через век с небольшим, на чердаке сумасбродном наконец-то меня опознали, очередь и до меня дошла, не зря знал я и был уверен. Драгоценному моему вину вот-вот настанет свой черед. Выношу всем нашедшим огромную благодарность, а заодно и крепкое, по давней привычке скорби сразу закручинившееся соболезнование: зря вы меня, наверно, все-таки нашли, средь запаученных тенет раскопали, только пачкаться... Впрочем, вру напропалую и сплошняком, без всяких просветов истинки; уж и там от вранья, как видите, в охоточку не удерживаюсь... Не зря вы, потомочки дорогие, в чердачной пыли старались, очень даже не зря! Почем нынче скелеты? А ежели контрабандой толкануть за границу, в обход продолжающих вредить заслонов ЕЭС? Н-да, что-то трупы былые у вас больно дешевы, просто баснословно бросовы, идут по напраслине. За такую цену, пожалуй, не дам. Может, хоть полсотни скостите, уступите? Вот и чудненько, вот и прекрасно! Ну, что, ударили по рукам? (О наконец-то, хоть через сотню пропащих лет, и я стал приемлемым себе и приличным вполне коммерсантом!) Вручаю вам в свободное пользование свой разгульный, на все способный скелет. Удачно я его толканул! Не-не! Говорят же вам: не! Напитков будущих мне не надо, у меня и горла-то такого для них нету, такого горла мы в себе не воспитывали. Обмоем дела хорошие старым, добрым портвейном таинственного и своеобразно мерцающего номера 33 (прямо полудьявольщина какая-то, которая всегда с тобой!). Портвейнова бутылочка день и ночь за мной болтается, не отстает, повсюду меня преследует, как зачарованная, заискивающе меня обхаживает, чуть только увидит на моем лице признак сомненья, растерянности пути или легко перепутанную ею с грустью остро проступившую в лике мысль. И это продолжается, представить ужасно прекрасно, с середины семидесятых годов позапрошлого уже века! Во прилипчивая какая попалась... Зато верная, ни разу мне и в винных своих парах не изменяла. И чего ей от меня надо? Почему все никак не отстанет? Где-то я ей дорогу перешел, что ли? Но нет, не переходил я ей никогда дорогу, всегда одним путем брели, главное ведь не в глаза друг другу глядеть, а в одном направлении. Здесь совсем другое: чем-то я ей, видать, на всю судьбу наперед понравился, намертво приглянулся, явно по мне тридцать третья сохнет. И тогда она решила, без меня меня женив, связать мою персону навсегда с собою. Да я со временем был уже и не против, пускай со мной семейственно дружит, носки-обеды опять же долой с моих плеч. А придет в наши отношения более порядочное время, повенчаемся, чтобы с честью выйти из недоразумения создавшегося греховным самозарождением светского брака, чем далее, тем более становящегося невыносимым без освященных небесами уз (кстати вот этим мы сейчас и займемся, пока небеса у нас под рукой). Кажется, уж хватило бы времени, чтоб успокоиться и откровенно меня разлюбить. Но она за мной везде шатается, куда ни направлю свои стопы (которые стопочками не назовешь, чего зря обманываться-то?). Это меня начинает с подсознательной стороны пугать, настораживать и где-то даже смущать. Не сумасшедший ли с бритвой в руке в бутылочном виде прячется? Очень обидно будет быть кое-как убитым спустя сто лет после собственной очень благополучной и респектабельной вполне кончины, шикарной на всем своем протяжении (пара человек только в конце окончательно перепились, один сам с

собой устроить пытался несанкционированно драку, подсунули ему для отработки ударов студень, он в нем благополучно увяз, утихомирился, а больше про поминки ничего и не вспомнишь, одно отчетливо, как божий день, помню: не хуже было, чем у людей, и я себя телом покойным своим не посрамил ни на кроху, был скромен и тих). Опасность такой безвременной и неряшливой кончины больше всего и печалует, отравляет мои оставшиеся вечные дни, ничем более не омраченные, на всем пространстве бесконечности до невероятий безоблачные. А в Сахаре у нас и то лучше с дождями... – тут же выразил я недовольство. Эх, уж и здесь-то ты не удержался, вот просили тебя! Итак, первым делом вечной жизни – порядочно укоротить ему бегущий поперед него язычок, а то он нас далеко заведет.

Ну, что, еще по одной драгоценной моей бормотушке выдержки и вытечки семидесятых? (Это у меня вечная жизнь, что ли, пошла? Но почему в обратную сторону двинула? Блуждая, плутает? Смеясь надо мной, расстается с прошлым? Но бурана и сумасшествия вроде нигде не видно, небеса прозрачны. И чего тогда этой вечной жизни все неймется, чего ей еще от меня не хватает?!) Сейчас я мигом слетаю. Тут недалеко. Где-то за углом должен быть магазин, расположенный в 1975 году, исполненный вин моих, выстроившихся в свой наступивший черед, только меня и дожидаются, я последний остался. Магазинчик тот еще – еще тот! – на ночь с тех пор, кажется, не закрывался. Битком набитый времечком портфель с надорванной трудами портвейнов ручкой вам порхом одним прикрылю. Ждите помаленьку; тридцать пять лет и столетие пролетят как ночь влюбленных, как брачующиеся впервые объятья, как счастливое одно мгновение – вы и не заметите, а я – вот он и я, будто и не отбывал никуда. Гоните скорее сюда ваши хищно воззрившиеся на меня стаканы! Так и быть, утолю вашу заметно проросшую в прошлое вечную жажду! Ну конечно, вечность опять направленьем ошиблась: проросла назад, оставив будущее без прикрытия, вместо того, чтобы вперед кропотливо ей силиться, длиться футурумно-устроительно. Вот и оставила будущее без попечения, как с этой беспечной вечностью нередко, а точнее – вечно, случается. А ты потом сиди и все за нее расхлебывай, в три ненасытных, в три от хляби желаний ненастных горла исправляя допущенные ею ошибки, а наутро еще, как всегда, является помятая изрядно работа над собственными ошибками, испещренная красными и, разумеется, хмурыми замечаниями. На целый день опять зарядит этот жидкий шатучий диктант, похоже, поставивший себе цель душевыматывающе переписать меня заново, от корки до корки, чтобы окончательно захлопнуть тетрадку. Да только хрена с два я дамся. Заклинанье быстренько в защиту себя взбормотну, предыдущей неизбывною бормотушкою освященный: но это уже совсем другая история! здесь слишком мало для нее места! о ней как-нибудь в иной раз! Изыдьте! Изыдьте! – здесь пролегла совершенно другая история, тут частная ее территория, посторонним вход категорически воспрещен, гарантированное обслуживание безопасности участка осуществляется посредством сотрудника охраны володина вэфэ, как дам по башке вынутым из кармана тяжеленьким, труднопроходимым для последствий ЧОПом «Строй-Реставрация-Щит» системы болван, проведу задержанье путем заламыванья рук по системе Станиславского, узнаете тогда, как бродить в неположенных вам историях, несмотря на то, что они вечные, а вы к ним примазываетесь! Настоящим докладываю, что за время моего дежурства происшествий не допущено. Документация, имущество, средства связи в наличии согласно описи в исправном состоянии. Сдал: гастарбайтер володин. Принял: гастарбайтер мерзабеков. Пунктуация, остатки смысла, нормально действующий мат и вообще весь русский язык лежат на совести и отчасти в сейфе главного ЧОПа наших окрестностей КРОТКОВА ААА! ЯЯЯ! Его суровая орфография прилагается. Он вечно кем-то разыскивается, но, будучи сперматозоидного темперамента, неуловим. В порочащих его связях с помощью мобильного всегда отключен.

Все от меня тотчас и отзынет, время смутится, связь времен распадется. Тихо станет, как в загробном танке средь отбывавшего поля боя, сделается ночь смертельней обычного и будет на оттанцевавшей душе так ровно-ровно, как будто во веки веков здесь никого не бывало. Вот это и будет самой большой и грубой ошибкой, по исправлении которой заслуженно получу высший балл бытия и с чистой совестью лягу спать, не забыв вымыть испачканные, затасканные самыми разными временами ноги и вытянуть их на пухловатых постелях заправленных с вечера в свежее сновидений, – для несгибаемо честного одолевания дальнейшей, какой ей ни взбрендится быть, жизни, да-да, именно жизни, а не чего-нибудь еще, кто бы там что испорченной моралью обо мне на сладковатом досуге с превратностью ясною не подумал и мыслью, как в оступочку, куда-то вдруг не подумался, ломая интеллектуальные ребра и два-три пальчика из духовных, а то и, не приведи Господи, креативных

(этих до невозможности жалко, восстановлению не подлежат). И ходи потом вам больными. Кому это в радость пойдет, да и вообще – докуда дойти может, в то время, когда не всякое колесо и до Казани докатится, а если до Саратова – обязательно всякое пропадет: до жути проверено. Тысячи малых, средних и ни в какие ворота величественных колес из Неверкина запустил, мастеря их из собственного подручного запустенья, ни одного из них до сих пор в Саратове более или менее не найдено. Куда пропадают? Развалялись, видать, по всей России, окончательно сбрендив ею и ее направлениями. Какие пространства их заглатывать наловчились, наладились так-то уж баловаться, на радостях спутав, видать, с другими колесами, весело галлюционируя потом тоской в рамках национальной программы полевых испытаний эмоций? Ну и просторы пошли... О времена! О вре́менные их нравы! Времечко-времечко, ты куда с ума-то сбрело? Хотелось бы найти такую обитель, где б и малый ум ни на слезинку ребеночка не страдал. Весь я бросил всего себя на эти обреченные, вне сомнения, на успех поиски.

Нечего сказать, подсунули мне вечную жизнь, за день так тут набегаешься, аж язык на плечо высунешь, багровеющий от преизбытка закатных всяческих дел! А ночью опять крутись, как волчок: сплошные авралы бессмертия, а то и, совсем наоборот, прорывы небытия: чинят и здесь худо, совершенно по-нашенски. Сразу-то и не знаешь, не сообразишь, живым или мертвым нужно в данный момент быть готовым, чтобы адекватно действовать по ситуации, не оконфузиться (один раз мертвецки никаким явился на пир во время чумы, на чествование василькового Дня величия; слава Богу, одна изящненькая такая незабудочка меня спасла и из позора через черный вход вывела; то-то потом мы с ней нацеловывались! – хоть это ошибку смерти моей немного сглаживает и оправдывает).

Опять меня крепко надули, одурачили, пока в легковерьях и светах нездешних скитался. Сижу вот в вечных днях, будучи бесконечно обижен на все это никогда не кончающееся, эх, пропадало бы оно, что ли, мало-помалу пропадом! И зачем я в эти гибельно длинные дела так вселенски ввязался? Зря все-таки я соблазнился Вселенною, опять угораздило меня обычным порядком не в то вляпаться. Лучше бы валялся спокойно на сельском кладбище, слушал бы в рассуждение о себе небесное толкование бесхитростно щебечущих ни про что пичужек. Все бы польза кому-то была и покоя бы в мире было значительно больше, умиротворений различных трудами лежаний моих все подкапливалось бы.

Вот вы скажете: брюзга какой нам попался, и то ему не так, и это не эдак, ничем не угодишь, даже тем светом, благоустроенным вполне и пригодным для жизни не хуже России. Недовольство его больше и превыше получается того света, а это никуда не годится! Вот какой нам сварливый попался! Ну попался. Быстрей отпускайте, пока не сделалось вдруг для вас поздно! А то, изуверства полный, не поздешнему заверезжу и улечу некстати вместе с вашими же руками (вы ими поменьше загребисто махайте), каковые вы и сами не знаете как – упустите предупредительно и услужливо, практически сами мне их отдадите в безвозмездное пользование. И куда я потом разукомплектованные ваши конечности дену? Запчастей на том свете не бывает, помещений под них – тоже нема (засилье хохлов у нас в ефрейторах; умеют до лычки из любых небываний, из всех положений отсутствий дослуживаться!), торговать ими или другими способами базарить здесь под страхом возвращения на землю и в жизнь запрещается. Много голубчиков на этом деле уже полетело. А я налетался, с меня хватит: по горло накосмичился, космосами всякими накосматился да налохматился. Пойду вдоль Леты нашей пешочком пройдусь; замолаживает, приятственно вечереет, обратная сторона рано изошедшей Луны как никогда ныне чарует; тянет чарующим ароматом кофе из какой-то сквозящей дыры; повсюду радостно встречающие навзрыд псевдоантики и антиподворотни. Вы и не представляете себе, какие близ Леты открываются убийственно шикарные виды! Иной раз от несколько пагубной той красоты прямо закачаешься и чуть не ляжешь. Но, думаю, только не сегодня. Сегодня будет, должно же быть наконец-то совсем по-другому. Сегодня падать мне всеми имеющимися и не имеющимися установлениями на жизнь вперед запрещается, под страхом последующего оживления, причем в размере прожиточного минимума, а это пыточка из нестерпимых, это ужас как опасно даже и где-нибудь во глубине средней, практически уже незаметной России.

Раз нет общения поблизости – по близости, – вынужден я стать самодостаточным, коим по сей день и являюсь против воли своей и помимо личного своего участия. Совсем уж на человека похожим быть перестал, одно камышовое среди осени шелестит название. И о чем оно это нам говорит, лепетом осени беззастенчиво все прикидываясь, мертвенным шелестом нас исшуршав?

Прошу в моей смерти меня не винить: ее-то прежде всего и не было.

Молотят и молотят чепуху с помощью безмозглой речи. От такого обмолота наступает в неблизкой голове повредившийся в уме длинный-длинный август, невозможно сухой и пыльный еще до всякого окончания тягостно душной мысли; в пыль мозги обращенные потом выбивай, как ножной коврик, ни фигашечки ничего не выбьешь, одной пылью во всю жизнь будь добр думай. Жди вот теперь 1-й группы инвалидности осени... Э-хе-хе. Э-хе-хе. Покряхчу уж в межсезонье души за осень, чтоб хоть ей-то потом легче было, некряхтабельнее. Освобожу ей для света пообильнее места. Буду ей вместо приличной пенсии. А также за маму-папу сойду, если очень припрет и понадобится. Разве плохо, если уже за версту разит от меня: этот похожий на субъекта прохожий нынешнему пеленочному, грудному совсем сентябрю хоть и приемный, но почти прирожденный осенний родитель! Каждый бы, наверно, без памяти рад был такому прозванию, непременно выхлопотав его в ЖЭКе себе под призвание, взяв самолично с себя ради такого случая подписку о неразглашении, а заодно и о невыезде – чтобы надежней со всех сторон было. Даже мышь никакая не проскочит в юридически верно загороженную жизнь. Комар носа не подточит уже ниоткуда.

Видел счастливый, совершенно беспамятный сон – из тех, что несравнимо красочней и ценнее жизни: причудливое претворенье нигде не случающихся больше волшебных картин. (Обратно возвращаешься из таких снов, а жизнь – ограблена, жизни – фьють! – как и не бывало.)

Что за сие было во мне?

Да это же осень пробно коснулась меня изнутри! На прочность испытывала во мне и без того жилистую, крепко слаженную мою прекрасность?

Целый день я этого не понимал, я день напролет был волшебным продолжением, медленно и славно бесцельно претворяющимся сквожением тех сновидческих впечатлений, но под вечер осень еще раз тронула меня осторожным чувством, словно проверяя, тут ли я, я ли я, словно напоминая о том, чего никоим образом не должен предавать забвенью, – и я благодарно осознал ее тихое присутствие, ее милую невнятицу встречным еще не внятным чувством.

Но внятности и не нужно было. Следовало только кротко с ней согласиться и дать какой-нибудь невеликий знак, что она признана и давно мной таима. Даже словам здесь не место. Даже им, уместным везде, существующим всюду, на днах морских и в прозорливых пустых небесах.

Я избрал своим знаком нежность, пущенную поверх просторного поля грусти. В левом углу необозримых далей разлетных я, по счастью, поймал и там оставил три, кажется, крылатых стерлядки, три саратовские снюхавшиеся тайно друг с дружкой стерлядки: пусть они меня тоже олицетворяют – в качестве потерянной частицы Саратова...

Снюхаюсь как-нибудь и я с ними – иль то не я буду! Пойду у одной моей знакомой тайны спрошу, разведаю потихоньку, как это можно осуществить – с рыбочками теми залетными снюхаться. Заодно и тайну мою, давненько не виданную, проведаю, с которой мы, ясно дело, скрытные любовники, так как иначе нельзя – она меня не поймет, не понять очень сильно может. Скоро мы с ней, вероятно, распишемся, ведь готов уже и с обеих наших сторон сделанный успешно ребеночек. С именем его мы пока временим, чтобы не вышло чего во многих случаях лишнего. Да мы и сами пока не знаем, кто же он и какого имеется облика. И знать не спешим. Торопиться нам некуда.

Как очаровательно печально, с блаженным замиранием пропаданья мысль уносится в недостижимый для жизни Саратов. И пропадает там бесследно. И пропадает бесследно, теряясь на многоследном в разноречии многоследном...

Скоро все мои мало-мальски ценные мысли переметнутся туда самотеком, образовав призрачное озерцо где-нибудь близ студгородка. Не заболотилось бы оно без меня, не пропало бы без моего догляда, без насущно необходимого в таких ситуациях призренья.

И что буду я без улетучившихся мыслей? Покинутое настежь тело? Безумный сгусток ходьбы трудопустой?

Каким же никем мне предстоит обретаться, глубинным существом своим передавшись на 188 километров юго-западнее моей судьбы?.. Кем мне остаться, пребыть хоть чуток, хоть закрайками на протяжении 188 километров растянувшейся моей невозможно пространной судьбы? В каком распы-

лении то и дело себя находить на последнем отрезке жизни между небыванье и еле тепленьким *может быть, будет?*

Зато какая извивистая она мне досталась, судьба, аж в двух часовых поясах пролегает, изменяясь на долгом протяжении своем в лице и прочем! Ни у кого такой двуликой нет, разве что у орла на гербе (да и то сей кургузый товарищ скорей двуглав, чем двулик, и скорее мертв, чем жив, в то время как со мной все с точностью до наоборот). А это говорит о том, что нет ничего более российского, чем моя вроде бы истасканная с виду, для отвода глаз как бы замордованная прилично судьба. А это, в свою очередь, многого стоит и дорогого. И 188,21 км от Неверкина до Саратова хоть и ничего для России (а для расстояний и расставаний ее – сущий совсем пустяк), но ничего это – мое, никому не отдам, отдать за меня никому не позволю! В ближайшем будущем огорожу 188,21 км (под шумок приберу 200) частным владением и напишу по заборам вместо приличного в таких случаях мата: «Бродить в моем направлении воспрещается!». То-то сразу запроситесь съездить ко мне в гости, даже из чистого любопытства духа противоречия! Ан поздно. Дорог-то ко мне федеральных уж и не будет, быльем порастут да разбитыми на частном владении ухмыляющимися про все подряд грядками. Приводят ко мне тайнозримые лишь лазейки мои, из которых многие я потерял, многие в халатности позабыл, а о некоторых и не знал никогда, о чем-то другом, как всегда, смутно догадываясь, положа себе это смутнодогадыванье за бесценную роскошь.

И опять не помню – куда, положа, положил? Где обратненько брать? Что за бред есть эта самая избежавшая меня роскошь?.. Нет, пора застолблять участок, для гармоничности развития личности посочетав бугайно физическое с пропадающим подло духовным! Может, хоть отстало развитым социализмом стану или его гордо расправленным в наскакивающий драчливо простор олицетворением, коли ничего другого из меня не получается. Буду под маской социализма, полный его былыми парами, встречать любую беду смелой, лишенной дрожи грудью. Только бы, поддавшись влиянию маски, внезапно не стать возлюбившим себя, как ближнего своего, бандитом и не перейти с охотой на банки. Даже себе не пожелаю такой слишком живой судьбы, которая прямо на глазах превращается, похоже, в пальбу, со временем плавно и естественно перетекающую в гульбу. Как и положено, если вы хотите, чтобы у вас было все как у людей.

Нет ничего таинственнее и заворожительнее одинокого дерева в поле, обтекаемого огромным, за поглощенный землей горизонт уходящим посевом.

Помню, как в детстве прелестно таинственным чувством (больше так загадочно и волшебно ничто во мне мир не проницало) хотелось разгадать эту источаемую деревом дивную, жгучую тайну, которая в себя вбирала и все тайны колышущихся зеленых пространств, непомерно для тамошней и тогдашней души куда-то зовущих, обещающих дать много щедрее, обильнее, чем приять возможно... и куда деть, избывать потом великие эти остатки? Сколько, – славно одиночествуя ото всех, сбегая украдкой по хрусткому, бег утопившему морю пшеницы в нездешнюю жизнь, – я наведывался одиноко к одиноким деревьям! Они мне много сказали, почти все, что знать нужно для жизни, но ничего по существу этой страшно тайно волнующейся во мне и ликующей тайны. (Еще такая же тайна, пожалуй, – в глухих уединенных оврагах, и в полевых дорогах, средь одиночеств солнечных, пространных завороженно вьющихся вдоль зрелых стен хлебов, и в затишках лесных безлюдных средь очарованной безлюдности, средь изумлений цепенелых зелени, и в женском столь знакомо незнакомо мелькнувшем взгляде, так остро-пристально, пытливо на миг тебя вобравшем и отпустившем навсегда: не нужен... ты вновь не найден... ты был – не ты, не тот, твоя пропажа длится, и кружится, вьет пагубу дней веретено...)

Я теперь понимаю, это было бы – разгадать деревья – все равно что разгадать Бога.

Равноположенные тайны. Равноудаленные.

Да, может, и всего-то одна. Единственная на все кажущееся множество сумбурных тайн, на всю их толпу всемирную, где главное уже толпа, скопище, а не тайна. Поскольку толпа всегда выходит на первое место, из самого потаенного положения, из самой немыслимой уединенности. Она как ничто умеет преодолевать самые глубокие и неразрешимые тайны, поглощая их могущественной своей наглядностью, – зоркая и хваткая повсеместность толпы пределов не знает.

Да: *увидеть дерево* – и умереть, так как если *увидел дерево и дерево в тебе есть* – значит, уже все позволено.

В день начального сентября как будто не из своей жизни увидел: в отдалении на горе под южным пылающим ветром весело бродят, вселенные в марево, размашистые березы, мечущимися всплесками перемешивая и круша кипящую порывами зелень, ни один из ликов ее не удерживая в постоянстве (истинное лицо березовой зелени – в этом ветреном, переменчивом, в лгущем напропалую столпотвореньи), безмолвно ликуя мгновенными разбегами и прикосновеньями, листвяными толпами отторжений, в беглых – мельком лишь, краткой тревогою оглянувшихся – провалах на взволнованной стене леса дружно, как бы единым вскриком на неведомом взлете светлея, светлея листвой: тысячи просверков гениальных, тысячи гибнущих моментально, но все же сказавших свое *бог весть что* открытий.

И сияет смеющийся сквозь простор день. От этого смеха в душе как-то по-необыкновенному протяженно, точно некие новые дали там длятся незнаемым звуком и просветленно томятся затяженным осенним прощанием.

Как-то свято вокруг. Светы – святы...

Бескрайний осколочек сентября, некатастрофично рассыпавшего прощальную хрупкую цельность, по утрате которой все стало только целей и полнее.

Жаркий, дальний еще, не смиренный блеск округи, по-новому вымолодевшей из лета, обретшей зрелую, уточненную ясность. Изумление и томление повсеместны. Да ведь и есть чему изумляться, о чем взволнованно томиться, только не о чем сегодня грустить, хоть и чуточку грустно, словно бы вдогон далей как-то расплывчато все печально. Весь свет безоглядно истрачен на сегодняшний день. Все дни расточительно сошлись в нынешний рассверкавшийся, полымя полыхающий полдень. То-то станет им в будущем меркло, об этом дни не подумали, упустили...

Огромные светы гонит волнистый отарный ветер. Неохватимые никаким глазом перекати-поле света. Все с вами ясненько! Такое не скроешь! – День потворствует убеганию леса. И лес, конечно, сбежит, воспользовавшись лазейкой беспечного дня, это дело ближайшего времени. Только и гляди, как бы лес не исчез, прихватив заодно ничейную, на произвол сонных щедрот брошенную гору. О, этот день лишь прикидывается простодырой, в действительности же он пронизан столь хитроумным и влекущим исчезанием, что можешь не заметить и собственного отсутствия, давненько уже тебя навестившего, едва ль не с утра: ты с ним чуть ли не рассветный свой чай начинал еще пить, лакомясь с ложечки своим небыванием, черносмородинным опять по вкусу (немного приелось, завтра поменять надо ягоду исчезновения; пусть небывание будет – позапрошлогодний крыжовник в высоком чине варенья).

Оказалось, не видел такого – непостижимо щедро вовне рассыпанного – счастья множество лет, не вспомнить и когда. Где были это время мои бестолковые, нагляженные на другое глаза? Где бестыже пропадали вы, напрасные зрения? Ведь все для вас было. И такие ошеломительно чудные дни – являлись, над землей беспропадно витали. Никакой тайны не хватит их утаить, сколько б в молчанку та ни играла.

Мои глаза надолго сбегали в огорчения – там березы не бродят ватажкой под ветром и солнцем, не кличут любострастно ветвями. Средь одиночества они под дождем неизбывным висло мокнут и сквозь дряблые сны испускают бесчувственный, жалующийся на все кряду мутный, самоубийством смущенный до пропадания – провалиться б сквозь землю – лист.

Растревоженный красотой, растроганный ее беспредельным действием до закрайка всякого чувства, не могу, никак сейчас не умею прийти в себя и вряд ли сегодня уже приду; переночую где-нибудь в другом месте, пусть застанет меня ночь врасплох вдали от себя. Мне совершенно не до пути никуда – обессилен, изнеможен видением, невыносимо счастливым озареньем зеленым вольно шатающихся по косогору в повседневных одежках берез, среди бела дня отчетливо пропадающих под покрадывающим исподволь солнцем и южно пылающим ветром, – на безмятежных и безвинных по внешности солнце и ветре равная вина за легкомысленное сманивание в исчезновение: их на один суд призовут за земные пропажи, ох, ответят они, ответят, не столько соборной, сколько сборной колонночкой-то пойдут среди занебесья по лишь на малую долю вечности скрашенному ими этапу, от баб жалостливых по дорогам стыдливо застясь, вынужденные украдочкой принимать от них подаяние! А вот не надо было так оставлять, пустошить землю, оголять ее самонадеянными своими пропажами! У одних баб, может быть, еще хватит сердца, чтобы спасти вас от окончательного невозвращения. Наши-то

бабы никуда никогда не исчезают и не исчезнут и не позволят никому этого сделать, за что мы их всем миром и любим, так как ничего другого у нас на худой исход не остается.

Да, все они, вся эта теплая и тесная умышленная компанийка – солнце, ветер и подбитый ими на несвойственный поступок лес – уже неприкрыто осуществляет потаенный было план оставить меня одного – жестоко неизбежавшим своего скудного места ни на один освежительный шаг, ни на единый порх вольноотпущенного мгновенья.

Дальние ветряные тельца леса разбежались, и я, вежливо впустив печаль первой, вернулся к себе в смежившую усталые веки комнату, чтобы не быть вовлеченным в побег завороженным и восхи́щенным у меня зрением, в побег, в который меня никто так и не отважился взять, угадав во мне обузу тяжкую и опасную, – с ней что-нибудь непременно случится в легко убегающем пути, вечно что-то из препятствий иль остановок. Та обуза могла бы извратить исчезновение, нарушив сквозящий стремительно в восторг и в заманчивое никуда вольноопределившийся побег далеко-далеко не моего уже сердца... Оно где так бесследно стучит, оставив по себе в груди лишь пустой, изверившийся звук своего былого, чуть узнаваемого мной биенья? Скоро ли настанет время, когда я сердце свое не узнаю?

Вот сижу, жду ухода из себя дальнего, чересчур зачуждавшегося человека. Может, хоть вечер придет и благосклонно его запропастит.

Писатель во мне исправно пописывал, читатель во мне исправно почитывал. Так и шло бойко стрекочущее дело, полное писателе-читателевой взаимности; потягивало рынком и легкими его, но приятно пахнущими оплошностями. Так и шла с огромной долей неприметности моя бравая во всех отношениях и местами бравурная жизнь записного мажора, полная риска непредсказуемых смыслов и внешнего неблагополучия, в порядке беспредела перетекающего, однако, в мою усмешку внутреннего довольства.

Я-то знал, знал, в отличие от сторонних наблюдателей, как чудесно и нежно-весенне складывается пейзаж моей глубоко уединенной жизни, даже для меня иногда похожей на живописно заброшенный необитаемый островок, равноудаленный от всех живых мест. Но далеко не так с этим островом все обстояло. Далеко не так.

Она сделает карьеру даже из веника. А уж что говорить о своем теле.

Ее тело и есть ее настоящая профессия, на которую она выучилась еще до рождения – там свои замечательно жизненные университеты.

Так разрушить в ничтожность их чудный, не утихающий в воспоминаниях дом...

Он чувствовал: он все же виноват не в полную вину, не во всю изматывающую ее развертку.

Он только прервал то, что и должно быть прервано: нечуткость, легко прикидывающуюся современным умом глупость, себя не увидевшую, на слове себя так и не поймавшую пошлость. И мерзкую эту рекламность в каждом ее искаженном самопоказом жесте и слове.

Рекламность была даже в том, как она спала. И бедный ее сон незащищенный обратился в назойливый рекламный ролик, томительно однообразно прокручивающийся сквозь ошалевшую от товарности ночь. Точно она и сновидения сбыть хотела. Во все равно какие головы, руки – вместилища значения уже не имели. Лишь бы сбыть. Сны идут нынче не дешево. А деньги везде валяются под ногами, не ленитесь только нагнуться, бедны одни ненагнувшиеся дураки.

Не нужно было быть такой самодовольной в бездарных «успехах», в безмозглой «успешности». Не нужно бы становиться столь откровенно, столь вызывающе пустой женщиной. От такой женщины ей еще можно бы уберечься. Ведь оберегалась же раньше. Избегала. Сторонилась. Убаивалась. Но не теперь: выманили ее времена, дали ей свою скудную, нищеватую сущность. Теперь с наслаждением вобрала в себя сущую вокруг пустоту, сколько можно, всю возможную. С жадностью. С алчным, торопящимся реализовать хват. рефлекс рвением. Дорвалась. Прежде столько пустоты хапнуть не позволяли: еще со всех сторон могли посмотреть с упреком, интеллигентной усмешкой вытрезвить. Или напустить на тебя совесть – этакую маленькую, меленько покусывающую собачонку, для тех поясним, кто про этих собак мало знает и ими до бешенств великих не кусаны.

Будь иначе, тогда бы ничего и не было у них разрушено, ничто не сничтожено. Даже с пустотой этой грешной и беспросветной можно стерпеться, но не с восхвалением, не с возвышением пустоты,

которая, коли дадена ей повадка, незаметно порасхватала заглавные роли и стала указывать жизни, как ей быть и мерещиться дальше сном золотым.

Веселый нулевой смех оказался непереносим – он был вовсе не так безобиден, каким желал представляться. С упрямым чувством непереносимости ничего невозможно было поделать. Так и не нашлось способа укрощения этого отвращения – к этому мучительно нулевому смеху. От него разило, мерзило. От него хотелось лечь лицом вниз и не вставать, проклиная вечность этого подло длящегося небывания. Она высмеивалась – он выташнивался.

Но как ей быть другой, если кроме той живчиковой пустоты в ней ничего не стало? Прежнее аннигилировалось, давние незыблемые, казалось, убеждения подверглись ласковой диффузии, безоговорочно капитулировали – и стали излюбленными противоположностями своими. Да и незачем ей быть теперь никакой другой, ей ярко нравилась она сама нынешняя, выблестевшая, сверкающая – и небывало в себе уверенная, словно именно только истинное *ничего* и могло внушить необходимую свободу и полноту достоинства. Пустоте мало было одной лишь пустоты, она захватила и ее, приспособив ее под разнообразно пустотные свои желания. О, как этою женщиною пустохотелось!

Женщина была обращена в незаметное для нее рабство, обольстительно состоящее из ничего, из броского и вездесущего лишь отсутствия, насладительно повсюду ее разносящего, представительствующего, невесть куда и во что прекрасно развеивающего.

Со временем пустоты только прибавилось, разрослось – не ростом, а, напротив, неведомым уничтожением роста, – и женщина, падкая до призрачных прибавлений, под влиянием новых въедливо-цепких пустот изродилась в наотрез не похожего на себя человека, которого прежняя в ней девочка, ясная и большая, никогда бы признать не сумела, не отважилась бы.

Лишь прежняя малая капля она, растворенная в необозримом море так легко, с превеселой и хваткой свободой впитываемой ею ничейности. Эта женщина давно стала очужавшим морем, в котором не тянет уже искупаться: зябко, да и вода мутновата, пустынно все чем-то отталкивает. И на берег не хочется возвращаться, если все же случайно очутился в этой серой, свинцовеющей массе посредственных волн. Даже на берег отбита охотка. Ведь ты уже утонул, хотя, может быть, об этом и не догадываешься.

Непереплываемо то море. Даже порядочную смерть, мало-мальски утешившую бы, в нем не увидишь, не обретешь.

Что вы лезете ко мне беспрерывным вторжением?! Как вы мусорить меня наловчились! А ведь я вам не контейнер и не окружающая среда, безобидные на изгаживание.

У меня есть право не засорять личную природу неприятными мне людьми! Я не успеваю отшвыривать ваш мусор, чтобы глаза побыли на чистоте. Прошу выдать мне какой-нибудь человеческий бульдозер повышенной проходимости и очистимости. Я успешно его применю для проложенья дорог средь вас, отсутствующее вы население! Зачем ты, население, бессовестно не подаешь никаких признаков порядочной жизни? Смотри, я ведь осерчаю и тоже могу для тебя исчезнуть, кого с веселою ярью отлавливать будешь меж телом и делом? Потеря резвого развлечения, в виде моих поимок, путем моего отлова, уже начинает грозить тебе. Призадумайся наконец-то: будешь ведь от недозрелищ терпеть прямые убытки, недополучишь живых прибылей изо всех имеющихся в наличии дыр. Массово гибнуть начнут и так-то еле теплые рабочие места, что ударит по экологии. Плач обо мне пойдет по всей Руси великой. Гляди уж – и наводнения следом пошли, потопы потопали. Опять начнутся вдовы, старики и дети.

Нет, лучше ничего и не начинать, а то слишком шикарные получаются бедствия. Вы просто с глаз моих немножко уйдите, сбрызните оттуда хотя бы на пару минут какой-нибудь хиленькой, непродвинутой вечности, все само собой и образуется. Иначе мне одному не расплатиться с непозволительной роскошью бедствий, а брать вас взаймы сил моих никаких больше нету.

Идеал его мизерной души – быть все более укрупняющимся, все более массивным и утучненным начальником каких-нибудь самых высоких гроз. Пока у окружающих не зарябит в глазах, не побежит панически в них куда-то обратненько от его убивающей всякое зрение необозримой величины. Пока не станет всем могущественно тошно оттого, что он есть всюду, в любой дрожащей душе, одним наличием его обращенной в склизкое пресмыкающееся. Тогда бы он уж до отвала поржал крепким,

непрошибаемым смехом удовольствованного крокодила. А то все приходится тонюсенько всхихикивать угодливой курочкой, мелким и ведущим в сторону голосом кукарекать, лихо давать дрозда. Надоело быть проходной пичужкой. Голос позывал к рычащим масштабам, мечтал о небесных громах. Глаза умирали в тоске по молниям. Душа лихорадочно слала уже приветы того света, сигнализируя неполадку происходящего. Но он продолжал ей молчать, прекратив иметь всякое сердце, за здешней излишнестью, насущной ненадобностью. Так и сделался, подлец, каким-то отменнейшим генералом, мастер-ефрейтором подлинного небытия. Что значит иметь перед собой хорошо поставленную для употребления цель, да в нужной позе!

Он вот как саргументировал, все встречные аргументы срезая и в прах повергая:

– Я-то талант, а у него даже фамилия неприличная, фамилией и не пахнет, а кислой капустой приванивает.

На что и ему было отаргументировано, встречно срезано и повержено в его собственный кстати случившийся тут же прах: пепельная упаковочка зашибись получилась, как новенькая, он стал словно бы только что из магазина приобретенный.

Так с тех пор и не имеем мы на земле того ходившего с просверком среди нас таланта, он погиб от печально известной всем непонятости. Был застрелен собственным просверком при невыясненных и двусмысленных, темных, в общем, весьма обстоятельствах. Есть также версия: неосторожное обращение с двояким оружием. Отпечатка пальцев с тех пор не обнаруживает. Но это ни о чем еще не говорит. Может и внезапно изъявить ручные печати, и что-нибудь вдруг из воздуха брякнуть, оконтуриться из ниоткуда, с него ведь станется в любую секунду. Это просто беда: не знаешь, откуда его теперь ждать. Раньше-то ждали из одного, конкретного места, где прохаживалось тело, ныне приходится трепетать его отовсюду. Того и гляди – свалится с потолка, вылезет, сладострастно отряхивая алкогольные лапки, из открытой бутылки, в кошельке опять не окажется. Вчера целый день находили нечто похожее на него в унитазе, с учащенной и загадочной периодичностью в десять минут. К чему бы это? – с неподдельным, живым интересом рассматривали, изучали. Ах, зачем мы его неосмотрительно так в прах повергали, теперь вот с ним всюду возись...

Нет, весь он не ушел, намного больше его, даже всемирно, пожалуй, стало. Вот что обидно мне, лицу общественной национальности: и смерть его, как всех, не берет, а только все в нем заметно усугубляет, подрасширяет. Даже того, чего никогда не было в нем, значительно от данного мертвеца надбавляет. Это заставляет крепко и ни о чем задуматься, теряясь в пустых догадках.

Отвратительнее самодовольства человека может быть только сам этот человек, с глубокой страстью, самозабвенно выращивающий неисчислимые посевы выкапываемого еще до посадки величия. Очень уж кушать хочется.

А в самодовольстве все дело, единственно в нем, родимом. Если бы не было в вас этого хлесткого, до презрения броского самодовольства, я бы вам, может, кое-как и поверил, сквозь силу поверить осилил. Но вы так блистаете своим ослепительно красующимся самодовольством, что к вам и не подступиться, не рассмотреть, чтО вы там натурально из себя не значите. Перестаньте же хоть на минутку сверкать, дайте увидеть вас в беззащитности вашей нищей и темненькой наготы. Она о вас все расскажет, в премногих и чистых подробностях. Ну, всем своим существом помолчите, сделайте краткую ночь своей личности, паузу новолуния, дремлющий средь звездного отражения уединенный пруд, в конце-то концов. Ах, этого вы не умеете... Тогда чего же вообще вы умеете-то? Удивляюсь на вас! Просто на редкость вы ни на что не годны! И значит, как всякая редкость, сногсшибательно, получается, талантливы. Такое извращенное положение дел против воли моей начинает насильственно радовать, принуждая смеяться от души подальше и как-нибудь совершенно не так, не присущими мне хохотами и змееватым виляньем ставших чуждыми сплошь эмоций. Что натурализуется из этой радости, не знаю, боюсь даже предположить. Главное, остаться в живых, надорвав свой живот, так как это все, что из личного у меня на нынешние времена осталось.

Моя тоска имеет какое-то иное происхождение, не мое.

Моя тоска – это вроде бы не я сам, а только мне больно достается с чего-то.

Она непомерно больше меня, могущественнее, и кажется, что я в ней участвую малой своей и невлиятельной частью.

А радость всегда меньше меня, значительно. Надо ужиматься до тесных, удушливо жмущих размеров, чтобы мельком в нее втесниться и крохотным мигом ее почувствовать. Не успеешь опомниться – а ты уже и не рад, совсем-совсем себе чужд, обрыдл, сомкнулась радость над тобой в гиблую точку хлябей болотных, в небо с овчинку, в звездочку мерклую там... Она сейчас мне подмигнет, свойски так, заговорщицки, – сразу видно сообщницу милую: и сквозь световые года подбивает на тайную радость, несмотря на то, что ее, может быть, триллиончиков пять моих жизней как уж и не бывало, погасла. Что ж, среди солнышка ровного, так заметно на один денек подревневшего, на речку осеннюю будем смотреть, моя отсутствующая? Это ли не радость? Это ли не свет? Привет горячий передавай Вселенной, откуда ты то ли продолжаешь являться, то ли не менее явленно отсутствуешь, не забывая хоть так, хоть этак быть неизменно прекрасной, для успешно процветающего увяданья глаз моих и очарованья очей идеально незаменимою.

Я человек страшно исчезающий. Лучше не иметь со мной никакого свЯзного дела. Могу пропасть прямо на ваших глазах, причем, что чрезвычайно показательно, заодно пропадает и то, что я ненароком держал в бывалых руках. А вдруг это вы дали мне немножечко подержать, для возбужденья во мне анемичного чувства собственности?

Интересно, будет подобный акт пропадания засчитываться за воровство или категорически не будет, в воровстве отрицаясь? И подпадает ли под отсидку субъект подобного отчуждения собственности? Явно не в ладах мои исчезновения с уголовным кодексом РФ, явно. А втайне наверняка идут ему точно вразрез, упрямцы они известные: вечно встревают напоперек. Ох, посидят мои исчезновения за решеточкой, на ночь глядя, вволюшку посидят! Ну посижу с ними и я. Не бросать же их наедине с тревожно перетекающим, переселяющимся постепенно в душу на пмж закатом, вполне способным закатить тут нам исчезновение исчезновений, истерику пропаданий. С ним я все-таки умею ладить. Если что – успокою, приведу его обратно в закатное чувство: живи – не тужи, брателло (заискивая, ужасом нежась в коленках, сердцем отважно на первых порах пробегая в пятки), тлей багряно себе на здоровье, а нас не трогай – у нас солнце в авторитете, мы из его бригады (солнцевские? мы конкретно попали! не минула и нас чаша сия: в братву вляпались, хоть прекращай теперь связи с солнцем)! Нервный потому что очень это субъект, тот самый закатец. Здесь в отсидке у нас шебуршистый такой – чуть ли не каждый первый. Такая густота и даже некоторое дурное обилие высшей нервной деятельности иногда настораживают, многие миги сердца, едва замелькавшие, тут же и подмораживают. Но, с другой стороны, где еще встретишь столь броское разнообразие пылающих и через край бьющих шипуче нравов? Вместо шампанского льющихся рекой нравов тяпнешь иной раз изрядну цистерну да и утрешься, всем абсолютно довольный, духом от пуза целиком уже сытый. Это ли не богатство? Это ли не с неба почти упавшая роскошь?

Так что не бойтесь, дорогие мои исчезновения, трепетливые вы мои исчезаюшки, я буду с вами, безотлучный из безотлучных! За свои исчезновения постоять тоже ведь ой как уметь надо. Я сумею. Или то не я буду. Сижу вот, на импортном тренажере избываний блаженных накачиваю мышцы самых резких и мощных своих пропаданий. Как перелобаню попавшегося под некое горячее нечто какого-нибудь заугрюмевшего на меня быкована! Запоет благим матом как миленький, никуда не денется! Только и успеешь спросить: дашь слова песни нашей народной переписать или еще всыпать, чтобы народнее дальше пелось? Но не даст, зажилит слова-то. Мы допрос не покинем, интимно его продолжим: «Будешь ты еще у меня, гад, воровские понятия исповедовать?» – «Бо... не бу...» – только и сделает, что романтично ответит (ничего ему, кроме тонких донельзя чувств, больше не остается), закатывая под бугры лба затянутые девственной поволокой глазищи, ставшие хоть раз в жизни, да и то напоследок, очами от благотворно действующих соприкосновений с моими волшебно врачующими исчезновеньями. На разные стороны отброшенные копыта укажут единодушно на его робкую поначалу несовместимость с жизнью и застенчивой ставшую, костенеющую на глазах безответность. Так и воспитаешь сдохшую было в нем нравственность, еле-еле куда-то тащившуюся с зенками наперевес. Сам помирай, а друзей выручай сделал он. Вместо умри первым ты, а потом я, как делал неморализованным уркой раньше. Не каждого заставишь быть таким самоотверженным накануне знаменательного выброса за-

единщиковых копыт на разные стороны. Мои исчезновения и это легко, играючи просто умеют – сделать человечика ни с того ни с сего отверженным от себя. Им ничего не стоит – поменять знак морали с плюса на минус или обратно. Но мы проводим всякое действие исключительно в положительную сторону, так как мои небывания работают на безупречно нравственных полупроводниках. Поэтому ни вреднинки плохого у нас никогда не бывает, быть не может по всем законам однонаправленного прохождения ионизированной массы морали. Только попробовало бы плохое или, с точки зрения идеала, малость кисленькое бывать! Тут мои исчезновения вмиг всей оравой приступят – и давай дурным бываниям этим бока охаживать, возникшую всякую эту хреновину поглощать, треск один стоит у меня за ушами (почему я за исчезновенья свои едовито трещать должен? – непорядок! надо будет куда следует доложить; скрипично желаю отдельно звучать от звуком нелепых и грубых исчезновений). Как будто сроду никогда не ели. Даже неудобно бывает за них, невоспитанные какие, только дай им до употребленья дорваться! Сразу видно: в деревне выросли. При еде, когда чуть забудутся, а вернее, лишь немного от первых жевков опомнятся, с ощутимо помелькивающим сладострастием чавкают и неприлично закатывают в истому глаза; наевшись, утробно рыгают открытым способом публично-икотного волеизъявления, уставясь бессмысленно перед собой; потом ковыряют нарочно выдержанным в чистоте пальцем в зубах. При езде в незнаемое норовят на изобретенном в роскошную новость велосипеде или охлюпкой на голой лошади по самым забористым, вышибающим последнюю душу кочкам, плодотворно шарахаясь от лучшего в любом смысле асфальта, дремлющего в благодушном, веющем легкой отравой мейнстриме. Спать от меня убывают на сгинувшие давно во временах, отбушевавшие в травах земных и страстях небесных сеновалы (но какие вы дремучие, мои исчезновения! вы случайно меня не старше?), утром спят беспробудным сном, не доищешься, не дозовешься. До основ бытия своего, даже хронически метафизически устал подавать на них в международный поиск, про суд уж и не заикаюсь, с меня же еще в пользу их и причтется, если дело раскрутится по-настоящему и не тех наймешь адвокатов: для положительного исхода подобных дел и они должны быть попризрачнее, во всяком случае, бескарманнее.

Ей-богу, лучше бы ничего, связанного с ними (то есть исчезновениями, не путать их с адвокатами), ни на былинку никогда не бывало. Одна сущая с ними морока и суета, ни в чем не уступающая обычной житейской возне... да, может быть, она сама и есть, проныра всесущая, никто ж идентификаций по трупу обыденной жизни не проводил, все некогда никому. Увы, нет в жизни места мечтательному и кропотливому подвигу восчувствовать трупы. Здесь – не верьте глазам своим – стоит не точка, убого прячущаяся под скромную трудягу повествовательных деяний, которая еле дотащила предложение до полусдохшего уже конца, сама ни жива ни мертва. Здесь стоит восклицательный знак с обратным, то есть развокликающим знаком –!, непосредственно сразу после «восчувствовать трупы», не задерживаясь ни на отступ. (А после вторичного «восчувствовать трупы», вернее, вслед за «не задерживаясь ни на отступ» решительно не должно быть и нет никакой точки, она примерещилась, тут она и стоять не стояла, лишь равномерное ее на всем протяжении отсутствие, примером может служить образцово законченное данное предложение... Не послужило. Эта точечная гадость опять сама собою произвелась и вляпалась, причем в троекратном размере прожиточного, видать, минимума, изощряясь над нами в практически извращенной форме. Точка самым паскудно неистощимым образом вновь и вновь появляется, мы никак не можем от нее избавиться, как-нибудь похерить ее или от описываемой уклониться, прошмыгнуть, скажем, с зажмуренными глазами мимо нее мнимой сторонкой, и не было, дескать, никакой точки в природе вещей, вы намыслили нечто пустое... Неужто она – роковая и даже мистическая неотвратимость? А что если точечка эта самая – метафизическая непреложность? Вот где будет ужас так ужас, какого разве что от собрания сочинений иного писателя дождешься или реальная есть надежда дождаться!) Минус, стало быть, восклицание, вне всякой угробляющей все начинания точки, владычицы серости, прозябанья и ничегонебыванья (здесь смертельной в нашем случае точки ни в коем разе и близко нигде не стоит, жизнь свою положу ей взамен, чтобы только ее тут никогда не бывало!) Отсюда начинается минус пространство, покрытое плотной завесою тишины с другим знаком. Вслед за опрометчиво рванувшим туда сюжетом и мы в качестве бесплатного приложенья к нему в те палестины протащимся, заглянем на огонек к небытию, коль уж угораздило сюда нас явиться; манкировать визитами, когда тебя ждут, крайне невежливо. Осторожнее там со спичками, при зажигании они непременно гаснут, а при угасании перекидываются на все огромными неудержимыми

вспышками, точно в огромных монструозных живчиков превращаясь. Впрочем, экскурсию по тем местам былой славы проведу в другой раз, делая особый уклон на технику тамошней безопасности, так как с культурой тут зря только болтаться, с культурой и там особенно-то некуда уклоняться, с ней здесь еще боле негусто: она дремлет, непонятная на нее напала и просто безудержная какая-то сонливость. Или в этой забытийственной дремоте больше все-таки натурального для тех мест окультуренного небытия, чем обыкновенного небыванья культуры? Но потом, потом разберемся, мне сейчас недосуг: что-то немножечко я подмираю, видать, в здешних местах просквозило порядочно; сифонит тут – будь здоров!

Неужели я получаюсь всем на свете и засветно недовольным (даже собственные бедные, дрожащие от одного его присутствия, ни в чем не повинные исчезновения или точки обыкновенные повествовательные, видите ли, ему не угодили, чуть ли не в конце каждого слова априори нагадили, в чем-то существенно важном опять не потрафили)? Заявляю со всей категорически императивной ответственностью, а равно и безответственностью, но помягче, без имперских замашек (барыней нежной она во мне жить привыкла на сдобных от психологичности пышках): это неправда, я страшно доволен, а если и недоволен, то, значит, это на меня наговаривают слухи добрые и их людей. С той неправдой всю сознательную, а также вне-, под-, за-, перед-, тартарары-, над- и звездно-сознательную жизнь полосатую борюсь несдвижимо, сделав искоренение сей неправды в зародыше беспрерывным содержанием жизни, ни в чем остальном в плохом не замеченной, пустышка как пустышка, не хуже, чем у других, гордиться есть чем. Я сплошняком, в любой кромешной нанофигне всем доволен (там сбираю нектары незримого счастья), даже и отъявленным своим, исподтишка снедающим меня на нет недовольством, в котором также стараюсь по мере мелких моих сил нектарствовать, за жизнь привыкнув быть пчелкой и одновременно доглядающим за ней пчеловодом, любящим вместе с медом мир насекомых. О чем, исчезая, и заявляю. Честь имею сказать во все отсутствующее на данную эпоху всеуслышание. Простите за сбивчивость, я нановолнуюсь.

Боже, чем я занимаюсь, чем занимаюсь?! Чем я бедственно бедным только ни занимаюсь, стертый наполнением этим в ласково льнущее ко мне ничто...

Даже сказать неловко, чем я обыкновенно занят.

Живу на самом кончике языка, тем и пробавляюсь, вынужденный быть этим премного доволен.

Вот-вот буду сплюнут.

Да и надоело мне быть включенным в цепочку заунывного пищеварения, будучи первичным звеном расщепления трудноусвояемых блюд. Скорее б извергнуться, что ли, стать беспрепятственной кучкой воли.

Хотел быть включенным в цепочку дивно сообщающихся слов, а меня в пищеварение, в пищеварение, как обычно, законопатили, притыкая мной ненасытную эту дыру, как будто прорву эдакую заткнуть больше нечем, а я – самое то попался, суперзатычка, даже каждую бочку ради такого дела мною затыкать перестали. Бросили меня фактически на прорыв сельского хозяйства, точно непутевого руководителя развитого социализма, которого уж ни одна должность добром не принимает, в рога встречает и ощетиненной матушкой, вот его и припрут, бывало, утучнять посевы, животно повышать приплоды без малого собственными размножительными силами... Придется и там, в службе пищеварения, идти на повышение, чтобы чего-то случайно и без себя, практически невзначай значить. Вынужден опять проявить себя в полной мере, во всем блеске присущих мне качеств (и даже, для полноты исследовательской картины, во всем блеске должностных преступлений, какие печальные последствия ни повлекутся шумной толпою за мной... на все готов ради чистого искусства социального эксперимента!), а то как-то неудобно быть никем, немножко стеснительно, следует иметь кой-когда и совесть. Надо иногда для приличия выбредать с перепугу иль с бодуна в люди, не дикари же мы в конце-то концов, среди высокотехнологичного, наукоемкого общества по возможности живо живем.

Ну-с, чтобы далеко не ходить, приступим к желудочно-кишечной карьере как самому близкому нам виду деятельности. Итак, рассаживайтесь, говны, – планерка. Я назначен к вам (прошу не дристать раньше времени) уполномоченным по делам внутренних тел. За текущий период, да будет вам широко известно, многое изменилось, в основном направилось в другую сторону, как уж оно водится при змеевато извивающемся капитализме, готовом свой хвост откусить и тем бодрее начать расти заново, с

ужаленной силой. Кризис опять же средь нас не столько истязательно, сколько искательно грянул. Как вы думаете, кого он ищет? За неправильно или подло нанесенный ответ и за любую оплошность неверности безжалостно отсаживаем на повторный срок в небытие, ну, или 100 рублей компенсаторного штрафу – невелика потеря, понебудете почти даром. Как мыслите кризис преодолевать, жить ли с ним, умирать ли, вялотекуще существовать меж тем и этим, будучи ни то ни се? Прошу выкладывать свои идеи, непременно из свежих, чтобы все после них кругом заблагоухало и было пронзительно духовито, в движении вперед не топталось на месте, порождая амбре форс-мажорное и лукаво застойные запашки. Не креативных – не потерплю, без выходного пособия попру в шею, выношу из избы первый сор моего последнего китайского предупреждения. И на дух нам не нужны: 1) придуривающиеся под наш святой креатив; 2) креативно слабые на передок; 3) на бренды беспомощные и неповоротливые; 4) не владеющие в достаточно живой мере компьютером и виртуальной реальностью, а также резонансными делами мира сего; 5) примкнувшие по тем или иным запашистым соображениям; 6) другое. Итак, говны, продолжим... То бишь на чем мы, мяконько так, но склизко топчась, остановились?

Немая тут сцена ахнула на всем протяжении внутреннего тела. А это не дело! Да, заявляю для здесь же бросившейся ко мне со всех ног прессы: никакое не дело! Дармоеды... Устраивают, понимаешь, мне бойкоты убийственно ярким молчаньем! Вы уволены, говны, до истечения срока полномочий! Всей бредовой, диких мыслей командой! Зря вы только похожи на извилистый мозг головоногого человека и на гордую его осанку... На все четыре стороны убирайтесь с разбежавшихся по вам в напрасном счастье глаз моих, век бы вас и подольше еще не видывать! Увольняю всех поголовно, упраздняю направо и налево, пусть я и буду после этого срач бессердечный! Чтоб и духу вашего больше не было! Я один буду пахнуть на благо Отечества. До чего-нибудь наверняка допахну. Возможно, стану первым запахом России, по этой позиции смещу, бодаясь, вертикаль ничем не пахнущей, кроме зелени, власти. То-то будет переустройства России! Заволнуются в любованиях ближние и довольно дальние страны. Запашок обо мне пойдет по всему миру. А это признание, широко раскинувшиеся по континентам мои гонорары, известность в каждом твоем можно уже и бессмысленном, безнюхательном абсолютно, не чутком на аромат и всякого запаха лишенном шаге. Будут говорить уважительно, пряча пылкую зависть: этот поднялся так высоко с кишок и с пустого отверстия зада, каков молодец-то, из ничего всем стал, из князи да прямо в золотые какие грязи! Продвинутая крутизна! Превосходный, бесподобный просто мерзавец! На плакаты его скорей для детского подражания и продажи младенческого питания: сразу видно – этот гад хорошо, углубленным изучением в детстве ел, на пустяки не отвлекался, всю страну в этом деле позади себя далеко оставил, навсегда мы от него отстали, и съестная Америка его не догонит, на любом языке он любое блюдо наизусть знает и навскидку в три счета проглотит!

Перед вами выступал с обращением к народу первый срач России. Это глас был его. Оставайтесь с нами.

Блинство меня подери, вот и опять, в который раз, где-нигде, а вынужден был я сделать придурошную эту карьеру! И когда это безобразие кончится? – по-хорошему бы кого-нибудь спросить да с пристрастием. Но разве ж по-хорошему спросить получится, обязательно ведь нарвешься. И обязательно до отвала наврешься. Скорее бы, что ли, на тот свет прошествовать, – там точно не заставят изображать из себя прыжки и гримасы карьеры. Да и желудочно-кишечных трактов, по слухам, там особенно-то не бывает, со всеми недалеко идущими от них последствиями. Наверняка уж и тракты там световые, а жопы алмазные, на манер душ бессмертных парящие на унитазах из чистого воздушного серебра в синеве нежно-девственной, не соками похоти, но вечностью истекающей, ни единым, кроме девственности, половым признаком более не изгаженной, ведущим обычно сразу в сторону и в кусты.

На то он и тот свет, чтобы все там было.

И действительно, там все очень часто бывает и далеко не промельком. Кое-кем на себе проверено в актуальном действии, да и я частенько прохожу безропотным и безответным, ни в чем не повинным свидетелем – основное мое жизненное занятие, а также лелеемое мною хобби и железобетонное в принципах, нерушимое, как былая дружба народов, кредо: быть всегда и во всем безотлучным и пылким свидетелем! Только и стою на кишащих преступлением улицах бОльшую часть своего неподменного и неподкупного существования, с трепетом жду, когда меня привлекут в какие-нибудь страстно нужные, требующиеся нарасхват на всех видовых работах свидетели, согласен для сдельной оплаты и на соглядатая. Так и подскажешь вовремя, кто попер пирожок с лотка зазевавшегося, кто неверно по-

пер дорогу переходить, всю дороженьку заражая неверностью, в неположенном месте оскорбляя как раз случившееся под это дело неположенное место, кто показал для урона бдительности язык (стреляя меж тем под боевое оружие выточенными глазами) убийственно в затылок милиционеру, сделавшему дамски дурацкий вид, будто он упал от прямого попадания солнечного удара, тогда в соломенной шляпе, дружок, ходить надо, как на бахче ударной, а не в фуражечке легкомысленной фигачить, тут не пляж вам, чтобы как попало расхаживать, на девочек краткоюбочных и голомелькающих раззявничать. Да мало ли правонарушительных дел на склонных к тому, генетически у нас предрасположенных к шалостям и широким проступкам улицах... Не успеваем таскать, захватывать и предотвращать, а помощников, ясное дело, не жди и нету. Скорей бы, что ли, вместо милиции в России полиция наступила, терпежу моего нет – так полиции хочется, которая на всем протяжении правопорядка грянула бы в одночасье с утра, да пусть бы и на ночь глядя, нас не запугаешь, всех не пересажаешь. Всё хоть свет будет в конце тоннеля. Но это так, к слову, это не для прессы, которая слету начала бы с развязностью важной прессовать от моего имени, а мне имя мое жалко (после надорванного в нескольких местах и драного вообще живота лишь оно в личном имении слегка осталось): вдруг по неловкости попадет между дурашливым прессом этим, во всю дурь истошно махающим, и уже заранее рыдающей по моему названью былому наковаленкой. Ну-ну, не плачь, родная, зря рыдаешь так безутешно, без меня меня хоронишь... Жди, набираясь терпенья и других крепежей, я скоро во всей красе буду, начну поступать из неприкосновенных запасов и прочих задушевных складов. Только размыслю, где б ее взять (что ли взаймы перехватить или лишить невинности девственные в сношеньях со мной кредиты?), эту красу паршивую, для ответственного столь, поворотного в жизни моей свидания. Позаимствую на крайний случай у осторожной грации изящно шествующего в запредельности листопада. А если он не даст, жадобка лепечущая, возьму чего-то прекрасненького у никлой и жухлой, всегда безотказной травы иль из отражений последних уже мертво спящего в зиму пруда; милые образы покойной воды никогда не подведут, никого еще не подводили. Чем-нибудь парадно-выходным разжиться у них не трудно.

Вот что бывает и до каких нравоучительных нелепостей можешь докатиться свободно, на какие очевидные несообразности и ничем человечным не умягченные грубости лихо нарвешься, ища приключений на собственный зад, когда отрываешься от народа и ключевых, а тем более знаковых его соков, а также от широкодействующих слоев населения. Будьте, пожалуйста, осторожны – не оставайтесь ни на секундочку без трудящихся масс, это ведь и для пищеваренья полезно и скорей всего витаминно! В противном случае произойдет то, что произошло со мной и до сих пор с веселящим до жути ужасом происходит и происходит, нездорово как-то пощекочивая, на собственных же моих глазах нагло меня извращая, последнюю ментальность мою опаскуживая, так что весь я – сплошь лишь одна антропологическая, а попутно и (дурь бесполезно скрывать) ментальная катастрофа...

Ну вот, опять понеслось, просим понелюбоваться: говна всех стран, соединяйтесь! да здравствует великая анальная революция, самая практологичная в мире! А вот что за этим сразу же вслед разношерстные ляпать пошли газеты: «Сокровищницы канализации и простые наши уличные сортиры неизведанно таят в себе самый человечный в мире продукт, превосходящий по душевным качествам золото, по утонченной чуткости не уступающий известной восприимчивости бриллиантов к свету...» А один уже до всякой невозможности преприличный либеральный орган, как-то кособоко всегда выпученный на жизнь, еще и усиливает разношерстно наляпанное, подогревает мрущие быстро факты, заставляя их кипятиться: «Начаты широко раскинувшиеся эксперименты по превращению экскрементов в нового, доселе неизведанного человека, чтобы вернуть ему заложенные в непереваренных остатках неистощимые запасы душевности. Американские научные практики добились создания первого в мире улыбчивого, в любом движении очень отзывчивого дерьма с душой нараспашку, успехи которого занесены в книгу рекордов Гиннеса. Оно с первого взгляда порывается заключить вас в тесные и пылкие свои объятия, снабжая общением более полноценным, чем то, которое можно извлечь из распространенных общений. Исследования ученых продолжают прогрессировать. К этим поискам сверхактивно подключен только по мелким повадкам безумный коллайдер – это с ним скоро пройдет, он успокоится и всех нас успокоит. С чем вас, дорогие народы, и поздравляем досрочно, так как быть бывшими уже не модно, а в недалеком будущем бывшими быть будет абсолютно не модно: это вопиюще пойдет вразрез со всяким законом моды, который есть физический закон любой уважающей себя Вселенной, поставившей себе за железное правило прихорашиваться по полной программе

с утра». Намек понял. Подхватываю скрытую между строк инициативу печатной сей либерашки и, широко, с творческой жилкой пользуясь своей ментальной катастрофой, а где-то и подмогой катастрофы антропологической, с энтузиазмом, с небывалым народным подъемом развиваю инициативку в личных своих массах, цветущих довольно красивым весенним раздражением, пышущих и другим букетом эмоций, но уже перезревшим, наверно, осенним и гниловатым: «Иначе какая же она после этого бизнес-вумен будет да и какая тогда вообще Вселенная будет, проблематично и даже ужасно представить, оторопь аннигиляции сразу берет. Никакой Вселенной, скорее всего, нигде не пронаблюдаем, если бизнес-вумен в нужном месте и в нужное время для всех спасительно вдруг не подмажется, на краю прахов и крахов нанося окончательный штрих кремнистой рукой скоропостижно меж тем угасающему, прямо на глазах скончавшемуся утреннему туалету, плавно перетекающему в завтрак из тощих блюд и соков на скромной основе». Прервем энтузиастический бред на самом интересном месте (чтоб осуществить массовый прихват врасплох заполученного читателя), в должной мере показав, чтО говенного происходит с идеей, если ею овладели хоть и личные, но все же массы, в натурально глубинном своем проявлении. Читаем из просветительских соображений газетенку дальше, исключительно ради ее собственного, беспримесно чистого бреда, начисто прекратив для чистоты эксперимента бредить нашим собственным бредом (безудержно перешедшим тем временем в бурные и продолжительные аплодисменты двадцать четвертого съезда КПСС, переходящие в овации... эх, нашел мой мозговой ураган во что обращаться, лучше места и применения, что ли, себе не обрел? мог бы ведь и во что-нибудь недавнее обернуться, исторически придурью совсем свеженькое), дабы печатный орган выглядел без погрешностей и привносных искажений, в безупречной наготе бредоты...

Но дальше нам лучше бы ничего вообще и не читать никогда... Дальше не то что читать – бегать глазом затравленным средь запуганных строк – и какать-то уже, видать, некуда. Видать по всему: докакались замечательно. Настало горячее времечко безжалостно, физически беспощадно закрывать туалеты, всякие даже самые малые намеки на них в виде, например, жизнерадостно расплодившихся будок охранных и милицейских или других торчащих на краю подозрений скворечен. Следует объявить глобальную страду всемирного пожинания туалетов. Будет вскоре для всего поздно, если тотально не проводить антисортирные, противоопрастывательные, в категорической форме пресекающие всякую туалетность или самую зачаточную нужнецкость акции! До ветру будьте добры пройти теперь в виртуальный мир путем нажатия клавиш компьютера, там тоже бывают своеобразные, некие такие кусточки, под одноразовость годящиеся и вполне сговорчивые. Только не перепутайте, пожалуйста, «М» и «Ж», иначе не в свой пол попадете, впопыхах не туда лихо ввалитесь, по самое не хочу сраму имете (который должен в вас быть, мелькать в виде отставного реликта). Это чревато лишними визгами, писками, неучтенными письками, никого не красящими по отдельности массовыми криками. Ничьих писек потом не соберете, не разберете, цивилизационно проверено. Некоторое время будете ходить совершенно бесполыми и потерянными, как свалившиеся с Луны неопределенные какие-нибудь мохнатики, пока МЧС, стремительно опережая гуманитарную катастрофу, чего-нибудь подходящего из запасов не подвезет, хотя бы на первое время, для признаков гендерного опознания в пожарном порядке. Во что бы то ни было, сверх всяких сил продолжайте оставаться с нами. Все у вас непременно получится. Глас народа, усердно скрывающийся под меня и надежно мной вуалируемый, всегда с вами. Со мной просто так, за здорово живешь, не обсеретесь, – для верности добавил тут первый срач России, до сей поры тоже, оказывается, скрывавшийся под меня, правда, без вуали, одной голой наглядностью. Вуаль была ему без нужды совершенно.

Еле очухавшись от собственной ментальной и антропологической катастрофы, веду репортаж с незаемной петлей на ставшей массовой от социальных блужданий шее все дальше и дальше от цивилизационно неблагополучных мест куда-нибудь вглубь себя:

Не осталось ни одного человека, который огорчился бы моим падением.

Кто только не рад моему упаданию! Даже и те, кого заподозрить в радости трудно.

А это что-то, да значит! И видимо, чрезвычайно замечательное, – по всем признакам приближающегося, но как бы конфузящегося мной до несуразицы ощущения, зачастившего избегать встреч со мною. А все приближающее, если это не полный злодей, хотя бы наполовину хорошо, в отличие от удаляющегося, которое целиком плохо, так как, сколько бы ни было оно хорошо, все равно ничего не получишь, даже малость потрогать.

Что есть во мне сюжетообразующее начало?

Вне сомнений, тоска, разлагающая меня тоска. Она разорит настолько, что вынужден броситься спешно сооружать некую пусть и приблизительную, сляпанную на две-три живые молекулы жизнь или хотя бы похожее на нее отдаленно подобие.

Остальное все – чувственное барахло – во мне только транжирит, а не собирает. Но тоска, бесценная и, главное, беспошлинная тоска, – она вроде моего Юрия Долгорукого. А может, уже и личный мой Иван Калита собственной бородой иль в чем он там по истории ходил из обличья, таща и копя в брендовый свой мешок порядочно много предстоящей Руси.

Какое чувство понадобится во мне целиком на династию Романовых? Даже ощутить затрудняюсь, сразу начинаю предварительно умирать и теряться. Ужасно представить себе это трехсотлетнее самодержавное чувство, раскинувшееся на всего невозможно продолговатого переростка-меня, обращенного в многовременное чудовище. Это какие же нужно иметь под него дурные объемы? За счет каких великански чудовищных плотских ресурсов наращивать производственные мощности и площади под это чувство работающих телес, которые года должны щелкать, как орешки, задумываясь лишь о том, куда побросать для чистоты скорлупки и освежиться сходить в положенный им уже тогда туалет? Другой заботы и нет, обильно вековому моему телу романовского периода надобно функционировать надежно и просто, будто камню – булыжником быть.

На более позднее будущее, вслед за обрывом династии, не остается во мне ни живинки.

Выходит, я вышел весь прежде своего времени. Не исключено, что отсюда и тоска, тут ее, так сказать, необъятная, непостижимая родина. Во всяком случае, ее следует искать в том направлении и в том похождении... Ну вот, как всегда я в поход собрался, сам не знаю – куда навострился, зачем (родину тоски разыскать намылился?), каким плачевным обстоятельствам себя уготовил, добровольно обрек им себя, своими руками, можно сказать, копая поющую меж тем песню соблазна, восторга и торжества могилу, всем видом гордо показывающую, что песня ее – независимого от меня авторства, развела тут, понимаешь ли, художественную самодеятельность, хоть с концертами ее выводи! И какого мне вообще рожна еще не хватало, когда даже последнее укрывище впрок уже есть, всем на вечность вперед обеспечен, соль и спички прикупить осталось в фантастических величинах... вот опять надо где-то под бесконечное это приобретение раздобывать фантастические деньги, которые меня одни, без смерти, прикончат... Вновь нашел себя сидя спящим на кровати, в пальто и валенках, самым бесповоротным образом готовым к выходу (когда же эти спячие выходки кончатся!). Подлый сон сразил героя среди рассвета буквально в одном мгновении от исхода, не дал уж так легко уйти проветрить одежды, проверить их в деле. Откуда это произошло – валенки, поднятый на холод воротник пальто, прочно завязанные под выпяченной, дорожно-волевой челюстью уши шапки? Спать ложился вроде в здравом уме и фактически, и физически голым. Где, какой наступил переломный момент, когда изо сна я пошел в одежды свои беспамятно странствовать? (С ним доблестно выступаю в поход и я, одетый в физически благополучное и на все согласное тело В. Володина; а то засиделся я что-то в безвестности, измозолил вконец пятую и последнюю свою точку. Пойду прошвырнусь кой-куда в немножко чужой и чумной телесной одежде этого всем известного заштатного проходимца. Нелепо упускать случай прокатнуться или пролетнуться с удобной оказией на край света задаром, пользуясь направляющимся туда порожним транспортным средством, под коим разумею бренную расхожую ношу того самого В. Володина, не к ночи он будь, если еще раз его упомянем, но оказия из него хорошая, только ей бы ему и быть, возможно, она и есть истинное его призвание, предназначение на этой земле и на небесах предначертание.)

И к чему могут привести такие непредусмотрительные путешествия, которые больше похожи, даже изнутри сидючи-спячего положения, на разбитные выходки и народно-прикладную гулянку? Не к разбитому ли валенку? Или подобного же качества сердцу? Впрочем, и то, и то нашел, благодарение моей искусной, как порх блохи, проворности. Можно сказать, вдвойне повезло, редкостная удача. Но где валенок здесь (изначально вроде б чужой) и где сердце (как данность – мое, но откровенно чужое)? Их друг от друга не отличить, вместо них какой-то двойной обман всучен. На проведение дорогущей разделительной операции у меня денег нет, вчера их последки на душевную кильку в томате истратил. Сдам сердцеваленок (валенкосердце?) в милицию на опознание вещественных доказательств. Там разберутся и вернут своему законному владельцу. Если, конечно, таковой на время

возврата где-нибудь принайдется с ответной и добровольной охоткой и по своей воле подарку сдастся с повинной, с чистосердечным признанием. Только бы не спрятался пуще прежнего, а то куда я дену это ничейное, но наверняка разыскиваемое по криминальной линии барахло, которое потом мне пришьют в качестве незаконно приобретенного и с него же, т. е. меня, в три добротные шкуры спустят? И в итоге так и так ничего не получишь, а шкурами с отрицательным шиком, с убыточной роскошью поразбросишься. Где я столько шкур для расплаты возьму, когда и одной-то добром нету (на боках вон совсем уж дыреет)? Чего только из кожи простой и пустой пятьдесят с лишком лет вне приличий на мне не мотается... От одних только этих неотчуждаемых мельтешений свободно с ума сбрести можно. Так и вбежишь, без памяти, сам не свой, что есть в тебе умозрительных ног в умишко свое обратно, прячась со страху от подступивших вплотную самоличных мельканий, затворив дверцы разума наглухо, на массу упорных, благодатно толстых, ржой надежно фиксируемых запоров. Даже кукушечка час урочный прокуковать оттуда не высунется, вот как я прочно спрячусь!

Как бы не пришлось милицейскими методами задержания ловить себя самому себе с обличительно указующим на меня поличным и не волочить потом с помощью же себя по доброй воле в участок; еще неизвестно кого припрешь туда, потом от него не отвертишься, не отмажешься – все на тебя будет указывать и о тебе говорить косноязычной несвязностью злодеяния. Вот этого бы не хотелось больше всего. Да и давно я уже где-то пойман, прочно и верно отловлен, чувствую, с большим и добротным запасом поимки: мне моей пойманности, кажется, на век хватит. Сейчас проснусь и вспомню место постоянной ловитвенной своей дислокации. Эй, пробуждение, голубушко, ты где, родное? Будь добро, в твоих бодрящих услугах неотложно, практически истошно нуждаемся... Впрочем, довольно перед этим нерасторопным пробужденьицем пресмыкаться и на побегушках держать себя в рабах у него (оно, похоже, собралось бессовестно продержать меня так целую вечность, а я под шапкой взопрел и посконной духотищей валенок во всем теле как-то древне обдушен, чуть не насмерть задавлен, обуян совершившим преступление против человечности температурным режимом)... С меня давным-давно уж довольно! Со всей ответственностью заявляю и протестую в насильственно устроенном, нагло вытворенном из меня небытии, в планомерно сооруженном из меня забвении: доколе тебе, пробуждение, измываться надо мной и держать меня взаперти моего решительно куда-то направившегося без меня исхода?! Опомнись, бодряшка несчастный! Ведь ты не знаешь еще, с кем будешь дело иметь, разборки подробно-дотошные, речи безумные и прочее выяснение отношений, которые повлекут за собой самые серьзные и не лучшие для тебя из последствий! Сна беспробудного и покоя вечного мгновенно ты у меня запросишь! А я возьму и не дам. Вот такой я потому что.

Так и объявишься помимо всякого пробуждения, не ждя милостей от природы, рассчитывая и полагаясь лишь на собственные вертикалеобразующие силы, на личный в тебе столбняк власти, который и мертвого поднимет, застолбит им неотъемлемо участочек существования. Возникнешь вольным беспробужденным проявленцем, самодержавно всюду насаждая столетьями попустительски всеми затериваемое да разбазариваемое свое отсутствие, омывая народы в реках вечных исчезновений своих. Уже заранее вижу, как вы залюбуетесь реанимированными моими, резко всшевелившимися, кишаще заползавшими окрест видами, полувидами, четверочками их, осьмушками, а также прозрачными моими намеками, не в силах налюбоваться никак, вновь через силу в любви припадая, на миг насыщаясь и вновь туда же. Падающих от изумлений будет столько, что их без особой, щадящей бы экономии станут складывать небрежными штабелями вдоль всего моего пути следования, который будет укрощаться в самонадеянном длении с помощью той же самой царской кареты, свободно расправляющейся за сутки с тремястами верстами хорошо убитой дороги, не считая пролетающей по сторонам дичи. Карету мне, карету! Уж невтерпеженьки скатнуться хочу подальше от излежанной вдрызг постели.

Тут сам собой продвиженец наш мнимый и проснулся от сновидческих шумов технически беспорядочной, как стрельба, головы. Каково же было его изумление, когда он себя сызнова обнаружил! Всего ожидал, но только не этого сущего, весьма натурального безобразия, по-моему, его напугавшего до порядочных степеней экзистенциальности. Такой подлянки и в самом дурном, сумасбродном сне не могло присниться, налепетаться тайным бредком. Потому-то он скорчил на себя такую кислую рожу обиды и неприемлемости, словно только что проглотил всю подлунную кислоту мира или, по крайней мере, съел никак не возможный для благих последствий лимон величиной в арбуз, и сделал отчаянный, но оттого не менее пропащий вид, что вовсе он и не просыпался, никогда этим и подобны-

ми делами не баловался и даже отродясь не знает, что это такое – ради утра, нате вот вам, ни с того ни с сего проснуться. Нет, такого издевательства над бытием никогда не бывало, такого не прикрытого ничем явленческого кощунства даже я себе в жизнь не позволяю! Со всей возможной ответственностью заявляю во всеотсутствие.

– Куда ты побрел, беспощадно сбрендивший и опупевший автор? Ну куда ты поперся опять, спросить бы тебя по-хорошему да всем миром бы, поплощаднее?!

– А поперся я в обратную, строго в обратную сторону от той, в какую меня по натуральнейшей самой матушке что-то послало в приставшей ко мне за просто так толпе. Не прельстили меня эти посылы и направления, посулы смутные тож. Я как-нибудь уж отдельно от вас доберусь, куда бы то ни было. Мне ведь все равно куда идти по вашей матери, держась всегда противной от нее стороны, не забывая обратку иметь в направлении. Только бы – даром вашим, стараньями вашими – не заблудиться. А так приду куда-никуда, не сомневайтесь. Да и матушка ваша нынче есть везде, всюду место имеет быть, куда б ни коснуться, ни сунуться, где б упасть и не встать, послетали от неувядающей матушки мои белые тапочки. Мимо нее не промахнешься, даже если все время и всю дорогу мимо нее идти. Задачка не из простых, поспорит за сложность с какой-нибудь неразгрызаемой теоремой века: как матюгами не обрасти, сквозь матюги продираясь, повапливая благим матом? Все равно что – иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

Не зря нас все-таки сказки чему-то обширно учили, вводя в уравнение счастья множество неизвестных и насильственно склоняя задачку сойтись с ответом для совместного веденья хозяйства, скорее всего в грехе сожительства. А для отвода глаз все кончалось и прикрывалось, понятное дело, свадьбой, которая любое преступление с наслажденьем покроет, с рвением, нам непонятным (из чего сам собой проистекает вывод: свадьба напрямую связана с уголовщиной, это одни и те же слои и круги, одна социальная база). Но как с усов текло, а в рот не попадало, так до сих пор дела текущие и обстоят: всю жизнь только сладко облизываешься, разжиженно ухмыляясь на мелькнувшую мимо рецепторов или сбежавшую с другим сладость. Но это очень и очень уже не мало: есть непрерывное предвкушение, есть полезная резвость мыслительно-языковых хватаний, есть нескончаемая надежда на будущее. Они держат в постоянном тонусе и творческом напряжении богатырским здоровьем отличающийся, втайне пышущий буйным цветением аппетит. А это оборачивается чаще всего старческим долголетием, не уступающим бессмертию ни по одной блестяще маркетинговой позиции, ни по одному роскошно прибыльному бытийственному рубежу. Само собой тогда старческое долголетие в виде бессмертия прилагается: наш подарок постоянному клиенту.

Вот так-то добрые усы иметь, с дальним умыслом вырощенные! Да с правильно растущими мимо рта волосами, пышно образующими не принадлежащие уже тебе, но очень полезные в некоторых отношениях стороны! Вся напраслина обольстительная, весь морок и жирок жизни, вся прелестная суета мира по ним благополучно стечет, все женщины низкого содержания стекут, жизнь утечет, а ты, пусть и ни с чем, но останешься. Причем даже в замертвелом состоянии как бы волоча мечтательные волны по лицу художественно изощренными, стилистически утонченно топорщащимися усами, до бархатистого блеска прочищенными, насквоженными прозрачностью и чистотой мелодии сопровождающего тебя не менее художественного свиста, нередко издаваемого с чего-то тобой сразу в десяти томах устной формы, со многими сотнями обещанных продолжений и окончаний следует, с приложениями, предложениями, с заграничными турдемаршами, с книжной ярмаркой в уголках крепко сжатых губ (никуда теперь от тебя не денется, цепко, намертво поймана внешним ртом попрыгучая эта ярмарочка!), с кипами издательских договоров, удачливо и надежно сложенных в мою лицевую фигу, теснящуюся горделиво во взгляде, не сдавшуюся в плен всеядному миру (узилища моих глаз для пленений хватает), – и все это в одном не дрогнувшем даже лице, лишь усы сверхживучие средь заметно плывущей мечты немного поползывают, но недрогновенно почти, так как в выдержке им не откажешь: за жизнь хорошо настращались, умудрены изобильно и знают богато, когда следует себя оказать, заявить многосмысленною кустистостью о своем надбытийном наличии.

Вот что могут дать человеку прилепленные в нужном месте и в нужное время явившие себя миру усы! Вот какую неоценимо живую услугу могут они ему могущественно оказать даже в посмертном его состоянии! Не зря также и вот что говорится, поясь, утопая в цветущей гитаре: был, словно не

был, и не был, словно был, не был, а усами шевелил. Это сказано про всех, пронзительно живущих с усами. Далеко не всякий так напряженно жить сможет, для отвода глаз якобы легкомысленно пошевеливая лицевой только с виду пушистой растительностью. Далеко-далеко не всякий – да с нашими постоянными перебоями и неисправностями вечно то там, то здесь протекающего небытия, которое непроизводительно не туда иссочится и невосполнимую может преподнести в любом месте утрату: вот вам и прозрачнозримый подарочек, в прелести отсутствия безмятежного утопающий. (Вчера, например, мой носовой платок, тишайшее и безобиднейшее по жизни создание, внезапно объявил меня во всеуслышание персоной нон-грата, предложив убраться немедленно вон на свою территорию, дабы вручную утилизировать личну соплю, бережа честь в незапятнанности; пришлось беззащитно возиться с голым носом, порядочно понебыть.)

От него, этого самого небытия, всего ожидать можно, в отличие от жизни, ждать многого от которой не представляется возможным. Непубликуема. Возврату не подлежит. Просто злостный сплошь идет неформат! Непроходная совершенно вещь! Это ж какие извивистые мозги надо иметь, чтобы обладать наглостью предъявить такую! Мы печатаем жизни в ином формате, а также прожитые в другой манере и иных областях восторгов. Больше не сообщайте нам свои выходные данные, вы нас ими не просто достали – в прах терпение наше стерли, оно лопнуло. Беспокойство это пустого занятия – отвлекать от жизни профессионально занятых жизнью людей. В ближайшие лет пятьдесят ваши выходные данные в твердом переплете решительно не понадобятся, будут сквозь эти годы замечательно, даже превосходно, а местами и чудесно лишними. А там видно будет. Посмотрим на твое поведение. Которым ты не очень-то отличаешься. Да и вряд ли когда-нибудь отличишься. Об этом мы уж как надобно побеспокоимся. За исполнением приговора отследим по сообщениям информационных агентств. Не сомневаемся, что лишнего имени твоего там не возникнет. И соринки твоей в массовых коммуникациях не проскочит! А то им делать больше нечего, массовым коммуникациям, как только возиться с тобой! Там и без тебя полным-полно всякой чуши, одного тебя и не хватало средь них для полноты бредятины!

Особые приметы и примечания, разбор полетов; разное. Рост невыразительный, сомнительный, соперничает с тараканом. По всему телу до неприличия, как-то вызывающе откровенно (некорректно вести себя так), запредельно рыжий. На подбородке вместо деликатной бы у других и умильной, трогательной ямочки целая провальная яма, отсюда природно злодейская, серийная склонность к описанию всяких прорв и сортиров. Пристрастен к не прекращающемуся на протяжении всей жизни побегу в любом лишь мелькнувшем, приоткрывшемся на миг направлении. Всегда вооружен запасным характером утяжеленного образца, вторым «я» с модернизированными наворотами, остро отточенным холодным упорством и огнестрельным терпением, владеет которыми в совершенстве. В психологических реакциях непредсказуемо обратен, очень резв и опасен, следует всячески избегать с ним контактов общественности, чтобы лицо публичности оставалось неприкосновенным, ни на пятнышко не поврежденным. Скрывается обычно в молчании, но взглядом вызывающе травит массу неприличных, по всей видимости, анекдотов. В любое время года предпочитает заявляться в публичные места скопления народа в валенках и добротно драной шапчонке с наглухо завязанными под дорожно-волевым подбородком ушами, подбивает народ своим видом позорить невинно сложившийся ходом вещей социальный порядок. Для сокрытия истинных намерений подло норовит питаться одной картошкой, в целях конспирации перемежая ее иногда душевной килькой в томате, – на этом перемелькивании аппетита, на пересменке алчности, в момент особо сладострастной его самоувлеченности, когда-нибудь попадется, из света в тень перелетая, в порхе мы его и прихлопнем. Этого гада мы обязательно как-нибудь на досуге поймаем, хоть из-под земли достанем, а при желании – и с небес тянем-потянем да стащим, никакая адвокатура неба не поможет, мы ее не испугались, у нас из гильдии адвокатов профессионалы почище да побойчей небесных!

Главная разоблачающая улика – усы, в безобразие пышно цветущие, до чрезвычайности нагло, попросту безостановочно провокативные, вызывающе воспринимающие нашу жизнь (топорщатся на нее в немотивированно бешеноватом порыве), и без того не так воспринимаемую, так как мы не то сказать хотели. По ним, убийственно рыже бьющим в глаза усам, его можно обличить и тут же словить даже в густосокрытом Китае, в случае, если взбредет в проходную его башку превратиться в уроженца тех мест, рецидивы бесчисленные уже бывали: неоднократно депортировался из поднебесной под

видом насквозь разоблаченного, очень удачно не состоявшегося китайца (а также натурализованный бочками ядохимикатов в Амур), изгнанного с треском и несмываемым позором за выспреннюю, крикливую рыжеватость, несовместную с истинным хинийцем. Далее приводим куда надо для лучшего дальнейшего опознания непозволительно пиаристую, с головой его выдающую авторецензию (в которой он пытается заявить себя в совершенно не тянущей на него роли самодостаточного; фальсификационные всё вылазки, обреченные на фиктивность потуги), перехваченную нами в процессе его простодушных доносов на себя самого, выпущенных им самонадеянно в газеты и радиоголоса, где он продемонстрировал не себя, нет, себя ему слабо показать, а только дурь свою во всю ширь показал, явил и без него хорошо оскорбленному миру апофеоз безнаказанности и, по нашим сведеньям из верных источников, пожелавших остаться навек неизвестными, – запредел разнузданности, прозрачно граничащей с оторванностью и оттянутостью. Вот отрывок его запредела, печально известного в близких к криминальным кругах (соответствуют первому и последнему, так как сразу всех казней хватает, кругу ада):

«Все чаще и развязнее в мой адрес отовсюду слышу: я, мол, прямо с усами родился, как некоторые в рубашке рождаются, миром благоприобретаются, и с ответственных тех пор несбриваемо в них хожу, с младых ногтей плодотворно усвоив, что это мой несущий и пасущий меня талисман. Сразу же не буду скрывать: это истинная, и даже больше, правда. Все так со мной и с усами было, есть и будет. Не зря это и всякое такое про меня брешут, любят иметь меня на своих краткотечных устах. Такие случаи рождения малышиков с усами бывают, происходят раз на 100 миллионов мельканий на свет. Я вот как раз случился быть таким счастливо-несчастным случаем, изо всех последних сил превозмогая тяжеловатую эту, иногда неподъемную редкостность, а заодно и редковатость: привык все подряд преодолевать, только подавай мне что-нибудь скорей под препятствие – и не представляю, как можно шпарить вдоль по существованию без ощутимых на пятках барьеров и прозрачных тонн на плечах. Трудно ходить, преуспевать всю жизнь исключительно в одних усах, не смея покуситься на них и под корень их извести (а соблазны открываются тут большие), потому что за ними вскроется мигом непредвиденная экзистенциальность, враз покусившаяся бы на меня ужасающая, явно не здешних кровей провиденциальность. Но, с другой и более нашей, практической стороны, не будь этих благоврожденных усов, жизнь бы моя верным путем пошла наперекосяк, абы как, то есть лихо-лишенько мне совсем по-другому. Никудышная, скверная, противная, какая-то недоразвитая попалась бы жизнь, брезгливо к такой прикоснуться, а не то что ею жить изнутри и в быту славно пользоваться. Сам же первым непотребный тот хлам поскорее выкинул, сбагрил бы. Псу под хвост, например. И уж никак, никак не далее. Потому что даже бросанья далекого, молодецкого, на которое никаких сил отважных не жаль отвесить, эта штучка косенькая не заслуживает. А псу безропотному под хвост жмущийся сунуть наскоро иль под ближайший кусточек свалить втихаря – самое оно то, вполне отличное и приличное ей будет местечко. Очень причем сохранное: вернешься как-нибудь на досуге, развлекая собою окрестности, глядь, а она, жизнь твоя та самая, все лежит там да полеживает в целости и сохранности, тебя дожидается, глазками шустренькими, цвета шальной смородины, постреливает: дескать, по взаимному согласью давай без промедленья оттянемся, ну возьми же меня скорей, без наслаждения изнемогаю я, о секси мое, секси, где ты, заблудившееся мое секси?! Тоже фифа еще та, на почве кричащей интимности порядочно сдвинутая. Сама у пса под хвостом, а тоже туда же – где бы посрывать цветы удовольствия...»

Вот и поживи с таким придурком... Теперь вы представляете, о чем он словом вляпывает и чувствовать спешит. Нетрудно вообразить, сколь тяжело, непереносимо, сколь невозможно мне быть мной, безотлучно имея с ним всякое дело в любое мгновение? Да с ним и шаг обыкновенный совместно шагнуть не договоришься, в туалет на одном поле не сядешь, доймет не животом, а дележом обсиживаемой территории. Вот каково мне несладко приходится, обнаруживая себя в сокровенности власти этого рыжего всегда и везде негодяя. Приходится олицетворять собой живую катастрофу и не менее живую трагедию, животрепещущую от одного моего в ней участия. Требую с собой пусть и фиктивного, но развода, и бесповоротного! Не намерен я кое-где париться да в других местах отдуваться за какого-то обитающего во мне цвета осени имярека, а причитающееся мне, но удачно спертое у меня верните, пока не поздно всем будет. Прошу общественность принять это к сведению и заочно отговорить меня от не принадлежащего мне приговора. Он явно не по-моему адресу вынесен и не туда

внесен: я из того человека давно переехал, с вещами на выход. А если никак уж иначе по-тихому не получается со мной расправиться, то просто возьмите и резко скостите мой и без того изумительно пагубный срок. Я наизумлялся уже, с меня хватит, всего на свете с меня довольно! Во всяком случае, и на этот раз должно благополучно хватить. В честь амнистии для свободы схожу с чистой совестью в туалет погулять. Неотъемлемо ваш, с пожизненным сроком для вас – непреходяще усатый, на всем протяжении рыжий. Не беспокойтесь, я еще успею вам как следует надоесть, так как жить собираюсь долго и счастливо, умерев с собой в один выбранный специально для этих пышных разгульных торжеств день. Тем все в наивысшей степени благоприятно и кончится, иначе у меня не бывает: по-другому я жизнь не умею построить да и в рамки моих приличий не вписывается по-другому, начинает с визгом и дурью широкой из них выламываться, ненароком и меня задевая, мои нежности робкие кое-где повреждая до крови. Я жизни своей не позволю, чтобы она со мной себя так вела.

Боже, Боже, кто это был во мне? Кто существовал на постое сегодня во мне вместо меня, хозяина личности моей стеснив и куда-то выпроводив? Вот бы найти того рыжего паразита усатого, ох, даже и не знаю, что бы я с ним сделал превратно толково! Сижу у окна, настежь в даль распросторенного, себя сторожу, чтобы опять меня не уворовали, в очередной раз украдкой не сперли, без меня меня бы не слямзили. Не хочу допустить повторения казуса личной кражи. Так ведь может от меня ничего и не остаться, в пух и прах изворуют, им только покажи протоптанную дорожку. Все-таки жалко. Какая-никакая ведь собственность. Которую сам при первом удобном случае выбросишь с наслаждением где-нибудь незаметненько, вздохнув с огромным, воодушевляющим, душеподъемным даже облегчением. Но это все же намного лучше, чем если тебя выбрасывают без твоей помощи и без твоего участия, – многие тогда вспыхивают восстания моих возвратно обиженных, незаслуженно в чинах унижений не то обойденных, не то вознесенных обид. Но если приглядеться попристальнее – одни генералы мелькают в той заварухе. Опять я внезапно сделал карьеру и сплошняком изгенералился... Житья мне в пределах собственной жизни не стало от этих изнутри приставших ко мне, налипших на поддоны мои генералов! И ладно бы настоящие, боевые были, с заслуженными орденами, а то все генералы от литературы, от которых и на свежем воздухе литературы ни продыху, ни проходу.

– Эй, ямщик, разживи-ка залетных!

– Замолаживает, барин, несдобровать нам. Чует сердце, не миновать беды. Повременить бы с дорогой.

– Гони, ямщик! Чай, прорвемся, не впервой мчать сквозь погибель... А то по матушке они взбадривать надумали, да форматом нас, отборным фор-матом в режиме самого дикого форс-мажора, ровно мы им квелые какие и спим на ходу! Ишь они... В буран, братец, в свирепую самую замять, во вьюжную круговерть! Рискнем-ка найти чистую сторонушку, где б ей ни пропадать...

– Ну, рыскнем, барин! Однова живем... Рыск оно ведь дело тоже благородное. Н-но, пошли, залетные! Свое отдремали... Ох, не сносить башки! – Бурчит по привычке в кривоватую сторону: – И дались вот им чистые сторонушки, замаялись туды-суды мыкаться, заместо на печке лежать да поваливаться, косточки стылые греть... Эх, мать-перемать, владычица ты наша небесная, спаси и пронеси, в господа бога мать...

Это я о чем? Про что? Про вот мы и приплыли... то бишь приехали? И про это тоже. Стали кони. Потеряны стороны. Всесветный буран. Ой ты, Боже ж мой, как не видно ни зги... А не взлететь ли часом в небеса? Туда дорога прямо по снегопаду открыта и довольно проторенно тянется... Эй, ямщик, разворачивай оглобли, на небо, что ли, взъедем давай. Как-нибудь взгромоздимся... Поехали!

Бурчит с облучка в сторону: – Подстелить бы соломки, падать-то небось высоко будет... Нн-о-о, залетные, мать вашу ети, господи еси, пронеси! Эх, где наша ни пропадала, пропади оно все пропадом! (Окончание следует)

Листали подробности в ближайших номерах небытия, но так ничего и не нашли... но зато ничего и не потеряли, а это немаловажное уже приобретение. Опять издатели нас надули, выудив наши кровные из заскучавших сразу карманов. Скорее бы, что ли, это кончилось, заодно с писателями, которыми нас в открытую на живца ловят. Не-е, больше клевать мы не будем, не намерены, горькой шкурой научены. Пусть сами друг другу клюют и друг друга сами поёдывают. Говорят, они очень невкусные, без трехдневной уксусной вымочки не сунешь и в рот. А потом еще животом надо маяться.

Зато малокалорийные. Три калории от писателишек этих на всю жизнь, не больше. Отчего ж не попробовать-то? И дешевизна страшная. Цены просто смешные. Десяток маринованных писателей, будьте добры, отвесьте. Еле живые? Не страшно. До кучи валите. Можно еще и критика одного, чтоб тянуло уж на килограмм, подложить, для затравки и возгонки съестного азарта, в общем, для разжирения аппетита, не ведущего к последствиям тела. Как вы думаете, не повлияет это на холестерин или на разгул несанкционированной желчи? Нет, лучше съедим омаров с морковкой, всегда святой в своей безвредности и трепетной по отношению к нашему превыше мира сего аппетиту. Бог ошибается, будто Он миром правит. Миром правит наш божественный аппетит. Господу Богу – Аппетиту Нашему помо-о-олимся! Тут-то все желудки и бросились на колени... Ох, что тогда было, что было! По усам текло, а в рот не попадало. Вот какой ужас там был при ближайшем рассмотрении, растекаясь по всему ближайшему рассмотрению и гораздо далее, в потустороннее, видимо, зрение. Короче, кончилось, чем всегда и кончается: обычным ничем, неуловимо многозначным в своей неуловимости.

Мудрости своей не хватало. Приходилось пользоваться для поддержки умственных штанов уличными лозунгами дня и безумно умной бездной толпы. Где и этого недоставало, он вынужден был, не откладывая дело в долгий ящик, становиться неприкрытым дураком, чего бы ему это ни стоило.

Как-то ведь выживать надо.

Обессилевший стать приличным ослом.

Также недотянул и до матерого, вызревшего в мрак ума идиота.

Так и пришлось сделаться межеумком. Лишь междометьем ума. Изумленным от вщекотнувшего недоумения его восклицком. Огрызком чужого восторга со стола постороннего пира. Обрывком смятым, покинутым чьей-то не очень чистой печали, в мусорный уголок прилепившейся отрешенно. К каждой бочке затычкой... хорошо еще, если бочка та – винная. Хоть присосешься немного, с отрадой, многим знакомой. С заметно приподнятым настроением, без нервов расслабясь, тайно взалкаешь. Помимо ума оттаешь, мыслию нерастраченной и неопознанной набухая. Вот так-то мысль к месту да к делу кружными путями и прибережешь изощренно. А то ведь никакой мыслительной массы на вас не напасешься. В момент разум выпьют, им и закусят, обглодав до мозга костей. Потом жирные разумом пальцы будут в скомканный разум совать, чтобы до блеска хваталища вытереть и приступить к дальнейшему, из десертов.

Как люди могут не страдать от собственной язвительной же всегда и поцапывающей пустоты? Даже не замечают ее, как не здешнюю вроде бы муху, которая обычно всегда больше, чем здесь, столько дерганий от нее и едва ль не метафизической волокиты. И даже радуются ей, на нее ликуют, принимая пустоточку за что-то ценное и бессомненно свое, без конца родное.

Они смеются на свою снисходительно взирающую на них пустоту так весело и заразительно, что впадаешь в безумь сомнения: а вдруг там и впрямь есть что-то весьма полноватое, чего ты ущербно лишен, будучи отсутствием справедливо наказан?

Нет, определенно в пустоте есть нечто загадочное и ярко таящееся! И явно не для развитых взглядов, умов. В ней наверняка существует то, чего мы знать никак не осилим, если хоть крохотку обладаем самым невинным умом – это препятствие неодолимое.

Не конгениальна ли пустота натуральной глупости? Которая – в этом ей не откажешь – способна в чем-то на равных соперничать с отставной гениальностью, вышедшей ныне на странную в ее положении пенсию, чтоб – нате вот вам! – довязать исчезавшие при социализме носки. Теперь это некому сделать, кроме нее. А ей за босую Отчизну еще прежним былым обидно, так как у нее чувства длинные, их некуда подевать. Они нас уже достают. Как достали! Перепрятывание осуществляем в массовом порядке. Отказавшихся, бунтующих прятаться просим сойти постепенно на нет.

Я пришел к тебе затем, чтобы ты никогда меня больше не увидала.

Теперь я весь для тебя скрываюсь, даже когда гляжу прямо в твои не знающие дна глаза, так явственно, так обнадеживающе отыскивая в них жалкую свою пропажу, которая вот-вот, вероятно, настанет. Она уже нежно брезжит в глубине твоих бледных, истонченно стаявших глаз, которые где-то в других местах присутствуют. Как же совершенно, как идеально чисто, как устрашающе никого из нас

здесь не стало! Только я лишь чуть-чуть, вороватым отсутствием... Я еще любил тебя тенью умерших чувств, которые обожали засылать сюда верных своих, очень точных во мне призраков... Ты не дай, пожалуйста, им погибнуть. Ведь с избытком уже твоей милой погибели и мне одному.

Нацелившись недрогновенным чувством, я поцеловал ее точнехонько в правый глаз. Куда и метил этим страннопришедшим чувством, зарившимся на тамошнюю твою родинку, обитавшую у самого края зрения, – я любил ее, заждавшуюся чего-то родинку, больше всего на свете, я любил очарованную вечным ожиданием родинку больше, чем саму тебя, столь мгновенную, никогда до конца не приходящую.

Ты была целованием сражена наповал. И еще долго отходила под развалами моего чувства, переметнувшегося на ночь глядя в нежность.

Тамошняя твоя родинка, отвечай давай, отвечай, твое теперь слово милое, неповторимое, твоя речь шептуальная... Пошепчи что-нибудь на родинковом, на смородинковом своем языке...

Как в бреду она мимо нас что-то несвязно пробормотала. Наверно, спала, десятый сон видела, в котором все вышеописанное скорее всего и произошло.

Как чудесно сегодня ночью родинке твоей мы снились! А когда я проснулся, ничего уже не было совершенно. И тебя тоже как не бывало. Я теперь не знал о тебе очень полно, даже догадываться перестал: кто ты, была ли со мной хоть на крошечку самого краткого мига? И последний вопрос, чтоб не быть навязчивым: в горькой скудости мига или в светлой прелести мига ты обреталась? Поверь, неведомая моя: это для меня сейчас крайне важно, вопрос на грани жизни и смерти. Там же жду и твоего ответа, а если случится тебе быть на свете, то и тебя жду в том месте. Не забудь, не перепутай: на грани жизни и смерти. Ну, при встрече познакомимся ближе и обо всем переговорим, обсудим детально перспективы нашего мгновения. До скорого мига! До скорого мига, приснившаяся вместе со мной родинке несомненной твоей, где-то тебя уже начинающей, очень явственно зарождающей... Ох, скорее бы нам с тобою возникнуть! Я устал в тебе пропадать.

Несведущих уведомляю: я случайным образом получился весь из золота, из серебра, а местами из медноликой бронзы, отличными, крупными довольно вкраплениями.

Потому-то я такой нескладный, наподобие памятника. Ведь памятники все нескладны и мешковаты, весят много, порой избыточно. По ним стукнут, а они, в продолжение разговора, в ответ еле звенят, точно лень им отвечать исторически, забронзовели в мыслях совсем.

Но если по мне, при желании, посильней вдарить, звеню каким-то отдаленным, но явно приближающимся гулом, словно только подхожу к себе издали. Я человек с большим опозданием, с задержанными на огромные промежутки и перегоны, на целые полустанки чувствами. Всякого опоздания во мне гораздо больше, чем меня самого бывает в себе, тут и сравнивать нечего, проигрыш будет налицо моментально. Иногда говорят, говорят мне, рассыпаются пылко в словах, а я еще и не думал являться, и приходится одному моему бедному, разрывающемуся на части имени отвечать самые простые «да» и «нет», отдуваться за меня в связях с общественностью, чтоб раньше времени не хватились моего отсутствия, все более угрожающе яркого и бессмысленного.

Несведущих скоропостижно уведомляю: с этим завзятым, а равно и пресловутым типчиком лучше поменьше иметь дела, а побольше всяких тонких, незримых, чаще и вовсе отсутствующих материй. Так-то оно всем будет надежнее. Но об этом в другой раз и не я.

На днях выясняется, что в недавнем прошлом я был фаворитом собственной души, который во что бы то ни было все-таки сумел проиграть на бешеных ее скачках. Этого только мне и не хватало для полноты существования, которая то и знай оборачивается полнотой убывания, которое, делая, видать, набитого из меня дурака, любит прикидываться неизъяснимой щедростью!

Но разве за всеми угонишься? Их вон сколько было, и все как на подбор отпетые да отъеденные... то есть отъевшиеся. А мне одному, тощему и по факту рыжему, всё и вся догоняй, дыхалку на этом деле изгадил совсем, дышу через раз, как дорвешься. Тут любой налево ускачет, в страстях плюнув на всякий фавор и рыща в отдельной стороне какого-нибудь иного, сухощавого счастья, сбившегося с дороги и вынужденного пробавляться травяной сухомяткой. Краше в гроб кладут, а не счастье, вот что там паслось на привязи у природы. Тут-то уж я полностью, хорошо не сдержался и плюнул изо всей

души и куда-то ушел ото всего сердца, впрочем, весьма благополучно, чуть ли не полусчастливо, но это, верно, оттого, что себя мало помнил. Попытка не засчитывается. Фальшь-старт. И побег ложный – ведущий в искусственно позлащенное полусчастье.

А чем хуже противного этого и негодного счастья сидеть себе у окошка и плакать кап-кап, на изнанку погоды глядючи? Нет, положительно, такое состояние горя всем лучше. Начать с того, что лишний раз высморкаешься, от души утрешься, неуличенно ладонью под носом с развратной свободой елозя, прочистишь забитые чем ни попало физиологические каналы. И так далее пойдет по нарастающей улучшения. Много еще всяких действий можно осуществить задаром. Это ли не счастье? Ага, вот ты и попалось! Заманил-таки я счастье сегодня в бытовую ловушку, искусно завуалированную под очистку носа и рядовое сморканье! Сижу невозможно счастлив, безумством счастия полный. Что бы еще дельного поймать на легкую провокацию носа и его умышленный насморк? Закину-ка я эту сопелью премудрую снасть на судьбу. Глядишь, к вечеру на уху пяток-другой своих судеб поймаю, уплывших некогда от меня в донные норы. Тройная ушица получится, на много жизней моих свободно хватит разлить. То-то разживусь сегодня, на все человечество, вдоль и поперек его и несколько вверх, но не выше горла, это будет уже лишнее.

Он в литературе с вяльцой разбирался, с переевшим сильно, порыгивающим интересом. К мясу у него аппетит был расположен, к нему в основном тяготел. Любил грубоватость кровавой натуры. И ее кусковатость, когда она смачными, сдобренными великолепно ломтищами. Особенно если шашлык вперемешку с девочками и счастливо хрустящим под мажористым зубом лучком.

Черт меня б не туда побрал, и мне остренького и мясца захотелось, аж в деснах блаженно-сладко заныло! Нечего сказать, спровоцировал я сегодня себя на обильное мясоедение и тихий девичий разврат на лесной поляне. Вот до чего доводят неразумно оброненные слова. Вы поосторожнее с ними, введена статья за любое действие не сказанного еще несказАнного слова. Сам вчера в одном месте читал о вступлении статьи в силу. Своим глазам не поверил, своему онемевшему в один момент языку. Так до сих пор и сижу где-то не там. Вы б меня, что ли, откуда-нибудь забрали, граждане, пропаду ведь ни за хрен собачачий среди обветшавших во мне и дичающих слов. А вдруг землетрясение? – побьются слова мои разом, они и так во мне еле держатся, многие отшелушились, крошевом стали, песчаной былью, земным небытьем – прахом прощальным летят, опадают рассыпавшиеся мои словеса, бессловесным мраком заполняя обмирающие мои телеса. Но не будет ли, не обернется ли это листопадом слов моих? Вот это было бы дело! Ради этого стоило жить и все время теряться – чтоб однажды найти в себе осень! А если вдруг обнаружится камнепад моих слов? О, только бы не всесуще громыхающий тот камнепад, бескрайне чуждый моим очужавшим, незаметно меня разлюбившим полетам... Возьмите меня, возьмите скорей! Кто-нибудь же имейте совесть или что-нибудь еще имейте, но только срочно меня поимейте, заберите из этого чертова ниоткуда как бы для полноты вашего счастья! Я вам еще о-го-го как-никак приго... го... Конец всякой речи...

Но имел сказать: пригожусь. Как сейчас помню.

Ждать-пождать теперь второго пришествия речи.

Приперт всей жизнью к крайнему обстоятельству – заниматься лишь бедственной во всех отношениях литературой. Не вижу иного выхода. О смысле тут и речи нет, быть не может. Какой смысл, когда в моем кармане давным-давно никакой, даже безумной, экономики нет и кризис, хотя бы в насмешку мне, карман не топырит. Тут выжить бы. Кое-как прокормиться уже оскелетившейся душой.

Я обнаружил наконец-то способ достойного выживания: быть истрачиваемым словом. Медленно, но верно израсходуюсь им дочиста. А там посмотрим. Там видна будет смерть во всей наготе и в ее – наготы – красотище. Тогда-то ей не отвертеться от нашего проницания, по преимуществу конечно же праховидного, – но не это важно, а совсем другое: главное, зрения не потерять при непредвиденной встрече с порнухой. Надо заранее искать упреждающие маневры, чтобы всегда быть при глазах. Без них – никуда, даже при всем твоем отсутствии. В любом отсутствии главное – видеть, куда ты отсутствуешь. Тогда точно уж не пропадешь. Гарантия стопроцентная.

Мой враг на все бескрайне раскинувшиеся дни – время, обыкновенное физическое дление. Вот и нажил самого страшного врага. Страшнее не будет. А то боялся быть ни холодным и ни горячим

– умеренно враголишенным. Теперь есть с кем по-настоящему страшиться. Есть кого по-настоящему хоронить. С лихвой обрелось. Да и под старость будет с кем двумя-тремя словами перебросится на ночь. Хоть поругаться для освеженья и очистки души с кем-никем останется. Ну и помириться – на всякий запасной случай. Жить-то дальше как-то ведь надо.

Общаться с ним мерзковато стало, даже зло разглядеть в нем любопытству моему скучно, как-то зевотно отвратно (хоть любопытство мое и не брезгливо, может покопаться в самой изысканной навозной куче): и зло у него сделалось заурядно и далеко наперед известно; к тому же он часто в нем повторяется, так как творчество потерял. На досуге где-то, видно, посеял. Всходы ждет многоглаголисто, трубногласо, с анекдотами и народным ржаньем. Вот удивится, когда как раз не то взойдет! Обвинит в искажении плодов мстительную по отношенью к нему, ловкую на подлянку природу.

Был кое-какой остаток человека, да и тот выеден плоской, смертельно скучною злобой. Обидно за прежние хорошие чувства к нему. Жаль, столько их истрачено на него, – они оказались напрасно истраченными чувствами, следовательно, безвозвратно утраченными. Куда подевалось былое приличное его качество? Отчего так быстро исчезает человек, слегка помелькав приличным, добротным? И взамен торчит лишь ухмыляющееся, все старающееся подловить всех на подлости мурло, не похожее ни на что прежнее, а особенно – на человека.

Даже на чучело от этого человека ничего не осталось.

А уж я приловчился было его набивать, возбуждая и обостряя в себе актуальные знания таксидермиста. С этим человеком не получилось из меня и таксидермиста, средней хотя бы руки. Совсем пропащее, выходит, со мной дело...

У госпожи амбракомбобер случился дурной возраст, климакс и выкидыш одновременно. Некстати сошлось все в одну дырявую, задышавшую прорвой точку, очень некстати. Не к добру это, зачуяло и заныло мое сердце. Что-то, мне кажется, будет. Что-то кардинально случится. Госпожа амбракомбобер со вспышками строптивой и временами взбалмошной физиологии – само знаменье. Шутки кончены! – пора теперь ждать внезапности будущего, которое явится в рыданьях моих безутешных надежд, извращенным путем лишенных попутно всякой последней невинности.

То, что разразилось, даже разверзлось с госпожой одним махом, было мне глобальным и, по всей видимости, последним предупреждением, к тому же, чувствую ясно, китайским. Насчет всего остального точно не знаю, за китайское – ручаюсь, можно сказать, бьюсь о заклад последней своей отощавшею головою, так как отчетливо чую в себе массовый наплыв из личных глубин неподдельно китайского. И откуда что только берется? Неужели раньше я иногда китайцем бывал? Но где тому подтвержденье, раскосые аргументы? Все домыслы, домыслы, досужие вымыслы... Громадье во мне непроверенных фактов, которые, проверясь, наверняка уж стиснут меня с уютненького и тепленького местечка заведующего В. Володиным, по причине неполного соответствия занимаемой должности. Вот тогда-то и пойдешь китайцем за милую душу торговать на базар ради лапши быстрого приготовления! Тело ведь как семья, оно исподтишка расширенного воспроизводства требует, без пуза за душой в середине шестого десятка какой же полноценный, какой многогранный да и полнокровный можешь быть ты человек? И никакой В. Володин уже не поможет, блатное местечко В. Володина скоренько займут другие, более ушлые, дошлые, свободно владеющие компьютером и модельным телом, разобьют на специально опустыренной его территории танцполы и автостоянки, будут вместо меня получать шикарную по всей своей видимости зарплату, пользоваться залежными моими ресурсами, моими энергетически бедными, но все же руками, ногами, с той поры наотрез мне чужими, экспроприаторски от меня отчужденными, выведенными из актива. Произойдет жесточайшая в истории моего тела революция в доселе безропотном, не склонном к восстаниям организме. Придется собой порождать новый вид гиперболического человека следующей вслед за мной эры... ну или служить навозом для его взращиванья. Это ль не ужасы, это ль не усовершенствованные великолепно мраки?

К чертям собачьим выкинуть надо это неподеленное, вызывающе спорное тело, чтобы не множилась из-за раздорного обладания им все большая несправедливость и социальная энтропия! Пусть лучше ни мне и никому мое тело не достанется, даже не жалко, если вместе со мной, зато предотвратим массовую гибель последствий. Прижизненно завещаю самое широкое необладание мною. Тело мое, а ну-ка быстренько дуй давай в ничейную собственность! А может, его лучше в госсобственность

запихнуть, мимоходом и как бы невзначай туда сунуть, вроде б мусор выбрасывая? Там другие, более необтекаемые условия сохранности и опять же – социальный пакет, отпуск в положенное время не жмись – предоставь, профсоюзы под боком, с наготове дрожащими в гневе протестными кулаками.

Ну, каково, голубчик, быть бессобственным, чисто ли тебе, светло? Ничего? Вот и мне ничего, очень даже много в этом всего хорошего. Подобного ощущения яркой прибыли на пустом месте никогда не было. И это, заметьте, без всяких затрат и вложений в означенное пустое место. Миллиардные сразу поперли проценты прибытка! Боюсь, всю страну могу всем необходимым крайне замечательно обеспечить. И что тогда делать всем остальным, ставшим излишним для нужд населения населением? Куда подевать эксцессы сплошь массовой, проницающей наномиры безработицы? А от богатства свободного времени (коммунизм из будущего очень уж к нему тяготел, падок был на него и как высшую ценность расхваливал; належался, видать, там, в будущем, на отсохшем боку и вошел во вкус безвременного лежанья, дороже алмазов время ему стало мерещиться) в очередной раз богато, свободно с ума ль не сойдут? Да почему ж не сойти-то? Там, помимо ума, есть куда далеко идти. И соблазнительно. Своеобразный шик есть. Большие веселья встречают там, радости. В богатстве свободного времени есть многая прелесть дурных возможностей, ими грех не воспользоваться, тем более даром да опираясь на будущее, которое на нашей всегда стороне, деваться-то ему некуда.

Чувствую, заразила меня госпожа амбракомбобер своим решительным раздраем и скоропалительной одномоментностью враз всего происходящего. Еще в отпуск хочу по ранению, и на безбольную длинную пенсию, и отважного, бескомпромиссного климакса, и пылких моральных блинов! Ну, вот, все амбракомбоберские симптомы, весь извивистый набор прибамбасов и прибабахов налицо. Диагноз ясен: с сегодняшнего дня болен ты госпожою. Течение болезни: жалость, любовь, повышенная слезность личной влаги, беспредметно виновные ни о чем думы. Желаем выболеть до высоты нормально болеющего человека. Попробуй теперь сам изнутри собственной шкуренки, каково это быть преследуемой одночасьем амбракомбобер: вот тебе климакс, вот тебе дурной возраст, а вот и положенный выкидыш улучшенного образца; все честно, без обмана, полный комплект, свериться с накладной и подорожной. А то уж и страждать простыми чувствами совсем разучился, принять участие с долей сердца в пожилом человеке ему хиханьки все да хаханьки! Возмести также чувства, потраченные на злословье и зубоскальство: ты бедную женщину крадкими чувствами разорил. Лечение: пожизненное преклонение пред любой преклонных лет дамой, со временем перетекающее в безутешное, рыдательно-прикладное целование ее гроба и беспримесное обожание праха. Вот так-то будет лучше! А то думает, управы на него не найдем! Еще как найдем, расчувствованный ты наш, эмоционально, видите ли, безудержный! Совсем в эмоциях разболтался, неуправляемый стал, весь народ заляпал усмешечками! Смотреть на картину заляпанного тобой народа невмоготу отвратно, вой скорби и вопли отчаянья сами собой изнутри поднимаются, клочья волос самопроизвольно рвутся снаружи. Вот что ты сделал смотреть, убить тебя мало за это! Руки только народные марать неохота, а так бы лет двадцать тебя по-хорошему нигде не надо, давно пора выставить вон из всех существующих на территории РФ видений! Этим в ближайшие годы и займемся вплотную, создав для страны реальную и, что важнее всего, реально выполнимую перспективу. Главное тут – суметь дойти до каждого, найти понятные любому слова, идущие прямо к сердцу. Это надо во что бы то ни стало суметь, в обязательном порядке, иначе нет у страны будущего, потомкам нечем останется пожить хоть слегка.

И хотя бы оступочкой понимания не мыслит понять, покупая запредельно дешевые примитивные вещи, что приобретает мне всякий раз унижение, укрупняет его. Увеличивает мои и без того бедные чувства. И так-то весь насквозь издешевел, а тут и еще снабдят почти даровой, едва ль не пожизненной сверхдешевостью: носи на здоровье да радуйся!

– Но откуда же я возьму деньги на совсем хорошее? – в ответ на мой протест носить разрушающую меня противительную вещь.

– Не нужно было вообще ничего покупать, чем покупать дополнительные мне собственные неуважения и терзания. Не просил ведь я никакой покупки.

Всем бурно восстановившимся против меня молчанием мощно не понимает. И коснуться пониманием не желает. Активно дуется, будто я сделал семейно плохое, убыточное, подгрызал бюджетик наш втихаря. Старалась ведь, долгий весь базар обошла, ноги в прах обивая, немалое количество кривых до-

рог избывая. И выторговала-таки мне рубище, если сразу не поприще, на несколько рублей попроще.

На этом базаре я получился самый дешевый.

Сравним по цене с оберточной бумагой, славно, хрустко распрямившейся и трепещущей на ветру голой площади средь послевкусия уехавшего к едрене-фене базара. Туда ему и дорога. Впрочем, и мне в ту же сторону. Большая удача! По собственному мыслимому направлению можно скатнуться вполне бесплатно, и никто, ни единая душа в мире не заподозрит в тебе злостного, вульгарно не платящего зайца. Напротив, зайцем будешь ты вольнолюбивым, а при благоприятном стечении обстоятельств – и вольноотпущенным без плачевных последствий. Также можно и никуда не ехать: потрепещу с всхрустывающей чутко бумагой на сквознячке настежь открытой речи. Ну, что, бумажечка, пошуршим о чем-нибудь на долгоиграющем, вечереющем быстро ветру? Кто сказал, что сегодня мы дешевы? Тот сказавший лжец, его слова – истинная неправда. Мы по цене воздуха и простора стоим, нам с оберточной бумаженькой грант выдан солнечный и небесный, облачками благовидными день-деньской повитый. Давай, полетели, подруженька, расточать неисследимые наши богатства! (Отбывают в улет)

...Их нашли в обнимку на площади послебазарной. Они плоть к плоти лежали, практически единокровные. Бумажка хрупкой трепещущей ручкой доверчиво его обнимала за багровеющую средь заката шею... И насколько же трогательная, Боже, это была картина, невинная настолько, что никаких побочных ассоциаций не возникало! Ну чисто новобрачные на первопостели... Вот только пить меньше надо, особенно если это не первая твоя свадьба и не последнее твое гулянье.

Он писатель-то поведением ничего, приличный. Смирный писатель. И в печати проговаривается как надо бы проговориться, как мечтами и сном золотым хотелось бы всем поголовьем услышать, скоро понесут его средь восторгов на восхищенных руках. И публичные реакции у него ничего, похвальные, тремором гаденьким не охвачены, как у некоторых, кои от изобилья всего сказать трясутся заранее, постыдно в экране проваливаются, куда-то бесследно заваливаются. Он и в позиции львино красив, и в оппозиции неотразим изящной хищнической грацией. Гнев его всегда праведен и благороден, а любовь вполне вменяема и на любовь даже похожа, ее вблизи рассмотреть можно: да, действительно, это вроде любовь, мы, наверное, не ошиблись. Единственная беда: шибко уж неталантливый. Крепко бездарен, до неприличия. А иной раз и до жути. Оторопь берет читать его забористый и от этого по-своему художественный лепет, что немножко греет душу, но ложно, а та и рада, ей лишь бы погреться да взвиться.

На вид талантливым его сделало это замечательно, наглядно продажное время, прикидывающееся быть талантливым лишь для того, чтобы стать прекрасно купленным. Заметили ль вы: даже туалетная бумага ныне норовит выглядеть самородно. Не поленитесь, сходите в туалет не по делу, а искусства ради, обратите внимание лишний разок на самобытный, с усмешкою превосходства и подбоченясь встречающий вас рулончик. Получите массу впечатлений непосредственной, пренатуральнейшей самородности.

Он и приближается по уровню дара к туалетной бумаге. А может, и на порядок выше, ибо все-таки членораздельная, то сказуемая, то подлежащая речь.

Женская бездарность основной ее талант. А также и основной инстинкт, посредством которого она выгодно дораспродала и неликвидные остатки себя.

Но дело так-таки кончилось не по-хорошему, не захотело оно замечательно кончаться, строптивое: ей даже нечем стало проституировать, хотя бы по-легкому, речь ведь не о большом; не до жиру. Так подчистую все в ней раньше времени оказалось испродано, что и принадлежать ей в себе стало некому. Ну она и принадлежит себе на птичьих правах. На правах смутной аренды в бывшей личной территории какого-то наугад чужого человека, какой-то все время выскальзывающей, иссякающей, не нужной и ей самой ни на потребочку женщины.

Теперь она принадлежит себе по большому лишь недоразумению и проклинает всеми ужасами того хозяина, чьей собственностью вынуждена в себе быть, не являясь собой ни на малую каплю далеко наперед запроданной крови – ничейной, вероятно, водицы.

Вы также можете встретить эту потерянную женщину. Она часто ходит мимо.

Еще нередко попадаются в ловушку брака отдельные матерые, крупнокалиберные женщины, ко-

торым катастрофически противопоказано быть женой – по складу *неотдающейся* натуры.

Вот и из рассматриваемой нами в данном случае женщины в разумной, будем надеяться, действительности только и могла выйти немудрая, гибельных качеств, разбродных свойств женщинка. А в порядочном обществе она, между прочим, котировалась (кошковалась?) дамой ужасно высокого положения, практически ни в чем не доступной и уж точно не достижимой по основным параметрам, периметрам, по престижным позициям и индексу Доу-Джонса; про ее взаимоотношения с законами сохранения энергии и всемирного тяготения ничего не известно, сами законы о проделках ее первыми же умалчивают, что им чести не делает. Приплюсуем (поскольку этого никак не отнять) и как бы таинственную непостижимость, за которую в ней многое говорило, но очень туманно и косвенным боком, словно нашептывая из-за угла.

А постигается вот как:

Ей бы только членик приделать, и она враз бы стала на редкость отличным, безошибочным мужем.

Остальные данные у нее уже налицо.

Это было бы самое то: ей и с членом. То-то бы жена радовалась! Не надышалась бы на противоположное свое сокровище, борщей порывистых, счастьем сверкающих не наварилась, не наотдавалась потом средь безумных порывов ночей. Как жаль, что нет членика, хоть бы и небольшого, пусть для блезиру поверхностного. Но, может, со временем еще будет, счастливым стечением обстоятельств как-нибудь самозародится, сложится, влиянием настырного сокровения отрастет. Хочется на это надеяться и даже жить этим хочется вместо ненадежных надежд, норовящих все время не быть, а если и быть, то – сплыть поскорей иль не тому достаться.

Вот только единственное, что, к сожаленью, смущает: бесполезных, никому не нужных – за изъятием действительных дел – мужиков и без нее полно. Не оказаться бы ей в мужчинешках по-мужски бесхозной, во многом напрасной. И что делать тогда с наросшим ее членом? Не выкидывать же, облегчаясь опять до женщины. Нет, только не это! Членика жалко безумно. Ну иди, дама, в шахтеры или во флот, чтобы членику не пропадать задаром. Можно и, прикрываясь всесторонне штанами, в бесполые сунуться адвокаты. Все равно мы найдем ему применение. Невостребованность дамочкиному отросточку не грозит. Главное, чтобы дамочка была пробивная и всегда на своем месте.

Нужно с болью и голью банальности повторять в себе иногда очевидные, кажущиеся давно избитыми истины, чтобы не было этого пропажного ощущения, будто не существуют они уже, прекратили наличествовать, уставая смотреться напрасностью, выглядя мелкой лжецой.

Ведь истины очень легко умеют пропасть, не желая быть обляпанными людьми – скопищем и разнобойным, многоречиво разбойным гомоном. Гораздо легче пропадают, нежели все остальное, крепкое непробиваемой ложью, весьма целительной и полезной для утлых мозгов. Разве сравнятся с лжецой по стимуляции праздношатающихся извилин какие-нибудь несчастные, якобы жизнеутверждающие витамины, про которые даже нечего толком наврать?

Еда быстрого приготовления.

Вот и чувства такого же приготовления, им-то чего отставать, хуже они, что ли, едовой той шустрятины?! Нет, ничем не хуже, – иные чувства стремительнее всякой еды, никаким проворным модернизированным коврижкам, оснащенным цифровой технологией, не угнаться за ними, только те чувства и видели, только о них и слышали. (И погода перестала быть нам помощницей, устав бредить людьми, надоев себе ими: вчера передавали антропологический ураган в центре Европы – бурю чувств выдуло из человечества в равнодушно заглотнувшую их Адриатику; ищи-свищи теперь в образовавшейся дыре массу гибельную человеческого... Дефицит чувств мгновенно произвел удар по рынку, все индексы на бирже подскочили, как ненормальные, вздохнули с облегчением и заоблизывались спекулянты, незримые свои наточив топоры, не сладкоголосием прежним, а идеологически выверенным рыночным звуком затрещали не те соловьи, не про то замычали неузнаваемо сдавшие по всем позициям, потерявшие себя коровы, еле сохранившие верность одним удоям, не похожим на себя. Сделалось в центре Европы человечески ветренно и моросяще, гололеды великие пошли сквозь сердца.)

А важно, чтобы обед тянулся длинно и чинно, будто бы распростираясь в приемлющую светло даль. Да в большой, неторопкой, медленно обвыкающей жить семье. Да в неспешно тянущейся, как бы волшебно клубящейся вокруг, человечно обволакивающей беседе, с переспрашивающими и уточ-

няющими – всесторонне утончающими – словами.

Тогда и чувства сделаются нескорого приготовления.

Век не разукрепишь такую семью. Не разукрупнишь.

Нескончаемо всего в ней для всех хватит, неистончаемо. На семь поколений вперед, на семь поколений назад. Вся жизнь за одним столом целиком усядется.

Какая же может быть жена, если она стремится не быть дома. Стремит быть свою вне дома. Где-то явственно, очень заметно для чувств ускользает. Где-то все избегает, чувствительно так пренебрегает.

Если лучшее время ее теперь стало – всегда, так легко всегда вне дома, без дома. Если приходит сюда лишь сказать: смертельно устала; нет в тягостных сумерках комнат ни одного неусталого, не измученного дневной немоготой вечерочка (даже под диван ни один такой свеженький вечерок не закатился случайно – чтоб достать его длиннорукою кочережкой и, наскоро сдув с него несущественную пыль, употребить для наглядного пользования, для взаимного вчувствования). И ускользает опять из всех самых обыкновенных и неоспоримых присутствий при первой ускользающей, рвущейся вон и вырывающей ее отсюда возможности.

Какая же это жена, если ее постоянно нигде нет? Ни в скудомыслых, но отзывчивых призраках старавшегося чутким быть дома, ни там, где она пытается тщетно присутствовать, совершая насильственное усилие над собой, мелькнувшую тотчас натужку, – чтобы казаться предельно здешней, полной неотчужденной, предупредительно вслушивающейся плоти: она вся – внимание... телесный вопрос в натурально тельную величину, принявший ее утомленные очертания беглый, хмурящийся от вечного недовольства вопрос, тут же и провалившийся куда-то в забвение: не на чем в ней вопросу держаться, не обо что опереться...

Безмолвствовали и ее произносимые в никого слова. Совсем, казалось, не произнесенные, пусть они и создавали некое подобие, некую иллюзию женоподобного звука и чуть, призрачками лишь, теплились в мягкой и округлой, доверчивой тишине неприязненно вдруг отшатнувшегося вечера, в ущерб себе и с несвойственным ему тщанием старавшегося быть иногда женственно нежным, ибо вечер чувствовал острую нехватку здесь всего женского и старался хоть малость все поправить, неуклюже перенимая на себя некоторые свойства женщин и способы ведения домашнего хозяйства.

И теперь он, терпеливо оберегавший дом в одиночку муж, стал уставать больше от ее отсутствий, чем от нее самой, кое-как, небрежно присутствующей, которую мог уже замечать мало, не принимать сколь-нибудь трепетно во внимание. Теперь, не выбредая из кухни или разместившись прострационно в кровати, он и сам стал отсутствовать с долго искавшим впустую и таки обретшим его удовольствием, находя в этом отсутствовании что-то небывалое, очень острое по пронзительно точным своим ощущениям.

И вечера сделались пустее сторонящихся друг друга взглядов, а раньше они были как взгляды, ни больше, ни меньше... Все здесь было некогда вровень, а зачастую – всклень... Тихо, ручьисто речисто сплескивался миротворный избыточек вечера в светло льющуюся рядом, в неком вечном солнышке пролегшую душу – не понять, свою иль родную... души часто впадали друг в друга, и эта путающаяся и теряющаяся в двух именах река не знала, как себя называть, чьей, какой ей быть-утекать в домашние дали незримо... И не было ничего лучше на свете той подспудной, двуименной реки, но со временем они это очень просто и почти случайно забыли. Их объяло теперь что-то другое, чему названия не было, но было оно сильнее и безымяннее их прошлого, незаметно превратившегося во все остальное, забвеньем сметенное столь бездарно, что лучше бы никогда ничего такого ни с кем и не бывало: небывшим оказалось бы оно все равно как-то действительнее, чем семейная эта картина после жизни и после забвения.

Что для писателя есть содержание его, так сказать, написаний?

К нашему изумлению, очень и очень малое, до абсурда ничтожное. Отношения его с, так сказать, собственною женой. Как шибко она на него взглянула с утра. Ее взгляд застрял и увязнул в нем на целый день, и его никаким ножичком задушевным не выковырнуть, не стереть никакими взыгрывающими на внутренней стене воодушевления огненнозвучными и златопляшущими письменами, напрасно они ликовать взялись: взгляд жены с утреца зудит да зудит сквозь напряжение мысли, сквозь огни эти и многие воды, перетекая смотреть и в медные трубы – интересно же полюбопытствовать,

как они, блескучие гордые трубы, себя там чувствуют и как сумасбродно в дальнейшем себя поведут, только бы дальше дома не забредали, а то как всегда получится.

Утренний пришпоривающий взгляд жены, и только – а больше в его самомненных творениях обычно ничего нет, отродясь не бывает. Даже если бы пылко он захотел, настырный, творчески изворотливый, а подчас и вероломный, – ничегошеньки ведь не будет: охолаживая присутствием, женушка внезапно каким-нибудь скромным чертиком памяти возникнет умозрительно из-за мыслимой спины иль из вообще непредсказуемых, никакой и гениальностью не проходимых мест – и все за него так и так ляпнет, в двух словах сухо обскажет (куда катиться тут развитью сюжета? дальше ему и катиться-то враз становится некуда, как отрезало). Хоть бы и наоборот или еще как-нибудь по-ихнему противительно, то есть точным образом по-женски, близко уже к чертовски и к понимаемому предельно, а то и запредельно – но обскажет, непременно обскажет невозможным самым путем и глаголом, строго и сжато, само сердце обращая в избитую схему и в дважды двачетыре, из которого до ночи не выляпаешься, завязнув коготком и всей птичкой в себе пропав. Тут уж распоряжается злодейка-судьба, легкомысленно кем-то вложенная во взгляд и слегка в уста проходящей мимо утренней женщины, которая суть глядящая про тебя, писатель, жена. Она по тебе, по тебе звонит так и разлившимся в ее набатном взгляде колоколом!

Это ему, наивному письмоводителю, только фиктивно кажется, будто он стряпает цветистыми стилевыми изысками, скажем, восход умытого росами солнца или самой чистотой тишайше синеющие незабудки, что, весело переглядываясь, философии набираясь, преспокойно себе бытуют под мило и покровительственно лыбящимся небом, – а на деле-то, на деле он подневольно стряпает о том, как косо, одарив на бреющем полете абсолютно не известным в мире чувством, посмотрела на него с утра начинающим взглядом жена, в один миг приначав его с белого совершенно листа, предварительно в чем-то неплохо прикончив. В действительности-то у него из-под пера или из-под какого другого пишемечущего инструмента выворачивается прямым махом натуральное утро стрелецкой казни, в сидячую величину. Фото в фасадном и профильном разрезе помимо воли своей прилагаем.

А если жена с утра ничего вообще не взглянула, брезгуя зрением прикоснуться (постится, что ли, она сегодня иль мыслью какой ушиблена либо, напротив, чересчур несома... унесенная мыслью?), даже и не сочтя тебя пустым местом, требующим все-таки некоторой траты ее подкрашенного для народных нужд, траурной рамкой подведенного взгляда? Вот тогда ничего невозможно хорошо и напишешь, будучи сполна удовлетворен ничегошным пустяковым собою, исподтишка нарадован и с музой тайно повенчан, а заодно уж к тайне, для приватного углубления в себе эксклюзива, – всенародно скрытно облаврен, будучи дико востребован. До момента, пока не вернется надлежащая тебе супруга – она примет срочные меры, возвращающие куда надо. С этой минуты жизнь пойдет совсем-совсем по-другому, жизнь, блажившаяся доселе легкой, невесомо несущей себя пушинкой, предстанет совсем иначе, вероломно прикидываясь не твоей и в особо ответственные моменты кощунственно от тебя отрекаясь, исхищренно палачески над тобой измываясь. Сразу видно: заискивает продажная жизнь эта перед владычицей души моей, что в прихожке, как бы всемирно бряцая на лире, сладкозвучно гремит снимаемыми каблуками... которые, наконец, о Боже, куда-то падают со звуком опытно разлученных с телом голов, отчлененных изящно, с трепетом большого искусства. Чистая – ничего не скажешь – работа! – только и вмямлишь в себя это, от трепетов полуживое. И поскорее опять куда-то в свойскую тмутаракань иль чухлому забьешься, подальше с торных путей ее заблуждавшего уже в поисках тебя неизбежно, взорлившего про особу твою взгляда, чтоб глаза половинины тотчас же не начать мозолить с отрадой, многим не знакомой.

Так и творим во многих радостях и упоеньях, во многих полетах. На что-то еще грех жаловаться. Это было бы откровенным зажирательством и свиноватым отношеньем к текущей мимо действительности, а также преступлением против человечности и мира во всем мире. В преступлениях на дальнейшую вселенную честь и совесть все-таки имею не распространяться. Благоразумие так-таки иногда проявляю, одерживая немыслимый верх над собой. Возьму самовольно и вдруг проявлю это самое благоразумие, под видом вероломного нападения на дремлющее в сумерках человечество, не к ночи оно будь, естественно, упомянуто. Немножечко и оттянусь на человечестве, пока оно не очухалось и не взялось со мной заниматься тем же, чем я с ним в сумерках занимался, средь наслаждений виясь и танцуя. Так и отыщется само собой взаимопонимание, долго прятавшееся от обоюдного топота и другой порядочной невменяемости.

С ручкой наперевес я в кущах бродил на бизонов и тигров широкоформатных. Под видом объемозахватной охоты на них в формате 3Д и выискивая новые достопримечательности умозрения.

Несчастный проходимец, еле сам уцелел, еле вызволил себя из большой охотницы до меня – приятной в отдельных поступках своих и сладкоречивой пропажи!

Выохотил, едва уволоча словоохотливые ноги от бизонов и их взбалмошных самок, какую-то вполне полудохлую, но чрезвычайно живо, прыгуче обличающую существованье мое козявку, – она, стервь животная, искусилась меня вдрызг искусать, с явно далеко идущими намерениями покуситься на жизнь мою всеохватно, без кусковых изъятий и крохоборных этих ущипок, дабы выставить меня больным на всю голову на всех личных фронтах, где якобы с подавляющим превосходством преобладаю и преобладаю, успешно продвигаясь на немыслимых даже стратегических направлениях и высотах, отхватывая валяющиеся даром плацдармы. Ага, держи карман шире, прям разбежались они даром валяться! Нужно под прицельным огнем сотни непереправимых летейских переправ одолеть, подкупив особо лакомыми кусками жизни массу хватко усвоивших науку взяток Харонов, влить в реки целую гибель рек срочно наработанной крови, по законам военного времени увеличив с помощью алкоголя селезенку, а заодно и печень до масштабов нефтеперегонных заводов, сходить не в одну рукопашную против тьмы превосходящей твоей, стать трижды Героем Советского Союза в прошлом и четырежды Героем России в будущем, быть сезон кряду стойким, неподкупным отказником высосанной из крови трудящихся премии не то «Нос», не то «Сон» (что сей сон в переводе с олигархического значит? на следующий год уж, верно, меня не хватит, придется сломить сопротивление своего отказа и премию из благовидных рук принять, позорно на всех направлениях ей предаться, будучи наголову разбитым, дочиста выплаченным по всем репарациям), прежде чем овладеешь каким-нибудь стоптанным и изрядно занюханным земным кусочком, при первой же встрече бросившимся оцарапывать тебя заново в кровь (нашел наконец-то на ком отыграться!) и оказавшимся при ближайшем рассмотрении ни на что напрочь не годным, – вот его-то скрепя сердце и отдашь критику даром под жизнеутверждающий хвост, больше сунуть что-то некуда, как-то мест никаких не стало. На хорошее дело и последнего ничего не жалко, на, критик, и рубаху на ветошь, для протирки и генеральной уборки литературы, которую он правильно делает, что так строго, в резвости неотлучной блюдет в чистоте, грязнуля патлатая никому не нужна, это будет чистой воды бомжиха, а значит, и неформат пошарь-пошарь – и рядом найдешь... ишь угловатый и колючий какой, не зря в нелюбимых ходишь ты, доходяга!

Чуть я отбился от уцеписто въедливой той добычки, ни дна ей, ни крышки, ни высоких, голубыми очами повитых глубоких небес, ни животного царствия небесного на ближайшем к нам свете; потом куда-то в дичайшем забвении внезапно забился и с испугу уснул мертвым сном на только и ждавшей того незаунывной моей кровати. Еще и не проснувшись и ведя данный репортаж из трепетных сновидений, заранее дрожу теперь шляться по охотам в формате 3Д и в прочих гиблых литературных местах без форматов. Пусть там лучше кто-нибудь другой ходит, а среди меня дураков не ищите, ничего такого найти не представляется возможным, бесполезно рыскать во мне на предмет дурака – от краев тех я отпугнут надежно, буду краем непуганых идиотов пребывать от них в безопасной дали, упиваясь в тайнышках нехищными прекраснодушными расстояниями, купаясь вместо удовольствий в вечернем немеркнущем свете и противозакатными мазями умащенных далях.

Вот вам и записки охотника в натуре! Так-то дела хорошенькие обстряпываются! Да добро бы еще, если б дело этим и кончилось, можно сказать, благополучно, с невеликим уроном закрылось. Ан обязательно же, ну просто всенепременнейше попадешь в продолжение следует или куда похлеще да содержательнее, например, совсем в другую историю, а мне даже непосещенными и непрощупавшими меня докторами предписан, чувствуется, строгий режимный покой. У нас без последствий (ну и подследствий конечно), плотоядно щекочущих нервы и прочие попавшиеся им окончания, что-то никак не обойтись, на пьяной козе те неумолимо грядущие последствия самым роковым образом не объедешь. Так уж оно водится в палестинах наших. И пойдут сквозь тебя где лихим чередом, а где дуриком-самотеком в свое удовольствие, – и пойдут, валом повалят корявой шатучей толпой мировые пожары в крови, этапы, заставы с подставами и браво встречающие пересылки с редкостными человеческими, бравурными в основном экземплярами, также иное комплексное, как обед, российское пресодержательное, цопко тебя стерегущее содержание (венчаемое пышными похоронами вживую, так как конец – всему делу венец, иначе нельзя, не поймут, не оценят). И ярким, захватывающим

финалом, ослепительно блистающим девственной чистотой, – поражение, понятно, в правах, вне поползновений на переписку. Без поражения быть никак невозможно, не положено, ты это у нас брось, штучки тут шушера всякая нам будет выкидывать! Очень крепко не понять могут. До последков души оскорбятся. Возмутятся на свежем воздухе прокипяченным хорошо отказом. Скажут на наличность твою устало, взбычась, щурко жмурясь, глазами тебя до ужасов преисподних в один миг и взращивая, и сужая: а ну-ка выйди из глубины народа на три шага вправо и влево вон, ты, гражданин исчезающий, просто несносен и невозможен при попытке к бегству! И попрут из тепленьких масс населения, где только-только пригреешься в сторожах, будочниках-теплушечниках или перепрятанных даже от себя далеко и позабыто куда нахлебниках, шевеля разомлевшей от народного счастья ногой, потихоньку ставшей тоже вовсю народной (благодарствуем, отдавая при этом дань личной проворности, ловкой и беглой приватизации разбросанных как попало средь населения внутритолпяных тайн – они хуже неприбранного дерьма там валяются; пока по народу идешь, все ноги о твердолобые тайночки те вдрызг посшибаешь: воистину непроходимый лунный ландшафт из сокровений народных взбугривается под стопами, норовя и тебя ответно взбугрить, для несенья повинности священного долга искусства).

Оказывается, поохотиться в охоточку словом – это дело у нас, в бесконечно охотной России, уголовно уже наказуемое. Как быстро все стало! Не успеешь оглянуться – а на незримых скрижалях уж начертана припасенная к твоему случаю статеечка уголовного кодекса, невзирая на то, что статеечки так быстро не пишутся, ежели не сподобились они быть газетными! Как незаметно у нас охота сделалась пуще неволи, Боже ты мой, бессмысленно всеболящий! Даже и поймать себя на том как следует не успеешь – а ты уж из добытчика перескочил прямиком в добычу, там теперь устроив беглую базу личного пребывания. Только тебя и видели, мелькаешь вдали в мгновение ока отросшим неугрюмым хвостом, медленно рассеиваясь из охотников, как пороховой дым, в том месте, где, с грехом пополам из тебя выстрелив, твоя погоня необратимо переменилась на личное бегство...

Н-да... Поохотился, называется, на свою голову, ища приключений и на другие места организма, не просившие развлечений, а физиологически тихо помалчивавшие, безропотно держась в сторонке... Прельстился вольной добычей и ее дармовщинкой... (Придется предъявить для реальности окровавленный самоличный трофей, какую-нибудь стреляную парочку озайчонных и скукоженных дробью В. Володиных, а жене, коль она случится, на кровавую морду свою сказать, что шпана до карманов моих домогалась, но не туда невзначай попала, рукосуйно ошиблась местоприкладством, так как я посылал не по тому адресу.) А посмотреть другими глазами прозрачнее да желательно еще и не с той стороны – очень свободно схлопотал себе прежде времени камерный, точно музыка, срок. Разжился, так сказать, на досуге отличной сумой и не менее лучшего качества, с учетом последних новинок маркетинга, верно, на экспорт произведенной тюрьмой.

А вот нечего было дуболому соваться куда не след да еще и в семантические чащи так называемого леса! У нас леса просто так не стоят, якобы тихо-мирно лишь произрастая, иногда самопроизвольно вырубаясь, в пылу странных причин сгорая, – они наверняка мыслят тебя посадить или заказать, чтобы освободить себе место добычи под солнцем и самим под шумок стать заказниками. Впрочем, я слишком легкомысленно пиарю эти тотчас умолкаемые на моих губах леса. Как бы мне диким боком мое лихое пиарство не вышло – леса ведь могут в отместку черным-черно пропиарить меня прилюдно, на все население вусмерть, под видом лесинок мне к тому самому, но пока еще мало родному и бездомному гробу. Вы же знаете: за просто так, широтою сердца пропиарить сейчас кого-то – самое ужасное на свете и совсем уж пропащее дело, нельзя никому давать лишней дороги. Нелепее да неуклюжее такого дела только я один умею хорошо и грамотно быть. На том и рапрощаемся, чтоб не надо мне было в напиаренный гроб далеко ходить, а то слишком вами увлекусь в неизвестность и точку невозврата минуя. Разрешите с максимально обладаемой мною теплотой поздравить вас изо всей что-то растолпившейся и толкучей сегодня души (не беленцы ли какой иль массовки зевластой она хватанула?) с выдающимся праздником сердечных мук человечества – Днем добытчика и вольного налогоплательщика. Отпразднуем, брате, горе сие. Вытрезвитель, исправно нас пользующий, в честь народных гуляний услуги свои прикрывает. Побудьте бесхозными, вам к этому не привыкать.

Есть замысловатый и прихотливый сюжет, есть некоторая живость, есть полубезумные признаки той самой литературки. Но все сочетается необъяснимо в неизъяснимую мертвость, даже и эта самая

помелькивающая живость. Сей вымучавший из себя автора автор явно обладает каким-то могущественным, четко вымершим антиталантом. Он, как никто, умеет живое сделать надежно, неповторимо и необратимо мертвым, пуская процесс на умеренных, мягких рессорах. Вы и не заметите, как прикатите прямиком в смерть, причем в самых комфортных, объявших вас ровно бы мехом условиях!

Считаю его первоклассным мастером, бесподобным творцом небытия. Изумительный столяр смерти, наверное, краснодеревщик. Такое практически никому не удается: в сущее мгновение все вокруг обратить в новейшее состояние смерти – и едко наблюдать из нее самому неприкосновенно живым... ну, может, лишь чуток сдохшим, с умеренно скромным трупным душком.

Во всяком случае, вон он... вроде б шевелится... а шоволится-то уж точно и даже смело можно сказать – поползывает. В этом ему отказать ни у одной из смертей духу, пожалуй, не хватит. Да и совести тоже, – ведь смерти в каждом мгновении весьма щепетильны и очень ответственны за тех, кого они приручили.

Целиком вымышленный писатель. В разумной действительности такого автора нигде нет, не наблюдается. На довольно теплом и нервно взбухающем иногда месте, очерченном дрыгучим его силуэтом, словно бы должен быть какой-то натуральный, четкого лика писатель, но его пока нет, вживе он не написался. Под именем вымышленного (или умышленного?) ходит со всей очевидностью кто-то другой, ему невзрачную самую крохотку не хватает чего-то, чтобы обнаружиться и стать неотвратимо собой. Возможно, пушинково легкой частицы отсутствующей сущности, возможно, краешка ускользнувшего мгновения. А может, какого-то вообще ничего.

Ощущение, что он, неподменный, вот-вот изъявится, неотвязно. Однако он громадный пустынный срок все никак не настает да не настает, вымучивая нас ожиданием, переводя в пустую трату десятилетие за десятилетием, – это времечко могло бы ведь быть чьей-то хорошей жизнью лучшего употребления, львиной долей ее и фундаментом.

И таких писателей до кондрашки много мелькает. Без малого все. Тут речь уже о сплошь и рядом. Займут ли их место когда-нибудь настоящие писатели, решительно, безоглядно отодвинув призраков в зардевшиеся тотчас от смущенья сторонки (призрачки, выходит, были с примесью пачкающих поддельных красителей)?

Разгадкой этого жизненно чрезвычайно важного вопроса и займусь в ближайшую сотенку жизнеустроительных лет. В частности, следует выяснить со всей беспощадно-разоблачительной определенностью, кто так долго, беспардонно и невыгоняемо скрывается на моем месте, красочно и самозабвенно наглея взамен меня. Кто воспользовался моим мало запятнанным именем для веселой и легкой проституции основ русского языка, из словарного запаса устроив целый публичный дом с междометиями по вызову, безудержно развратными подлежащими, безответными сказуемыми, с мясистыми тетками сложноподчиненных предложений для массажных салонов и причинным отродьем сверкающих саун? Эх, попался бы он мне в мои лихие да пылкие в иных случаях руки...

Или же это я пользуюсь бездарно чьим-то неприкосновенным, давно зародившимся именем, которому глубоко отвратительны мои чужие и беглые, но довольно приставучие прикосновения, и оно, взбрыкнув, вот-вот сбросит меня в пучину копыт, летящей земли и сладкоречиво зовущего вернуться к нему забвения (оно, дескать, все поймет и простит)?

Во всяком случае, никогда, ни под каким льстивого маслица подливающим предлогом не верьте, если услышите это эксплуатирующее вашу доверчивость имя: В., так сказать, Володин (какую же наглость надо иметь, чтоб такое иметь!). Это только так сказать, а на самом деле – ого-го, темные и дрызговатые дебри. Никогда не верьте, что это и впрямь может быть В. Володин, даже если воровато и сладкосбыточно, в общем, прямиком рыночно выдающий себя за него человек будет плюсовать вам под нос еще и отчество или целое сразу отечество: они точно уж наносные или троекратно подделанные генералами местных аидов подземных. Предостерегаю вас как человек, в опасной для жизни близости находящийся с этим типчиком в контакте, который год от году становится все темней и сомнительнее – окислительный или кисляйный какой-нибудь взялся, похоже, идти здесь процесс. А с процессами лучше не связываться, все равно не выиграешь, даже и химический процесс, без уморившего ваш кошелек адвоката, что поведет к уморенью качества жизни и дальнейшему порочному кругу с благоотлучно защищающим ваш все более уморительный кошелек адвокатом, неизменно и

единственно свеженьким, как константа, которая внушает сверкающую впереди надежду, что не все еще в этой жизни потеряно.

Больше того скажу, как точнее и надежней других тем авторизованным негодяем напуганный: только увидите где-то на краю горизонта чуть замерцавшего (любит прикидываться расплывчато маревом) так называемого В. Володина – безотлучно и без дальнейших проволочек наводящих вопросов бегите, вам же выйдет дешевле. Только бросится в глаза со страниц это, с позволенья сказать, имя – намертво органы зренья захлопывайте, прикрывайте немедленно эту лавочку чтения, лучше всего вплоть до второго пришествия. Вам же выйдет живее, смеем всей смертью надеяться, дабы неотразимо вас уверять.

Горелик – его запасная огневая фамилия. На всякий пожарный. Но есть и основная: вечно наш дотлевающий Иванов. Однако в последние десятилетия выгода так запуталась, попутно искрутив, переставив внутри и самого человека, что Горелик стал основной фамилией, прочно вышедшей на передний план, а Иванов – безудержно проходной, на уличные случаи жизни, на всякие мелкие возгорания и дать прикурить, чтобы все равно потом получить во что бы то ни было по мордасам, для профилактики улиц и пространственного укрепления иммунитета. Доставалось этих подзаборных впечатлений и Горелику, так как у нас бьют по морде, а не по паспорту. Морда-то была одна на двоих с Ивановым. Общая, коммунальная была мордаха, хоть он усиленно забывал об этом и вспоминать ему приходилось уже с синяками, внутренне присущими, неотъемлемыми. Чистая имманентность была, а не пошлые, распространенные в этой стране в качестве разменной мелочи синяки, чем Горелик всегда отдельно в себе высоко гордился, внутренне себе присущий.

Был наследственно редкостный Дуреев, стал для смягчения нравов Смирнов, юридически пойдя по взаимному согласию на сговор с противным государством, которое исторически любило давать истерически похабные клички. Документально засвидетельствован теперь необъятно бессчетным Смирновым, который водится в каждом подъезде.

Вот эволюция. Хотя как Дуреевым был человек, так на редкость Дуреевым и остался под видом мелькающего в днях человека, эта величественно звероватая фамилия не врала и врать не любила: во всем была извеку основательна и дотошна, любила одергивать. Бог весть кем помирать будет, но Умновым (был такой ориентирный прораб духа в перестройку) помереть ему вряд ли грозит. Ничто на Умнова в нем не указывает, не ведет даже покинутую и заросшую дорогу к нему. Сейчас у видоизмененного в Смирнова интеллектуализированного особя раздумья над кощунственной и превратной природой человека, готовые вылиться в новое направление полевой антропологии (прежде Дуреев был основоположником железнодорожной психологии, которая как-то рассосалась внезапно от него самого; не туда, наверно, и без него уехала), невзирая на то, что никто и знать не знает, и духом не ведает, как бывает такая шальная наука, которая шпарит научным аллюром по разрозненным тылам человечества. Будь он неразбавленно одним Дуреевым, ни за что бы до новых направлений не додумался, а тем более до изворотливой науки по имени полевая антропология – эта штучка очень и очень себе на уме и все в прошлом прячется. Полагает наивная, что там ее никто не найдет, кайф оставят ловить в обожаемой ею безвестности. Ан тут и Дуреев, прикрываемый для светомаскировки Смирновым, на поиски выдвинулся из засадных слоев населения. Теперь ей не удастся легко так пропасть. Смирновым предводительствуемый и разжиженный в нужной мере Дуреев ее введет усмирительно в осмысленные ворота, вставит неразумную в стройный хор наук, чтоб она тоже запела пронзительным своим голосишком, пока ложным, довольно противным. Но с припевами у нее уже все нормально: голосит с лихими ухабами, любит непроезжую часть песни до обмороков, как личных, так и приговоренных к слушанию. Дуреев ежедневно проводит с ней пытливые спевки. Под его эмпиричным мучительством ей придется все-таки голос свой заиметь.

Дубинина вышла замуж за Тупицина. Это правда. Неотклонимо причем сущая.

Физический химик Тупицин женился на общей физичке Дубининой. Так изредка, но бывает.

Оба смеялись глупости удачно дурацкого положения: одно дураковатое не минуло другое, дабы полноценно слиться в семью: ничто придурошное на сторону не ушло, до последней крупицы их достоянием стало.

Это было в нашей до сих пор глупо еще цветущей где-то далеко-далеко молодости, для чего-то старающейся подозвать ближе. Зачем? Она все ведь сказала.

Никогда уже больше Дубинина не выйдет замуж за Тупицина. Никогда этого больше не произойдет.

Все умные до невозможности стали.

Мне печально ныне от глобального поумнения населения и повышения интеллектуального уровня брачующегося периода.

А Дубинину с Тупициным жалко – они живут счастливо в браке до сих пор, отрастив для государства и прочих его подсобных нужд двух физических химиков в лице сыновей и одну физичку твердого тела под видом дочери; физичностью их семья теперь на много поколений вперед насыщена. Вот на это у них ума хватило! Нет, все-таки жалко Тупицина с Дубининой, нестерпимо жалко: каким же безмерно напрасным делом они заняты – быть всю жизнь друг пред другом счастливыми! Глупое, бездеятельное дело, лишенное элементарных признаков государственности и самой простой гражданственности! Приволочь бы эту семейку к ответу за несоблюдение глубин социальности. (Извращений полные, юридически изгубленные, далекие от правового совершенства, но близкие к беспределу мысли иногда приходят в клетчатую голову охранника, словно бы эта голова и на малость не была никогда моей головой, унаследованная не генетически, а в форме передачи частичной собственности, по ходу дела к тому ж уворованной, от какого-то удрученного революционностью памятника, по болванному и остаточному принципу, как и принято волокититься с любым культурным наследием.)

Я Тупициных видел спустя тридцать лет и три года. И выглядел как ненормально свалившийся на них круглый дурак: в урологии охранным образом я лечил свою чем только не измордованную и не изгвазданную совесть, а они проходили мимо кто с хорошим пузом, кто с заветным еще животом, удивляясь, что в охраннике стоит тот самый Володин – минус тридцать лет, а три года – псу давайте все-таки отдадим поскорее под хвост. Животное тоже надо всесторонне уважить. Оно ведь со мной почечный объект средь ночей точным и нежным чувством своим охраняет. Я же только гавкаю, псовы чувства озвучивая. Да и то главным образом на луну, которая точно уж во мне не повинна, так что пени собачьи шлю госпоже небесной я со всей очевидностью зря.

Весь долгий остаток ночи от луны возвращаю свой лай восвояси, времена коротаю. Но ко мне возвращается лишь мой долгий остаток ночи, томительно меня никуда, ни на что не истрачивающий. И как тут охранником быть? Ну, как-нибудь между делом будь. Положение и форма обязывают в беспрерывности быть лицом государственного или около того значения. Тут и не захочешь, а будешь. Даже как-то помимо себя. Все вольней и вольней. Негласно запевая прилипшую к груди песнь не твоего рассвета, за который ты в ответе, так как рассвет, наряду с огнетушителем, тоже больничная собственность, хоть, по всем признакам, и не урология. (Встает в указующую позу памятника, изображая солнцу непререкаемо, в какие ворота ему въезжать на территорию неразборчиво дремлющей про меня больнички. Сейчас мы это небесное транспортное средство проверим и скорей всего завернем: возникнет проблемка наверняка с документами.)

Бессонная голова мне сегодня досталась от памятника зачуханного, пошедшего рваной рытвиной Ильича откуда-то с оголенной до космично выстуживающего скверженья в душе площади из такого далекого, что вряд ли и существующего райцентра. От болванного, типового памятника, давно проклятого и отвергнутого окружающими деревьями и редкостным безлюдьем этого неприкаянного райпустыря, заброшенного, в свою очередь, еще в ту дырищу, даже по космическим мерам, наверно, непревзойденно черную. Так тебе и надо, за дело попало, думаешь иной раз, сощуренно поднимаясь над рассветом рукоблудящим в пространстве Лениным в пронзительно мятых, но не менее от того капитальных штанах «Строй-Реставрация-Щит». Говорят, со следующей смены вменяют в обязанность по рассвету насмерть стоять здесь Сталиным. Откуда же взять мне столько красивого рукоположенья, трубок, усов и осанистых государственных поз? Где добыть, наконец, столько человеколюбивого людоедства? Наверно, из Сталина и придется уволиться. Пора все-таки остановиться, на Сталине поставить в себе жирную точку, пока дальнейших дел не натворил, умывая народы кровью. Напрошусь к Тупицину и Дубининой пробирки соблюдать в чистоте и обеспечивать мысленное сопровождение – под видом неусыпной охраны – физхимических экспериментов; они с удовольствьем меня на пробирки возьмут, по старой дружбе с руками оторвут и с ногами. Так и пройду постепенно, начиная в себе с химических процессов, нравственное поэтапное очищение от прежних своих палаческих

действий и политических поступков предшественников, уже потопивших меня в восстаниях личной моей крови. Да вот беда: потом опять, лязгая от возмущенья всем подобьем скелета, придется возвышаться по карьерным ступеням, средь неприметности химреакций не удастся неприметным побыть, отсидеться в тишке от окружающего. Скажут: что-то он подозрительно долго в неорганическом мире засиживается, уж не намыслил ли там взбунтовать? И примутся выковыривать меня тупой отверткой из всех химических реакций кряду, чтоб поглядеть на мои шикарные шалости, убедиться наглядно в широких моих и, наверно, красивых, завлекательных очень злодействах. Пусть, дескать, побудет лучше натурализованным в зримость начальником. Все присмотра за ним будет больше, а безмозглость должную мы ему обеспечим и взятку, так уж и быть, в особо крупных размерах дадим, на жизнь он мигом у нас жаловаться перестанет.

Ох, уйду я, уйду в спасительные наномиры, чтоб ни одна собака до меня не докопалась! Завтра придут с объекта менять, а я, глядь, наноподзатерялся, лишь мятые штаны «Строй-Реставрация-Щит» одиноко и беззащитно нестройной кучкой валяются, избежав наконец-то меня, досрочно освободившись. Надеюсь, моя потеря пойдет дальше и глубже самых тонких химических реакций... Одни былые мои глаза лишь тут где-то витают. Тоньше их теперь только я бываю.

Мрачная душонка: в ней даже карасям тошно водиться. Избегая собственной тошноты, караси видоизменились в утонченно высокоотвратных жаб. Жабам-то не тошно, они привычны, им не впервой. Для этой гнилой и цапающей прохожих дурным запахом лужи они оказались – самое то. Мерзости совпали в четком, единственно возможном сочетании гармонии, в стройном хоре отвратно темнящих светил. Остальные сочетания вели к куда более худшей гармонии и небывалым видам животных. Они тоже получились. Пойдемте глянем на них для удовольствия ужаса... Зачем же вы не туда в туалет ходите?! Вот куда мрачная душонка законопатила – в непредсказуемость малой нужды... А что может она с нами сделать, когда нужда будет большой? – Даже думать мысль отвращается и сразу канючит пустить ее до ветру.

И замечательно, что я активно незаметен в литературе, иначе был бы чей-то припасенный к случаю лишний штык либо идеологически выверенной рынком затычкой, которые вспоминаются для существования и выводятся из своего небытия, когда надо пощекотать какого-нибудь особо зарвавшегося противника, зашедшего пописать (ударение двояко) на прибыльную территорию и заедающего там чужой век. А я не хочу быть ничьим оружием. Стреляю все сам по себе и желательно – в белый свет, как в копеечку. Такая пальба и дает в основном наивысшую точность попадания, – проверено на себе. Иной раз так напалишься, наохотишься, что три дня потом среди хлябей душевных себя ищешь хотя бы в виде паленого трупа.

Это же прекрасно, что мой голос не громче несмелого пуканья! Я мир точно уж не распугаю. Не потревожу личностным угнетающим звуком (только этим негодяй и занимается; все уши сутью трескучей своей подло нам прожужжал, проелозил. – Прим. чит.), который обычно так любит насиловать окружающих, мня лишить их непрерывно регенерирующей социальной девственности, а она вновь целехонька и является, а он вновь ее угрюмо и надсадно лишает, трудясь над излишками общества. Так рабочее место и обеспечено, у пособия по безработице нужда во мне легко отпадает, что не скажешь обо мне применительно к пособию.

Уберите от меня ваши завзятые целки, не хочу иметь с ними ничего общего! Не привык я выходить на контакт с целками, давно еще не привык, пылко бережа все чести кряду, как нас смолоду и натаскивали. Обожаю оргазмы столь улетного социального безумия, с которым мы – извольте полюбоваться – сливаемся в мало кого красящем, но изнутри неотразимо красивом и пышном экстазе... Как бы не поперли тут кое-кого за распространение порнографии в особо наглядных размерах. Поэтому оргазмы быстренько сворачиваем и с закрытыми еще от сласти глазенками переходим дрожащими неотлипчивым эротизмом ногами на духовное. Теперь там оттянемся. Сегодня у нас ночной клуб среди оторвавшейся неплохо души. Уж потопчемся. А светить будет, и перепихнемся.

Некоторые женщины никогда женами не бывают. Даже десятилетиями замужества. Они бывают обыкновенно женщинами крайне публичных профессий, и великую, тернистую карьеру жены им не выслужить.

Они никогда не будут удостоены генеральского чина бабушки, хоть формально и будут владеть наличными внуками и числиться по высочайшему ведомству патриархинь.

Их женственность фиктивна, она не совершила в них никакого движения с детства до старости. Из детства в старость. Ей приходилось лишь много, искусно лгать, притворяться возвышенным полом, делая вид, будто она есть и прелестно красива, метя быть самим совершенством. Женскому так и не нашлось употребления во всю жизнь. Межполые, они умрут среди дряхлости карликовыми, недоразвившимися девочками, еще вполне бесполыми существами. Тот свет им нужен скорее не для спасенья души, а для определения забарахлившего и сквозь всю жизнь одиноко роптавшего пола, брошенного на произвол неженской этой судьбы с безлюдным лицом крокодила.

Этот самый народ настолько бесцветен, безлик, что не внушает внешне опасности.

Опаснейшее заблуждение! Его сила и действующее эффективно оружие – посредственность. Именно ею были завоеваны многие земли и души. Она всепроникающа и приятственна, ибо отвечает каждому человеку: всяк хоть в чем-то, но посредствен; дюжинности всегда больше в самом недюжинном человеке.

Кроме всепроницающей посредственности, ничем больше не завоевать сверхчеловеческие пространства, обширные народы. Где был бы сейчас некий пустышкин А. Македонский, если бы не его неисследимая посредственность, которая хватче и посильней всякого дара? Нигде бы его не было. Изначальная безымянность и удерживает превосходно, надежно в истории некоего вселенски драчливого, до потери лица экспансивного человечка. Коли бы не его могущественная и похожая на многих, неотличимая от них посредственность, кому бы столь широко он был много веков нужен? Где был бы сейчас храм, пожранный ненасытимым огнем безымянности Герострата? Того храма никогда бы нигде не было.

Быть великой посредственностью любого народа – вот истинное завоевание. Остальное все безоговорочно рушится, расточается, истончается, имеет хотя бы моральный износ; из всего выдыхается время. Остальное – победимо. Посредственность – никогда; она времени не имеет, из нее нечему выдыхаться. Существеннее атомной бомбы, смерти, забвения, бессмертной пошлости. Что бы человек ни создал, в основе, в устое – она могущественная, легонько додвигающая светила на положенное им место, после того как ими надвигалась вольно, громоздко и безобразно любовь. Последней матушка-посредственность разрушится. Прежде нас схоронив и справив по нам всеохватные беспамятные поминки, на которых прошелестит многогласо лишь трава. Бездну она скажет яркого, о чем раньше, при жизни людей, упорно молчала, для пронзительно зеленых речей выжидая лучшие по тишине и негромкие времена, вошедшие наконец-то в неповрежденный свой разум.

Увы, ваша логика была бы верна в линейной системе координат, в русле формальной логики – там, где замечательно чувствуют себя линейные измерения и благодушно поступательные движения. Но у нас в России нет линейности – или она плачевна. У нас безобразия – извивистые, причудливо загогулистые; плавностью их линий невольно и залюбуешься, вовлечешься, думая, что вступил наконец-то в невозможно прекрасное.

В России линейна одна лишь милиция и ничейная тишина.

Как хочется простой арифметики речки, нехитрой грамматики заблудившего осень в себе просторечивого и простоволосого леса. Вот-вот он совсем по-бабьи пожалуется. Скорее всего, на пьющего своего мужика, на чего же еще-то стенать, все остальное терпимо и более-менее благополучно, концы с концами можно свести... Э-ха-ха... А мне ему и пожаловаться не на что. Вот дожил... Докатился до крайности...

В высшей степени подозрительна эта вызывающе безжалобная, ни о чем не желающая всплакнуть про себя жизнь. В разведку такую и под дулом револьвера системы наган не взял бы. На кой она нужна, только себя лишний раз сгубишь.

И что за жизнь?.. Разве может подобная дрянь быть и называться жизнью?

А замечательная жизнь! Другого-то ничего нету.

Иногда очень сильно некуда себя деть, хоть меня, в сущности, и не очень-то много: на два спичечных коробка в уплотнении размещусь.

В чем причина такой случающейся со мной емкостности?

И для меня загадка, из невероятных.

Да и зачем уж так набухать каким-то чуждым и явно настроенным против тебя смыслом, над тобой же исподтишка и насмехающимся? В то время как на законных вполне основаниях можно просто слегка понебыть, результат будет ровно тот же. Ведь отсутствие столь дружелюбно по отношению к человеку, первым тянет к нему приветливую конечность. Здравствуй, здравствуй, дружище отсутствие! Как поживаешь – добра себе наживаешь? Давненько мы с тобой что-то не пересекались... О-о... рука у него крепка, хоть и невесома. Значит, старости не поддалось, дряхлость в него не вкралась. Так недостаточно ныне забытого Ельцына медийцы и другие насельники нашей территории – халдеи проверяли на вшивость, ну а с отсутствием великолепным, молодцеватым и без рукопожатия все ясно. Не вшиво. И Ельцына в следующем уже, вероятно, году навек переживет.

Так привык преодолевать себя, над собой многотрудно упорствовать, что и не заметил, как преодолел ненароком и собственную препятственную весьма жизнь, упирающуюся быть.

Увлекся.

Малость переусердствовал.

И нашел себя в постели больно уж мертвеньким.

Но и это ничего. Преодолеть бы теперь достойно всю эту развесистую, слезно-певучую чушь похорон, разлюли их малину. Особенно трудными для преодоления, просто фатально неодолимыми казались фальшивые надгробные речевань я, и он боялся, что тут-то и не удержится.

Неужели не хватит его хваленой выдержки, такта, умения терпимо ладить с людьми?

«Посмотрим-посмотрим», – сказал он себе, держась цепкой от мертвизны рукою за доску входа гробового. Доска была оструган а до крайности небрежно, наспех, без уважения к будущему человеку. Недолго было и палец занозить. Тут он сразу и не утерпел.

Сказал, что в таких случаях положено говорить. Ото всей души выразился, уж постарался. Вынужден был всем ходом вещей блеснуть красноречием.

Многие обиделись на неуместность произносимого и отбыли с дарового праздника похорон раньше всякого времени и насупленными, имея в обманутых торжеством мыслях возражение, что так хорошие дела не делаются; пусть вот сам теперь как хочет с собой разбирается.

Ну и пришлось ему, как и всегда в жизни ничего ни на кого не переваливая, хоронить себя в автономном режиме, самовывозом и самозакопом.

Долялякался.

Трудно ему, видите ли, было на пару часиков язычок попридержать, тормознуться немного!

И чего доказал? Уж молчал бы себе в порожние тряпочки из последнего своего праха и краха. Бросай вот себе сам в могилу прощальные горстки тщеты земной. Боже, как косо они и небрежно летят! Как глина враздрызг валится, как неуклюже, бездарно падает, обдавая меня обидно живыми земляными брызгами! ... Разговорчики в строю! Опять ты за свое – лялякать? Отменим сейчас и тебя – пускай могила сама себя хоронит, от этого бесперебойного говоруна все равно никакого толку. Заболтает так, что вместе с ним невзначай и себя похоронишь, убаюканного намертво слишком теплыми и неуместно цветущими его речами, зазывными по существу своему, заздравными... как-то, знаете ли, приподнимающими... Так и хочется полной грудью не туда вдохнуть и запеть не о том, подышать потом совершенно не в ту сторону.

Приходите ко мне чаще в гости, приходите как можно в душе чище. Приходите, чего вам стоит. Мне не жалко тратить себя на ваши виденья – как лЮбые, так и любые.

Приходите же, приходите, пока я, точку случайно пройдя невозврата, не стал для всего опоздавшим. Ненароком отлучусь не на ближний ведь свет, куда принято насовсем отлучаться, и вы застанете врасплох мое отсутствие, а оно ой как недоверчиво всегда и пугливо. Ему бы не нужно быть таким трепетным, чтобы встретить вас просто и ясно. Ему бы не стоило так волноваться, чтобы вселить в вас уверенность долгую, как никуда дорога. Сколько раз я твердил ему об этом, хотя бы толику наличия адекватного моему отсутствию внушая, но все как о стенку глухую горохом. Мне с ним прямо беда.

Оттуда я вынужден буду унять здешнее свое отсутствие и постараюсь сделать его вполне приемлемым для встреч приличных и расставаний, для всяческого обиходного человеческого употребленья.

Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем, приходите. Я скоро вплотную займусь личным отсутствием и по мере сил моих укрощу его, бесконечно удобным сделаю для долгих, негромких общений за вечерним, полным сумерек чаем.

При включенном на мягкую громкость, все явственнее упадающем солнце.

На уровне того света толчется незатейливая комариная стайка, и нет еще чувства, что стайка та не жива.

Чувствую в себе приближающуюся осень. Но мне тепло от нее, надежно.

Любимое время года во мне – это не так и мало.

Пойду собирать лесные опята. Но что будут эти лесные опята в переводе на мою жизнь? Внуки? Лизок? Смутный далекий кивок ненаписанного рассказа? Или какие-то непредугаданные радости, с улыбкой потаения еще скрывающиеся от меня?

Вот-вот улыбнутся открыто, а я неудержимо свечусь встречной улыбкой им, нераскрывшимся, не извлеченным из пока распоряжающегося ими бережно, аккуратно небытия, но таким очевидным, что для них уже готово большое и очень светло знающее их чувство. Лишь чуть-чуть осталось – найти под него просторное помещение. Сделать там евроремонт. Сменить жену на более длинноногую. И сказать потом: чтоб ты сдох, собака! Так как лучше уже не почувствуешь. Короче: умри, Денис! (Чувствую, Фонвизин с видимым неудовольствием и вхолостую несколько раз провернулся в гробу, возмущенный использованием смерти не по целевому назначению.)

С возрастом какие-то страсти улеглись, а некоторые только-только приподнимаются, для начала сладко потягиваясь, демонстративной медлительностью показывая, что дури в них много, ничего они не боятся и еще не родился тот страх, которого бы они испугались. Опомнились, сволочи! Поры-времени разживляться вам не было!

Вот как бы и их уложить без лишнего шума. Непредвиденная опять морока. Страстям-то очнувшимся резвись за здорово живешь, а мне каково? Ведь не 17 блошиных лет – в порх прыгать за ними по рытвинам и буеракам, ловить не то глупость свою, не то себя, отпущенного на глупую и скучную свободу и там уже кем-то пойманного, в опережение мне переловленного. Ходи потом опять с пустыми руками, по мечтательной оплошности отдав себя в чьи-то чужие, недружелюбные наверняка конечности. А вот надо было в свое время больше бегать, загодя избывать приподнимающиеся ныне страсти, а не за книжечками сидеть, книжечки все почитывать, концертики скрипичные послушивать, на девушек тургеневских до помутнения глаз разбегаться мечтой! Сам виноват в лишних своих прыгучих эмоциях. Вот теперь и добегывайся, самодогоняйся. Без собственного участия да помимо себя довлюблевывайся. Будешь знать, как не жить раньше!

Что же делать, в конце-то концов? Он умеет быть только мудрым. Что еще ему остается? Какими занятым быть проделками да прошвырками заурядно распространившейся жизни?

Больше ему и делать нечего средь житейских пасмурных дел, среди осени дел наших.

На меньшее он, увы, не способен. Пора его кончать. Что ж, с премногим нашим удовольствием сейчас придурка заумного кончим, раз и навсегда похерим. Чтобы много-то из себя не корчил. А то свет нам застить начал, свои глаза чувствовать перестаем. Не на то они нам дадены, чтобы их не чуять, моргала простые иль выкатывающиеся буркалы нас не устраивают, права потребителя мы наизусть знаем, стихами Пушкина нас не учи. Не-е, такой свет с нами не пройдет! Херак, ты где, опять по углам, что ли, дремлешь охранным образом? Я не дремлю, я здесь, к вашим услугам. Херак, херак. Кончено! Вообще-то, зря только руки марали. И сам бы в презрении нашем благополучно он сдох. Так и так не жилец уже был, совсем не жилец, лишь воздух напрасно портил. Ну, давай контрольный херак произведем, а то опять он вдруг тут очутится. Взял манеру везде являться, где хоть бы промельком что-нибудь ни засвети! Свободен, херак! Набирайся сил и крепкого, отзывающего прессом пуза, добротно себе поёдывай на благо страны до следующей крупнозахватной контроперации, отдавайся весь тренировкам по основному предмету обеспечения жизнедеятельности – физкультуре, без нее бы нам туговато пришлось.

Я нашел неотразимый способ проникновения в осенние вечера!

Нужно просто лежатьсмеживвеки, умиротворенно думать о них всем телом и всей бестелесностью и с неприкрытой благодарностью вспоминать иные осенние вечера, некогда пусть на мгновенья душе небесно подаренные.

Уверяю вас всем своим уверением нерастратным: ни один самый скрытный осенний вечер перед вами не устоит и немедленно влюбится в вас, и кинется вам пылко на шею, и покажет все, на что он щедр и способен. И даже сверх, с безоглядной присыпочкой, одарит вас подорожавшей в связи с кризисом осенью, незаменимой и в простоватом быту, и в цветенье буден на даче. А когда на душе копошишься, вскапывая ее, деловито разбивая на грядки, выбирая корни трав дурноспелых, – нет лучше осени лопаты, и удобрения, и рук твоих, да и тебя тоже. В присутствии осени непонятно, зачем ты вообще тут неумеха такой нужен. На кой ляд, на кой свет лежать взялся, лежатьсмеживвеки, всякой мышцей и безмышечьем всяким об осени, про осень вечернюю помышляя?

Мысль твоя все отдаленнее, все небесней. Вот она и пропала. И стал ты ясный осенний вечер.
Самым нужным сделался всему на свете.

– Уверяю всеми потрохами своего убеждения: такого человека, с этим именем и совпадающей до странности однозвучно фамилией, не существует на свете. Его никогда не бывало, ни в единой оболочке человечьего тела, – просто что-то с враньем на свете случилось: оно врать надежнее стало.

– Ну а как закрыть глаза на то, что этот по всем описаниям неминуемо отсутствующий человек – ваша, как ни крути, бывшая жена? В конце концов, что-то под видом жены у вас было. Не могло ж быть так, чтоб вы совсем без жены были женаты. Так с физическими лицами не бывает. В самых страшных снах с ними подобное не происходит. Это нонсенс, и пренатуральный.

– Мне уютно жилось с неким отдельно в ней взятым призраком. Но впоследствии оказалось, что этот введший меня в заблуждение призрак никакой вовсе и не человек. Даже и не пустяк никакой, а лишь одно тлетворное на меня влияние да одна неотвязная тягомотина. Преследуемый постоянно ее тенями (а руки-то у них длинные, отовсюду меня прибирают), я прекратил из отчаянья себе принадлежать, дабы сделаться неуязвимым для этих мертвящих и деморализующих прикосновений, похожих на цапанье спущенной на тебя толпы. Скажите, кому понравится такое потрошительство из ниоткуда для какого-то бог знает что возомнившего про себя низачем?.. Но я нашел, нашел способ надежно сбежать и всего избежать... Предупреждаю: если вы встретите женщину с этим именем, с этой фамилией, ни за что, ни под каким вкусно веющим, насладительным соусом не верьте, что перед вами кто-нибудь есть. Это воздух, не в редкость бывающий взбалмошным, принял форму человечьего тела. Это воздуху в причудах вздумалось ввести вас в формальное заблуждение, возможно, взамен теперь не существующего меня, дабы отсутствием резким слишком не тянуло оттуда, не доставало – из данного места пространства (где и пребываю в достатках), я имею в виду. От перенесенных огорчений, не совместимых с моим домом, я в рассеянности перешел как-то вечером в рассеянье – и поначалу ничего особенного, сверхнеобычного не заметил, казалось, ничего и не произошло, все как есть, все как было. В самое натуральное рассеянье, натуральнее не бывает. Будто вышагнул всего-навсего за пределы квартиры на лестничную площадку, но может быть и обратно. С этим обратно не так-то просто дела обстоят, как может в самонадеянности кому-нибудь показаться...

До сих пор все никак не приду вот в себя, – такое сильное было то для меня потрясение – веять ветром, быть чьим-то еще заметно живым дыханием, мертвенным изнывать летним полднем. Люблю также маревом потолпиться, взрезвиться у горизонта, но это вменяется мне в обязанность редко и, что обидно, главным образом – в ничего не стоящее и малопродуктивное межсезонье. Хочу обратиться для постоянной, прочной работы в розу ветров по месту жительства и стать уверенным дуновением одного направления какой-нибудь средневозвышенной и слегка пустующей, скромно прячущей себя местности. Случайными веяньями да порывчиками на сезон мне до смерти уже быть надоело, до невозможности всякой обрыдло. Пора стать солидным, привязанным к одному направлению ветром твердых убежденческих устремлений. Это ныне и поставил перед собой единственно реальной и осуществимой жизненной целью.

Ну, до встреч в легковейных зефирах... Я прощаюсь незримо. Это лучшее из расставаний. Ведь летит оно к вам из самых что ни на есть отсутствий, из беспримесных небываний. До свиданья в эфире, в спирте, а также, на всякий случай, в кефире: ведь чем только случай не шутит – везде можно

встретиться невзначай, везде можно ахнуть: а мы вас совсем здесь, ну просто никак не ждали! Было бы только ярко выраженное желание, все остальное непременно приложится, любое явление в любых видах. Не раз проверено на себе и в приложении к оному, а также в бесчисленных сносках и ссылках бессрочных, которые – хочешь или не хочешь – творят из тебя отдаленный и чуждый тебе гипертекст, так что весь ты получаешься как бы территорией РФ, а это до одури богато может выйти тебе в любой момент боком.

Деревенская бесчувственность – это особого рода деревянность. Изготавливается из дерева идиот. Срок хранения – вечный. Сносу нет ему, не бывает. Таких слабин оно не дает, так как деревцо то – не промах. Ни уничтожению, ни возврату не подлежит. Но подлежит под всякого человека, чуть ослабит он бдительность мозговую, даст извилинами заливистого дрозда. И не заметишь сам, как обратишься в дерево идиот, из которого редко бывает дорога обратно, в нем засядешь безвылазно.

Вон их сколько торчит в моей печально безлюдной окрестности, их, превращенных в неживую ветвистость людей. Стали свирепо угрюмой безместностью с преобладанием крепчайшего в мире дерева идиот. Никакого сердца не жди от него, жестокосердного моего чернолесья.

Я зарастаю деревом, как лесом зарастает пустошь.

Со все большей очевидностью становится ясно: ничто не покорит Россию.

По причинам, не поддающимся разумным объяснениям. И причины, и разум тушуются, подло становясь чем-то другим, не похожим на прежнее. Так что не найдешь ни концов, ни начал, даже потерявшись, кАк пропадать.

Грустное чувство – это я, русский человек во всем его неразвитии.

Застойных, болотцем взявшихся чувств во мне страшно много. Больше, чем меня самого. Сам-то я такая кромешная малость, что даже странно, откуда берется печаль, чтобы учитывать себя хотя б для печали количества. О качестве и речи нет, оно обращается в неуловимую и презренную величину, и я не знаю, совершенно точно не знаю, кто теперь я, насколько плох или хорош, чем занят, достойным стремлением иль разрушительным, а может, и вообще уже душегуб, со стоном наслаждения попивающий младенческую кровь, для коктейля смешанную с терпким соком напополам, лучше всего это делать – с гранатовым.

Только грустное чувство хрупкой замятью вьется, расстилается во мне быстро заносимым каким-то забвеньем следком – как слишком давняя, мигающе потухающая, ненадежная обо мне память, которая того и гляди прервется – за неимением помнить о ком...

За неимением помнить о ком, – верно, так меня ныне зовут, если обращаться ко мне и окликать по полной программе. Да и тогда не скоро еще соберусь, прежде чем решиться сполна, всем отсутствием своим не ответить.

Я к вам не вернусь, не вернусь – решено на открытом собрании высоколобых моих отрицаний, проголосовавших единогласно на припозднившемся в ночь заседании против меня.

Лучше вернусь-ка я в свою давным-давно облюбованную, под моими боками удобно обмятую небыть. Там верней и надежнее мне переждать обезображенных временем носителей человеков и дурные времена, и придурошные их видения в масках от голого короля.

Вот когда проглянет для меня на свете хоть один основательно светлый человек и время ни с чего, низачем мне улыбнется, являя неискаженный влюбленный облик, – я вернусь, я даже неожиданно для себя вернусь, уверяю вас всем моим потусторонним сердцем, любящим любить и говорить на языке проникновенных сердец, к сожаленью, редко здешних.

Будет возможность, свободное время, отложите поездку в Египет для бегства в рабство и приготовьте, пожалуйста, мне такие сердца, я измучился молчать своим глухо, глухо, глухо немым и устало порожним. Я хотел бы вашей волей иметь человечье сердце, а не сколок громко стучащего небытия: оно забило мой слух механичным, крадущим изо дня в день меня звуком. Неужели скоро я весь искрадусь в этот исхищением небытийным произвольно обладающий мною звук и стану лишь подобием отдаленного, в самом себе умирающего длинно, прекрасно эха? Заманчивая перспектива. Эхом я еще не бывал.

Отчего, когда все хорошо, покойно, так и дерзится выкинуть для своей жизни откровенно что-нибудь безобразненькое – и непременно ярким сюрпризом? Как-то неуютно жить без возмущения собственного спокойствия, словно оно вещь незаконная. Потаенными, чутко стоящими начеку безобразий чувствами мы любим восстанья страстей, массовые казни сознанья, и если только не спим сквозь раззявленные остолбенело глаза, то стремим в удовольствие потрясаться.

Тихая, размеренная, сосредоточенная глубина душевных занятий и сердечных учеб чересчур трудное, для многих попросту неосилимое времяпрепровождение. И невыносимо скучное, пресно напрасное. Невыносимо непереносимое.

Какого хрена читать мне всякую дребедень-мутотень? А пойду-ка я лучше набью не нравящуюся мне заранее чью-нибудь морду. Все будет мне резвое, развивающее развлечение. И морда та дальнейшее получит развитие. А то прокисшая больно морда. Смотреть тошно. Сейчас сделаем ее мы нормальной. Хоть похожа будет на приятно помятый человеческий облик. А то вроде и не наша морда тут неизвестно с чего шляется. Сделаем твое нагло утонченное личико общеупотребимым. Мимо у нас никогда не бывает. Вот теперь полный порядок. Залюбуешься нашенскими синячищами! Тебя как зовут-то? Ну, айда мировую пить. А ты, видать, неплохой вообще-то мужик. Давай, друг, что ли, взаймы сколько завалялось там у тебя бабла в лопатнике. Угощаю. Будем широко пить из моего кармана. Я сегодня что-то добрый, аж себе противен.

– Чем ты занимался сегодня?

И сам не знаю. Вопрос врасплох меня застает. Окунался в какие-то непамятные делишки, беспамятно выныривал из них. Плыл по течению приятно однообразного, расправившегося блаженно дня. А когда прибился к летнему вечеру, полный дурмана дневного дления, вспомнил, что главным моим занятием дОлжно было бы думать все о тебе, взымчиво чутким и просветленным воспоминанием сопровождать тебя всюду, где бы ты ни отсутствовала.

Но я только вечером догадался об этом опоздавшей ко мне печалью. И день бескрайний, лениво полнивший меня плывучим, потерявшим время дурманом, целый день несвязный, несообразный думал о чем-то ином все, ином – и самой пристальной, самой пристрастной мыслью не вспомнить – о чем. Я слишком поздно понял, чтО было сегодня единственно достойным занятием, и вот стою перед тобой виноватый и опустошенный. Я стою совершенно потерянный – но пока не тобой, не тобой, ты потерять меня еще, конечно, успеешь, ведь это совсем несложно – выкинуть из головы, смежить веки воспоминаний...

– Чем ты занимался сегодня? – с тревогой ты повторяешь, видя: что-то во мне не так, что-то не здесь.

Как же запамятовал я любить тебя хоть бы окольной, украдчивой мыслью весь огромный бестревожный день, у себя похитивший даже начало и забывший, с каких происшествий рассвета он первые сделал шажки... Надо ведь умудриться так глупо. Лишь неогорчительным смутноватым следочком длилось во мне твое отсутствие, ни разу почему-то меня не окликнувшее, тоже крепко запамятовавшее – в унисон моему забвению, в лад разнежившейся, крадущейся мягко замяти – не-памяти.

Непростительная оплошность, непредвиденная беда. Это какой-то болезненный промах всего личного моего провального существа, избежавшего сегодня тебя, сумевшего начисто без тебя обходиться – так просто, до обидного просто. Бесчувствие распространилось на весь день, перекинулось на меня, и я выронил тебя из всякого чувства, дорогая моя отсутствующая, не заметив потери, исподволь утратившей и меня.

Я предал твою любовь на бескрайний день, на одну бесконечность июньского космоса.

Этого упущения не поправить теперь в целую жизнь. Но о той образовавшейся невзначай беде никак нельзя рассказать, – это значило бы навязать тебе ту приблудную, сотворенную мной помимо желаний беду, – и я молча и торопливо, я обреченно целую тебя, поцелуем свершившегося ныне предателя стараясь загладить, без следа уничтожить неуничтожимое свое – и ведь не мое, кричит беда, не мое! – предательство. Рассвобождающая, уже совсем не чуждая мне прохладца отчуждения пронизывает меня, что-то длинно, сверх всякой длины, немеет, и уверенность в том, что я пропал, окончательно пропал, становится несомненной, как судорога преткновенной твоей улыбки, вдруг пробежавшей сквозь усилие по лицу, – улыбки, заподозрившей что-то очень и очень неладное.

– Что с тобой? Ты так и не ответил: чем же был ты занят сегодня? Словно где-то все отсутствуешь... Ты куда у меня пропал?

Молчал чуть дольше, чем нужно молчанию быть, и стало ясно, что солгал, когда глухо, словно отказываясь от этого голоса и человека, прозвучало:

– Если б ты знала, как люблю я тебя...

Улыбнулась, смотрела пристально, сникла. Щепоточку слов поднесла к моим уже бессловесным, беспросветным губам. Подушечками тихих пальцев губы мои целовала, чары дурные снимая с провинившихся, в ложь зачем-то сбегающих слов. Взглядом очень серьезным нащупывающе смотрела, дали какие-то, и мне неведомые, всей печалью облюбовала. Ободряя, кивнула: все будет как надо. И улыбнулась словами, и отразилась словами в моих оживающих тотчас словах:

– Если б знал ты, как люблю я тебя... Нам нельзя не видеться целую вечность. Что-то дурно вечность влияет на нас. Противопоказано нам с тобой, дружочек, долго так пропадать...

Сконфуженные, кругом виноватые, слова мои возвращаются притихшей растерянной стайкой из изгнания, из вечного изгнания нелюбви. Они тобою обезоружены и чисты, тобою олюблены. Слова вновь между нами живы! Сейчас, вот сейчас они зримо так прозвучат, они скажут моими глазами в глаза твои, – они умеют уже за себя сказать, лишенные напасти лжи и пропажи. И бессловесно – взглядом во взгляд – они говорят, не совсем еще мои покуда слова, едва-едва до меня дотягивающиеся...

Только вот молчание сильнее меня. Но это, наверное, поправимо. Эта беда – ничуть не беда, это чуть длится еще чуждость дневная. Ты слышишь меня, любимая? Вот, я уже говорю... Пусть и через три с по-ловиной десятилетия... Но разве они имеют значение, если живы нами наши слова?

Давайте перейдем на «ты». Как начуждавшиеся премного люди. Давай не начнем с отдаленной чуждости – чтобы прийти к началу вспыхнувшей пылкой любви, а кончим сразу же тем, чем обычно люди начинают, вспрыскивая друг друга свежими, еще хорошо пахнущими чувствами. А дальше ничего не надо.

Я так не хочу обыкновенного пути всякого чувства.

Я так не хочу, чтобы нас сопровождали столь рьяно сопутствующие прогулкам страстей ниспадания и разрушения, чтобы мы обрастали и длились потерями.

И стараюсь идти против течения, чтобы не потерять избегающего нас пути – ощущая упорное, злое его против меня скольжение. А если с дорожкою столковался и дал ей волю тебя повести, обязательно кто-нибудь пропадет – либо ты, либо она; исчезновения общих мест не терпят, решительно их пресекают, с большим наслажденьем и с нескрываемою охоткой вытаптывают все до неузнаваемости. Бывает, ни человечинки в себе не узнАешь и ходишь притворяться среди каменоломен людей непогибшим, поистине несгибаемым камнем.

В недобрую минуту Бог наделил его несомнением, и через три дня выглядел он законченным идиотом. Теперь он утверждал, что булки растут на деревьях, и проповедовал веру, по которой выходило, что он гораздо дальше от Бога, чем Бог расположен к нему.

Бог теперь был сущностью более слабой, чем он сам, новейший повелитель миров, и Ему приходилось всякий раз испрашивать у новейшего разрешения, когда возникала необходимость что-то потворить слегка в мире, латая срочные несовершенства. Новейший позволял не всегда, капризничал; несовершенства копились. Тем все и кончилось.

Впрочем, это был еще весьма благополучный конец. Могло быть и замечательно хуже.

Истинно пустой человек.

Точно мой карман, который обожаю за шикарно порожние его просторы. За то, что в нем пустота всегда совершенна и неисчерпаема. Практически в моем кармане целокупный космос пустоты, то есть вся Вселенная в карманном формате. Не надо тратить световые года, чтобы попасть куда не надо.

Разве может быть страна без экономики?

А Россия уже лет двадцать пять без экономики обитает, разговорами о ней насыщаясь и экономически истомными вздохами, довольно-таки жирными. И ничего, развиваемся. Пока вроде бы не умерли. Во всяком случае, ничего такого по нам не заметно.

Сужу по непосредственно обращенным ко мне и бесперебойно поступающим неопровержимым признакам: за свои массированным натиском прущие на страну наукоемкие и нанотехнологичные строчки не получаю безвременные уже года ни копеечки даже и отрицательного гонорара. И жив я при этом пуще прежнего.

И как так можно?

Но можно.

У нее по медицинским показателям не в ладах с головой, а не по моим скромным данным.

По моим скромностям, она даже еще и не приблизилась к месту сошествия с ума, только-только подбирается на мягоньких лапках, пробуя расчетливой, тонко выгадывающей ножкой, где ж тут должен случиться хитрый обрывчик, который она все равно проведет и не сделает обрывчиком под собою. Для сумасшествия она необыкновенно изворотлива и вздорна, оно, как ошпаренное, мгновенно выбрасывается из вертких ее мыслей вниз корявой своей башкой: ему не в чем там задержаться, не за что зацепиться, да и уюта здесь маловато, лишь необустроенный сплошь бред головы. Бедное, потерянное, оно понуро бредет к другим – может, хоть у них есть чем поживиться и заодно переночевать среди людской стужи. По ночам вздыхает: ну и времена пошли, уже некого стало свести с ума, все до дури умные стали.

Истайна истинна. Потаенно от себя. Только такой она изредка бывает по ведомству истины. Обычно же внешне крупно фальшива. Как неподдельный алмаз.

Девочка вступила в рыночный возраст.

Бойкая сейчас же пойдет торговля.

Оптом иль в розницу?

Это уж как время покажет. Оно ныне распорядительный менеджер, наше безумное всё.

В сущности, я самодельный писатель. Все приходится изобретать собственноручно, вплоть до кустарного велосипеда с махучими крыльями или специальных, на влагу глухих калош для героя, чтоб раньше времени не зачихал и не прочихал мне всю повесть прямиком до провала. Все каждый раз как впервые нужно преодолевать, с небывалым и звероподобным усилием. Во мне нет ничего готового, отстоявшегося, кроме рутинного балласта собственной, зря хваленой в некоторых легких газетах личности (он огромен, балласт; ежели металл – сдам, не поведя бровью, в приемный металл). Но как ее выкинешь, личность? С чем тогда хоть немножко останешься, скажем, для сопровождения празднеств или походов на рынок за картофелевидным продуктом? Обдерут ведь тебя без личности, как липку, и вместе с твоим же картофелевидным продуктом. Вот и мыкаешь горе между балластом и неуловимостью, помышляя, в какой бы еще межсобойчик точнее мысли всякой сбежать.

И это – мое – сверхвыкинутое место в литературе кто-то ведь занимать должен.

Вот я его и занимаю. Больше некому героев из себя корчить, маяча издалека, делая умоотвратительные социальные рожи и время от времени оттуда маша для острастки якобы наступательными, способными перешерстить все подряд злободневными кулаками.

Все сбежали в более верхние и почетные места. А я то ли долго почесывался, то ли сладко продрых, кто ж меня знает. Да и не жаль. И здесь поторчу. Не дует. Вода под лежачий камень не течет, так что вполне сухо. Температурный режим приемлемый, не субтропики, конечно, но все же, на прогулки раз в сутки выводят; не строгий режим. Здесь сны небывалые, цветы запоздалые, здесь женщина в белом грациозно ступает по краешку грез. Вообще-то всего тут полно, хоть завались, грех жаловаться и кого-то гневить напрасно. Пришлите только, пользуясь случаем, несколько упаковок успокоительного: то судорожно, то нежно, то темпераментно очень – никак.

Ваш сведенный нежной судорогой В. Неверкинский, нередко пропадающий втуне и других не менее подозрительных местах, с чистой совестью используемый нами поэтому втемную.

Я включил мощную струю рефлексии и загодя убил себя, захлебнувшись собой с восторгом. Чтобы не вышло чего-нибудь лишне внешнего и явно живого. Иначе по кричаще свежим живым следам выйдут на меня и возьмут еще тепленьким.

А мне это что-то претит.
Эгоист я, наверное.

Ни малейших талантов за этим человеком ну никак не водится. Даже легкой безуминки не наскребешь, невинного отклонения ниоткуда не вычленишь, не извлечешь. Благодатнейшим образом обречен на растительную жизнь, которая и есть его жутко приятное спасение, жутко сладостная и замечательная смерть. Из своей неуклюжей и медвежковатой кончины завидно смотреть мне на то, как он хорошо и с удовольствием умирает, как с чувством, с толком, с расстановкой его все больше нет и нет. Эх, у меня вот так ни за что не получится, обязательно какими-нибудь лишними хрипами набезобразничаешь... И обязательно не умрешь никогда до конца, хоть ты тресни! А это последнее уже дело, никуда не годящееся! Во всяком случае, пресекать такое надо абсолютно безжалостно, потому что поддельных и сорных бессмертий теперь – на каждом шагу, просто ступить от бессмертий некуда.

Попробовала бы голова гордиться, что она выше всяческих там семенящих меленько ног!
Ноги сразу бы дали понять, тут же и срезали бы: ходи тогда сама, дура извилистая!
Но в жизни все переставлено с ног на голову, задранными лапами нередко приходится драпать откуда-нибудь, коготками увязая в пустотах, либо шлендрать куда-то по небу, пропадая неизвестно где головой.
Я про какую-то мораль хотел здесь вляпать погорячей, да забыл, в чем ее соль и всякое ее прочее. И подозрительных ног прямо гигантски я испугался – что-то их много топчется, немыслимое вокруг возымев значение и налипшую на них всякую власть. Никакого проходу нет моей голове от этих вконец издемократившихся булыжных ножищ и ступней пролетариата, которые хоть и далеко в прошлом, но ходить продолжают.
Извините, только лишнего насуесловил и увеличил неясность темным высказыванием, трепещущим всякого постороннего звука. Оттого-то оно стремится наглухо замкнуться в себе и исчезнуть, не показываясь на люди. Вот меня и нету, в мире тишина, как любил подчеркнуть свое отсутствие поэт, вопреки времени не переставший быть замечательным. А за умышленное увеличение энтропии мне, понятное дело, воздастся. Что ж, я готов на любые палки, на стегающие с прекрасным свистом кнуты, а совместно с ними и причитающиеся, немножко причитающие всегда по мне пряники, так как по ассортименту им положено быть неразлучными. Пряники не трожь! – это мое, это святое. Их отдам только через мой труп, да и то если он неправомерно расслабится и что есть духу начнет ротозейничать, зазевавшись на отчуждение пряников от меня и приняв этот отъемный процесс за непревзойденную высоту искусства.

И почему не сходят массово с ума люди, занимающиеся рекламой, находящиеся в зоне особого мозгового риска? Крепкий все-таки подбирается там народец, непрошибаемый никаким сумасшествием! Твердокаменны их головы, пустомясы сердца. Боже, какой плотью разит их товарно-прикладное сознание! На что Ты истратил столько напрасного шашлыка, Господи?! Лучше бы отдал ту безумную плоть на утучнение стад, мы бы потом их на пути к лучшему съели. А то недостаток говядины претить начинает и подбивает на шашлыком отдающие выходки, в которых себя узнаешь только в виде шального куска мяса.

Случился с ним не то суицидальный, не то, напротив, брутальный припадок эгоизма, и он вот что вскричал, до пожаров средь населенья запальчивый:
– С ума вы посходили все, что ли?! На свете не четыре, а три, три и еще раз три стороны света: я, я и еще раз я! Остальное не стороны и не свет.

Нужно так всепроникновенно обожать себя, чтобы беспрестанно заботиться о своем теле, вникая во все мелочи его замысловатых порой и причудливых нужд, а также истреблять ежеминутно всяческие свои и чужие мысли, потому что они мешают быть самовлюбленным животным, которое поглощено темной, глухой музыкой организма, разбитным славословьем диких потребностей, – их хор ни с чем не перепутаешь, ни с каким заумным кошачьим концертом. Они воспевают широко цивилизованного, культурного до последней нужды человека.

Нет в мире ничего спасительнее музыки. И литературы – если она от музыки не устранилась.

Литература, избежавшая музыки, не спасает, а погубляет. Изощренно умерщвляет с присущим ей артистизмом. Хоронит также надежно – как никто похоронить не сумеет: тайно упокоит в незримом месте прах безымянный, да и все дела, а чего тут долго возиться? Это не пирожки с ливером смутительным уминать, ахая на возрастающий аппетит и поражаясь бездонным пропастям наших желудков и пищеварительных трактов, уходящих в плюс-минус бесконечность, а едовой мечтой залетая и в антимиры, там найдется чему перевариться.

Почти все появляющиеся вновь профессии возникают для того, чтобы легально торговать собственным телом и отмывать личные грязноватые потребности, которые пока не было возможности отмыть законным – каким-нибудь речным, лужеватым или ванным – путем.

Все больше профессий, где деньги напрямую добываются расхожим торговым телом, которое неумолимо, неотвратимо тогда становится брендом, сколько ни торгуйся с ушедшей в ларечницы тетехой-судьбой, – она все больше становится обыкновенно развязной, наевшейся толсто бабой.

Законно сделалось так, что проституцией стала от души заниматься добрая часть населения.

В России проституция тоже оказалась ездой в незнаемое.

Как и Россия езда туда же. Если послать хорошо, особенно-то не подбирая всем известных у нас волшебных слов, приводящих неизменно в нужное время и нужное место: мимо еще никто никогда не проехал. А если кто и промахивался ездой, то так им и надо, повинны сами, – наш мат не может быть кругом виноватым, это было бы слишком шикарно. Есть еще кому в России мат защищать. Пусть я им буду, когда по халатности, разгильдяйству, небрежностью иль просто так забросят совсем ругаться, населяя наши просторы руинами сквернословия, зримым упадком эмоций, массовым запустением человеков, – без нашего мата они очень быстро не люди, ничего человеческого в них узнать невозможно даже в четко указующих на людей безобразиях. На этом проституцию заканчиваем, все атрибуты ее прилежно, аккуратно сворачиваем. Пора и честь знать.

Проституция в стране, как ей и положено быть по уставу, – повальная. Иначе что же за проституция будет, коли она не повальна? (Столбовой проституции, в отличие от дворянства, к сожалению, не бывает.) Публичными домами становится все больше богоугодных в недавнем прошлом заведений и некогда индивидуальных, единично предпринимающих носителей человеков. Да вот ноша человека оказалась непомерно тяжка, неудобна, и многие с радостью, с воодушевленьем огромным и небывалым повыкидывали собственных людишек в кюветы и на эксклюзивные свалки. А чего с ними церемониться-то?! – напрасная обуза, лишние, можно сказать, рты.

Выкинутые человеки, поваливая и напрасно почву елозя, щедро усеяли, как таракашечки, российскую землю, которую теперь в основном топчут внешние оболочки людей, сделанные, видать, из тех же случившихся материалов, что и покрытья колбас. Большей частью это добровольно выкинутые человеки, но вдоволь и насильных трупов. Которые в то же время и носильные, какими нередко бывают вещи. Качество их носильности в иные времена резко преобладает и на все как бешеное перебрасывается, включая и жмуриков, им тоже не спрятаться, в земле втихаря не отлежаться, пассионарность и их затрагивает. Почти все тогда становится носильным или близким к тому – пошла гулять экономика! А это резко меняет свойства и общественное назначение, призвание трупов: их можно смело включать в ходовое обращение экономики и толковый товарообмен. Всякий труп в этой ситуации поневоле выглядит конкурентоспособным товаром и всем своим видом показывает выгодную заинтересованным сторонам продажу, тут же происходит ощутимое каждому оживление экономики. Раньше о таком прогрессе и не помышляли, а потому относились к покойникам сухо, пренебрежительно и спустя рукава. За что и получали с того света стойкое отчуждение и шляющихся где ни попадя привидений, не способных ни на что гуманистическое, а только как бы да где бы напустить ужаса и туману, набезобразничать мраком. А сейчас мы получаем с того света одни благодарности и приветственные реляции, отпечатанные вычурно красивым типографским способом и в типовом текстовом формате, чтоб извилинам на мысль далеко не отлучаться. Их можно приобрести в любом писчебумажном магазине. Широк там ассортимент и буен. Я бы его поубавил. А то как-то приторно становится жить. И чем дальше, тем все медовей.

И чего это они на том свете так разыгрались, с каких радостей? Неужели там весело с большими избытками?

Главного в нем нет, вот он и занят постоянно несущественным, возрадован третьестепенным, прибран периферийным, там – вне себя от счастья – барахтается. Больше отклоняться ему некуда, не во что. Как сослепу всюду тычется.

А кажется обманчиво – мелочным. Нет, это ошибка по совместительству, ошибка по смежности. Мелочность была б для него крупным спасением, замечательным. Лучшим из всех видов его погибшести, состоявшейся превосходно, с опережением графика на три поколенья вперед. Оказывается, он и крупно умеет! Но это величие лишь массовая, очень подробная гибель его проявила. Всей смертью своею теперь он велик.

Уже становится почти бессмысленным идти против течения. Все очевиднее выглядишь всесветным, многосторонним дураком и, главное, на редкость *пустым человеком* во мненьях роскошной, самовитой толпы. Ты идиотом становишься круглым, как Земля. Одна только ассоциация с Землей и утешает, – какое-никакое чувствуешь все же родство: не для всего, значит, потерян, в планетарном масштабе, выходит, еще не безнадежен.

И вся-то цена твоей суверенности, твоей интеллектуальной независимости – лишь мимолетная – даже не задумавшаяся – полупрезрительная чья-то усмешка: тоже нам, додумался, кретин! а то без тебя мы не знали, ходят тут всякие!

Непрестижно быть не как все. Непростительно непрестижно.

Уже старшие дети с опаской посматривают на тебя как на откровенного, мучительно закоренелого придурка, который злодейски не понимает наипростейших вещей. Хоть кол ему на голове теши (впрочем, этой присказки они не знают; эту присказку я с себя взял и в это место добровольно привел: периодически надо являть из себя теперь явку с повинной, при попытке поимки себя с поличным). И в этом им, воззреньями совсем не зеленым, видится ненормальная и зловредная пожиловатая недалекость, которую ничем не исправить, не прошибить. Клинический случай клинически законченного папаши.

Дети оценивают нас по остаточному принципу (так государство предупредительно людоедски поддерживает штаны культуре) – тем, что случайно останется после всех оценок (их выносится младобогами много, тучеобразно, кажется, лишь для презрительных мнений они и породились на свет), когда на оценку тратить уже совершенно нечего и под нее сойдет любое ничто; родители обыкновенно – последнее дело, еще та заморочка, хуже занятьица не придумаешь, и дрянь природа, если она такую подлянку бедным деткам подстроила. Поэтому мы и выглядим в их утверждениях так замечательно пустяково, что дальше уж выглядеть некуда: там ничего не видать. Просто светимся обаянием всех отсутствий. Просто блистаем неотразимо всеми нашими серо-буро-малиновыми, а иной раз и перламутровыми (если крупно повезет) исчезновениями, – тут непревзойденные мы мастера, на это одно и годны, не позорим отъявленным видом своим предложенные временем к проживанию развлечения.

И откуда им знать, что жизнь только и состоит из неочевидных вещей. Из очевидных вещей ничего не состоит, даже и чистейшее самое ничто. А если что-то по нелепости и состоит, то до невообразимости ума мало.

Но они закончили другие времена с тамошними их времяпрепровожденными университетами. И подсказать им – так повернулся порядок вещей – некому, так как у нас, возрастом придурковатых, на языке завелась одна глупость, где она и сквернится удачно, свив себе ехидное, выжившее из ума гнездышко.

Миры наши только чуть соприкасаются, чуть искрят, чтобы совсем не погаснуть взаимно. Лишь еле теплятся друг для друга. Издалека. Настороженно. Не враг ли замаячил на горизонте? Не новые ли варвары прут косяком под видом подлым родителей? Не новые ли развязные боги ястребино крылят под личиной детей? Хоть бы какой-нибудь случайный Аллах, изгнанный отовсюду за пожилое поведение, взял меня ненароком отсюда, а то крепко, удачно пригожусь как раз не по назначению!

Как я понял очень крепким у меня задним умом (базируется в писачьих, отсиженных до гранита, бесчувственных к временам ягодицах), в России в очередной раз ничего не будет.

Активно намечается ничего не быть. Просто из кожи вон не быть лезет.

Или будет что-то очень прошлое. Очень пошлое. Всеми уже позабытое и почти небывшее.

Наверняка уж и будет для того, чтобы еще раз не быть.

В России изобретено крепкое, до смерти поучительное унижение: быть писателем.

Одно из самых замечательных и величественных изобретений России, между прочим. Гораздо эффективнее дыбы. Не говоря о балалайке или матрешке – эти для истязаний уже роскошь.

Приходите попробовать ко мне разных редкостно неудобоваримых чувств. И свежими угощу, и из прошлых запасов. А на дорожку вас одарю на эпоху впрок припасенными неудобоваряшками. Бесчувственными не останетесь, от меня не уйдете эмоционально голодными – на много лет вперед этой сытости вам должно с избытком хватить. Только эмоционально сытыми от меня всегда уходили, по-любому никак не получалось, как я ни упирался, ни вздорничал. Уверяю вас: в недовольстве своем будете глубоко, широко удовлетворенными. Боюсь только, как бы не ушли сразу после меня в революцию. Но с моей стороны было бы решительной глупостью отпускать вас туда. Не ходите вы ни в какую революцию, там обычно еще глупей, чем вокруг, зимы неотапливаемые, бани позакрытые. Лучше уж ко мне обратно вернитесь. Если общение не получится (а оно так и так не выйдет, уже сейчас вовсю обещает не быть), хоть проголосим вволю срамных частушек, сбацаем пляску какую-нибудь подрыгивающуюся и подпрыгивающую сплошь и рядом. Зажигать будем похлеще всякого народного сопротивления. Сам собой любой строй падет, даже на противоположной стороне земшара. Попадают сверженные строи с планет ближайших вселенских окрестностей, как пострелянные воробушки с веточек. Так и обустроим мироздание, пляша и поя, глазками шальными постреливая взамен утопичных наганов.

Запечатлевал не спеша, любострастными затяжными мазками опыт исчезания художника в России, дул в наблюдениях над словами нерасторопный, вдумчивый в пропажи чаек.

Не успел. Исчез. Художественно прощелкал зевальником. Надо было спешить пошустрее, а шустрить поспешнее; он запутался в своих на одном месте топчущихся медленьях и в чередованиях шустро-спешности, реально неправильный был товарищ... Оставил после себя уйму доверчивых, где невзрачно заплаканных, а где и вчистую обрыданных призраков и неразборчивых исчезновений, явно начерканных беглой рукой. Народ пребывает в состоянии повышенной боевой растерянности: никто не знает, как ими, обильными его пропажами, распорядиться, куда их девать, ведь они начали уже переналяять этот любящий прибедняться мир, массово искажать чужие жизни и воли, неурочно вторгаясь в них смутными тенями, торопкими влюбленными шепотками, прикосновеньями из ниоткуда, внезапно набрасывающимися в безумных порывах любви объятьями, зацеловывающими до обмороков незримыми взглядами, которые ощутимо ведь в тебя смотрят, даже когда никого поблизости нет. Что за хрень?! Это дело пора прекращать. А то до психушки иль дальше досмотримся. В таких случаях, скорее всего, надо побрызгать пространство средством от тараканов, может, хоть так успокоится, малость уймется и подарочки отзовет в небыванья дрянные свои обратно.

Очки отражают мой тревожно огромный, мерцающий влажной грустью, куда-то не в меня и не из меня глядящий невероятный глаз и, в оптическом преувеличении, мертвенно потрескавшуюся, иссеченную морщинистыми дорогами пустыню кожи близ него: вымороченное пустынное бесплодие, природная разруха надвинулись на отшатнувшееся в испуге и страхом замутневшее озерцо. Ужасающе древняя пустыня кожи, дожизненная, дряхлей черепашьей, – она, в силу вида древности, принадлежит очевидно не мне, а безликим векам и абсолютно безнадежному бесплодию, которое копилось и прибавлялось качеством тысячелетиями, чтобы – итогом безытожья – стать моей кожей-такыром, увиденным во всей пропащей, изгубляющей яви на внутренней, на обратной стороне стекол очков, будто на поверхности не нашей, давным-давно не нашей планеты, и мне легко отречься от этой катастрофичной, космической кожи, сжавшей мои ужаснувшиеся и вскрикнувшие глаза, с ненавистью отчаянья взглянувшие вдруг на меня, жаляще, пожинающе меня таки высмотревшие... Не сровнять ли с землей меня они захотели? За что, ну за что вы меня? Вас прошу: пощадите. В чем надо и не надо – вселенски исправлюсь. Не щадят. Смотрят выметнувшейся против меня очень сильной пустыней, по-видимому, маниакальной. Озерца на том месте как не бывало. Влажно мерцающая грусть испа-

рилась, мертвеет иссушенное и растрескавшееся донце тоски. Скорбное безмолвие теперь глядит в крохотную одну, до предела ужавшуюся точку – это все, чем я стал. Крошечным наносознанием это я на один-единственный атом все еще понимаю, остальные частицы стали не мной и смертвели, мною не чувствуют ничего, не желают, мною вопиюще отрекаются жить, предпочитая видеть себя средь нечутких, уравновешенно оптимистичных косных материй...

Пора очки поменять, плохо, превратно они меня видеть стали. И очень предвзято. Как-то не так все смотрят сумасбродные очочки мои, явно замыслили что-то против ослабевшего моего, в упадок смело пошедшего зрения (да и меня заодно размечтались низринуть в какую-нибудь усушку с утруской). Не сместить ли они виденья мои хотят и стать царями моих воззрений?

Обязательно уволю из жизни своей эти дурные, мертво влияющие на меня очки. Вот только из еле теплящегося в себе живого атома надо вновь суметь разживиться в полыхающе полного, прежнеобычного человека. Ну, начали. Тянем-потянем да у-ухнем! Тянем-потянем да у-ухнем! Или сам пойдешь добровольно, явкой с повинной? Ну то-то ж! А то привыкли тут притворяться отсутствием состава преступления и практически еще не рожденными!

Крайне непрямодушный человек.

Все в нем точно живет лишь для того, чтобы быть изловченным обманным извивом. И скользковатым отстранением, избежанием всякой сути и всякого сколь-нибудь живного человека.

Ничего не скажет впрямую, даже когда говорит, казалось бы, от всей навстречу идущей души, от всего громыхающего громоздкими, металличными чувствами сердца. Ничего не сделает прямо, без задней или окружной мысли. Каждое дело с тайной кривой усмешкой и выглядывает исподлобья. Обязательно нужна огромная поправка на его искажения. Иначе рискуешь легко перепутать этого мнимочеловека, этого мимочеловека с чем-то другим, например с ужимистым поползновеньем червя или с лежащими безучастно к себе развалинами, кем-то заброшенными навсегда. Туда в туалет даже ходить прекратили, за отсутствием нужды в той стороне.

Он скудящей природой своей такой зауженный и ничтожный (так и летит с языка сказать: обгрызанный кем-то загодя), что может сделать что-то лишь узкоспециальное. На общечеловеческое ни на что не потянет – личность неважнецкая, в живинках прижимиста, скуповата: прерывистый человек, то и знай его нет. В нее, узковратную эту личность, как в игольное ушко, ни одно большое дело не влезет, не проволочется, ни одна даже среднего размера мысль, а благим намерениям, любящим мостить некоторые пути, и вообще там дорога заказана, не доходя задолго до ада, так что и в ад, хотя б для сугрева, ему не попасть, не говоря о рае: тут экзистенциально непроходимые лежат проблемы. Пребывать бедолажке в промежутках да междометьях, в межеумочных, прямо скажем, местах.

Ну, может, только проехаться в общественном транспорте. И это из общечеловеческого решительно все, на что он способен, чего от него с превеликим трудом можно добиться. Остальное – микробчики, осатанело трудогольничающие втуне клетки, какие-нибудь растительные скляренхимки, которые берут его изнутри незаметненько за химки, – то, что уныло пресмыкается практически уже по другую сторону жизни и не требует к себе личности и души.

Там можно искать и вслепую, без человечьих глаз, которые делаются в тех местах напрасны.

Открытий сердца там не бывает; там одни закрытия.

Там ты мертв надежно и превосходно, ровной смертью бытия, всесторонне биологический ты наш человек. Дашь непробиваемую скляренхимку-то свою поносить, когда невыносимо тоскливо и чувствам ознобно будет? Как же, даст, держи карман шире! Специально для тебя умрет на твоих глазах, лишь бы ничем не делиться и себе все крепко зажилить. Притронешься вороватым личным касаньем проверить наличие жизни в нем – а он уже остужающим анабиозом хорошо так, мечтательно прямо подернулся. Сразу и успокоишься, вмиг оттоскуешь, чувствами едва ли не до кипятка ошпаренно потеплеешь. Все жизненно важные катаклизмы функционируют в нормальном режиме. Так и найдешь достойное применение все темнящей про нас человеческой биологии. Да и всяких гуманистически направленных открытий походя массу наделаешь. А чего еще, за исключением двух метров земли, для жизни веселой надо?

В букинистическом отделе бывшего – разжалованного в писчебумажный чин – Дома книги (так

величественно никогда больше не назовут книжный магазин) стоят небывало, бесстыдно удешевленные собрания сочинений, в непритронутой целости, в первозданной сохранности. 12-томный Лесков – 160 руб., 5-томный (ох, томно, невыносимо томно, должно быть, этим томам!) Стивенсон – 100 застенчиво прячущихся, готовых провалиться сквозь землю целковеньких, в твердых ценах плывучего 2003 года. Остальное не помню – затмило в глазах от неверия, стыда и беспомощности.

Как низко все пало, коль *это* стало так никчемно дешево. Вполне бросово.

Выбросился из магазина с чувством, что мы – пропали, что время наше пропало. Все пропало. И жалко сделалось несчастных, глубоко павших, куда-то далеко не туда запавших людей.

Две-три бутылки от силы самой нищей водчонки за полное собрание сочинений (как тут не измерить стоимость бедственной национальной валютой, кое-как приладив одну бедственность к другой, в унылой надежде вытанцевать что-то средне хорошее). Что бы примолвил, узнав нищий сей случай, Лесков? Самым ужасным казалось то, что никто этим не ужасался средь умиротворенно, благостно, плывуче длящегося дня воскресного города. Все было обыденно просто, словно чья-то посторонняя смерть, и точно бы как всегда. Большого города безмятежный легкооблачный летний полдень существовал вдали и вблизи, ни на что не претендуя, ни на что не посягая. Самовлюбленно и благодушно он тек себе да и тек, в вечно неизвестном направлении, мерно избываясь во что-то не слишком другое, но и печалясь оставаться собой. Хотя, конечно, всей обыденностью и казалось, что цель его тривиально проста, а последствия очевидны до зевотного скуловорота: прибытие дня ожидается к вечеру, встречанье, как от веку водится, с налетом тоски и скуки, свеженьких мыслей для каждодневности вечера где сыскать?

Обремененные книгами залы непринужденно пустовали, очищенные от народа-посетителя, в других местах нынче победителя. Горчайшее, непоправимое бедствие случилось с людьми, тяжкое преступление совершено ими над ними. Точно сейчас вот случилось, в данную минуту, пронзив самое сердце данной минуты, – так свежа и остра та пошедшая в народ беда... для просвещенья, видать, темных масс. Да, впрочем, чего следовало еще ожидать? Люди и всегда-то были существами лживо высокого полета, приземленных порханий, а теперь, расплевавшись успешно с вечностью, и вовсе разучились сносно летать, воздушность и высота перестали быть смыслом насущным. Им как нельзя больше впору бытовать без полетов; скоро произойдет сокращение штатов напрасно в высях шныряющих облаков, пусть переходят на самоокупаемость. Древний опыт поползновений сгодился вполне, он востребуем все шире, с пригодившимся от развитого недокоммунизма и раздобревшим как нельзя кстати энтузиазмом. Неслучайно шумят отовсюду ползковые соревнования – ходят упорные слухи: их скоро включат в олимпийские состязания. То-то поползаем вволю и от души! То-то во всю червяковую мышцу оттянемся! Недавно услышал по телевидению фразу: сейчас модно стало выбрасывать домашние библиотеки... От себя добавлю: но мозги выбрасывать все же модней и намного престижней. Вас тогда сразу поймут.

...А все равно потом, по выбросу из магазина, после панического оттуда бегства (скопище книг таки успело светом тебя заразить?) в пространно солнечное, с завороженным ликованием льющееся раздолье многоликого и разнолюдного проспекта, истайна обещающего многие возможности твоего в нем прекраснейшего, так долго выискиваемого растворения, пропадания, какого-то необычайно нового затем съединения (как счастливо я этим городом болен!), – все равно как-то прелестно пропаще, холодком замирающего страха радостно чувствовать свою особливую, ни на кого не похожую чуждость, свою словно бы отовсюду, из всех распахов, расщелин и окоемов поглотившего горизонт города веющую незримым духовным ветром уединенность, сладостным ядом вселяющуюся, отведав дальней прогулки, в тебя обратным током славную, все о чем-то задушевно светло с тобой беседующую, незаменимую уединенность, – это чудесное опахиванье извне, из всякой предельно анонимной частицы города, собственного вдруг счастливого, ободряюще и раздольно улыбнувшегося одиночества, ясно, легко помолодевшего, утратившего людоедскую свою сущность... таким светозарным и остро надобным, счастливо желанным, таким одновременно всюду тебя несущим, растворяющим и всему дарящим бывало оно лишь в затерянной, глубоко теперь, кажется, состарившейся юности, отрекшейся из предальности своей от тебя, с облегчением ставшей безличной, на все и на всех похожей, но только не на тебя: ты по жизненным соображениям с ней разошелся...

Такое блаженное и чуточку высокомерное чувство, будто весь мир занят не тем, направлен не туда, а ты, неприкаянно скитающийся по сиянию лета, – тем и туда. Окрыляющее, возносящее чувство

обреченности на уединенность, на какую-то окончательную, точную правильность своей несвихнувшейся-таки жизни. Чувство только что одержанной победы, которая победой быть избегала, одерживать верх не хотела. Что-то твердит в тебе бодро-неистребимо, что-то упорно и без причин твердость множит: мы еще все поправим, осилим поправить, и все избежавшие себя трусоватые вещи, и все уклонившиеся от себя ложноватые люди непременно встанут на непошатновенные свои места, еще ждущие их, терпеливо еще, страстно ждущие. Гармония не сумеет нас покинуть. Не решится оставить нас одних – наедине со звероватыми нами. И мы не осмелимся покинуть ее, как бы ни были самонадеянны и безголовы. Пороху не хватит. Кишка тонка. Слабоваты в коленках.

А тут и Волга к моим ногам подкатила, прекрасно меня смутила: не должна она здесь появиться и протекать, до нее протечь еще нескольким очарованным, средь видений своих безмятежно дремлющим в расплывчатых снах улочкам. Теперь для надежд нас в окрестностях стало на единицу побольше (Волга всегда ведь на нашу сторону станет!). В нынешние времена это огромное воинство и великое прибавленье сообщничества – единица. А тут вдруг одариваешься бессчетным единичным сокровищем: целая Волга плюс бесконечность!

Минус-бесконечность также не упустим из виду ни при каких послабленьях. Все пойдет под надежды, когда надежд нет и взяться им неоткуда. С надеждами, скроенными из сверхпрочного отрицалова, нас никто за здорово живешь не возьмет, не одолеет. Силы их мгновенно спасуют и их безвозвратно оставят в совершеннейшей безнадежности. В то время как мы будем стоять на бережке Волги, беспечно топтаться уже, естественно, запутавшейся в песне ногой да бесконечно надеяться – средь урока июльской реки, по щемящей науке бескрайности.

«Сила ее оканчивается там, где человек *смежает на нее глаза*». В. Розанов. Речь идет о литературе.

Вот и досмежались, глазочки-то драгоценные всласть проленили.

Примертвились успешно.

И кому от этой гибели легче стало? – Одному быдлецу, вестимо. Сняли с него непомерную тяжесть высокого, самоупразднили гнетущую сквозь жизнь обязанность хотя бы притворяться «умственным», «возвышенным», чуточку не от мира сего, обязанность, порождавшую в среде быдловатенькой внутренний переполох и вечную неполноценность, второсортность. О, быдло только от мира сего и есть, его искать далеко не нужно! Ни частицей оно не поступится, не посунется ни в какой мир другой, быдлу быдлова жалко, оно за него что угодно удавит и само по дешевке удавится. В этом оно и высОко, только в сторону подполья.

Эге-гей, человече А-еще-в-очках-и-шляпе! Где ты? Ну куда же ты, мил человек, подевался? Что-то стало сильно тебя не хватать, затасканного в прошлых временах где надо и где не надо, по своей вине и чужой. Возьми меня с собой в прежние времена, в истертые, из сегодняшних дней оплеванные и растерзанные кем ни попадя времена, где даже банальная интеллигентность (по повседневности которой страшно скучаю) выглядит теперь драгоценно светло, как тихо длящийся за душой и дальше, все дальше... а вот и совсем ушедший, покинувший нас праздник.

И правильно он сделал! С нами веселиться тоскливо. Только намаешься, как на костоломной работе, недуром истомишься. А наутро встанешь ты, праздник, мрачнее тучи, в голове будто черти проказливые квартировали. Кому это понравиться может? Нет, никуда не годится такое. Лучше и праздника никакого даром не надо, а так, жизнь в ровненькую полоску, но можно иногда в горошек. С мозгами его не предлагать. Это до тошноты уже лишнее.

Чем окололитературнее человек, тем для литературы он околосволочнее. Это уж игривый закон такой, только что в неизвестном направлении промелькнувший передо мной, для радости своего молодечества сломя мне последнюю голову. Дай Бог, чтобы он совсем куда-то уперся, где-нибудь попрятался, провалился и всякую сволочишку с собой упер и замечательно провалил. Но не дает Бог. Больно легко жить захотели! Сволочи тоже надо наличествовать, существовать-то ведь ей как-то же надо, коли жить назвалась от имени литературы. Без нее ничему быть нельзя. Жизнь заранее небесами покажется. А это будет уже никакая совсем и не жизнь. К небесам мы непривычные, с детства не приучены. Нам для бодрости духа с кем-нибудь бы сейчас полаяться. Самое то для возвышенного, клево-то как!

Клево-то оно, конечно, клево, зря спорить не будем, только голову мою, походя сломленную, мне

на всякий случай все же верните, я долго ее растил, чем дальше-то вздумывать буду по животрепещущим проблемам? Хочу в одиночку при своей голове реально побыть в дураках, причем в самом строгом режиме онлайна. Ко мне тогда лучше не подходить. Ох и зол я бываю в режиме реального времени! Сам себя шарахаюсь и пугаюсь, поминутно выскакивая из разъяренного на меня в ответ и ничегошеньки не понимающего уже, запутавшегося в моем поведении онлайна. За несоблюдение строгого режима это он на меня так окрысился. Да и у кого бы хватило терпения? Будь кто другой на месте онлайна, давно бы в порошок меня стер. А этот сравнительно тихий. Легонько посапывая, чтобы излишне не надоесть, знай себе подает что-то и подает, пусть не блещет, зато и не ропщет. Чувствую, будет кому подать мне в болезное и престарелое время стакан неотложной воды. Настоятельно приглашаю онлайн в неразлучные свои, теснейшие родственники. Завещаю ему все несостоявшееся свое состояние. В рамках виртуального мира, я думаю, передача собственной несостоятельности будет выглядеть полным приличием.

Годами он сдерживал ее глубоко запрятанные и до поры неразличимые порывы продажности. Но блядовитое время выманило их, и она охотно стала проституировать даже наружно, весело пестря и мелькая, любому принципу отдаваясь на каждом шагу. Теперь всякое ее тазобедренное движение, всякий отточенный загодя половой и не очень жест – все пронизано приподнятым общественным оргазмом, политически бодро данным нам в ощущениях.

Она и смотрит сегодня не иначе, как минимум один взгляд за сто баксов. В любом случае, твердая необходимость оплаты в твердой валюте проглядывает в прыгучих ее глазиках предельно устойчиво, неотлучно. Зря она смотреть не станет, не на ту нарвались дуру, – зримым по незримому написано в ее умело отдающемся, томно подлегающем взгляде.

Дешевая щедрость проститутки перемежается в ней чем-то иным, еще темноватым, не проясненным, – скорей всего, свежая волна качественно нового проституаизма поднимается в ней, бурный ищет выход. Чем-то на сей раз она будет выглядеть наружно? Во что выльется, разовьется? Ждать ли нам революционных форм социальных оргазмов или махнуть на это дело рукой, сочтя заведомо его пропащим? И безоргазменно прошвыриваться по улицам, с непрощаемой обидой на человечество: обобрало в положенных удовольствиях.

Это уж как время покажет. Его черед выходить на демонстрационные подмостки, тщательной тщетой подмалевав и стушевав отдельные дряхлости и доходяжности. А нам не пристало ему мешать. Потому что нам очень хорошо пристало в данный момент заткнуться и сломя голову исчезнуть, слабея в далях личным виденьем, дабы не намозолить ничьи глаза. Ведь это было бы поистине злодейским деянием – натрудить отсутствующие глаза. Могут с нас потом три шкуры спустить за немотивированно дурное умножение сущностей. Ага, скажут, а лишнее-то как раз и стибрил, стервец, прибрал к ненасытным, бездонно алчным ручищам! Отвечать, отвечать нам, где намозоленные те ничьи глаза? Куда сховал их для заветного клада, к которому присосутся потомочки? А ну возвращай положенную нам долю! Делиться нынче, милок, и здесь надо. Откаты не у вас одних на Земле прекрасно себя чувствуют, у нас они тоже ничего себе поживают. Давай-ка лучше по-хорошему, чтоб хуже некуда не было малую вечность спустя.

И отнимут мои мытарскими трудами намозоленные бесценно глаза. А я так хотел их первоначальным капиталом вложить в малое предприятие по сущему усовершенствованию некоторых начисто замерших участочков бытия, чтобы сделалось там поглазастее. Но ваша ограниченная ответственность беспощадною оказалась – она сделала меня безграничным и способным на все. Теперь всего от меня ждите. Вот-вот я вернусь к вам отовсюду. Ох, что-то тогда и не будет!

Он был неуклонно сорным везде человеком. Уж как-то так сор из него получался невольно. Но про себя, в лучших передовых мыслях, он был памятником, цветущим в бойком площадном месте. И – мстительно за прошлую ползучую жизнь – руководящим с непререкаемого пьедестала повсеместным будущим временем, которое у него не забалует! Он проследит впредь твердо, с несгибаемой линией подвернувшейся под руку партии!

А то держали при жизни меня за придурка! Я вам кузькину-то мать и остальных порнобаб покажу, в натуре! Я вас, блин, научу жизнь любить! – истошно кричал изнутри его мощный и заранее дураковато изваянный памятник, к тому же заметно поврежденный еще в бытование его в качестве человека:

уже тогда что-то в нем не то откололось, не то излишне спеклось, в общем, не срослось. От голосов бешено бормотавшего металла многие часто и абы куда шарахались, лишь бы только шарахнуться, дурость всесветную свою показать. Многие, чтоб далеко не ходить, с первого шага спотыкались и бились, точно сервизы глупые. Материальный убыток населению производил он немалый, счет попер за миллионы. Со всех сторон стали стекаться в милицию порочащие его и даже кричащие от его злодеяний сведенья. Вот что значит возомнить себя памятником и его в себе поиметь, невзирая на вопли общественности, поставленной, а то и просто разложенной перед фактом неумно развившейся в непредсказуемом направлении бронзы.

И с публичным громом снести его, поставившего себя самозахватом на центральном вместилище города, никак нельзя было, не представлялось разумно возможным: был он в клевом прикиде, не хуже памятников революционных, виды местности красил исправно, пальцем негнущимся, политически верным тыкал простор куда надо, правильных наглотавшись газет, – вел себя как законопослушный, ни в чем дурном не замеченный гражданин, который в массе своей бывает гораздо хуже. К тому же, в отличие от былых болванов, он был неимоверно, просто жутко опрятен, как до блеска промытая, почти фантастическая уже, вроде б с Луны к нам свалившаяся лысина. Птицы отчего-то отказывались на него гадить. Наверно, стеснялись, – все-таки новый торчал тут товарищ, неизвестно еще, как себя поведет, окажет; ждали птицы подлинной ситуации. Лучше повременить пока с летучим своим, мелькающим, словно сеть, туалетом. Еще успеем, всему свое время. Пробьет и наш час ловитвы. Так рассуждали вольным полетом птицы, не напрасно жрущие корм, исподтишка присматривающиеся, изнутри уже кал свой примеривающие. Знали они, что делать. Но из благонадежности сбрасывали пока мстительность на привычно обгаженных: на взвод целый усидевших в засаде плюгавеньких, но оттого не менее жилистых, с каким-то воловьим проскоком во взгляде Лениных, на Кирова в единственном экземпляре, точно после скандала с женой выбежавшего из себя на былой проспект Ленина (узнал ли растворенного в облике города идейного друга? ведаешь ли, куда ты поперся? знай, Мироныч, улица это теперь Московская, пригодится для ориентировки на местности, от лишнего знания никто еще не умирал) как-то легкомысленно нараспашку, в двух повисших гирями на ногах сапогах-бодроходах, будто не памятник вовсе, а наспех рванул, себя не помня, из горящего (вместе со скандальной супружницей) дома и не знает, куда, глазами соря, ему дальше сбегать. Но дальше-то себя, Мироныч, все равно не убежишь, никуда не уфинтилишь; шуруй обратно в памятник, имей наконец-то совесть, да и лучше всего там во временах отсидеться: сухо, тепло, покойно, ни одна толпа на клочки разорвать не достанет из цельнолитой бронзы. Вернись, вытащи из огня геройски супругу! Не то заявлю в данные палестины многую милицию и мгновенно пройду по делу свидетелем! Сутяжным я стал вместе с моей страной, догнавшей и обогнавшей Америку по этому задорному показателю... Значит, и я, будучи неразделимым со своей страной, по судебным дрязгам обогнал Америку, хоть и не судился ни с кем ни разу! Вот так и надо далеко позади себя оставлять эти беспримерные Штаты! Кукурузой их не возьмешь, беззубое это оружие. Бить надо наверняка – рекордом заочно притащенных в суд домогающихся или хотя бы с намеком на противоположный пол взглядов! Вот тогда и посмотрим, как эта Америка засмотрит, как вокруг сразу заозирается без тени секса насильственного во взоре и даже без политического в нем стриптиза!

А еще птичечки наши крепко подсели на двух Николаев Гавриловичей Чернышевских – одного старорежимного, еще очень каторжного, невыносимо тощеватого и, видать, вновь проголодавшегося, в доходяжьей какой-то, отборно дрянной кацавейке, чтоб сердце народа по нему сразу и безотлучно страдать начинало (в сторожах ныне обретается ключевого к некоторым особо важным подходам и знаменательного парка Липки, неплохо устроился при высоком проценте безработицы и немного смолкшем по многим каналам кризисе), а другого – совсем новенького, килограммчиков на десять уже, по понятиям времени, спроть былой массы поправившегося, раздобревшего, глянцем отличным во все булыжное личище освежевшего, удачно реанимированного и выпущенного в свет в качестве местного призрака коммунизма к столетию университета, но не удержавшегося и разлагающим взглядом бешеного и плохо поевшего Ницше сверлящего Институт филологии и журналистики СГУ, приглашающего, будто на чашечку кофе, ненавязчиво его к топору (все ему вот неймется!), может ведь подорвать устои. Свежий этот Гаврилыч, еще как следует разнузданной пернатостью не прогаженный, а так, лишь пробно, в порядке нащупывающего эксперимента стыдливо как-то обкапанный

непереваренным приблудным остатком, вроде б помечен был несколькими скромными галочками на неотложный предмет дальнейшего углубленного изучения, как только сверху профинансируют и дойдут любомудрые руки. Так и стоял вольным, обливаемым в основном дождями предметом галочье-вранього предварительного пока наблюдения. А почему бы и не постоять, не помыслить этак святой в некотором смысле бездвижностью? Хорошо торчать средь простора никому ведь не запретишь. А нашему Гаврилычу в университетском дворике торчать – святое дело, можно сказать, сам Бог торчать ему там велел. Самое то ему место – здесь торчать. Больше негде, если по-разумному вдуматься. Впрочем, что-то мы с новоявленным тем болваном откровенно уже заторчали. Похлеще героина он к себе привязывает. Пора с этой памятниковой наркомафией кончать. Этим, будем надеяться, и займутся сведущие во всем летящем птицы. Все озабоченней они начинают нейтрализаторски обезвреживать памятник своей меткой небесной известкой, все зримее их результаты, которые внушают прожиточный минимум надежды, утвержденный текущим правительством на текущий квартал.

Птичья широко гадящая высокотуалетная инициатива, направленная точечной расправой на восстановление исторической справедливости, резко снимает социальную напряженность в городе и помогает выросшему в наших домах и, значит, доморощенному нашему правительству в управлении постоянно колеблющейся, над чем-то бьющейся неразрешимо в припадке обстановкой, которая все мыслимые и немыслимые, зримые, мнимые, а также метафизические лбы о мало прошибаемых этих людей уже неплохо поотшибала. А им хоть бы хны, – наш человек крепок до чрезвычайности, даже в безумии его ничем не смутишь, не своротишь, галлюцинацию хрясть о коленку – и готово, тащи-подавай следующую. Не чуя не то что страны, но и ног под собой с ловкостью невероятною избегая, живем как ни в чем не бывало уверенно дальше, блистая успешно в будущее, которое от чересчур яркого и фейерически пышноватого света успеха немножко пугается и куда-то застенчиво пятится, прикрываясь недоразвитою, культяпой ладошкой, эксклюзивно будучи далеко не в себе. Так и стоит перед глазами эта безмерно живая картинка светлым горем убитого будущего, так и просится на числоутверждающий календарь, рейтингом популярности оттуда тесня и беспощадно бья по блещущим чудами ляжкам прелестниц и человеков, по видеозаписи похожих на блещущих чудами ляжек прелестниц.

Ну хоть бы одна сволочь взглянула на меня сегодня, прибрала себе глазком одобрительно или как-нибудь обобрительно. Я бы уж и на сволочь согласился и на обобрение, так я бессилен ныне и никудышен.

Хотя бы сволочью я был спасен на сегодня. Но нет. У нас так не бывает, чтобы – бывало. Опять пришлось аварийно подключать к спасению себя самого, ржавого и без замков, с фальшивыми тормозами. А он был не то пьяный, не то на редкость не в себе, не то еще какой совсем никакой. Лишняя беда и переполох только и вышли из этого веерного подключения. Я только еще больше расспасся. Теперь я почти весь в себе разбежался. В спешке собираю последние крохи отчаяния. Хоть остатками поживиться, для приведенья развалины в чувство строения.

Чудесное дело: когда журналы были свежие, этакие пахнущие щегольской краскою бодрячки, я их просматривал лениво и бегло, а теперь, спустя десятилетие с лишком, найдя их – те же самые номера – почти на свалке, вызволив из подвально-библиотечного обгаженного небытия, припал к ним чтением въедливо, страстно, с непонятным волнением и нетерпеньем, – потому что они стали *старые журналы*, достойные более приметной участи существа. Они с преизбытком наполнены вызревшим временем, сделались пригодны для полнокровного чтения. Для чтения не примельканного, а – всем своим существом, как возвратившееся сквозь годы любовное объятие, все терявшееся в чужих любовях.

Это я-то – нервный?!

Да в моем лице само спокойствие отдыхает!

Подремлет-подремлет и пропадет. Подремлет-подремлет – и опять, крутоватенько и бесстыже кинув меня, пошло где-то шастать, ищи-свищи его: ну просто какой-нибудь мучительно прогулочный гуляй-Вася, в беспримесно чистом виде! Никуда это фордыбачество не годится. Мне обидно быть исчезающим бесконечно спокойствием. Разбужу-ка я его основательно, чтоб оно до глубин моих не изоспалось, зазря в мертвых снах не сгинуло. Не мертвечиком же недрогновенным мне смотреть, в конце-то концов да и в начале начал! Сделаю спокойствию своему сотрясительно живительную поверку,

потом на складах этих больно уж задушевных устрою натиском административных восторгов внезапность проверки на предмет спокойных наличий и хотя бы скромного присутствия недоворованной прапорщиками тишины. Я мигом спокойствие это построю, укажу ему место! Оно у меня запоет и припечатывающе строевым шагом заходит, с марша развертываясь в боевой порядок, выходя на заранее облюбованные позиции, до глаз кровавых наливаясь «ура», плавно переходя в лавинообразную рукопашную! Ой-ей-ей, с перепугу всем фронтом оно на меня бросилось... Ошибочка вышла с боевыми действиями моего спокойствия... Прошу передышки временного перемирия.

Вот возьму сейчас и с самого бездонного дна души как следует гаркну, чтоб не мертвечиком безобворожительным смотреть, а кем-нибудь гораздо поинтереснее, привлекательным мужчиной кризиса среднего возраста например, в районе 38 лет с малым хвостиком, который в выпивший народный глаз и не бросится, останется возрастной отросточек незамеченным. Да и опорно-двигательную систему нужно выказать в лучшем свете. Дело конченное: выставляю ее на торги, так как толкОв от нее все равно никаких, трески да скрежеты, пушечные стрельбы коленок, неисповедимые испуги прохожих, взоры растерянные, взымчивые шараханья – словом, ходячие одни сплошь убытки и побитые помещенья людей, тел раскуроченные и покинутые транспортные средства.

Га! Га-а-а! Га-га. Ну что, разве так уж и нервный? Нет, вполне нет. Чистое вранье на меня. Ясно же видно и невооруженным глазом: просто живой больше обычного, буднично темпераментный выше нормы, этакий темперированный клавир в натуре. Ваш мертвец, предполагая умереть и всячески тяготея мыслями к этому, будет, тем не менее, прытче прежнего и совершенно неизносимо жить, если не найдет его не совсем обычным путем прямое попадание немотивированной кувалды в голову. Все показания налицо. Анализы досдадите. Значит, первое: мазок на достоверность прикосновений. Потом – общий анализ прыгающего черт знает куда выше всяких показателей духа. Третье: тест на вменяемость исчезновений. И явочным порядком – справку с того света, с непременно облачной формы, но и вместе с тем обязательно круглой печатью. Предпочтительней след весеннего облака, барашкового, еще мало в чем замешанного и виновного. Но можно и осеннюю канитель засобачить, любую небесную размазню, только нужной формы. Под подлинность тут многое может сойти, если не забывать, что печать, в какие бы экзистенциальные передряги она ни попадала, должна быть всегда, во всех отношениях круглой. Просто обязана она выкрутиться из всех положений безупречно круглой, так как правильная закругленность плавно, щадяще смягчает квадратные или квадратно-гнездовые не в редкость мозги, дает им гармонию условно-досрочного освобождения.

Физические силы убывают заметно, как сникающие в осень дни.

Ну куда вы пошли от меня убывать, дурные?! Чего вам не живется-то в тепле да светле? Печку вот, если хотите, вам сейчас протоплю бушующую, разговаривающую пламенным языком. Будете, разнежась, греться, не думая ни о чем, не тревожась, сухарей нам хватит надолго. Со мной же вам лучше было, чем с ничем. Нет, облюбовали в кои-то веки эту безыдейную, в отличие от меня, пустоту! Как будто я был им презренным отсутствием, хуже которого даже смерти ни одной не бывает... Унизили и ни во что поставили меня мои личные физические силы... Вот и имей такие! Нет, уж лучше ничего не иметь, чем иметь такое, опорочивающее тебя и обличающее чуть не на каждом шагу, который и шагом-то не назовешь вследствие подлого отсутствия прыти. Ну хорошо же... Покиньте меня, физические силы, прошу пока по-хорошему. Довольно испытывать мое терпение! Прочь, несносные! Быстренько сгруппировались и вышли вон. Если руки какие-нибудь есть и некоторые головы, то – все руки за все головы, вот так-то оно будет лучше и всем понадежнее! Глаза держать в пол, если среди вас тут глаза наблюдаются! Чтоб я вас никогда больше не видел! Чтобы духу здесь вашего не было! Настоятельно рекомендую меня не беспокоить, не ломиться ко мне, особенно по ночам, когда чего-то там вам взбредет или взбрендится. Все равно у вас ничего не выйдет. Шутки кончены, взаимность любви исчерпана, пройденный она и вычеркнутый из сердца этап. На энергию среднетяглового червя жить буду. С меня хватит. И сухарей за существование на вагон меньше уйдет. Сухарь будет теперь целым событием, вроде утраты доверия к Лужкову. Колбаса предстанет чудом планетарного масштаба, в которое так сразу-то и не поверишь, никаких земляных восторгов на объятие колбасы не хватит. Чувствую, заживу лучше прежнего и припеваючи. Только вот надо разучить самые ходовые песни червя, а то как-то неловко среди своих выступать человеческим голосом, пусть и праздничным... Превышаем, между нами,

червячочками, говоря, предельно допустимые нормы эмоций. За это по головке не погладят. Так что и без физических сил надо найти в себе силы, чтобы как-то побуйнее уняться.

Расплевался я навсегда с физическими силами, – не нужна мне такая любовь, которая мной помыкает и на мне безропотном куда возмечтала для собственных нужд, туда вдруг и съездит. У меня теперь к этим напрасно распиаренным всюду физическим силам довольно прохладное и на всем к ним протяжении скептически-настороженное отношение. Что есть они, что нету – это для меня одна ерунда. Особенно если сидит в тебе червяковая сила духа.

Ни живого спокойствия, ни физических сил – один, что ли, мертвечик я получаюсь? Ох как этого не хотелось бы. Совестно как-то быть несвойственным себе человеком. От него всего дальнейшего ожидать можно. А я хочу от себя одних идеалов и крупной реализации посредством ходячего своего тела всякой большой – с небо – мечты, которая, надеюсь, всегда пойдет мне навстречу и окажет во всем услуги. Со своей же стороны я обязуюсь всегда идти в ее направлении и оказывать ей всяческую помощь и посильное мне содействие. Договор о взаимных намерениях. Подпись мечты и подпись фиктивного, отчасти вероломного владельца ее прилагаются. Все шито-крыто и юридически верно, осталось только мечту в удобный момент хорошо кинуть. Вот увидите, я успешно ее нагрею и на ней наварю приличные капиталы! А вы говорите: мертвечик, мертвечик... Вот вам и мертвечик! Не всякий покойник додумается до такого! Я малый и средний бизнес теперь олицетворяю, не хухры-мухры. Покрупному способен и не на то еще. Вы не очень-то тут... Давайте-ка со мной повежливее и отчество к моему имени подцеплять не забывайте. А то рассержусь и немножечко вас киллерну.

Омразительный человек.

Простым словом его не поймать, от обычного слова он легко уворачивается. Выскользывает.

Голой речью его не возьмешь. Надо что-нибудь поежовей, булыжнее.

Со временем все страннее, смутительнее и затемненней становишься, переполняемый сбивчивым обилием поглощенных и лишь в малую долю усвоенных лет. Все от себя отстраненнее.

Ты – брошенный под снос ничейный дом.

Ты – умерший в осени, оскелетившийся бурьян на ветру.

Ты – что-то еще, неизвестно и что, возможно, несбывшийся какой-то и бог весть где запропавший пространщик.

Ноябрьский тягомотный простор, не нужный себе самому и тем расстояниям, которые с таким живым длением олицетворяли его совсем недавно, быть может, еще сегодня с утра. Теперь все потухло, убавилось, с собой рассталось. Знай, – это ты стал ноябрем, это ты сделался гиблой моросью и непроглядным туманом... Это ты, ты! – уже не отвертишься: опознан... Как легко и точно опознан! Есть свидетели: проходивший мимо спотыкающийся на ровном месте северо-западный ветер и крутившаяся поблизости бездомная, но настырно эксклюзивная собачонка. В понятые можно пригласить сколько угодно ясеневых и кленовых опавших листочков, ни один от тебя не откажется, всякий не задумываясь под тобой подпишется. Ведь листва всегда за тебя. Прикроет собой любое твое худо, сколь бы ни было оно всесветно. А приглядишься – просто кончился листопад. Просто меньше ты стал на одно чудо.

Я вам сознательно все усложню, чтоб вы хотя бы на пару минут отвыкли чувствовать себя окружающим идиотством. Идет? Ну, так или иначе, а уже пошло: дело пущено, пышет благородством переустройства. Зачетное время тоже пошло, старайтесь в него уложиться, ужаться, во избежание нареканий со стороны щекотливого, иногда в этих вопросах придурошно ржущего бытия... Ну-ну, что уж вы такто, зачем? Не стройте из себя дурака, подобное ведь и неприлично. Этих строеньиц и без вас хватает с лихвой. Вы явно не туда направились в нашем экспериментально-прикладном соревновании. Что-то эксперименты наши барахлить стали и резко давать не свойственные им обратные результаты – как раз то, чего ждать от них больше всего отвращаешься и чего самым противительным образом точь-в-точь не хочешь.

Вернитесь скорее обратно, я вам сознательно все упрощу! Нет, и так опять прет напролом в идиотском направлении, даже лучше еще, поярче, как-то заманчивее... Совсем экзистенции изгадились,

никакого дела с ними невозможно иметь, нет на них управы! Всё не туда выворачивают, всё дурь свою показывают. Да ничего дурь. Дурь у вас отличная. Дурешечка ваша чудо как хороша, хоть куда, невеста на свадьбе обычно хуже бывает, плачевней, потасканнее. Это вы доказать сияли? Ну доказали. Вы замечательно преуспели! Сияние можно уже выключать, чтобы не было перерасхода дури в национальном масштабе. Посверкали – и будет. Другим ведь тоже хочется невтерпеж сверкануть собой. Освободите немедленно место для изнемогающих звереть на земле фейерверков и других пускаемых в небо огней.

На жгучий вопрос анкеты «Кто в вашем доме глава семьи?» он, не смущаясь сомнением, отвечает: женская дурь, кто ж еще-то, больше некому.

Это ему и припомнили на том свете, кратко порывшись в архивах и справившись для проформы еще кое-где, наверно, в спецхране. Сослали в женский рай за вызывающее отношение ко вторым половинам. Якобы на перевоспитание. А на самом деле – известно, за чем. За полной, естественно, опять неизвестностью.

Вечно эти женщины, думал он, наведут шороху, непонятного отовсюду трепету. И прислушивался все, боязливо прислушивался. Не приближаются ли? Так он и знал, что так будет! По-другому не бывает, когда в раю, да еще насквозь женском. Тьфу ты, черт, руганулся под прикрытием черта глубоко внутрь себя матерно, вот же впутался, вот пропал так пропал... По собственному желанию прошу вернуть меня в смерть обратно. Я исправлюсь и буду относиться к ней по-человечески, не повторю прошлых кривых и заскорузлых ошибок. Постараюсь проявлять повышенно максимальное чувство любви к моему очень любезному ко мне, во всем потакающему и неотлучно сопровождающему везде отсутствию. Обещаю принять в нем самое искреннее, горячее и разностороннее участие. Единственно, на что надеюсь, так это на его взаимность – она же является и моим утешением, которое по размерам сравнимо с национальной катастрофой, – утешение мое безмерно.

Так думал он. И зря он это делал, так как в его состоянии можно было ничего и никогда не думать, а лишь одной душой на все безудержно любоваться, делать ею широкие радужные обобщенья. А тут и многие женщины уже подходили. Подваливали от смутно видневшихся райских кущ ватагой дружной, развязной, с трудов радости, видать, возвращались, помахивая и без того намахавшимися за день колхозными граблями, поя песнь безудержную и язвящую: каким ты был, таким ты и остался... Ох, что-то сейчас будет! Обязательно уж, вопреки всему начнется... Ну, делай что должно, и будь что будет, – словно в пропасть он ухнул. На том он с женской, хищно хотящей оравой быстренько и поладил. Против обыкновения, это оказалось до невозможности легко и просто, шло в основном ему в зачет удовольствия, и трудодней насшибал немало (их отоварили осенью приторной патокой насладительно пыточной страсти). Он не переставал удивляться тому вечность кряду. Целую вечность специально убил на это. И ведь не жалко. Чего не сделаешь ради небывалого открытия женщины? Вот почему прежняя жизнь кажется отсюда не существенной почти козявкой, которая ровно ничего значит – тютелька-в-тютельку, один к одному ничегошеньки, отклонений в этих вещах здесь не бывает ни на одну занюханную античастицу. А будь что будет было истинно райским наслаждением, как и обещали по телевизору. Не врала реклама, зря на нее высоколобостью клеветали.

Слишком большим подарком для тебя будет, если я твоим врагом стану.

Я не настолько к тебе уже щедр, чтобы одаривать тебя сильными, прекрасно ненавидящими чувствами. Эта роскошь теперь не про тебя. Я уж лучше буду тебя любить как-нибудь не очень прекрасно, может, безобразно. Скорее всего, безадресно. Измедленным, отстраненно спокойным, очень далеким чувством, давно стремящимся не быть. Но ему не удастся отсутствовать, пока я жив. Не удастся. Мое отношение к тебе и есть целиком моя жизнь, сколь бы этого я ни чурался, как бы этого мне хотеть не хотелось. Ну а после смерти посмотрим – пересматривать ли мое отношение к тебе или так оставить. Там будет видно. Буду действовать любовью по обстоятельствам, по складывающейся посмертно оперативной обстановке.

Во всяком случае, даже если решение окажется благоприятным, на небесах нам вместе не быть, не бывать: нам *не жить* друг без друга. И воздушный там встанет вопрос ребром: или – я, или – ты! Или я отказываюсь вообще что-либо понимать и участвовать в дальнейшем предприятии жизни, именуемой далее – совместное веденье хозяйства.

Все замечательнее заметно – я не старею, этой нелепости не подвержен: как сейчас, так и 20 лет назад брожу сквозь непозднюю млечную осень с младенческой коляской, точно прикованный к ней бессрочной сладкой каторгой, – освежаю открытым воздухом как будто все одну и ту же бессрочную дочь. Лишь имена на удивление разные. Но имена ведь вымысел, не больше. Имена это ничего, это не страшно. (Меня, например, вон как припугивающе зовут, и то все сходит с рук, как гусю вода те страшилки. А ведь «Валера» слышится предвестием катастрофы, вряд ли значит он меньше; «Валера» – это звучит не гордо, но скромно апокалиптично. Я всех этих настырно ползущих из всех щелей Валер вычеркнул бы для умиления бытия из списков присутствующих.) Вот было бы что другое, а не имена, тогда бы я с готовностью и даже с превеликой охотою испугался, всей кожей крупным рывком рванул бы доблестно вздрогнуть – и на глазах бы у вас постарел, осквернел, издурнел, сразу бы в падкости на старение вы меня уличили, в многой лете по всем параметрам и направлениям разоблачили. С остальным же не поспоришь: вот я (сомнению не подлежу), предъявлен с бормочущей осеннее свое коляской, торопливо проговаривающей палое, златоязыко шуршащей опавшим, и с младенческим развлечением на губах (сомнению не подлежит) – гу-гу, гу-гу твержу для взбодренья ответной улыбочки из заветной коляски. Ничто тут ни под каким язвящим углом не опровергнешь, даже если напускать на меня в качестве подавляюще превосходящего, отборно вскормленного противника исторический материализм с его прежней бульдожьей хваткой, которая многих на нет угрызновеньем свела.

И так двадцать лет: как только в округе проклюнулась осень – я, недвусмысленно прикрываясь папашей, шасть с неувядаемой колясочкой на улицу, всегда, естественно, один и тот же и с не вырастающей специально для моей молодости дочерью колыбельной, грудоприимной. Ну а что вы думали?! – каждый приспосабливается в жизни как может, на то он и окружающий нас молодильный рынок.

Засим откланиваюсь еще на двадцать лет, но наперед, то есть продлеваю, надставив, как коротковатую лестницу, данные поклоны непосредственно в будущее, так сказать, откланяю целиком все поклоны в лучшие времена, туда их до времени про запас переправив, чтоб не перепортились ненароком и загодя в чем-нибудь не повредились, бурным развлечением своего наслаждения какого-нибудь выскочившего им поперек мерзавчика не изгадились; впрок создадим из поклонов хранилище неприкосновенных запасов. Там среди изумительно себя ведущих изобильных, розовощеких еще поклонов чинно встретимся и вновь сверим часы, наручные, биологические и иные, к тогдашним временам изобретенные, вплоть до вселенских, к тому времени неимоверно продвинутых. Боюсь, как бы вы меня опять не застали в осени первоначальной с моей неизменной коляской, с почти уже вечным ребенчиком в ней, среди будущего двадцатилетней старости или младости – не понять-разобрать. Не скрою, будущее словно душком отдавать будет, благодаря младенце-колясочному упрямству сего непоправимого вида (и меня при нем, в него влипшего), то ли дурновкусием, то ли дурнопомешательством, не то чем-то исключительно будущим, чего никаким чутьем, к сожаленью, отсюда пока не достать, не прочухать – ни отведать нельзя, ни хотя бы лизнуть на разок, только в полном неведеньи скучно мотайся с коляской, шляйся вот как приговоренный к прогулкам или для шагов своих по дешевке нанятый (за бутылку пива в отмотавший мне все руки трудоемко певучий и дрыгуче-колыхучий час, побогаче оплаты у мироеда души моей и с колен не проси, тут она сразу крепкий и жилистый деревенский кулак).

– Но каков этот измолодившийся без времени и без стыда стервец?! – разве не так вы в будущем скажете не без пропащей радости, пропаще махнув для каких-то мельканий рукой? Так как, – не будем совсем исключать возможности, не будем лишать возможности и такой возможности, – и махнуть на те времена окажется особо-то некому.

Я в интимном масштабе публицист широченный. Из потаенных архипелагов висельные, но неуклонно веселые мои репортажи. Певец ГУЛАГа своих желаний, неволь пыточных слов и добром не заканчивающихся обычно побегов из себя любимого. Я поклонник глубоко внутреннего личного пользования. Эстет самозаточения и саморасстрела. Но и, между тем, убежденный моральный сторонник отмены своей нескончающейся смертной казни, взявшей обыкновение в игрушках меня держать собственной порочной и для нее одной доблестной и забавной услады, а мне опять находи себя в каких-нибудь до стыда скромных, совсем невозможных уж трупах.

Тамбовский волк – и тот мне не товарищ: не вписывается в мои отношенья с реальностью, то и

дело из них крупным планом выламывается. Слишком внешнее он и активно, с грубым географичным нажимом названное существо. Не по моему нутру водить шашни с реально очерченным тамбовским волком, еще чего не хватало! Был бы он порасплывчатее, промельком, то ли пень, то ли тень, я стал бы ему другом мгновенно и видел бы его в каждом камне или кусте, из теплого чувства товарищества в огромных количествах выдавал бы их за него, даже больше бы шастало в мире волков, чем реально на свете. А так нет – шалишь, братец тамбовский волк, гуляй отдельно, ищи себе другие кандидатуры в степные напарники, санитарные деятели урочищ глухих. К тому же, устав ждать от меня питания мясом, будучи сытые одними обещаниями съесть хоть быка целиком, последние клыки не выдержали издевательства и выпали у меня, оставили хищнические мои замашки и намерения, я и по обличью тебе не подойду, волчьего кастинга звериный барьер не одолею. Так что – адью! Будь счастливо похож на кого-то другого. Я своей похожести тебе не отдам. Лучше истрачу ее на что-то другое... Килограммчика на три чего-нибудь свеженького ее, похожести моей, должно с натяжкой хватить. Вот тогда в гости уж и валяй – заявливайся, до полной неузнаваемости зальемся и отъедимся. Может, хоть тогда мы немного друг друга узнаем. А так нет, и не проси, никаких шансов заполучить меня у тебя не остается. Ну не горюй. Да не убивайся ты так, в самом деле! Не все еще потеряно, жизнь ведь практически нескончаемо длинная, а в чем-то и близко не начиналась. Успеешь потерять за нее даже то, чего никогда не имел ни под каким видом, а что уж тут попусту-то трещать о твоих смехотворных и явно надуманных лесным ветром проблемах. Пока-пока, солнышко лесное...

И не заметил сам я, как в тебя, волчара, до потери головы влюбился, до взбешенного учащения, сумасшедшего бегства пульса и последующей тоже его потери... Вот что значит обладать необузданно высокой чувствительностью (только бы Кундере на глаза не попасться, не то ужасы всякие будут, их мы не минем!). Зря такую я иметь взялся. Опять какая-нибудь нереальность мне выйдет боком, рвя его с некрасивым, порочащим меня клоком, что страшно обидно: не столько попользуется, сколько моим в единственном экземпляре телесам, безобразничая элегантно, нагадит. Ничего потом по себе не прочтешь, сделавшись одной неразборчивой раной. Станешь не рукопись, а какое-то приблудное и бомжеватое, пространно ободранное сочинение, которое не то что на выдающееся произведение, но и на кульки для семечек не потянет, а в туалеты такую дрянь уже не принимают – бумаги, соответствующей положению, кругом располным-полно и дешева она нынче необычайно, не по чину глубокоуважаемого занятия: это наводит на сомневающиеся и довольно-таки настороженные мысли. Всякие бунты у нас бывали – медные, голодные, соляные, только вот туалетного нам не хватало. Жди теперь неизвестно чего в многих растерянных думах, заранее убитый слишком живой картиной вылившихся в туалетные акции народных восстаний.

– Ничего еще нет из редакции? Не ответили?

– А чего мне ждать? Рукопись я отослал. Остальное не мое дело. И мои ожидания уже – не мое дело. Я написан. В таком виде не страшно и в мусорную корзину попасть, среди выкидышей очутиться. Тем более что и возврату давно не подлежу, в грехе таком благополучно искоренен, ему не подвержен и не замечен. Я спокоен: мне ничего не вернут, ничего не ответят. Именно ничего в чистейшей сокровищнице своей из редакции мне в полной мере и будет, поступит. Как-нибудь, наверное, все-таки дадут о ничего моем понаслышке хоть знать. Я на это сознательно пошел, посылая... В твердой памяти, в трезвом уме, заваленный грудой исчерканных до неузнаваемости черновиков собственного тела. Прямо картина Верещагина с любовно выложенной горой черепов, а не я получаюсь. А по моим если чувствам, то и еще тут возникает неплохая картина одна, под кротким названьем «Не ждали». Кажется, начала складываться целая картинная галерея разнообразных моих портретов. Ну, не писаньем, так происками изобразительного искусства все-таки к вам я проникну, уж просочусь к очам, к веждам и невеждам вашим. К тому же я еще и на барабанах здоровски бабахать умею, пионерский горн как будто специально для меня создан: в веках не найдешь соответствия благодатнее, лучше. Так что ждите, скоро буду, оркестрованный и размалеванный во всей неземной красе, до неразберихи изрисованный попутно солнцем.

Погостил у последних в моей жизни друзей. Как бы наведался. Якобы повидался.

Нахлебался дружеской баланды-помощи до остервенения глаз, которые за некоторые моменты гощения фактически озверели и начали изнутри медленно сатанеть, наливаясь соответствующей зре-

лостью и гроздьями чего-то еще, в жизни малоупотребимого, страшно редкостного.

Что может быть мерзее неискреннего этого пойла?

Лишь я, до отказа вспоенный им.

Куда же подевались редкие мои друзья и немалые, увесистые прежде приятели?

Их иные времена унесли в клювиках крепких, всеядных.

А я, разиня мысль, так и остался во времени своем, несложно прикинувшись нынешним и современным, а если безумно редкостно повезет – продвинутым.

Как же столь долго было мне невдомек, что именно оно, лишь оно и есть мой единственный доподлинно искренний собеседник, мой чутко взымчивый соглядатай, который не исказит меня никогда и не предаст? Свое время. Долог был путь (местами он целыми эпохами пропадал) до своего старого времени. Оно успело сильно устареть за мою дорогу к нему и меня заодно пристарить и порастратить.

Так вот образовался во мне новый неразлучный друг, и отпали, сами собой развеялись обременительно внешние приятельства, – они только истощают да с толку сбивают моего неподдельного, очень притязательного и ко мне совершенно безжалостного товарища. С ним не забалуешь, на какое-нибудь лево не сходишь за легкой добычей напраслины иль наслаждения.

Лишь с таким и выживешь в труднопроходимой, искусно оснащенной красотами дикости далекой жизни – она неразличимо уж сливается с горизонтом, с его причудливой в своей конфигурации тревогой, наспех созданной не то из тающих облаков, не то из моих дурных предчувствий, которые любят где-нибудь бегленько себя начеркать, якобы невзначай обернувшись природным граффити. Прочь, дурные! Я и без вас тут чего-нибудь намалюю. Не хуже вас я мазила. Итак, начнем с основополагающего, краеугольного начала, начертаем перво-наперво то, что в таких случаях обычно чертают: здесь был, стало быть, такой-то Вася! Разборчивая подпись и не менее разборчивая дата восшествия в наскальную хронику. Вот теперь полный порядок, дальше можно и не продолжать, все становится как божий день ясно. И душа спокойна, совершенно она на месте. Как мало ей, оказывается, надобно, чтобы решительно и ни о чем успокоиться! Одним каким-то практически безымянным Васей утолилась и буквально на моих глазах с бесповоротным видом самым активным образом сдохла... Эх, а еще бессмертная! Вот же какая притворяшка была!

В стройном здании человека есть одно досадное архитектурное недоразумение: крыша набекрень. Крыша постоянно едет.

Особенная сладость – развратить.

Да вовсе и не особенная. Всем человеком эта сладость.

Всем неудавшимся человеком? Или изначально данным?

Всем удавшимся изначально темным.

Эх ты, святая нелепость!

Ах ты, неряшливая тетеха нелепости! Ты все смутила и отвратила, все с ума извела... Это же надо таким обладать крупнозахватным развратом! А с виду-то стеснительная неумешка такая, по виду-то – целоваться даже не научилась и мат впервые в жизни, видите ли, слышит. Что, и крупные органы разврата как называются, не знаешь? Только пожимает в растерянности плечами, будто лишь три сладостных мгновенья как свалилась в Россию, никакой жизни еще не испытала. Или это я сегодня с утра что-то немножечко сумасшедший? Ведь так не бывает, когда везде так бывает. Невозможно какая-то целомудренная мне попалась нелепость. Даже обидно и во всем на свете страшно стало. К тому же: и что дальше еще будет? во что ужасное и невероятное сия деваха разратиться может? Все вопросы, вопросы... Град вопросов, которые того и гляди меня начисто выбьют. И придется списать тогда мой посев, получить новые вливания банка. Иначе заработать что-то никак не получается, прямые труды в России не действуют.

Какая великая, освежительная и воодушевляющая радость: в Неверкине ни одного продвинутого, ни единёшенького, даже под кроватью нигде такой не завалялся и не попрятался!

И сразу легко дышится. А то с продвинутыми страшно: так в дыханиях и заикаешься, дышочками семенишь куда-то не туда и будто на болезненно прикрученных к тебе не в тех местах цыпочках.

Правда, жутко много здесь недодвинутых, а то и сразу крепко задвинутых: давят вон под кустом жутенького, словно только что опоросившегося песняка, омрачающего лики нашей действительности, и без того беспрерывно заплаканной, – без крепких, прочно и многосторонне увешивающих ее слез на улицу она уж не выглянет, светло ходить опасается.

А вот от этого дышится заметно трудней. Будто хромаешь на обе ноги, а не дышишь, будто не идешь, а заранее валяешься кое-как в кювете, для надежд прямохождения кардинально потерянный.

И получается что в лоб, что по лбу: с дыханьями затруднения, с поставкой их случаются перебои, несмотря на исправно действующий, ни потребности не упускающий без взбодрения пятничный наш базар, радужно отсвечивающий и на остальные, без рынка постные и малосиятельные, какие-то совсем не говяжьи дни.

Олигархи поделили недряную Россию.

Политики поделили внешнюю Россию.

Нам делить, слава Богу, ничего не осталось. Будем жить нераздельной нутряной Россией. Как это замечательно больно, как невыносимо прекрасно!

Как чудесно, что это поделить и разворовать невозможно, какой бы ни сидел в тебе крупный, отъявленный, много раз посаженный вор, – сроков уже с преизбытком хватает, чтобы точно тебя и навсегда отсчитать.

Со мной экономику точно уж не разовьешь, даже в вялоползущую фазу. Я человек малопокупаемый, а продаваемый – и того хуже. Очень блеклый я, бледно выглядящий, прямо скажем, товаропотребитель. Предельно невыразительный. Даже не товаропотребитель, а воплощенное недоуменье его. Только со мной экономика и может быть экономной, как не мечталось и социализму дурь потешить в снах золотых. Вот напрасно социализм так мало ценил меня в качестве экономического своего ревнителя и радетеля да и в качестве экономично мелькающей личности явно от меня недобирал, нес и терпел мной массу величественных несносных убытков.

Не желаете ли иметь в моем лице натуральное хозяйство? Пренатуральнейшее хозяйство в виде меня? Ну, как вам больше нравится иметь по вашей привычке рынка, в таком обличии и представьте меня, приноровите к своему ретивому, наверняка рысью идущему представленью. Пожалуйста, мне нисколечко ведь не жалко. Так и так перепроизведен, бросов и ничего не стою. В таком случае хоть горшком назови, дороже не стану, в мейнстриме маркетинга не обнаружусь, как-нибудь брендово или трендово не обнажусь. Используя меня, рекламу не разживишь. На моем отсутствии реклама явно не разжиреет. Просто сбросить, обрушить на меня всю рекламу и совокупным общественным топотом потоптать – легче всем и выгодней сразу станет, будто весной отовсюду тем же мигом вальяжно и нежно потянет.

В темных условиях долго раскачивающегося (он и нас, подлец, вихляньем своим раскачал), но для измывательств хапнувшего-таки Россию капитализма я как-то незаметно для себя, чуть ли не сомнамбулично впал, как в неслыханную простоту, в личное натуральное, а равно и подсобное хозяйство – уж заодно, чтобы ничто не пропадало и инвентарь не тяготился простоем, производительные силы под дождем впустую не мокли. Обхожусь исключительно собственными наглухо отгороженными от внешности психическими реакциями, скудными корнеплодами рефлексов, которые довожу до обилия вегетативным путем, незаемно ковыряюсь в несоборном пупке, личным психическим навозом удобряю свой дичайший огород в мире и получаю кое-какие, пусть и весьма подозрительные, но свои, в чем только не вывалянные плоды, которые есть особенно-то некому – едок я не из лихих, не какой-нибудь отъявленный толстожор, а сторонние наблюдатели, воззирая на мои неадекватные мельканья с мотыгой, что-то не очень бешено набрасываются на изгвазданные в почве и судьбе продукты.

Образ жизни веду приличествующий своему положению – анабиотический. Даже на растение не тяну, может, лишь на бессмертник, мертвелый от ужаса бесконечного срока жизни, или от происков осени закостенелый, всякой души лишенный татарник. Так, разок-другой в день шевельнешь от пустячности переживаний да от нечего делать листиком иль стебельком, утопающим в чахлости, и шабаш, больше признаков от меня не ждите, труд напрасный отслеживания, пустой бред поставленного надо мной очень милого и отрадного мне бесчеловечного эксперимента.

Всегда держу один день про запас, на непредвиденные расходы. Вдруг кто нежданно вернется из небытия или собственные неотложные грянут похороны (поприсутствовать на которых я просто обязан, или то не я буду!), а у меня и крошечки дня нет в остатке. Как же так? Это сущий ведь непорядок! Разве тогда тебя можно считать владельцем собственных дней?

Мало-помалу скоплю из сэкономленных секундных крох, из осколков оброненных случайно минут тайную массу недопрожитых дней и для наилучшего их сохранения, возможно, положу в надежно избранный банк под скромный %. Или буду выдавать нуждающимся взаймы, но только крайне нуждающимся, смертно, когда вопрос о жизни плавно перетекает в смерти ответ. Тут даже этого паршиво кусающегося процента не возьму, тут надо бы вообще даром, но не оскудеет ли тотчас рука дающего? вдруг раздаваемых дней будет больше, чем дней, необходимых руке, чтобы продолжать еще быть живой? Что отдашь забытийной конечностью, идеально на днях завершенной?

Я автор множества отсутствующих книг.

С каким великолепием и достоинством они отсутствуют! Гораздо достойнее меня ведут себя в небываниях гордых, прелестных своих. Я где-то запищу, где-то невпопад зарыдаю, а книги мои небывалые переносят все тяготы и невзгоды с олимпийским спокойствием, отвергая попытки всех домогательств, отвечая на все неприступным молчанием идеальнейшей немоты.

Изредка лишь эти книги можно прочесть в моих так и не сломленных печалью глазах.

Еще реже их можно встретить в запущенных библиотеках, книги которых – несчастные жители – уже пустились в рассеянье и изгнанье, во все тяжкие повсесветно гонимого небытия.

Парадигма, мать ее за ногу, сменилась!

А мне-то чего теперь делать прикажете, что ждать назначите? Мне, не поспевающему елозить сноровисто своей жизнью туда-сюда, чтобы в конце концов так никуда и не попасть, только надежней все упустить, не без облегчения на себя плюнув с досады. Ужасающе, отвратно инертная, со временем все больше любящая медлить и не идти дальше жизнь, смотреть на ползучий бег ее до избытков прекрасности тошно. Силком гонишь ее впереди себя, как шарахающуюся и норовящую просочиться назад скотинку, попугивая то криком истошным, то матом сердешным, грозя умереть первым и жестоко жизнь свою осиротить. Но ничего не помогает, так как все бесполезно, – тотчас уткнется она в ближайшую к ней парадигму и ненормально молчит, как неродная, делает вид, будто это она так сытно и привольно пасется для недостижимых высот предполагаемого молока.

Я ведь весь вконец испарадигмился с вашими сбивчивыми, донельзя кочковатыми и клочковатыми временами – живого места на мне уже нет. Стою весь в дырах сквозящих и отрепьях, по телу без моды летящих, в лохмотьях сознания, посмотреть не на что стало. Я больше пришелец из давних эпох, чем из вашего настоящего, которым вы что хотите со мной, то и вытворяете, а я из деликатности покорно леплюсь, принимая мерещащиеся мне формы ваших фантазий. Верните меня, пожалуйста, в наше или хотя б полунаше время, а за мной не убудет. Обещаюсь быть расторопным, во все свой нос исправно и с любопытством острейшим, глубоким сующим. Клянусь выводы из всего делать правильные, неуклонно всё положительные. Мочи моей нету – так хочется, просто неймется мне попасть в новенькую какую-нибудь парадигмочку или хотя бы во что-то на нее малость похожее, но отгороженное до непроницаемости крепким забором, загнанное без промедленья в крайне тихий мой дом, а потом ко мне сходу, в один гигантский прыжок, под плотно натянутое отвсюду на сущность мою без щелок и воздуха одеяло... просто умереть и не встать – вот как прелестно в трех мгновениях от забора будет в подведомственной личности валкой моей территории под одеялом! Уж с парадигмочкой-милочкой, с моей зазнобушкой, вволю попрячемся, наскрытничаемся и понедышим! О чем только не поговорим, не помечтаем, планов на будущее целая натворится куча! Лучше отсутствия и не придумать, в самых замечательных снах специальным сновидческим золотом произволеньем величественным не приснить. Плоды нашего лежания ждите месяцев примерно через девять, хотя, конечно, я точно не знаю, как там у парадигм со сроками плодоношений бывает. Но приплод обязательно будет, с нетерпением ждите, или то не я буду, пусть и скрюченный под одеялом в три весьма неплохих и спасительных даже погибели. Под одеялом также и водку пить замечательно – наверняка никто не увидит, не полезет в душу ее топтать и порочить. Водка лучший способ безущербного и безвозмездного времявыпровождения и незаменимый вид общения с самой нежной из всех существующих ныне парадигм, которые от

рождения кривоноги обычно бывают, но моей как-то удалось от лирообразности сей в конечностях ускрестись. За изящные ножки отдельное ей спасибо, так как под одеялом с эстетикой еще плоховато и слабовато, но со временем все здесь поставим на должную, на широкую самую ногу. Без ног не останемся, явно будет чем ходить и перины топтать на досуге.

Как барану ярко проблематичны новые ворота, так и моему пониманию недоступно – как человек не может уразуметь, что жизнь его проиграна и потеряна. Проиграна вдрызг, не состоявшись начисто, прах немногий скукоженный и тонна актуализированного былого дерьма с тщанием прилагаются: подбиты итоги. Профуканной оказалась на первый же взгляд и пощуп жизнешка. Поражение в чистом виде зазывно пестрит разноцветьем, просто кричит ярчайшими красками: да вот же, вот оно – я! куда вы, глупые, смотрите?! принимайте скорей меня за себя, не то худо совсем вам будет! Такая тупость собственного неведенья и невидения, что, кажется, человек скоро и себя-то потеряет из виду. Но нет, такого еще никогда не случалось, оплошки подобной в жизнь не бывало, он для себя всегда огромен, премного важен, в нем все собою затмлено надежно: во все позлащенное нутряное пространство расселся в нем с толстыми ляжками придурошный наполеон, живот зевотно почесывает, ему во всякое время хорошо и довольно, сейчас на мерсе куда-нибудь мерсить покатит, искать свое икающее Бородино. Думает, что выигрывает бесконечно, что успех сопутствует ему всюду, победы его обожают, ведь не любить его никак уж нельзя, невозможно: полюбуйтесь, какой он во всем и везде превосходный! – крутизна на крутизне и крутизной погоняет, для рефлексов хватанья за собственный отлавливая себя хвост и по ошибке бифштекса смачно его отъедая. И веселится, бездарно веселится и безголово, нимало не замечая, что потанцовывает уже в собственного изготовления блестящем аду (артефакт отменного качества, в приличном состоянии), средь личных роскошных поминок, на останках бедной своей, не смеющей ничего возразить гибели – только попробовала бы она пикнуть, места б живого от нее не осталось!

И гибель его не столько здраво мертва, сколько уныло гибельна, хоть, зубоскальем сияя, и гогочет в полную пасть, отхлебывает из горлА бездыханное почти пиво, напуганное непредвиденным оборотом дела, жмущееся к донышку подальше, чтобы отсрочить неминуемое – хлынувшую вскоре пустоту, пустоту сверхнедочеловека во всем величественном его неразвитии. Не спасет эта нечеловеческая потуга пива, ничего не спасет, сколько бы ни тянуло оно резину, отсрочивая наступление пустоты, не любящей никаких минований. А за попытку бездонности, пиво, спасибо. Ты настоящим было гуманным товарищем. Тебя бы пошире двинуть в учителя, а со временем избрать большинством голосов в родители, пустующее место которых давно пора упразднить (эта нужда заявляет о себе все настоятельнее) – только у деток на нервах умеют играть хорошо, а для прелестей жизни вредны и опасны. Первые враги всего нового, более-менее продвинутого. Редкий родитель сейчас не мракобес, а если и не мракобес, то наверняка скрывается – только и ждет подлого случая, как бы да где бы побыть ему цепляющимся к каждому слову отстоем. Их, предков, пивом не пои, а дай скорее побыть классным их сердцу отстоем. И ведь главное – никакому перевоспитанию не поддаются, сволочи, сколько из дому не уходи и не ширяйся от трудностей жизни, вен живых уже нету.

Люблю Андрея Платоновича Платонова уже издали, напряженно всматриваясь, не появится ли в том месте бог.

Раньше любил ближе и безбожнее.

Вот и любовь моя куда-то вдаль от меня убежала... Вот и она, чересчур резвая моя бедняжка, бедолажка... Здравствуй-здравствуй, беглая ты моя! А заодно и прощай. Нам нельзя долго видеться. У нас маленькая взаимная непереносимость, наверно.

Моя единственная насущная цель – пописывать как можно более живно. Других стремлений попросту не существует, и мне больших неправдоподобий и ухищрений стоит их имитировать, ведь нельзя же человеку быть без стремлений, живя на одних голых нервах, пускающих лишь пыль в глаза. Очень это подозрительно. И вызывающе некрасиво. Где припечатывающий сановный шаг? Где отдающий твердой волей и квадратурою подбородок? Где порывы, в которые охапками влюбляются вспархивающие там и сям перелетные девушки? Эх, ничего-то и нет, сквозящая ты простодыра! Какое-то самоустрашающее чучело огородное, право слово, вверилось велениям ветра и торчит, окостенело

выпуча никчемные, песнью песен дури самой развлекаемые гляделки! Так бы от всей души и дать по башке чем покрепче, чтобы здесь ничего не торчало, позоря местность, зеленя и всякое прочее и так далее...

Сей персонаж задворок скорее мертв, чем жив. В качестве излечения ему единственно верным средством следует прописать весьма сильнодействующую смерть, которую можно приобрести на любой улице за попавшимся первым углом. Принимать три раза в день, желательно до еды, до мысли, до всякого склонного внезапно прийти и скорого на расправу чувства, – как бы оно всех людей куда надо не привело и не стало бы, брезгуя нами, жить потом отдельно, суверенной какой-нибудь чувственной единицей, безвоплощенной, допустим, идеей чувства, бесплотным духом страстей или, скажем, некой чистой эмоциональной субстанцией, будучи уже беззаконной в ее случае эманацией духа, отвязно граничащей с вселенским разумом (это ужас, конечно, но бредится мне невозможное: начинаю писать лучше главной во всех мастерствах, непревзойденной в стилистических разногласьях с собой Прохоровой), – и все это помимо всякого человека, не испытывая особой нужды в телесных его и без того нудящихся оболочках, пребывая исключительно себе на каком-нибудь взъерошенном эмоционально-идейном уме, который и умом-то назвать не повернется никакой самый толерантный или бескостно лояльный язык. Какой у гуляющей самой по себе эмоции может быть ум? – это не ум, а, напротив, очень далеко от ума, бомжевое скорей бродяжничество, это цапкий от природы бред эмоций, поднахватавшийся самых верхушек, только-то и всего, хоть и этого предовольно, чтобы человеку окончательно раздружиться с собой и отвыкнуть от мысли когда-нибудь стать пусть мелькнувше разумным.

А нам, лишенным толковой поддержки чувств, попершихся, видите ли, гулять в неизвестность, – нам что же, опять оставайся на одних голых, вспыльчивых нервах? О, как мы будем жаловаться на природу человеческую, превышающую допустимые нормы загрязненья людей, в международный суд по правам человека! О, как всемирно будем негодовать! Осталось собрать правильно оформленные документы. Они сильно разрознены по многим векам. Но ничего, мы своего все равно добьемся. Когда дело касается своего, века нам не преграда. Мы еще и не то одолевали.

88-летний дединька мой Михал Максимович, *годок* Ходасевича и Гумилева, говорил, как-то неоправданно пылко горячась: «Чай, я не молоденькой. Мне ведь не 75 лет». 75-летние у него третировались прямо конченными младенцами, которых в жизненный расчет можно принимать лишь на крайний случай и то едва-едва: больно неразумны и прытки, мельтешат почем зря. Ну а 50–60-летние для дединьки моего как будто и вовсе не родились, даже близко не подступили к жизни, не опробовали, что это за шустрая канитель такая. Хорошо, если были на уровне зачатия, пока, впрочем, явно неполучающегося, мама с папой еще по ночам пыхтят старательно, будущую судьбу друг за другом вдогон мастерят, тараща глаза. Дедушка мой, меж тем, за всем наблюдает придирчиво: того и гляди подкачают голубчики, все испортят. Да, глаз да глаз везде нужен, иначе не то могут запросто смастерить. И получим опять не тот, а совсем другой народ, ни на что как всегда не похожий. Опять в колхоз загнобят, гибель отправят праздновать на Колыму, опять врагом народа заделаешься по трем звукам легкого старорежимному чувству перевирания *Головокружения от успехов*, – как чересчур жизнерадостно по-кулацки пело в целом неплохое его и точное, правильно расположенное к жизни землевладельческое сердце.

Дединька раздевался до кромешного состояния в чем мать родила и, окруженный акациевой изгородью и сторожевым порядком раскидистых фруктовых деревьев, ложился для солнечных ванн на солнцепеке под укусы пчел на не отнятой еще пасеке. Он любил жалящих пчел – они целовали его пожилое здоровье. Долго звенела запутавшаяся в бороде пчела, так и не сумевшая укусить, сделавшая бороду ходуном ходящей, а деда – истошно мелькающим: всею Богом данной суматошностью освобождал превратившую бороду в сумасшествие жалоносицу. Он ругался на ее глупость тихим и стройным матом. Потом из бороды кое-как выпутывал и, с досады плюя ей в ухмыльчивое лицо (не туда кусать бросилась; непорядок!), почетно награждал свободой, следя за правильностью дальнейших полетов. Пристыженная за злостное уклонение от медоносов, труженица меда всегда избирала верное направление, по всей видимости, до конца уж теперь своей и его жизни, чтобы не кривить больше ничью совесть. Дед продолжал принимать ровно относящееся к нему солнышко, ванны светила лились, ухали на него легче легкого пуха небесными тоннами, пока кто-нибудь что есть силы не

отзывал его на обед из вокруг лежащего рядом с ним земного рая, – он многое уже недослышивал и укусывания принимал не по звуку, а по факту состоявшегося ощущения, со знанием дела ощупывая оздоровленное летучим врачеванием место, разгорающееся под пылким влиянием пчелиного яда все ярче, становящееся как-то вселенски живее. Диденька долго и ни о чем глядел в неприподъемную даль, от вековечной привычки к себе прекратившей, бросившей уже присматривать за собой: и так ничего никуда не денется. Жизнь шла, складываясь все удачнее. К вечеру обещался быть дождь. И пойдут грибы, омолодятся побежавшие к горизонту хлеба, заиграют на кустах взгрустнувшие было смородина и крыжовник – от их резвых пряток, догонялок и чехарды только солнечные, только смеющиеся наугад полетят брызги, никем всюду не уловимые. И в каких карманах их Бог потом прячет, куда столько добра рассовывает? Все-таки любопытно. Вот бы хоть глазком одним глянуть... А там уже можно спокойно и умирать.

Прелесть ненаписанной вещи ни в чем не уступает прелести написанной. Поэтому так много прекрасных несозданных произведений, которыми все мы не устаем любоваться. Все мы, кто не создан и кто не успел родиться по каким-то несущественным причинам или по случайным, нелепостью добытия сотворенным слепо отсрочкам.

О благополучно созданных и целиком родившихся (нахально или подлогом сумевших-таки прорваться на свет) с их вечно притупленным любопытством здесь и речи никакой быть не может.

Молчание его потрясало породистой красотой, сообщающейся от его великолепной породы, и какой-то по-хорошему монументальной величавостью, до которой вряд ли кому досягнуть: чудесная, обворожительная глыба чистейшего немения, совершенного бессловесья. Было значительно и возвышенно, как монумент в честь честного и яркого явления, как всякое его словно бы глобальное, без особых проблем и натужек соприкасающееся с вечностью движение или полуосознанный жест, которым он рассеянно трогал не далекие по его расстояниям звезды. Свойски он и непринужденно вел себя с вечностью, и поскваживало по отношению к ней немножечко пренебрежения, легонькой снисходительности, усмешливого панибратства – что бы это значило?

Но он молчанье нарушил, он что-то вдруг лепетнул (черт за язык его, что ли, дернул?). Ляпнул бесцветно, каким-то непромешанным комом смыслов. Несколько самых неприметательных, средненьких в любых ситуациях слов. В других устах ничего бы они не значили и прошли незамеченными, будто и следовало так быть: сказав, ничего-то и не сказать. Но сколь же много молчание его наобещало, сколь много малых сих оно соблазнило, каких только призраков обольстительных ожиданий не исторгло... За молчаньем его слышалось нам невероятное. Стройный, слаженный, благозвучный гул небывалого глухо там назревал, прозревал, надвигаясь все ближе, обещаясь за нас сказать все невысказанное, несказанное, так томительно-сладостно истревожившее наше неизъяснимое, наше неизвестное все...

Какой ошарашивающе жалкий, потерянный вдруг получился с первых же слов человек! Какое устрашающе жалкое величие из него посунулось, проронилось! Суета сует, нищета нищет так и проступили в нем отовсюду, точно простецкий вседневный пот. И все величины, даже и ничуть не проявленные, несказанно померкли, стали в нем мнимы и призрачны до неприличия – до неприятия, видимо, их даже падким на всяческий сор математическим миром: он для них тотчас смолк, отвернулся, наотрез от тщедушья подобных малюток отказываясь.

Слова все обнаружили, обнажили. Одни они. Слова оказались первейшими его врагами, с которыми не следовало бы связываться, не следовало бы ворошить давней с ними вражды ни при каких воспаленных обстоятельствах. Он словам смог ответить лишь тем, что вновь замолчал, как будто бы по-прежнему, прежним неменьем (но теперь – неименьем). Сколь мелким, уродливым и никчемным, вернувшись, предстало молчание! Оно выглядело кичливой утратой, в запальчивости наговорившей на себя много лишнего. Оно разграбленным, нищим было совершенно, и даже, казалось, отрепья, некое быссмысленное рванье проглядывают сквозь ставшее дичалым безмолвие. Он сделался непоправимо, безвозвратно беден в молчаньи своем. Стало ясно: слова всегда будут в нем так нище, пропаще неметь, что бы с ним ни произошло, какое бы потрясение его ни воспитало, какое бы плодовитое, расщедрившееся страдание ни взяло его на поруки, обещаясь перетворить его, извлечь из него хотя бы подобие человека.

Теперь это был абсолютно иной человек, полная и законченная, верная себе противоположность, – человек, нимало не похожий на недавнее свое величие, которое, чтобы не быть лживым отсутствием, налгавшим зиянием, прикинулось чем-то очень давним, вроде бы накрепко позабытым и чьим-то вовсю ничьим: промелькнувшая века три назад безадресная и не имевшая никакого владельца некая грандиозность, смутившая даже обыкновенную тысячелетнюю дорогу, по которой она брела наугад.

Просто невзрачный до тихого ужаса индивид в оскудевшей наглядности обретался, слова всесильные его покинули, с превеликим удивлением не обнаружив в нем ничего для себя существенного, хоть мало-мальски привлекательного. Оставили его смердеть и пустеть завалящейся человечиной. Смертеть да пустеть... И кто бы мог поверить, предугадать, что еще минуту назад он был какой-нибудь чегевара или электронный король, одной левой бьющий рекорды рейтингов. Да и какая теперь, в сущности, разница, кто был он, если слова никого не обнаружили, не обнажили, сколько блестящих своих стараний к этому месту и к этим исканиям ни прикладывали? Взятки с того места были необыкновенно гладки. И так теперь было всегда.

Является ко мне во всей внезапности своей и запредельности неописуемой красоты кобздец мечущийся, пятого угла себе не находящий и сквозь хрипло рвущееся, прямо гибнущее на глазах дыхание (он запышкался) трындит, тем не менее, ясно, четко и даже не без распевности: мы, брат, пропали! пропали мы, милый! нам полный светит конец, тренд твою мать! и зачем я только с вами со всеми связался?! – вот и мне теперь пропадай, на кой-то хрен голову положа за други своя...

А я ему грубовато, от него порядочно дистанцируясь и изо всего существа от друга такого отнекиваясь: может, ты и пропал или на грани пропадания, а я себя пропавшим нисколечко не ощущаю и вытворять из себя пропадание не собираюсь. Изыдь, не смерди своей клейкою смертью, глупой в основном и нестрашной.

Кобздец поник всем существом чего-то дополна в нем имеющегося, а сам призадумался, но потом передумал думаться и громко скрылся, верезжа от догнавшей истерики и подпрыгивая, в странном даже для меня направлении. По-моему, и направлений таких нигде не бывает. Но он все-таки чего-то приблизительное для сторон света нашел, чтобы суметь без фикции и возможно деликатнее в его положении удалиться.

До сих пор изумляюсь не знать, что это со мной такое могло быть столь пролетно, сквозяще, но как-то в самое сердце пронзительно точно. Неужто знак свыше? Если так, то под сколь же странным, невыносимо придурошным покровом сей знак приходил. Не мог он, что ли, выбрать более подходящие, недебильного покроя одежки? А не началась ли случаем на небесах напряженка с приличными и деликатными одеяниями? Наконец (пользуясь удобным случаем, продолжим ряд неотложных и любящих мой напрасный язык за что-то вопросов), не гневаются ли небеса на нас по идеальной причине неизвестно чего и потому, ярко подчеркивая небрежение, отсылают свои знаки к нам в чем попало, без малого в неглиже, оскорбляющем честь и достоинство граждан, к коим скорее всего и я причисляюсь, только с большой, на упругую прочность меня испытывающей натяжкой? О, как это было бы недобро, как печально со стороны небес! Мы небеса так любим, но к их посланнику кобздецу относимся настороженно и напряженно. Что-то отношения сложились не очень, а так хотелось тепла, уважения, не обязывающих ни к чему простых разговоров. На любовь же не претендуем. Лишь бы не выгнали, скоротечно приласкав по шее. Вот нам и вся любовь, тем и премного довольны всеми вздернутыми на дыбы чувствами. Нам лишнего и чужого не надо. Мы не ворье какое-нибудь – нальют зенки вместо совести водкой и лезут за всем сразу и всюду без очереди. Потом и себя не найдешь после этого пиршества тел. Станешь целиком народом.

Зябко что-то.

Необратимо зябко.

Следующее время года – смерть?

Нет, следующая остановка – смерть. Вы сейчас выходите? Тогда чего на проходе топчетесь?! Стоят как эти самые... не знай даже кто, а нам проезжай свою остановку! Давай уступай место, мужик, не один ты в трамвае разъезживаешь! Вечно торчат на самом ходу...

Вежливо скажешь: да проходите же, я вам совсем не помешаю. С возможно большим мертвецким спокойствием – чтобы не возбуждать ничего дальнейшего, и без того сильно заволновавшегося.

Пойду его успокою. Я сегодня медленно тороплюсь. Могу потом иным трамваем доехать. Мне сегодня всюду успеется. Да иду же, иду! Что за ноги стали! Уж как будто за небывалость им одолеть вниз ведущие две, нет, все-таки три ступени. Все там, за пределом трамвая, счет любит. Ну, значит, и меня полюбит – я очень сильно лет двадцать никем не считанный, наверное, стал бессчетный. Так что, пока будут строить меня и, в степени с натугою возводя, считать для колонн небытия, много времени пройдет незаметно. Можно успеть незамеченным скрыться легко, хорошо бы – в собственном направлении. Но если как следует жить припрет, то можно и распуганным по всему свету.

Ниже себя падать стало уже некуда. А раньше и там находил много прелестей.

Что-то мелькало в нем запредельное. Даже, вполне может статься, потустороннее. Проверить точнее не хватало никакой реальности: приборы моментально соскакивали со своего технического ума и выдавали такое, что их не принял бы на излечение ни один человечный сумасшедшенький дом, – его бы тоже зашкалило. Поэтому все проверки откладывали до лучших времен, когда народ боль-мень нормализуется и его можно будет измерить хотя бы общим аршином или складным метром. Рулеткой пробовали – не получается: народ извивается и только желает играть в рулетку.

Ближе к ночи и эта смутная и чем-то смущенная дорога во мне, которая куда-то ведь все-таки вела меня, пропала наглухо, и я остался в себе как в диком, всеми покинутом поле – одинокий перст простора, предоставленного себе самому, пустеть неизвестно зачем оставленного... И вы, небеса, прощайте. И вы. Ну и ты, стоящий пред ними с разверстым в никчемном изумлении ртом, тоже на всякий случай прощай. Может, не даст больше Бог когда-нибудь свидеться.

Было время, когда над дебилами еще смеялись. Сейчас им рукоплещут.
Печально застать и те, и другие времена, не зная иных.

Беда не в том, что этот человек пуст и непрозрачен (этим никого теперь не удивишь), а в том, что из взмут-ненной пустоты он соорудил себе подобие прозрачного таланта. Он ярко лжет. Его можно принять иногда за вечереющий отсвет прекрасно огромного во весь горизонт, за день несказанно помудревшего солнца. Взяло манеру оно не о том светить и не туда заходить.

Сейчас и цензура стала другая и по-другому цепной и кусачей, от жизни тоже она не отстала, старается времени соответствовать. Цензура пошлого околопремиального мейнстрима (который всегда пошл) и урезающего литературу до анемичной схемы высокоцентрального мнения литперсонала и прочего в дееспособности не замеченного генералитета, ищущего себе комфортного да конформного, лишь бесценное свое существованье оправдывающего. Попробовал бы я кое-что напрямую вякнуть, без сухого остатка в уме... И где бы тогда собирали мои литературные косточки? И представить невозможно, в каких бы ужасах их собирали и наконец-то бы со всею радостью ничего не нашли!

Впрочем, все же не удержусь и вякну, так как, лишенный всякой опоры, уже решительно не удерживаюсь. Ну, теперь ищите-свищите меня – даже на тот свет с обретенной вяканьем характеристикой не попадешь, да к тому же и без московских, влияющих на потустороннее настроение рекомендаций. Вот и обитаю ни свет ни заря не то подобру, не то поздорову. Ни сном ни духом не ведаю, чтО со мною происходит ли или, напротив, отсутствует происходить. Лишь костлявое объятье на мне шаловливой цензуры взамен сонма былых чаровниц, непоправимо теперь промежуточных тоже, ни рыба ни мясо, ни Богу свечка ни черту кочерга – вот что такое нынче мои практически бестелесные любовницы, на которых просто смотреть – и то нарыдаешься до полусмерти. Изыдите вы, инвалидные, нечленораздельные шалуньи! Отныне люблю сухощавую одну цензуру, с талией топ-модели, с человеческим лицом социализма или задорно и не без буйств подлитературных критикуйствующего критика. Задница же пусть пройдет по разряду толстых, но обещающих срочно похудеть ради размеров журналов. До свидания. Окончание уже последовало. Гонорар получен личной своей натурой на годы и годы впредь. И в качестве подъемных его должно хватить на первое время невремени по ту сторону жизни. Ты просто обязан для этих целей во что бы то ни было его сэкономить, чтобы на новом месте опять подняться. А иначе что ты тогда значишь?! А иначе ничего ты и не стоишь.

У неполного профессора культурной антропологии есть также и клинышком бороденышка. По случаю прибарахлился. Ну а что вы думали? – Он ведь тоже человек, ничто человеческое, как говорится, и так далее.

До приличествующего комплекта теперь не хватает, чтобы профессор в нем был не ополовиненным, не урезанным в львиной доле части своей, а полнообъемным, входящим даже в состав ученой крови, вовсю соответствующим для того и взращенной профбороденке. Впрочем, бороденышка эта какого-то крайне вымороченного, захудалого, словно межполового иль вообще уж дополового рода. Задрипанная она все-таки штучка, как ни возноси ее сочувствующим взглядом, как ни оправдывай сдуру взявшимся восхищением. Словно ее массово черти лихие на своих карнавалах таскали, а потом сей обволошенный секонд-хенд передали для подбородка неполному, для изо всех видов не самого худшего пропадания. Как будто явно не в себе бороденка. Сама не своя, сама на себя не похожа, точно откуда-то сбежала проказливо и продолжает в трепете прятаться. Как будто вовсе и не она, а что-то как раз непредсказуемо другое. Ей и соответствовать – только в убыток себе. Да ведь и опасно, – досоответствуешься неизвестно до чего. И будешь полным наконец!

Ну как заделаешься полномощным профессором, когда дурная неполнота преследует с роковой неумолимостью даже со стороны собственной умеющей вот неплохо подгадить растительности? Так что куда ни кинь, всюду клин, просто клин клиныч клинушкин. Университетам поневоле придешь тут в упадок, столь любимый широкой общественностью, которая для отвода глаз любит пылко другое, а сама раззевавшимися жадно зреньями только и смотрит, как натопырить деньгами карман, усладить его без денег тоскливые бездны. Обожает она это делать. Еще первая и уже последняя это ее любовь, непреходящая, вечная. Стало быть, и на том свете держи карман шире.

Шью карман в Саратов величиной, чтобы жизнь спустя было чем пораздольней заняться.

В одиночку яростно боролся со временем.

И что из этого вышло, какая бяка?

Как видите. Стою перед вами суматоха суматохой, развалина развалиной. Без ума, без чувств, без средств к существованию (по пронзительности они приравнены теперь к чувствам). И даже без последнего, что еще хоть как-то силилось меня украшать, пышноцветить, – без естественного прикрытия жены, с которой приходится иметь дело лишь в прошедшем времени, так что не о жене речь мы ведем, а об ее, выясняется, сокровенном отсутствии. Везде вынужден делать удивительные и невероятные открытия, даже и там, где бы совсем ничего и закрывать-то не надо!

Одно исподнее, похоже, насквозь мое, да и ему прикрывать совершенно нечего: одна нефункциональность отвсюду торчит, оборванные голые проводки свисают, словно наспех пооткусанные правоверными плоскогубцами. Не превращен ли я заботливым обществом в социально адаптированного биоробота?

Даже срама не осталось. Так, лишь легкое название его, дуновение, сквознячки легкомысленные отощавших бесстыже боков.

Эх, вот дурак какой взбалмошный! Надо было сообщно. На время-то. Ополчаться-то. Или хотя бы теплой компанией. Глядишь, и погулял бы заодно. Да отличных задорных песен отгорланил бы всыть, попивая широкой программой культурную выпивку.

А так ни себе и ни людям поборолся. Только сдуру устал и разорил свои нежные силы, то березовые, то сиреневые, то – воочию изумруд осененных осенью зеленей, но преимущественно владычествующе-лунного, нежитийного чуть окраса. В целом приличные были силы, красивые, с рюшечками и завитушками, не стыдно выходить было в них на люди. А сейчас в безобразии сил бегай вот от человеческих глаз куда безлюднее да подальше. От себя-то убежать мощей еще хватит, а от народа свалить конечностей уже – шалишь, недостает, как бы кончаются, прекращаются сразу всякие эти конечности. И возникает дилеммочка. Ну и куда мне с ней? Она довольно тяжеленькая. Весь лишний груз я уже выбросил. Чтобы дальше волочить ноги, хотя бы изобразить нечто похожее на волочение ног, поступиться придется чем-то из неприкосновенных запасов. Иначе опять вступай в пышные прения да пререкания с вышеприведенным и вовсе не ушедшим никуда, как могло кому-нибудь показаться, кобздецом. Он просто так, ни с того ни с сего никогда не уходит, а в тайном сладострастии ждет выгодного для него одного и цветущего лишь ему момента. Теперь его услаждать я нанимаюсь, полон

буду планов и творчески кипящей работы, которую осуществлять стану с самозабвенным рвеньем и трудоголием беспримерным. Контракт со мной подписать он вроде бы смилостивился. Рабочее место кобздец специально под меня создал, осталось оговорить четко очерченные объемы предоставляемых мною веселящих услуг и служебные мои обязанности. Думаю, с этим проблем особых не будет, так что ждите меня к жизни полным всяческой жизни.

Оказывается, это не много страшно, совсем не до ужаса – начать ощущать своих детей не своими детьми. Все страшное происходит до этого ощущения.

Просто – спокойно горько. Спокойно досадно. Ну, тупик. С кем тупиков не бывает?

Ровное, прохладное ощущение, какое исходит от седины позднего человека.

Разве лето не поворачивает на осень на увядших и смолкнувших поворотах, состоящих почти целиком из утрат?

Просто тепло покинуло дни. И эта осень необратима – теплу никогда не вернуться в навсегда озябшие дни. Эта осень установилась навечно, без кружащего в нежности ветерка, без южных его порывов. Лишь опавшая всюду, полная нерасточимой грусти листва да повальный туман – умышленный морок природы.

Дети будут теперь потеряны во всю жизнь. Без перерывов на крохотное родство.

Имена дочерей – Екатерина, Ольга, Елизавета – получились со временем вдруг громкими, державными. С чего бы они это?

А выбирал теплые, домашние. Тихим, шепотным чувством они выбирались.

Единственное, что их спасает и убавляет их нечаянный гром – легкомысленная, какая-то вертлявая натуральная добавка, наподобие пищевой: Валерьевна. Что-то в высшей степени недержавное, даже вызывающе чуланчиковое, запредельно уж закутковое. Нечто из летучей области летних варений, когда дом упоительно проникнут запахом прямо-таки кричащих ароматом ягод, всеми своими народами переправляемых на поселение в зиму и на неизвестность судьбы.

Достался деткам снижающий папашка!

К добру ли это?

Настоятельно чувствую – именно к нему.

А иначе зачем все затевалось? Ведь «Валерьевна» не в обиду, не в упрек им было дадено, а совершенно же по-хорошему, хоть я и не подарочек.

Душа моя содержанка, устал я тебя содержать.

Да и средств нету. И не маячат они на горизонте, не возникают в бреду моего способного на всякое извращенье кармана.

На поруки, что ль, взять ее? Или как-нибудь еще, чрезвычайными мерами взятия, вроде осады на измор обложенной крепости?

Теряюсь в догадках, яростно в них блуждаю, когда поставлен перед крайней нуждой избрать оптимальный и дешевый способ обладания собственной душой.

Может, сухое деловое партнерство? Контрактные отношенья с точными пощечинами пунктов и со штрафными санкциями?

Так и мокроты типа слез и крови меньше будет.

Но как изменились времена, как изменились! – Раньше мне душа ничего не стоила.

Но я же не привык задавать пустых, в напраслину клонящих вопросов! Так почему у него хватает мурловства и потаенного презрения столь пусто молчать на вопрошенное мною, столь унижающе и одновременно вызывающе замалчивать мои отзвучавшие, однако продолжающие длиться в напряженном ожидании недоуменно воззрившиеся на него слова? Будто моих вопрошений и в природе не существовало – так он исхитрился смолчать. И не в первый раз. Расширяя и узаконивая практику беззаконных немот. Показывая: мои слова – хоть фактически, хоть бесфактно простое ничто, в то время как его бессловесность – весомое нечто. И получалось: его молчание значило несопоставимо больше моих низведенных в ничтожность – в расстрельные рвы бессмыслия – слов. Оно было емче и голосистее их. Гораздо осмысленнее. Оно, выражающее отсутствие, больше было в наличии, чем то,

что наличием было, – озвученные и живущие в напряженности ожидания мои уничтоженные слова. Оно было большей явью, чем явь была собою. А значит, я так ничего и не сказал. Я отсутствовал, я вышвырнут был в отсутствие, словно ветошь, породненная с сором. Да, я отсутствовал для него значительно обильнее, чем скопилось отсутствия в его корявом и подловатом молчании-волапюке.

Нет, такая моя уничтоженность мне не годится: тут оскорбляется слово, затронута самая близкая моя близость – речь. Мою русскую речь я в обиду не дам. Эта уничтоженность не по мне – теснит, тяготит, жмет отовсюду неловким смущеньем, унизительно больно саднит. Я как-нибудь все-таки соберусь со всем тщательно кропотливым, подробным презрением и всем духом презрения возьмусь за эту бессмыслием полную, за недотыкомкину эту, декоративного безобразия бороденку неполного профессора неполноты и трясану ее своим добрым вторжением отдельно от самодовольного тряса, когда бородка хехекнет снисходящим смешком! Чтоб неповадно было гаденькому, косноязычному самодовольству так безнаказанно самодовольствоваться.

Ишь, профурсет самовлюбленный! Смысловой особист какой! Уж тонкие и точные, совершенно неотразимые вопросы широко практикующего писателя будто и не вопросы ему! Где ж для него взять более совершенные, если и эти, видите ли, не годятся, воспринимаемые как рассыпавшийся в звуках, шутовски заплясавший хлам? Где вопросительной идеальности мне набраться? Откуда напастись для таких капризно разборчивых, губу топырящих прихотливцев отменных, прямо-таки абсолютных вопросов, на которые милое дело было бы с бойкостью неотложною отвечать, спешно побросав все другие, лишенные вопроса занятия, прекратив на время делать карьеру, из которой всякая вопросительность давно выдохлась, оставив взамен себя красивых поз вопрошательность да мелко елозящие средь высшего пилотажа фигурочки да фигочки как бы таящего бездны умолчания?

Чересчур легко, незатронуто, словно его тут и не бывало, захотел он ускользнуть от их уязвляющей почему-то его и колкой ему сути. Но ведь ничего острорежущего или метательного в этих невинных вопросах я припасать не думал: совсем обыкновенные были вопросы, из слегка засомневавшихся рядовых бытия. (А он заранее бессловесьем оборонился, будто моя неотточенная в целом личность сама по себе острорежуща, бритвенна имманентно – и нужно стремительнее от нее отшатнуться, отстраниться покрепче, чтобы для пущей своей целости не поранить ненароком ни одно из нежно чувствительных в интимных местах себялюбий.) О нет, я вообще не имею дела ни с холодным, ни с горячим оружием, кроме вполне безобидных, давно приручennых к чувствам домашних ножей, применяемых строго по назначению в пределах съестного стола, – принципиальный я враг всякого этого высокомерного оружия и всякого этого немотивированного молчания, которое из темных соображений превращают надменно в явственное и очень действенное оружие против меня. Я, наверное, буду неизбежно убит, если этот безответный тип продолжит вооружаться разящим молчанием еще хотя бы минуту. Задам ему последний, весьма наводящий прицельно вопрос: кто ты, беспощадным молчанием дремлющий братец? Потом раз и навсегда применю к нему последнее в своей жизни табельное оружие: кем минуту спустя ты столь ярко, неполный, столь бесследно пропал? Затем все лишние вопросы, тщательно вытерев с них следы своего присутствия и бросающегося в глаза преступления, а некоторые и меленько расчленив, подальше от поисков следствия выброшу в скрытных местах. Замету свои вечно преступные следы так-таки замолчанных, лишь в громком молчаньи пронесшихся слов. Так что, как всегда, не там убийцу найдете. И вряд ли того. Удачных поисков средь успешно вопрощающих изобильных сомнений!

Приходится начинать не с базовых ценностей, а с базовых искажений, утрат и попраний. С основополагающих потрясений.

Вечная ситуация в России. Незыблемо фундаментальная.

Они вроде бы верно понимают Россию, да не с того конца – не с болевой ее стороны, не с болящей.

Болевая, а равно и полевая, Россия и на дух им не нужна: нелицеприятна она, отвратна, неумно садняща. На что сдалась она, чумазая, фуфаечная нескладеха, на что может сгодиться? На ней в Израиль позагорать не съездишь, на евро ее не обменяешь, гроша ломаного не дадут. Такая россиёшка обременительна для их чудо-комфорта, приращенного трудами виляний по жизни, перед разбойно, нещадно подступавшими годами-людоедами, которые вынуждали подобострастно заискивать и ласково шевелить согласным на все приветственным хвостиком, – они всегда держали хвост пистолетом,

для мужества личной бодрости делать этого не забывали.

Лишь в этом, единственно в этом их не-верность. В остальном они, как всегда, правы. И дадут нам и бедной державе миллион очков наперед, – чтобы было чем свободно питаться и счастье иметь на всем протяжении обмолоченных загодя лет. Как прекрасно, обворожительно выглядит из нынешних дней золотистая их мякина, как уже сейчас свежа дразняще хлебным пахнущая их полова! Нет, все-таки много в России хорошего, зря, наверно, с цепи я сорвался. Подбешенел, что ли, ближе к весне? Забери немедленно свое бешенство обратно! Здесь и без него много чего хватает! Таскать нам – не перетаскать.

С остервенелым рвением стал он коммерческим директором своего застоялого, прилично уже подгнившего местами таланта.

Его было не узнать – так вдохновенно он преобразился, весь сиял и кипел проектами, едва успевая обуздывать их идеями, чтобы не ускакали они не в ту степь еще не объезженными. Харизма и креатив в нем прибавили резко. Рейтингами он теперь приударял далеко, по нечаянности задевая расступавшиеся в недоумении и по естеству страха заморские страны. Цепями нескрываемо гималайских вершин туда и сюда возвышался среди скучных и напрасных среднерусских равнин.

Да и талант наконец-то приватизировал, а то был дар его бесхозным и зряшно валялся на пыльных тропинках далеких планет, которые когда-то он посещал, будучи посланцем творческих фантазий, и талант по рассеянности где-то там как раз и забыл.

Человек получил от жизни раны, несовместимые с его культурой. Он культурно скончался, вынужден был это сделать, испустив напоследок несколько гуманистически гармоничных звуков: уа, ао, не обошлось, естественно, и без гу, гу-у. Со стороны на редкость обманчиво могло показаться, что младенец на свет появился. Увы, нет. Вместо младенца крупная тут ошибочка вышла. Это разрозненные остатки культуры, потрепанные в выживаниях, младенчески испускали трепетный дух. Это они жалко пищали, эдак вот негодяйствуя напоследок, уж не удержались, чтобы последней пакости миру не нанести. Вскоре несчастная скончалась без особых мук и, тем более, происшествий, даже без всяких намеков на новостные поводы. А несчастный (не будучи уже таковым) встал и пошел, как ни в чем не бывало, и был таков. Что характерно – как и не умирал вообще. Он только слегка полежал, вздремнул чуток, потом очухался наскоро, отогнал, словно остервеневшую муху, какое-то дурное прилипчивое сновидение, нагло посмевшее ему гадить где-то в районе бывшей души. Встал и пошел. Встал и пошел свежей прежнего. Будто с гуся ему вода – культура. Будто хрен ее знает что. А шумуто, шуму сколько вокруг нее поднимали, как о взаправдашной! Столько крику не бывает и на пожаре повышенной категории сложности.

Итак, сбылось мое позднее счастье: живу я в Уганде. Иногда – совершенно по веленью души – в Буркино, знаете ли, Фасо, буркая себе всласть под нос, на досуге что-нибудь сыпучее для простоты и отрады течения чувств расфасовывая. Зимую и памятую нередко средь местностей Гондураса. Там расходов на холода поменьше и женщины знойны, заменяют центральное отопление. Это же очевидно и непосвященному. Об тех женщин можно капитально погреться вместо печки, а это ж какая огромная экономия дров, – прямая светит тут выгода.

А что, неплохо ты устроился в своем крупноневыездном, мертвосидячем Неверкине, с неблагоприятной стороны затасканном твоим язычком! Все по заграницам да по заграницам шастаешь, бреша на Неверкино там неслыханное и невиданное, совсем зарвался родину портить и изменять ей с другими! И губу с изнурительно брезгливым оттенком топырить начал на родные пенаты, из которых изволил вылупиться. Но что поделаешь?.. На Россию уж и крохи времени не остается, разрываешься меж континентами, и у многих стран нарасхват то и дело бываешь. (Как бы государства воевать не взялись из-за раздоров пользованья мною, из-за права на естественную мою монополию, от меня же первого пух и перья с клочочками полетят, надо страны отговаривать, пусть берутся потихоньку за ум.) Так, скоренько мелькнет в моем проезжем окошке жутко помятый русский похмельный пейзаж (с вечным, неувядаемым видом: ах, да не трожьте, ептыть, вы меня, отвяньте!). Но опять же думаешь, сомнений и прочего полн: а не в Китай ли случаем угораздило зафинтилиться, не он ли вперся в мое зарвавшееся, оборзевшее совсем на просторах поле зрения? Так вдруг в чувствах и прочем станет все

китаисто и цветисто, гаоляном и фанзами откуда-то прелестно ясно потянет. Непременно и фазаны. Янцзы и Хуанхэ мелькают голыми причинными местами, обнявшись, точно две сестры. До последнего дна души, до последней ее крупицы сделается тут нездешне. Ну и содрогнешься в родных конвульсиях, знакомых до неприличия. А как же! Они единственно родное, что тебе еще неподменно осталось.

Под мухой

Терпеть не могу участвовать в одной комнате с мухами. Нервный я на них ужасно. До противоестественного попадания в пренатуральный припадок.

Но вот закон подлости во всем его развитии и расцвете: как бы летучий сей сброд я ни изничтожал модернизированным способом бытовых казней, всегда, во что бы то ни стало обнаружится в комнате одна жужжаньем доводящая меня до полуобмороков и гораздо далее насекомая дура. Непрерывная. Неиссякаемая. Она и меня, стервь звенящая, переживет. Эту муху не истратить, какие бы изощренно всемирные хитрости и утонченно превентивные меры я ни изобретал в погоне за личным спокойствием, становящимся все эфемернее и отчужденней. Она существует неумолимо, неотвратимо, как свихнувшийся на жужжании и приставании бог. Лишь зима ее немного смягчит. Но уже в декабре начинай с нарастающей нервной бедой ждать весны, когда муха опять наступит во всей полноте, в зените силы и омерзения. Она существует в подлом звуке 24 часа плюс весь божий резерв времени, который Он обычно закладывает дополнительно в сутки, для внезапных метафизических надобностей. Она и божий резерв взяла за обыкновение изжужживать весь напролет. Наглячка же в высшей степени. Ей плюй в глаза, она все твердит: божья роса. И даже – в чем у меня несдвижимая убежденность – наличествует данная злокозненность не в целях личного существования, не ради там понятных бы нам насекомых благ-утех, а сразу для поддержания иногда пошатывающегося от неизвестных причин закона подлости. И что характерно и показательно, смысл ее в целом сволочной жизни отчасти высок и немушин: чтобы моим и без того расхлябанным, побалтывающимся в прострации и зачастую несиправным (ой, просим пардона, ошибочка вышла, читай: неисправным) нервишкам беспрестанно звенелось и бормоталось, чтобы белое каление не умело их покидать. И чтобы в растленном мухой сознании вечно торчал этот раскаленный гвоздь преподлейшего жужжанья, в пять самых нехитрых секунд заражающего своей взвинченной крылатою бестолочью и делающего меня неспособным даже к примитивным формам существованья белковых тел. Даже навзничь лежать тогда не умею. А ничком – обида берет: да что же это я за размазня такая, прячущая воровато от Бога глаза?! Разве на то меня Бог создал, чтоб от мухи ничком лежать, глаза собственные покрадывая?

У меня за лето образовалась ярко выраженная мушиная истерия, этакий совершенно свинский в приложеньи ко мне недуг, медициной, насколько мне известно, еще не охваченный. И так со мною каждый теплый сезон неприглядно кончается, прямейшей дорогою в нервный крах. К середине сентября начинаю беспричинно вздрагивать крупными, жадными психическими позывами, похожими на глотки ненасытно пьющего воду коня, отмахавшего с полсотенки километров. Это и есть первый звоночек, хотя – не будем обижать и попирать правду – те позывы в основном безмолвны, это я вскрикиваю за них не своим голосом. Значит, жди во всей красе мушиного разлада в себе, не за горами его балующие своеобразными откровеньями диковинные явления. С обострением вконец размахренных нервов, оголенных уже и искрящих, обнаруживаешь себя непредвзято в больничке, где тихим, невзрачным, ни на что не претендующим покоем ни шатко ни валко излечиваешься до белых мух за окном, которые, благодаря прослеживаемой связи с мухами биологическими (из далека палат ставшими отчасти родными), по возможности торжественно вводят тебя чуть ли не под белы руки в заметно поправившую свои дела реальность, для коей мне пришлось безжалостно отсутствовать, и делают меня сносно земным и готовым к употреблению очередной жизнью, уже без терпенья стоящей в нервном топотком ожидании, цокающей копытками сразу за дверьми халатно прикрытой палаты, чтобы при первом же позволительном докторском знаке ненасытно кинуться к моему изголовью, разбрызгивая по слишком короткой и неотвиливаемой дороге ко мне неряшливое любвеобилие, марая чистую больничную обстановку... О, как заранее сердце мечется в пятки! И весь становишься из мрачного ужаса сотворен... Невольно утверждаешься в мысли, выходя из больнички с потощавшим за нервный период узелком личных сокровищ: все мы под мухой ходим, абсолютно все, никто не упущен!

У моего соседа неделю как потерялся, где-то просто бессовестно попрятался очень существенный для него алкоголизм, развитый до предела и всех мыслимых форм совершенства. С бешенством ищет, ревет, мечет синеватые, перенапряженные электричеством молоньи на жену, рвет вдруг возникшим и мелькнувшим копытом беззащитные почвы, но алкоголизм пропал с концами, как отрезало. И не вспомнит, где оставил его по пьяной лавочке.

Теперь сей трезвон бурлит трезвым. Вхолостую рокочут его погромыхивающие в округе страсти, полощут зарницы. Но засуха поразила шабра. Вот и тут аномалия климата. До всего, значит, плохи дела дошли.

Сдается мне, не далек час (и не ровен будет тот час, ох, не ровен!), когда соседец найдет если и не впрямую алкоголизм, то что-то окольное, добротно и уместно его заменяющее, что и поможет ему с тотально восставшим против него вожделением по-человечески разобраться, малой кровью. Но что это будет? – для истории человеческой (каковая ведь и в наших краях немножечко водится) еще загадка и небывалость, которой – в рамках отсутствия – недолго осталось терпеть до ярко бьющей в глаза и много скажущей были... только б не изошлась она прежде мессиджа криком.

Скорее бы разрешилось. А то и нам превозмогать его смежные ревы и топоты становится невмоготу, нет уже никаких сколь-нибудь сил приличных; остаются одни неприличные, матово отсвечивающие. Его жизнь для нас все чувствительнее обращается в тревогу и недвусмысленно обещается вскоре стать неминучей опасностью, способной довольно-таки даровито избороздить все вокруг непредсказуемым и непредвиденным, сколь бы оно в упор ни предвиделось, ни говорилось.

Скорей бы, скорей грянул, что ли, час соседского алкоголизма, который один и умеет деликатно, как-то по-товарищески, по-доброму унять эту строптивую фигуру с извилистой самобытно натурой, заковыристой на всем темном пути своего следования. Если вздумаешь сдуру иль опрометчиво взойти в эту смурную натуру, как на неведомую дорожку, обязательно заблудишься и не вернешься. Или в скором времени будешь найден на ее обочине в совершенно неизвестном состоянии. Хорошо, если просто пьяным. А может быть и еще неизвестнее, с последствиями, идущими более далеко и уже вслепую.

Завидую животным: у них нет тяжких мыслей и безнадежности. У них не бывает даже глупости – феномена, столь ярко распространенного среди людей. Полезно иногда сходить поучиться разумности в животный мир, хотя бы в приготовительный тамошний класс. Там научат правильно складывать палочки.

Какое ужасное количество людей неспособно к высокому развитию! Почти все. Из этой цветущей зловонием неподвижности и проистекают мертвые реки бед.

Единственное ее внятное, четко определенное и яркое качество – бездарность. Очень красивая, грациозная даже бездарность. Просто глаз не оторвать от ее полых прелестей, полных утонченными всяческими отсутствиями, изукрашенных драгоценностями исчезновений и другой бижутерией кокетливо молодящегося небытия.

Бездарное зрелище бездарных людей. Был им охвачен и поглощен всецело. Здесь ни на смышленую, ни на увертливую крохотку своего существа не ускользнешь.

Зрелище бездарных людей всегда бездарно. Мгновенно заражаешься лютой посредственностью. Потом не вытравить ее и кислотой сильной мысли. Приходится целиком менять голову. А где их для всякого раза столько взять, запасных органов неповрежденного разума? Эту серию производить перестали. Экономичнее чайники.

– Я этих людей вычеркнул из жизни! Они для меня больше не существуют! – вальяжно говорит, с пузатенькой важностью, с нажимом собственного жирноватого веса на каждое бедное, ведь хлипковатое же слово, покряхтывающее от возложенной на него человеком тщетной натуги.

Помилуй, а существуешь ли ты сам?

Прежде всего это надо бы срочно проверить, чтобы иметь – или не иметь – исходную точку для остальных-прочих вычеркиваний. Иначе нам грозит уничтожение, сотворенное призраком. А это самое страшное из уничтожений. Уж поверьте. Уничтожался. Успешно призраковал, призраковел.

Мой дединька Михаил Максимович на 70 лет старше меня, он умер от прилипшей к нему намертво старости в возрасте 88 лет в октябре 1974. На полупоколение старше Платонова и Набокова. Годился вполне в отцы Кортасару и Камю, но, к сожалению, не стал им отцом, а было б для их воспитанья неплохо: дединька умел крепко держать экзистенциализм в руках, предварительно надев колючие рукавицы. На полтора поколения старше Астафьева, Быкова, Трифонова, но и не догадывался об этом ни сном ни духом, им пришлось вырасти безродными для него детьми. Для первой мировой он был хоть куда, а пред Отечественной предстал уже неспособным, подрывая обороноспособность страны дрябловатым возрастом, но не здоровьем, – здоровья для него попросту не существовало, поскольку со стороны болезни он его не чувствовал, а значит, и не признавал за дельную вещь.

Я бы, как порядочный и ответственный внук, озабоченный стройным укоренением поколений, должен, просто обязан был родиться в 1936 году, но вследствие изощренного обилия национальных катаклизмов и дедушкиной замедлявшей всякое время неспешности угораздило меня вызволиться на свет не раньше двух десятилетий до неприличия жуткого запоздания, хотя сознание, как и полагается, сохранилось у меня таким, каким ему надлежало быть для всех родившихся в 1936 незапамятном, еще цветущем ременисцентной лозою году. Я только чуточку выгляжу их посвежее и на самом деле готовлюсь уже пестовать свое законное 75-летие, вместе с натуральными, необманными сверстниками, а не фальшиво угораздившие, явно же не мои налипшие на меня недорощенными 55 лет, приданных в совокупности с несвойственным мне поколением, по-видимому, для отвода каких-нибудь глаз, может, даже надмирных, – кому-то и зачем-то, значит, это нужно.

Нерасторопностью своей дединька и мое явление притормозил, заранее перепортил мои отношенья со временем и с поколеньями. Неподменным и непризрачным возрастом я на целый годок буду постарше тридцатисемигодников Маканина, Распутина, Битова, – тут они спроть меня немножечко слабаки. Я уже чутко помню (пусть и сверхзыбкой, улетающей в неизвестное памятью), как непереносимо страшно мне было пережить 37-й год, особенно его хлопающие на ветру покинутыми дверьми ночи, разворованные государственными шагами, – ночи, полные ничейности и зоркого разорения.

Война с нелицеприятной Германией не застала меня, в отличие от страны, врасплох, я был всячески готов к вероломному нападению; подпитываемый будущим, с которым находился в порочащих меня связях, я был практически уже не дитя и мог бы давать беззаветно преданные советы кое-кому повыше и поголовастее, если бы не дикая боязнь репрессий, въевшаяся с тех пор в каждую мою пору и клеточку навсегда, до мозга костей, до кончиков мысли, до корней волос, остриженных неизменно под ноль, чтобы в любое мгновенье к тюрьме быть готовым, чтобы тюремная стрижка не была чересчур лобовым сюрпризом.

В приснопамятном 1943 году, невзирая на суровое время и крупное недоедание, я нечеловеческим усилием пересилил себя и заставил его, т. е. себя, буквально волоком пойти в первый класс выстуженной насквозь и таким же макаром идеологизированной школы, но с первых дней, трудов и шагов заявил о себе, как всегда, не с лучшей далеко стороны и предпринял учиться, идя вперекос системе образования, слишком развязно, шаляй-валяй, только рукава отъявленными соплищами да их мрачной прозеленью зря марал, утираясь от получаемых исправно политичных колов, с чистой совестью их в себе обшлагом внешним заглаживая, и меня по-быстренькому (тогда больно-то не чикались с отстающими, не рассусоливали) оставили на второй год до осени 1963-го, принудив к исправительным жизненным работам, с жестким испытательным сроком в 20 тягучих не по длению своему лет, справедливо полагая, что если уж целая эпоха мне не поможет, то не поможет тогда ничто и никто: разумному, доброму, вечному не подвержен органически, годен лишь в перековку. Через эпоху посмотрим, стоит ли марать о него руки. На том и порешили, временно меня порешив, оставляя несмышленыша-мальчонку на вторую жизнь, дабы я там, в повторных занятиях существования, хоть что-то бы раскумекал и допереисправился, несмотря на то что многим (абсолютному большинству, воздержавшихся нет) с самого начального начала было до тошноты ясно, что такую степень горбатости, какую долгие и без меня-то путаные годы вынужден олицетворять я, не в мыслимых силах исправить никакая даже могущественная сверх- или супермогила. На том и порешили...

Но как ужасно все близко – третье столетье уже подряд! Мой дедушка не любил играть в детстве с Мариной Ивановной Цветаевой, от крохи поэта отлынивал, потому что она была для него мала и глупа, ведь шесть лет разницы – это не шутка, это, пока детство не кончится, непоправимо много. Да уже и тогда эта самая Марина задавака была еще та!

Да ведь это и нужно беспрестанно людям – мелкость их интересов, ничтожество их ползучих потребностей. Иное претит и противит. Иное – враждебно иное.

– Какого беса вы лезете ко мне со всяким там великим, небесным?! Отвалите-ка. Эх, давненько я что-то не расслаблялся!

О да! Вам бы только понебыть в этой насквозь небытийной жизни, в которой зачтется за живое событие и газетная всполошенная новость. Очередной серийный актеришко в очередной раз переутомился жениться! Что бы это для жизни, однако, значило?

Постойте! – а может, газеты тоже порождение весьма продуктивного этого небытия? И так называемое телевидение? И насущные для эфира, так сказать, партии? О, тогда это многое меняет в положении вещей и ставит жизнь на строго отведенные ей, лишь немножко положенные места!

Насколько же легче становится жить, когда узнаёшь, что ты, оказывается, не телепередачу смотришь, а сюжеты того света, некоторую судорогу инобытия, непосредственно переходящую в судорогу твоих не успевших от смерти опомниться глаз.

Глаза, следящие за потусторонним экраном, так и не успевают быть живыми.

Приходится вместо век хлопать довольно тяжеловатыми и габаритными надгробными плитами. А разве ж то дело? Тут так намаешься за новостную одну передачу, что уж краше тебя обычно в гроб повседневный кладут... Ты и здесь умудрился оказаться несортицей, непозволительным браком! В мертвые тебя не возьмут. Неформат.

Ну, все равно куда-нибудь хоть слегка примут. Я ведь тоже бывал в профсоюзе. Как былому активному члену месткома мне должно обеспечено быть покойное место, достойное усопшего с рвеньем трудящегося. На Южный берег Крыма и Сочи я ведь не очень-то претендую, вполне бы меня устроила и средняя полоса России, изукрашенная в скромный цветочек, тихо исхоженная ногами бабушек. Да и в Сочи сейчас, говорят, разгорается стройка века, захватившая пламенно пол-России, еще выкинут под шумок вместе со строительным мусором. Этого только мне и не хватало. Из всех видов предлагаемых на широкий выбор отбросов олимпийским мусором я только и не бывал.

Как представлю, сколько всего нужно постичь Лизку, даже мне, обильно устрашенному, становится сладостно страшно. И мне теперь – в который, Господи, благостный раз! – постигать все с самых наипервейших начал. Ползать, учиться всяким раздольным словам, новым видам нескромной пищи. Осваивать краеугольную азбуку привязанностей и пристрастий. Боязно! Какая пугающе огромная у меня получилась жизнь, в которой достаточно раз оступиться, чтобы нужно было опять начинать с пеленок, гуленья и робеющих выползков.

Что вперед, что назад жизнь моя неизносимо пространна, никак мне не удается забиться в тихий уголок покоя и сурово, неприступно перевести дух в неторопком длении дней. Вынужден, взамен сурового переведения духа, жить сурово, что радует, так как волка ноги кормят, а не духовные лежанья в норе, перемежаемые нравственным зализываньем ран, подсказывающим расслабленные одни вещи.

Сегодня совместно с Лизком вдумчиво и пристрастно осваивали четвереньки, открыв средь полов бездну ползучих возможностей. У Лизка получается уже изощренно, с мастеровитым блеском, у меня, в силу исподволь накопившейся за годы медвежковатости, четвереньки на-гора выдаются пока коряво, вычурно-кудревато и как-то боком всё, боком, точно попутно приходится мне с нечистой силой бодаться. Иной раз лишь возьмешь приз с лихого наскоку, да и то поощрительный. Завтра Лизок покажет мне еще разок, как сноровистей производить по полу мозговитые телодвиженья. Назавтра зачетный день по ползковой подготовке, угроза провала очень реальна, ведь права на пересдачу у меня больше нет, сколько можно ползать всю жизнь и ничему не научиться?! Четвереньки становятся пройденным этапом, надеюсь, навеки. Не судный ли будет завтрашний день? Пойду сейчас в ночь готовиться средь беспощадных полов к зачету, вынувшему из меня последнюю душу... и предпоследнюю, и львиную долю бессмертной. Ну, и слава Богу! Одним чисто техническим уменьем и голым мастерством я эти одуревшие уже во мне ползки легко одолею. Они для меня теперь не препятствие. Впереди экзамен по пусканию пузырей изо рта. Вот где ждет меня ужас так ужас! К этим художествам я не готов провально. Придется передирать пузыри со шпаргалки. Покопаюсь-ка в Интернете, там все бывает. Должно хватить драгоценной той виртуальности на все случаи моей чудовищно богатой жизни.

Я точно вечный сопровождающий моих близких жизней. Старших детей, худо ли, бедно ли, в будущее проводил (не спровадил ли?), а сам надолго вернулся в младенческие дни, пока отказавшись от будущего, поскольку мои возможности и грядущие дни заняты другим – ускользающим в меня до невозможности его уловить прошлым. Поимка на поимке во мне и поимкой погоняет, по мельканию напоминает звездные войны. Но все напрасно: прошлое опять во мне дальше меня забежало, некому за ним угнаться, некому вернуть его обратно, наобещав кучу надежд и гор золотых... Вот, погнавшись за ним, опять себя упустил... Ни будущего, ни прошлого, ни себя среди странности ненастоящего... И ходи теперь никем с выпученными безвременно глазами, с бессмысленно обезмолвленными губами, больной призраком на всю голову.

Отдайте кровно мое, по сокровенному праву мне извеку принадлежащее, и я без колебаний, не теряя ни мига, уйду от вас навсегда, в расплывчатом, но замечательном направлении. Только меня и видели. Только меня и слышали. Ни в сказке сказать, ни пером описать.

Но не дают, ни кровиночки малой не возвращают, прикрепив меня к жизни их той неотдачей, той дразнящей приманкой-растравой. Прикровили себе мое, зажилили намертво...

Не возвращают мое кровное, чтобы я от них так-то легко бы уж не отделался. И не спорхнул, вдруг окрыленный прелестно своим, унесенный личным моим очаровательным ветром.

Они ведь прекрасно знают, что отправиться в начисто неизведанный путь совсем уж без своего, хотя бы без крохотного задушевного узелка, означает только одно – найти верную себе гибель. И я вынужден быть заключен в толпливых темницах их целиком присвоивших особость мою и употребивших ее по собственным прихотям личностей. Я давно посажен на сирые хлеб и воду их ужасающей человечьей скудости, их катастрофически нечеловеческой нищеты. Не объявить ли мне кругосветную голодовку, в которую и отправиться в качестве вояжирующего вальяжно пассажира?

Боже мой, Боже мой сокрушительный, зачем Ты сотворил в мире столько бесперебойной сволочи?.. Неотрясаемой тяжестью она повисла на мне – не шагнуть. И губы ею отяжелели намертво – не шепнуть звука бедного. И слова раздавлены, не успев прикоснуться к звукам и к обессмыслившимся, ни на что не нужным губам. И молчание отнято и развеяно среди безвестных безмолвий. От меня осталась лишь сбивчивая череда пустых вздохов, выдохов и нелепых движений. Кто я, который – не я?

Как сбежать с этого обрыдлого, быдлова пира глупости и тщеты? Уже и все возвратные лазейки сволочь благополучно забила. Даже смерть прибрала к своим мастеровитым на эти дела рукам. Вот и в смерть не воротиться – она сделалась только пошлостью, только прибыльным делом, средь которого я убываю мгновенно.

И такие бывают молитвы.

«Не наблюдали ли вы в порядке истории, что *начала* всех вещей хороши...»
«В истории истинно реальны только мечты». В. Розанов.

Вот, нате вам, зевнул. Что бы это значило? Не может ведь быть это всего-навсего зевком примитивного недосыпания. Неужели я ничего дополнительно не значу и только пошло зеваю? Прислушивался сторожко к чувствам в процессе зевания: не значу ли? Чувства ответили грубо: нет, действительно ничего больше не значишь, заткнись и не дергайся, не отвлекай процесс.

Если так, то сколь же низко я пал! Даже пустейший зевок не могу собой пристойно наполнить. Вот, совершаю одни голые манипуляции с воздухом и дурно скрипящим голосом, посредством челюстных перпендикулярных выворотов и давно надоевших лицевых мышц, которым место уж в гробовых эмоциях. Кретин, полный кретин. Ничего даже этим сказать не хотел. А еще стремился быть многозначным, зевун пустогласый! Вдоволь ртом мир половил? Быстро теперь скрылся!

Ничего не надо, кроме: жить уединенно в отстроенном заново из моих неветшающих воспоминаний Саратове, с высоким видом на Волгу, несущей воспоминательные воды и волны под застаревшим, мягко грустящим светом осеннего солнца. (Немного солнца в холодной воде, Боже мой, как немного...)

И чтобы Волга безмятежно тянулась, длилась и длилась на юг, соблюдая четыре времени года. БОльших заповедей от нее не нужно. Остальные мои недостачи без числа разлиты в ее бескрайне щедром и мудром речном теле. Только поспевай их замечать и пользоваться ими в беспрерывных нуждах собственных наголодавшихся средь моих степей глаз.

Скоро я уеду навсегда в свои воспоминания. Больше ехать мне некуда. Вместо прощания говорю вам: до воспоминания, дорогие мои, до ближайшего воспоминания.

Мы обязательно встретимся когда-нибудь в чьих-то давно потерянных воспоминаниях. Мы непременно встретимся в наших невстречах, если, конечно, им вопреки всему суждено случиться, пусть помимо нас.

У меня есть втайне от себя неудавшийся и усмехающийся на меня роман (он уже третье десятилетие начал упорно обещать удасться), неудачность которого предсказана в названии: «Человек одинокой прогулки».

Такие прогулки добром не кончаются, а лишь ловко приконченной пухлой рукописью. Труп которой храню. Это алиби от преступлений, которые я помимо нее совершил, якобы работая исключительно над нею.

Милый призрак осени стоит за окном. Подышивает легковеющим ветерком немятежным. Дыхание его солнечно, с грустинкой полевой неисследимых, за край разума то и знай выскользающих, забредающих далей. Мысль дальше самых первых далей отлучаться боится – чует она там неминуемую свою пропажу. Осторожно щиплет поживу рядом, в кустах ближайших, по бровке поля, в испуге странном и беспричинном бросается что есть духу в глаза обратно, в умишка логово смутное, где какой-никакой припасен корм для нее тихий.

Небо забывает, как быть уже летом. Словно эмигрировало к нам из краев, название которых по дороге в наше забвение и само забыло. Небо так растерянно и смущенно: синеву ведь, синеву подменили... И выдали про запас хмурые подержанные облачка, которые и себе не рады, похоже. Рваненькие этакие, на крупную стежку наспех залатанные облачишки – точно больничное кое-какое бельишко, почти бесхозное барахло.

Подробно-кропотливая, безмятежная, очень скрытная стылость в чудодейственном медлении, прекраснейшем из медлений, преображает краски и вещи в их собственное, неминуемое теперь откровенье: скоро они нам все-все расскажут, про светлое всё ясным-ясно изъявят. Идет тайное посвящение в осень, и через кроху дней мы не заметим сами, как станем до последней своей таинки осенни, наши тайны ярко засентябреют. Будут говорить о нас: эти принадлежат сентябрю безвозвратно, переданы ему безвозмездным даром, отныне они подданные его навечно, по пустякам их лучше не беспокоить.

И все грубое, досаждающее вещество в нас будет чьим-то легким произволением уже сентябрьским и невесомым. И лишь чуточку сохранится ушедшего лета где-то на донышке почти отсветлевшего чувства, – чтобы быть воспоминанием, потому что быть воспоминанием в нас уже нечему, кроме хрупкой, чудно бессмертной материи промелькнувшего в исчезновениях лета, безмерно любившего нас, во всем нам потакавшего.

Осень вселяет такой простор жизни, что не веришь во времена, когда даже наши воспоминания забудут нас окончательно и будут вместо нас помнить что-то другое, очень смутно тоскуя по нам.

«Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...»

«Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало?»

«А все-таки помни мое: нет беднее беды, чем печаль...» И. Бунин, «Жизнь Арсеньева».

У него был честный нулевой результат в области литературы и ее окрестностей. Твердый ноль, незыблемый, выдержанный в тонком стиле и несгибаемом, огнеупорном духе. И это замечательный результат, если учесть, что и отрицательный результат – тоже не ноль. К тому же он и человек очень порядочный – всегда возвратит в тираж свое околоноля, никогда не забудет, – потому что чужого ему не надо. Вот что значит воспитанный человек! Было бы таких в литературе побольше, глядишь, и литература была бы другая.

Чай есть, конечно, напиток богов, за вычетом, конечно, пьющего сейчас его полупроснувшегося, раскраденного за ночь сновиденьями бога, за исключением небес, которые в этой квартире и не валялись. А ведь здесь валялось много всякого сверженного и низринутого, и в покорном хламе комнат чего только можно было не найти; даже евроремонт иногда под руку попадался. Но вот поломанных небес, пусть исковерканных каких-нибудь высотных остатков не попадалось что-то нигде, даже облаков в виде ваты. А мы обшарили здесь все закоулки и напрасно угробили столько времени, слишком хорошо знающего себе цену и цену нам, потерявшим тут неприметно свою значимость и ценность.

Как расплатиться теперь с этим временем, обкраденным нами, какими шальными шишами? Мы ужасно, мы преступно задолжали, непростительно долго и без чувства утраты оставаясь в этой безнебесной квартире, за которую исправно платили и часто – как подсказывали чувства, которые обычно не врали, – на вечность вперед.

У него была одна в жизни всепоглощающая страсть: не быть как можно дольше лет, как бы при этом помимо всего преспокойно живя (хотя б для того, чтоб не уличили в симуляции жизненного процесса и не разоблачили паспортного его призрака). Годков эдак так до 95. И некоторой стойкой, жизнеупорной тенью, неприметной сторонкой, незримым смыслом пережить втихаря многих и многих, все тесное население своего поколения.

Тактику применял максимальных нетрат и неявлений. Умно дело поставил, далеко не дурак был.

Решил жить втайне от всех, спрятав свою жизнь до неузнаваемости ее в качестве жизни (чтобы кто ненароком не набрел на нее и походя на ней не потоптался, шагами бредучими не изувечил), и потихоньку-полегоньку в тайне пережить их всех, бьющих жизни вразгон и обо что попало. Вот дуралеи немыслимые! Жизней на них никаких не напасешься, на бестолочей безоглядных!

Он-то вынет жизнь от силы раз в день на несколько скорых минуточек, слегка подержит в руках, переваливая жар драгоценный на ладонь с ладони, любовно осматривая ее со всех сторон, сдувая вкравшиеся причудливые пылинки. Бережно протрет бархатным трепетом до глянцевой чистоты и, над аккуратностью дрожа, положит с непередаваемым чувством сохранности опять в сверхпрочную и укромную тайность. Там она хорошо не портится. Поменьше бы надо ее вынимать, да не стерпишь, рука за жизнью сама тянется. Века на полтора за глаза хватит. 95 лет совсем еще и не возраст. Так, для разгона мелких, несущественных самых потребностей. Переживу, всех вас все равно переживу! – молитвой твердил себе, мертво радуясь. – Еще иззавидуетесь мне на том свете, сволочи вы неживучие!

И через полтора века он яростно твердил то же самое, как заведенный, будучи сохраненной в своей драгоценной тайности мертвой пылью, которая так и не разучилась обожать себя, броско собой мгновеньями любоваться. То-то было тогда ликованья, радости в те времена, хоть и некому было уже радоваться!

Самая страшная и мучительная смерть – это, понятное дело, смерть при жизни. Гибель от собственной жизни. Когда человека вынуждают жить нелюбимой и не своей, отвратно не своей жизнью – тоскливым бытованьем чужого себе человека, пусть он – это ты все и ты, которого нет...

Кто-то и незнамо как отбирает у тебя в каждом мгновении жизнь, делая ее случайной и ненавистной, и ты принужден уступать, с отвращением к себе поддаваться, не существуя целыми днями, сезонами и сквозными эпохами. Ты приневолен часто быть мертвым, чтобы тебя не уличили в жизни, не совместимой с жизнью.

Сколь поголовен у провинциальных авторов совершенно невыносимый тон выслуживания перед столичным мнением, хоть и неизвестно, что это такое, поскольку в природе текстов сие не обнаружено. Так и повиливают хвостиком, так и скулят, блуждая пред неизвестно чем на вытянутых струнно цыпочках: заметьте, примите меня, я в угоду вашему мнению натрещу чего надобно и себя продам не за очень дорого. Готов на любую скидку и уступку. А равно и на все остальное. Тело мое прилагается, безвозмездно им пользуйтесь в целях моего признания.

Я мог бы быть великолепным дрессировщиком провинциальных авторов – перед отправкой их в цирки Москвы. У меня здесь просто животрепещущее призвание, открывшееся, как рана. Так и зудит в руке погоняться за авторами с укротительным кнутом. Але-гоп! Все их рефлексы наизусть знаю. В цирках Москвы, пройдя кнутовую мою дрессуру, они неизменно показывали бы высший пилотаж и

непревзойденных качеств улеты. То-то бы москвичи и гости столицы налюбовывались их отсутствиями, ведь улетевший автор – это уже и не автор, а отличная дыра пространства. Которую совсем не жалко сбагрить обратно в и без того худую провинцию. А тут и мы опять с кнутами, с заредевшими в карманах пряниками, из дождавшихся наконец-то засадных кустов. И ну по-новой вживлять дрессуру в опавшие от Москвы бока, не много в них, выходит, наклавшей. Так и доведем до кондиции писачью натуру. Некоторые вообще вниз головой повыбрасываются из литературы. Но это будет называться летательный исход, по крайней мере, в первом приближении назовем его так. В целом для литературы это очень неплохо. Зачастую – единственный выход. Просьба только не перепутать его с летальным. Беспокоиться, впрочем, не о чем: я всегда стою на своем месте кризисного вахтера, предупредительно, даже экстремально готового с летным выходом вам помочь... Нет-нет, что вы, что вы, мы здесь шляемся только после вас...

Наконец-то был он мертвецки пьян. Сразу две мечты слились воедино: напиться и умереть. Был теперь он лежачим кентавром водки и смерти. Для него это было крайне удачным сочетанием многих доселе несочетаемых компонентов судьбы, с элементами вкраплений чужих судеб, позаимствованных для подстраховки пущего благополучия.

Сбылась вековая мечта трудящегося – на хер отдохнуть в тиши непритронутым. А то заколебали совсем на хер. Козлы.

Очень боялся возраста за сорок.

Оказывается, не такой уж страшный то зверь, бывают ужаснее. Актуальным искусством и не таких страхолюдин иной раз малюют.

С ним тоже жить можно. В одной даже клетке. И не быть безобразно обгрызенным. Уцелеть шансы есть вполне неплохие.

Все то же самое, только молодости как-то нет, где-то прячется, видать, убоявшись построжавшего и заугрюмевшего хозяина своего.

Но молодость легко можно себе намыслить, сколько угодно, разнообразно, совсем беспрепятственно, и все встает на приемлемые и отчасти радующие и приветственные места. Навспоминать также можно много чего хорошего, для себя лестного, было ли то или не было, – для впрыскиванья упругих и значимых сил в устаревающие, морально изношенные ощущения.

Правда, боишься все больше глупеть потихоньку, незаметно от себя, естественным ходом общего поглупения своей и без того-то не шибко обремененной интеллектом судьбы. Но и здесь есть незаменимый метод сопротивления, душевно-партизанского подполья: в упор не чувствовать искрометную глупость, выбросить ее из просторных и проветриваемых своевременно ощущений как заведомо враждебную составляющую – дескать, уроненного волоска твоего она не стоит. И глупеть помимо себя, не зная откликов глупости в чувствах, строго стоящих начеку и дающих для разума хорошие, бодрые отчеты, с повышенными обязательствами, с заоблачными показателями, с юркими парторгами однозвучных эмоций, как при маразматически развитом недокоммунизме, который раньше нас умудрился из ума выжить. Ну ничего, не все потеряно, в обязательном порядке его мы догоним. Опять будем вместе, братьями навек и одной неразрывной судьбой, – она будет тоже прекрасно трудна.

Кажись, уже нагоняю. А с чего бы тогда легчать начинало?

Смутительно осеннее ощущение, сотрясающее, кажется, основы удивления: точно впервые смотришь изнутри сентября на вещи – и видишь в них, представляется, больше смысла, чем заключено в вещах возможностей смысла самой природой вещей. Этот смысл причудливо смещен, таинственно искажен, таинственно волнуем, словно ветром незримым, осенним подспудным, но и как-то величественно уединенным светом, иносветом, отчего вокруг всякой вещи ореол множественности и мерцания: она на глазах будто двоится, троится, неукротимо множится, пересекаясь обильными контурами еле внятных иных воплощений, – и в руках вдруг не та уже вещь, которую взял, а кипа ее умножений, охапочка воздушных ее призраков, норовящих смутить вещь до того, что она вот-вот отречется от названия своего и поставленной на край исчезновенья насущности. И с восторженным ужасом держишь в немелых, в несмелых ладонях разросшееся чудовище, прекрасное чудище вещи, потерянно вперяясь в него рассентябрившимися, в нетях смыслов сказавшимися глазами. И не знаешь, что поделать с на-

шествием превращений, что поделать с собой, превращенным – обращенным в осеннюю веру.

Как обманчиво ясна эта бодрящая осени ясность, пронизывающая все сути! Сколь чревата неисчислимыми призраками, готовыми бесшумным охотным множеством ринуться на облаву людей из каждой неприметной вроде бы, скромненькой с виду вещицы! Нам, похоже, несдобровать в этом восстании возликовавших осенних вещей... Избежать бы утраты себя... Стать навстречу им сразу же неприступным рассеяньем?

Удастся ли уберечься хотя бы еще одну разбушевавшуюся на диво осень? Ведь год от году осени становятся все более призрачны и смотрят на нас уже с явно отсутствующим видом. Нам ответить им чем? Разве только отсутствием... Разве только благорасположением личных наших исчезновений, предупредительных к каждому взгляду и шороху осени, ко всякому недоупавшему ее, три мгновенья еще живому листу... Иного пути к взаимопониманию, видимо, не бывает.

Что же я могу с этим поделать, если я любить это не могу напрочь, заранее любить отвращаюсь. Со мною случится ведь катастрофа любви, коли я возлюбить это осилю. Тут какие-то непреступимые противопоказания дружно и гневно протестующих чувств, грозящих не быть моими и сместить меня с личности, если я продолжать буду в том же духе.

Даже под умоляющим зовом влюбленного в тебя на короткий миг пистолета здесь любовь вряд ли вспыхнет, крупные меня забирают сомнения. И сажают за неоказание любви под домашний арест. Подселяют ко мне в одиночку чай, который бдительно в дальнейшем за мной пронаблюдает, куда надо все обо мне нашепчет, ознакомившись с моей поднаготной. Живу с тех пор под полицейским надзором умеренно строгого чая, проницательно за мной следящим на всем моем протяжении. Если бы голова у меня была с пожаром, можно было бы даже марать более-менее пронзительные и замечательные в ответ чаю стихи. Довольствоваться приходится вялой одой заварочной процедуре, да и то оборванной на полуслове.

Большего повреждения ума и самого существа человека невозможно найти, чем у господ животных, возжаждавших заиметь позлащенные унитазы и таки, вопреки всем чинимым козням и препятствиям, осуществивших свою голубую, только немного уже практологическую мечту.

То-то позолотили катастрофическую серость! Хоть опорожненье свое приблизили к чему-то дорогому. Больше им приближать ни к чему нечего. Успешно здесь работает и обратное неприближение: ничего не к чему. В условиях блистающих и ярко, но воровато на что-то все озирающихся унитазов оно тоже верно работает.

Самодовольству позволительно проявиться только в самый момент смерти, в миг сбывшегося наиточнейшего сокровения: вот, достиг в конце-то концов великого и непостижимого, в чем никто уж не в силах сравниться с тобой.

Лишь в момент смерти краткое величие человека.

Лишь во время смерти можно быть радостным без границ. Ведь в той радости – только истина. Бесконечная истина.

Теперь-то достиг ты того высочайшего, на что не способен ни один еще квело пребывающий в жизни гений.

Вот почему и гений становится полным, законченным гением, лишь пройдя возвышающий рубеж умирания.

В этом хорошие и привлекательные стороны смерти, а в остальном она как и жизнь, только чуточку скрытнее. В остальном неотличимы они до боли.

Лучше не прикасаться к нему, всячески его избегать с помощью панических и крайних способов бегства! Он запредельно опасен в непредсказуемой своей смерти. Тут же пронзит каким-нибудь скромненьким, стыдливо зардевшимся омертвением, ласково уничтожит вроде бы косвенно на тебя глядящей пропажей, не успеешь и собственной смертью смереть в свое удовольствие. Такие вот дела на фронтах небытия. Временно отступаем, усеивая землю трупами личных утрат и пропаж. Временно умираем. Но скоро с этим будет покончено и мы заживем крепкой смертью – ее ничему не одолеть, крепость она неприступная, за всю историю руин не знала и не искала, руинами не обреталась.

При моем-то отношении к здоровью со стороны куренья давно бы я должен заглянуть в сторону смерти. А вот не заглядываю. Очаровываюсь в основном другими сторонами, которых для очарований и прелестей любований бывает столь много, что я теряюсь получше смерти, которая замечательно так меня потерять не сумела бы. А это для жизни немало.

Неплохой писатель. Только умеренно косоглазый.

Глаза ему время вставило, – он-то сам по себе слепорожденный.

Без любого писателя (если он настоящий) Россия была бы неузнаваемо другая – и хуже. Несопоставимо хуже. Значительно отвратнее, на целый порядок, наверно, иль более. Без писателя никакая Россия даже и близко бы здесь нигде не стояла.

Трудно вообразить, сколь плачевной сделалась бы страна, не будь среди нас, например, Чехова; в слезах своих утонули бы от наших любящих нас до самозабвения бед. Один только он внес в Россию огромные незаменимые жизни, которые, быть может, сгодились в критические времена лихолетий, когда все висит на волоске.

И небольшой писатель может внести одну колоссальную по масштабам последствий жизнь, которая повлияет на лик страны неизгладимо, – она хотя бы на вид станет роднее.

Но не становится ли страна за множественностью писателей с их привнесениями все неузнаваемей и все больше на себя непохожей? Щебечущим произволом творцов не отдаляется ли страна поневоле, насилкой сама от себя? Думаю, что нет. Доказательств у меня нет никаких. Я полагаюсь здесь только на чистосердечие и добросовестность пишущей братии, а это всё аргументы из золотовалютных запасов нации.

Опять вплотную, местами и врукопашную, сошелся один на одну и на многую с низостью человеческой. Стал, съякшавшись с охранкой, трудоголить в массах сторожем-затейником. Развлекаю народ охраной ча-стной собственности. Говорят, в отдельных выходах иной раз блистаю, бисом иногда на повтор подбивают. Народ на меня валом валит, пора упразднять театры, другие зрелищные представления – одними видами моей сторожбы обходятся уже и обойдутся. Умело народ я духовно окармливаю. Специально под сторожа быстрого реагирования втихаря скрываюсь, чтобы вовремя гражданственные рты поспеть усластить, под видом забавы чем надо умаслить. Они-то думают – развлекаются, надо мной всемерно смеясь, ан соверша-ют подвиг духовного возгорания! Вот что значит в России быть просто одним только сторожем стоматоло-гической поликлиники (я туда нарочно устроился, чтоб сподручнее было заговаривать зубы), ночлежным мастером духовных пустот средней квалификации. Подспудно сторож, как и все остальное, у нас намного больше, чем сторож: здесь бездны и бездны приоткрываются, а с виду торчит у бездн на краю один якобы тихонький, невзрачно покрикивающий под нос себе вздор полустаричок – изображает из себя бесперебой-ное осуществленье непроходимой, насмерть стоящей сплошь, рядом, выше и куда подальше охраны.

Я ни западник, ни восточник. Извините, я человек сумеречный. Загораю на юге пылких своих желаний, спать взбодряюсь на диком севере личных мыслей, средь ледовитого океана бедовой головушки, полной влекущихся мимо бродячих льдин, усеянных заманчиво ревущими про что-то медведями.

Вот бы понять еще, что же все это умеренно климатически значило.

Ты – тусовка.

Кажется, все я сказал. Подробности см. в моем справочном молчании. Оно обычно у меня выступает в качестве гиперссылки, а то и просто ссылки в район села Неверкино.

Почему эти места, эта округа стали дороже людей, дорогих прежде людей, еще коротающих там чьи-то сторонние существования, навязанные на отсутствующие их жизни?

Наш тейп произвел только двух приличных уродцев – Валерия Володина и Вячеслава Володина. Остальные, спешу доложить, все нормальные, жизнь правят верно, мозги их веселы и удачны, с разумом дружат семьями.

Замечательно результативный исторический процент отсеиванья брака в лице двух творчески двуличных лиц.

Миновали великолепную, живописно раскинувшуюся на земляничном припеке родину посредственного губернатора. Даже виды своей родины он заглазно опошлил. Они стали зычными и несут околесицу. Бедная одураченная местность долго кричит еще вслед его хамоватым партийно-прикладным голосом и недобро усмехается его приспособившейся к всяческим поползновениям подлой усмешкой. Вот-вот настигнет эта по обману ставшая сановной окрестность, хоть губернаторские пейзажи и минули наши глаза приличное время назад.

Да, преследует, несомненно. Чувствую, несдобровать. Сейчас юркий изугодничавшийся видок, блатной по повадкам, ударит прямо в затылок. С дождавшейся азартной яростью, все ощутимее накапливающейся в рыщущем тут ударе. ...Вот и стукнуло. Чуть не до смерти... Но все-таки переживу, выжить должен. Ведь уже километров на десять я отъехал от этой хватающей отовсюду, старающейся бить наповал смерти. Еще чуток потерпеть осталось, чтобы не отдать той бегущей нахраписто за тобой убийственной местности свои концы. Давай уцелевай как-нибудь, иначе и себя уважать перестанешь. Ладно, так и быть, иду ради живота своего на уступку, недобрая ты, местность, – срочно открываю повсюду публичные дома, пресекаю на гнилом корню вытрезвители (сколько можно в России над мужиком измываться?!) и неминуемо делаю Саратов столицей Поволжья, чтобы вместе с нами целому региону покрепче было о чем бездарно задуматься. В общем-то, небольшая уступка, чтобы мне сейчас – на протяжении пятнадцати уже километров смерти – выжить.

Типично фиктивный человек.

Вроде брака.

Вроде барака, если говорить о фиктивном жилье.

А этот человек и оказался моим фиктивным жильем, странно умещающимся во мне домом. Как же долго он был бараком, скрывающимся во мне! А я и не замечал. Думал, что живу в добротном особняке. Предстоит жесточайший снос.

Не рухнуть бы.

Человек был утомительно плоский, без всхолмлений – унылая равнина, опостылевшая себе самой, сама себя покинувшая. Глаза уставали пусто преследовать бескрайний, ничего не обещающий горизонт. Они изнемогали быть столь длительной, столь многое отбирающей пустотой, бесследностью, неисследимостью.

Глазам тоскливо было представать в виде собственной раскинувшейся перед ними смерти.

Август. Прощальный август. Всемерно, всемирно расстающееся всюду чудное исчезанье. Прощай, прощай, мой августейший август, прощай славный лета убыток! – молвлю и я в ответ на его деликатное, утонченное расставание, произносимое каким-то огромным шепотом повсеместно отстранившегося и уходящего в запределье свое мира.

Ты и меня прости как-нибудь, мир прощальный, в лгущей колоде своей невзначай подмени неминуемую прощаль на сбывающееся прощенье...

Как-то очень заразительно внушающая жизнь, ободряя и веселя возникающими тут же надеждами, миротворная дачная местность, совсем игрушечная, у небольшой крадко-осторожно пробирающейся сквозь таинственность куда-то реки. Нежно и бережно огибающие каждое твое остроугольное чувство, плавно вторящие всякой твоей радости холмы – их мягкие, незлобивые линии есть также и линии твоих умягченных, природою здешней остепенившихся чувств. Неспешное дленье вокруг, духовитое мрение, снулые плесы, камыши и задорные кувшинки, самоуправно разверставшие листья, целые плеяды листьев и прекрасно весомых, даже издали ощутимо тяжеленных цветов посреди реки, невзирая на середину, а стало быть, и на кое-какое здесь все же течение. Им убеганье реки нипочем. Медленностью они избегают, превозмогают течение. Медленностью обгоняют положенное здесь к осуществлению, щедро покинутое время, которое, в свою очередь, норовит избежать эту местность, только дай потачку ему, уловочку или лазейку. Обделит время эти места и округу, всего избежав, иль сверхобильно одарит своим драгоценным отсутствием?

Пестрые разномастные дачки и пузатенькие, необидчивой надменностью пышущие особнячки, собранные из заплат домишки разбродно, своевольем образуя узоры порядка, ютятся чуть поодаль от раздобревшего за дикорастущее лето зеленого тела реки. Как даровито рассыпанное раздолье

диковинных грез, как блаженные избежания чумноватой жизни эти в восхитительном беспорядке разбросанные по загулявшим холмам летучие строеньица (каждое, что сразу бросается в глаза, со своим вздорным, но отходчивым, все же покладистым норовом), – летучие-то летучие, да недвижно вмонтированные в пылающий сладостной гибелью зной, не дающий спуску ни единому легкомысленному движению, только попробуй оно здесь самонадеянно заиметься. Зной умертвит самое крохотное поползновение, самый мелкий вздрог исчезновения не пощадит; жаре лучше никто-ничто не перечь, будешь свергнут немилосердно в оцепенение и в бездумность собственных зазевавшихся о чем-то другом мыслей.

Стоит какому-нибудь сумасбродному непоседе-домишке ненароком пошевельнуться, он тут же – под подозрением, тут же попал в опалу жары, а с ней шутки плохи, лучше терпенье ее не испытывать и притвориться влюбленным в недвижность или мертвение. Ни полшевелинкой нельзя себя выдавать, предан солнцу будешь беспрекословно, в нещадную его впадешь милость, вкусив опалы доподлинно и с лихвой. Тот дом будет сослан, по всей видимости, в вечную ссылку недвижности, будет жить за него, вековать легкомысленно ветховатое и вертлявое марево, – ну какой с него, крученого, спрос? Представительствовать собою самовитые жилые, а тем более – живые дома? – Применительно к мареву что-то плохо, даже призрачно верится.

Так и обвиваешься мечтой – рухнуть в эту полуденную картину всеобъемлющего тихозвучного солнца и, ничего по возможности не расплескав, не извредив собою, остаться в ней жить лениво расслабленным – блаженным отражением бог весть чего, неким драгоценнейшим из рассеяний, каковым ты себя и чувствуешь по причине неспадающей свирепой жары не первый день и не последний. И так и быть впоследствии (даже когда мягкосердная осень внесет ясные свои коррективы и переиначит точки отсчета) лишь не утратившим ни блаженства, ни медлительной лени рассеяньем, удачно минуя жизнь. Имея до нее отдаленное только касательство, так что ни жизни не понять, кто ты в самом деле такой, ни тебе про жизнь не понять, кто она в самом деле, бессмыслица дивная: два наваждения друг у друга на горизонте, сквозные фантомы, что не прочнее воздуха и держащихся на честном лишь слове пустынных, до бескровности цвета изгоревших небес.

Какой бредовой взмысливается здесь затея быть каким-нибудь сити-менеджером или другим хоть немного очерченным социальным типом. Это стало бы сущим наказанием. В ужас приходишь от мысли, что нужно еще, вполне возможно, быть кем-то иным, чем просто летнее, солнечное никто, – такой изнурительный груз страшно никчемен, отвратен, такой исход сродни направлениям смерти. Не приведи, не приведи Господи с какого-нибудь испуга стать ярко выраженным сити-менеджером! – весьма нервически подумываешь, хладно обдаваясь изнутри и снаружи настороженным, напряженно мыслящим потом, ужасаясь этой возможной катастрофой, которая в одночасье лихое порушит и твое задушевное небо вечернее, и твою нежно, безмятежно упрятанную в нем тишину, и беспредельную, терпко грустящую чабрецово-полынную музыку струнного лета, кузнечиковыми сепетящими набатиками сухим сетчатым шелестом рассыпаемую там да сям. И твою – целиком отданную тебе в мечтательное владение – речку Саратовку в чудесно неправильной оправе камыша, где каждый уважающий себя разумный карась норовит беззаветно стать твоим и бредит неудержимой мечтой, что ты в кои-то веки сбросишь дремную лень и закинешь в закатную гладь неотрывно и очарованно глядящей в тебя заводинки волшебно перекидывающую меж мирами мостик призрачно уже невесомую удочку, хватанувшую, видать, как следует всевозможной надмирности либо потусторонности (еще не успел определить, чего именно)... перепало бедняжке немало – совсем теряется...

Боже! – так и разносится в тиши вечернего отсутствия тоже алым слегка от последствий заката криком. – Боже! пронеси стать сити-менеджером или еще кем-нибудь довольно-таки крупненьким. Или даже средних масштабов крупности – тоже, пожалуйста, пронеси, мной избегни и попусти. Уж обереги для завидной малости, для обильной всё незаметности. Дай мне пресмыкаться дачником на отшибе, и Ты немедленно увидишь, как буду я благодарен, счастлив и щедр всесторонне. О других Твоих милостях и не помышляю, их давно я измыслил. Претендую только на дачное свое самоустранение. На выращиванье кропотливое благодушных стеблей картошки и на медленный, незатейливо тянущийся сквозь целый день и его в свой черед по крохам сбирающий сбор незлобивых, но бессовестно запоздавших в август вишен... это какое же, милые, у нас тысячелетье на дворе, коли вы так божественно не торопитесь? Мы их уложим ко сну теплыми, так ясно запомнившими этот день

ворохами, тронутыми вишенной слегка темноватой улыбкой, чуточку лишь виновной и грустной, но все-таки – детской, неисчезающе детской. Какую сказку вам, вишневые ребяточки, на сон грядущий наслать для умягчения и приручения ночи?

...Возьму длинноокую и дальномыслую удочку, пройду в уединенный, странноприимный мой, сумеречный уже кабинет камыша, и леска скупо блеснет, добирая остаток света, проносясь у самого лица в самое себя склоненную и углубленную реку. Смутное, потаенное и тяжковатое вещество медлительно затяженной воды только чуть вздрогнет от странно булькнувшего в иной мир поплавка, породившего лишь новую капельку тишины. Но эта капля будет уже нездешней. И она повлечет, неудержимо повлечет тебя за собой, как бы ты ни цеплялся укореняющим воображением за вечерний берег, как бы ни думал, что стоишь еще на этом краешке нашей, все еще видимо нашей земли...

Сентябрьские роскошные руины рябин средь безмолвно воззрившегося в небо, утопающего в бездне солнечной дня, – он похож на славного, беспечного ротозея, немножко зазевавшегося в вечность, которая, как всегда, ничего не заметила: сама позевать не промах.

И неслышно обрушиваются, стекают руины в день оранжевым нерасточимым потоком.

Потопный рябиновый день. Счастливо руиновый день.

Полные зрелости и дробной округлости каскады кистей рябин – ниспадают они иль возносятся? – в мреющем дымковатом воздухе, на этой бессмертной небесной синеве, синеве... Рябинам, наверное, не выдержать, не удержать своего ускользнувшего из-под их влияния существа. Их распирает ликующим смыслом. Избыток щедро даруем округе. Бесшумный, на дни протяженный рябиновый взрыв, эпицентр рябиновой вселенной. Взрыв стынет накануне взрыва, и нет ничего неопаснее затяжного этого дления.

У мира сегодня большой слишком риск стать безвозвратно рябиновым. Смысл его пошатнулся блаженно. Прежняя явь висит на волоске, и явно не хватает для поддержки ее одного-единственного честного слова. Что-то очевидно же сбрендило, смутилось кругом, в радостном ошеломлении кинулось из себя вон и – в долгожданный выплеск, и есть хорошее подозрение, что отныне этот засентябрившийся мир будет существовать лишь в рябиновой, вечнорябиновой ипостаси... Вот уж от всей унеженной сентябрьски души оранжево порябинуем!

Но нет, в неуловимый какой-то миг что-то в здешности все-таки выправилось, отшатнулось, уже черпанув краем изрядно рябиновой сути, и через силу осталось собой, извечным, – с обиженным выражением: зачем не пустили в рябины? Но люди-то, поглядите, люди сплошь стали рябиновы, этого не станешь ведь отрицать! Не удержались, милые, соблазнились... О, как они рябиново изменились в лице! Сколько оранжевости, листвяной узорчатости переметнулось в их чуть растерявшиеся взгляды, которые так потаенно и одиноко отдалились вглубь глаз, что есть реальная опасность – не отдалились бы они, пользуясь тем убеганьем извне, заодно и от самих людей: грань легко перескочить. И теперь не понять, на чем держится длящаяся суть их осеннего взгляда. Неужели опять на честном лишь слове? Ведь несомненно же это милое дленье, исходящее ясно из глаз... Как оно ярко наличествует, ярко знача и нас!

Рябиновые вездесущие руины легко нас врастили в себя – как будто мы и всегда там были, но по небреженью долго отсутствовали. И не разобрать смутившейся сутью своей, где ты, а где ломящаяся нежно в сознание напасть рябиновых ягод. Я вот совершенно точно не знаю, где сегодня рябина, где я, неуследимо ставший пропавше бывшим. Наступит ли когда ужасное разъединение? Не верю, не хочу. Отказываюсь быть человеком, лишенным рябиновых вмешательств и привнесений! Не желаю быть одним лишь человеком все да человеком, притом сплошняком мясным и с претензиями!

С тем и пребываю ввек рябиновым. (В свое время и Марина Ивановна таким же образом появилась на свет: кисть рябины зажглась, а она в ответ не удержалась и – родилась.) Пишите по адресу: всем неверкинским рябинам, встреченным и пропавшим в нас 2 сентября 2003 года, в день, когда многие из нас вышли из дому и не вернулись обратно, в призрачный день, явившийся в полном совершенстве, свершении дня. Бескрайне щедрая громада тепла и сияния, ища, кого бы объять да присвоить, еще продолжает скитаться в том дне, несмотря на то что он уцелел лишь на донышке памяти, бредущей невесть куда и к кому, сладко болящем неизвестно по ком, – это столь явственно ощутимо, как и ощутим кто-то безмерно тот дальний, уже различимо родной... Зачем так сегодня всё в счастливом разброде?

И ясно, и неотменимо чувство: именно такой-то разброд и приведет туда, куда и следует всегда и всех приводить, и мы в редкостный, почти несбыточный раз окажемся в нужное время в нужном месте своего обычно излишнего в других случаях, временах и местах существования.

Купил крохотулечную (может, игрушечная подсунулась?), с виду умную и очаровательно уютную, как грибок-боровичок, настольную лампу, которую прочу в сообщницы по вечернему свету. За последние пять месяцев это единственное мое порядочное приобретение; в руки и голову шли одни пустяки либо мощная бестолочь, которая непререкаемо мне назначала распоследнюю цену.

Вспомню о лампе, как она дома без меня постаивает – и улыбаюсь внутренне, такой уют вечерний, такое рассеиванье сумерек она заведомо распространяет во мне.

Давно не радовался на вещь. Отвык видеть в вещах ценность. Люди своей неуемной и неумной тягой к вещам опошлили чистую, беспорочную их ценность. Отвратили от действительно хорошего в них, замечательного. А вещи ведь умницы. Замечательные умницы. Иной раз с образованным человеком так не поговоришь, как с иной из них, проницательной щебетуньей.

Впрочем (открою страшную тайну), моя миловидная лампа и не вещь вовсе, но будущая моя спутница, соглядатаица поздних часов завечерних, – а таких любезниц я очень люблю и вожу с ними теплую полуночную компанию, обожаю богато тратить на них честно заработанное на другом конце существования время, засыпать их красивыми безделушками.

Лампа тиха, застенчива и немногословна, повадками несуетлива. Из далей своих слегка улыбается, даже отчасти джокондово, когда пристально – вся внимание – в тебя вслушивается и вдумывается средь расточающейся вокруг непритворности. И улыбка проникнута нетягостной мягкою тайною. Весьма приязненная особа! И вам порекомендовал бы подобную конфидентку, приятельницу лишенной подруг души.

Такую спутницу искал я многие годы, обильно блуждая средь улиц темных, усеянных особями противоположного пола, так что по темноте натыкался чаще всего на легкое и неупорядоченное поведение.

Но лишь сегодня, в бросовый день межсезонья, удача улыбнулась мне неподдельной улыбкой, какую я давно искал среди мира, постоянно теряя что-то другое, умудрившись заблудиться между утрат, незаметно переходящих в невосполнимые потери; с ориентированием на местности у меня с детства плохо, завсегдатайское со мной дело – не туда попасть. Но эта лампа обязательно меня приведет куда нужно. Заранее тут я лишен последних сомнений и ярко так, празднично не сомневаюсь, выпущенный из неволи разбродов своих на свободу. Вечером пойду за стол на первое в жизни свиданье. Давно ведь пора обзавестись первым свиданьем, сколько можно без него шататься? Порядочные люди так не поступают, а тем более – не живут. Они первых свиданий прибирают к рукам обычно сразу на три жизни, приватизируют, переводят в недвижимость, кладут их на сберкнижку – но это в худшем уже случае, потому что инфляция может эти свидания взять и сожрать, оставив на вкладах влюбленные одни воздыхания.

Боже мой, какая бессмертная графомания выходила из-под его размашистого пера! И не понять, чем же она бессмертна. Пока понимаешь, обязательно со скуки умрешь.

Этот человек долго искал себя, до чрезвычайности целенаправленно. И таки нашел свою восхитительную пустоту, обрел наконец искомое. Награда ждала своего героя.

Упорный был. Не как некоторые. Пустозвоны которые и мудотрески. Не будем с негативным знаком тут забывать и про щелкоперишков, порхающих без ума со строчки на строчку, делая вид, будто бабочки. А приглядеться получше – с намозоленными задами, рассерженно елозящими. На себя бы сначала сердились и на себя бы елозили. Сами виноваты. У павианов зады и то привлекательнее. И в цвете.

Я сегодня вел пышную жизнь антиобщественного элемента. И что из этого вышло? – Сплошная личная жизнь!

Почаще надо быть антиобщественным элементом, почаще.

А то совсем уже никакой личной жизни не стало.

Легче преступника поймать, чем нашего блуждающего, ровно тело небесное, участкового.

Наш участковый преступен в злостной своей непоимке, по-моему, умышленной и по групповому сговору. Отмежевавшись от страха, приступим к расследованью вплотную: кто подельники? Методом исключения отрекаюсь сразу: не я. Тут я совсем ни при чем. Меня здесь так же давным-давно не было, ничуточки не просверкивало, а участкового тыщу лет для наглядной даже коллекции иль агитации не видывал, нигде в темном месте глазком не прихватывал. Об этом немедленно заявляю, во избежание ложной моей и во всех отношеньях пустой поимки. Ну их, законников этих законопослушных. Еще ухайдакают мимоходом или как-нибудь между делом. Потом ройся в поисках себя на ровном и откровенно мокром же месте. Моя брезгливость тоже имеет предел копаться во всяких утративших лики отбросах.

Мешкотный ты стал, В. Володин, и какой-то совсем трехсосновый. В трех словах два часа без руля блуждаешь, о ветрилах и позабыл, что это такое. Двигайся давай пошустрее, а то мигом из персонажей уволю, чем и где пиарить и брендить себя будешь? Вот и именно что – ничем и нигде. Так что поворачивайся немножко, нынче ой как крутиться надо, чтобы жизни заполучить прилично. Грешники в аду на сковородках вряд ли так крутятся – они свое на Земле отвертелись. Уволю я тебя, В. Володин, бессердечно уволю, вольнонаемный ты наш. Пора тебя разжаловать и выводить на чистую воду в люди, для разоблаченья как бы концертно и по заявкам воспевающей твоей сущности. Иначе обязательно ты доблуждаешься до какого-нибудь еще себя, от которого песен не запоешь, не запляшешь, огоньку не прикуришь, а только рукавом горько утрешься в порыве долго искавшего нас самораскаяния. О, блин, опять он нашелся! Как же трепетно, как терпеливо тебя мы не ждали, сукин сын!

В России родители находятся в вечном рабстве у своих детей. Я было поднял восстание, но был немедленно растоптан молодыми отвагами и ватагами. Силы слишком неравны, да и расклад с резоном пошли нынче не те. По гроб жизни пребываю отцом, стертым с лица земли.

Больше уж и не помышляю подбивать себя на бунт или самое малое, невинностью одной дышущее поколенческое озорство.

Повиси теперь сколько хочется вдоль дорог. Может, хоть чуть-чуть успокоишься, Спартак хренов.

Изо всех сил сдерживаясь, чтоб не напустить лишнего духу, он создавал в основном слабоинтеллектуальный продукт. Боялся опоить недоразвитое население. На том и возрос пышно. Его шинки теперь можно найти в любом уважающем себя книготоргующем магазине.

Ну и чего добились? Катастрофического падения качества человека, добротности личности. Казалось – свобода. Казалось – мы ликующе обретаем. А все и затевалось-то ради бесчеловечного обогащения нескольких сот насекомых. За счет убийства, тотального стирания всех остальных личностей (самих основ, самой идеи личности), попавших в сферу повального обнищания.

Ох, не в ту сторону мы освободились... Ну, поосвобождаем вас сейчас дальше, если у вас имеются возражения.

Вместо мозгов у него была крутая машинища, мерс в натуре, мне кажется. Ею он думал по улицам и по людям. Три трупа мысли обычно за день. И с головы ему все сходило. Все брала на себя его машина. Очень уж умная, сука, была, на интеллект натасканная.

Харизматическая была морда, в общем и целом эксклюзивная, если, конечно, не сказать что-то еще более дурацкое. Да где ж найдешь более идиотичное – оно ведь тоже редкость свою имеет?

Мы пытались набросать типичный портрет дебила. Теперь вы видите, что из этого может выйти и как после этого можно себя не найти.

Чистокровная мерзавица с загривком мясника многих филейных лет. Между прочим – немаловажный тип довольно распространенной в бытовом пользовании женщины. Или некоего утяжеленного сооружения, под женщину упорно косящего. Вот бы попасть в ее оборот и посмотреть, что из меня бы в итогах вышло, что могло бы во всем развитии мерзости получиться... Впрочем, что-то я размечтался непозволительною мечтой, хищно лапающей все подряд грезой. Заткни пасть своим оболь-

щеньям, мудила. Затыкаю. Хры-хры. О нет, больше бы я не хотел побывать в шкуре той с обратным знаком чрезвычайно миленькой женщины, проникновенной до мозга костей! Теперь я все про себя в ее объятиях знаю, не успев даже их досягнуть. А если бы досягнул, наверняка бы узнал про себя и то, чего знать нельзя ни при каких обстоятельствах, – это скорее всего божья уже заповеданность.

О том, что мне было невыносимо трудно, я всегда узнаю почему-то последним. Где тут прикажете лицезреть справедливость? А вдруг я хотел в безотчетных ощущениях перенести невыносимую тяжесть? Добровольный перенос умозрительных тяжестей у нас законом пока не преследуется. Он, напротив, приветствуем и одобряем, во многих конторах денежно поощрим. Есть куда деть дурную силу и мощное отсутствие интеллекта, не все же валить прямиком на улицы, и без того переполненные не интересующимся ничем мусором и заинтересованным в нас, редкостно любознательным бандитизмом, который в нашем продвижении заметные сделал успехи.

Как бы не обневеркиниться мне. Боюсь незаметности превращений. Боюсь незаметности, в которую ежедневно превратиться рискую без малого семь безвидных на дальний погляд лет.

Мне-то что, мне не страшно, я ведь могу и неприметным, и безличным существовать в России. Не привыкать. А вы и на виду в ней быть не умеете. Только зря известны.

Моя безысходная ситуация – когда родину теряешь внутри родины. И тоска по родине (давно разоблаченная морока?) – на моей отсутствующей, выродившейся родине, прекратившей свое существование; изъявшись из моих избеднившихся, тошными годами намороченных, давно уж не потрясенных чувств, она ускользнула и из этих оравнодушенных мест, отказавшихся с моим возвратом сюда чувствовать себя родными и прошлыми. Средь скудных теней родины я даже призраком ощущаю себя безродным. Призрак низших ступеней развития, сомнительных степеней призрачности. Скорее всего, троюродный племянник чьей-то неустановленного происхождения тени. На бОльшую близость претендовать – ничего в себе ни на вспышечку крови и ни на призрак бескровный что-то никак не имею.

Я пригласил бы тебя в гости, но там, где я ныне живу, отыщется мало моего пространства, такого оскудненного, с такими невероятными усилиями отобранного у всякой чуши, и если ты приедешь, мне нечем тебя одарить просторно, тебе негде будет жить мною, быть свободным мною, стать хоть на малую скудость моим пространством. Даже шагать тебе тут придется чуждо, моя отреченная от меня, слишком для нас обоих чуждо, я не узнаю твою походку, разве это не катастрофа?

В этой безумно узкой, всякое желание надгробно придавившей местности нечем тебя мне встретить – у меня не всегда бывают свои объятья, а если бывают, я ими не распоряжаюсь, им совсем не принадлежу. Нечего и говорить о днях, улицах, деревьях, домах, нечего говорить о небе и как бы личных моих знакомых – это все наотрез не мое, я имею лишь право на беглое и вороватое прикосновение. Мы ведь рискуем не найти здесь и дня, в котором смогли бы с тобой быть вместе.

Поэтому я всячески избегаю, чтобы ты не приехала, что называется, в гости. Ты ведь не будешь знать, во что ты едешь сюда, вроде бы едучи ко мне в что называется гости. Лучше тебе хотя б на малую вечность от нас двоих, разлученных приездом твоим, по возможности воздержаться.

Мы изъяты из оборота взаимного бытия, наша встреча давно мертва. Что же нам встречаться здесь мертвыми? Только этого не хватало – чтобы друг друга мы не узнали! Лучше нам пересечься на нейтральной территории, где нас не знает никто и где мы себя не знаем. У нас есть только посторонний шанс вчуже вжиться друг в друга покрепче. Мы встретимся нигде, а возможно, и никогда, чтоб была хоть какая-то надежда не потерять друг дружку в первые же мгновения взгляда. Лишь так нам теперь можно сблизиться, на крохотку призрачную природниться.

Если б знать мне, куда и к кому тебя ждать... К кому из тех, кто по случайности является мною? Итак, до ближайшей невстречи, неизменно моя дорогая? Я целую тебя со всей любвеобильностью, на какую способна возможность длящегося сквозь вечность непоцелуя. Не пока! Конечно же не пока, так далеко в моем сердце отсутствующая – только так, именно так явственно ты ко мне все ближе! В обратных мирах друг до дружечки нам рукой подать, душа в душу ничего не стоит пойти, за любимые глаза посмотреть ясным-ясно и дальным-дально, там все обычно становится намного лучше, чем быть просто рядом, жить в одном доме, глядеть в преданные родные глаза, в даль их бездонную, светлую.

Только ты не исчезай – будь уж издали так добра, – не то будет совсем худо, много хуже, чем худо...

Мне сегодня вдруг отчего-то исполнилось 47 лет... Нате вот вам! Стукнуло.

Впрочем, нет, отдайте поскорее обратно. Я ужасно ошибся отдачей. Опять обманулся и наврал собственным обманом, в роскошных палатах заблуждения себя обнаружил, перепутав в сердце ландыши вспыхнувших сил с именинами сердца. Что вообще-то должно в правовом государстве сурово караться и порицаться гражданским обществом, если таковое в отдельных местах заимеется. Так как принцип отдельности мух и котлет должен на всех территориях и других протяжениях неукоснительно соблюдаться. Ландыши отдельно, а именины – в другую сторону! Возможен более жесткий сценарий исключенья ландышей из сердца, но не менее допустима и процедура обратных правовых изгнаний: сердцам в ландышах тоже не самое подходящее место, есть места складирования поблагонадежней. Поэтому желательнее всего не допускать дело до такой запутанной немыслимо ситуации, а то в самих законах, примененных в пределах необходимой обороны для предотвращения размывания жизни, сам черт моментально ногу свою суетливую сломит, и шею, и хвост, одни праздношатающиеся копыта с толком пойдут на холодец и более мелкие блюда, что крайне неэкономично и в лихой убыток затратно – при откорме скотин так не делают.

Две недели, дурачина цифробежная, себе одним махом приврал, две недели с прелестным избытком еще до настоящего твоего, а не взбалмошного дня рождения! Уймись же заранее поздравлять себя с какого-то переполоху или с каких-то невидимых миру слез, причем велеречивым способом биенья в тресков уж и без тебя полную грудь – не добивай ее, она тебе еще пригодится. Уймись, курилка чесоточно-юбилейная! Не то вынуждены будем применить укрощающие и некоторые окорачивающие меры, вводить в актуальный актив спецсредства, среди коих особым уважением пользуются наручники и элегантно продолговатые резиновые изделия. В конце-то концов! От этих с помпой ожидаемых чувств на две недели раньше подташнивать начинает. А это уже немаловажно. Это почти уже как ночь спустя после дня рождения, так что нечего с тем заранее тяжким, практически невыносимым днем личных сбываний и связываться. Один оголтелый, давящий песняка негатив из него прет недуром. А негативом давно мы сыты. Просим, настоятельно молим: включите, пожалуйста, немедленно солнце. Хочу обнародовать для него горстку немеркнущих слов, чтобы все явное стало наконец тайным.

Мне сегодня, между прочим, исполнилось 47 круглых, сравнительно справненьких, как поросята, лет. Не хухры ведь мухры, однако.

Ну-с, какие чувства испытываем, блин горелый – сорокасемисрочник? До небес случайно не готов подпрыгнуть? Вознестись, так сказать? До уровня хотя бы нижайших по световым годам звезд.

Увы мне и увы. Никаких чувств что-то нет вообще, даже завалященького постного ощущеньица. Как-то вот не проскакивает, не наблюдается, и все тут, хоть вы меня заживо режьте. Словно ничего я и не рождался, а так, поболтался где-то легкомысленно, спрохвала, да и стихло все тотчас, и погасло, прежде времени изгорев, не испустив даже вздоха напрасного. И все событие во всей собачьей его прекрасности. Давайте-ка спать, граждане отдыхающие, уж если кто сегодня и рождался, то явно не я. На меня рождение нынче не похоже и на оного не распространяется. Нет вещей друг с другом более разных, чем я и рождение! Если оно когда-нибудь до меня вообще имело касательство и хоть краешком на упомянутого перекидывалось... Здесь множество сомнений указывает в сторону утверждений обратных: не было его, так называемого В. Володина, он врет своей жизнью, которой как раз-то в первую очередь и не бывало! Тогда кто говорит столь болтливо из этого легкого и стремительного небытия? Передавать дело в следственные органы или самим опять в дрызгах, дрязгах тех разбираться? Только и остается здесь потяжелее вздохнуть для более весомой своей наличности, прямо на моих глазах сейчас кем-то, мною с песней свиста торгующим, тела на два иль на три нагло обвешенной. Приходите покупать меня. Исполненный очей, полный утонченного самосозерцания лоток со мной развесным и поштучным завсегда торчит в студгородке на улице Шехурдина, рядом с оживленным в любое время автобазаром. Доходят до меня утешающие слухи: дело твердо на моей распродаже поставлено. Не зря, выходит, я жизнь свою убивал на полезное дело.

– Мне, видно, никогда, никогда в жизни не исполнится 47 лет, – убито, но довольно вслух сказал я кому-то себе (который, будучи откровенным неизвестно кем, изо всех сил трепетал составить мне

потеплее компанию) в день прямого своего, уже неотвиливаемого дня рождения. – С меня достаточно меня достало! Недоисполнившимся и недородившимся быть – обрыдло до последних чертиков! Сколько можно жить одно и то же, при этом как раз в точности ничего и не живя, в бестолочь праха истолчив под собой полшажка бытия?! Я практически смертельно устал от ложных встречаний и провожаний, так что вовсю уже не понять, где прощаешься, а где рассыпаешь простерты объятия. Все, кончено. На моем дне рождения вы меня не увидите! И в дне моего рождения вам не узреть дня рождения! Там, конечно, окажется дно, да не то... На дне рождения будет так много моего бесконечного дна, и с острыми приправами, и морское дно в сыром виде, и анчоусами поданного, на любой замысловатый и привередливый вкус. Не прогадаете, посетив мое редкоземельное дно. Неотразимой памяти на всю жизнь достанется. Как в первый раз хорошо и свежо будет ею пугаться, когда всякие страхи вас отчего-то покинут, беспечно оставят в кромешной безбоязности.

Что-то, мягко говоря, да жестко на сказанное падать приходится, заклинило меня на дне рождения, днем рожденья застопорило и в идеальном плане совсем раскорячило. Какой-то психоватый невроз сделался со мною из-за этого дурацкого рождения. Так переполошился, будто весть получил, что отродясь никогда уж и не рождался. Или будто бы это самое бесценное рождение увели у него из-под самого поздно очухавшегося носа. (Скорость в тексте вдруг самопроизвольно переключилась с первого лица сразу на третье, автор, легко подверженный смерти автора, видимо, выронился и потерялся в ухабах иль дюнах, смысл, точно всадник без головы, самостоятельно полетел стремглав с пятое на десятое, свеженького безумьица неробкий посланник; по сторонам всполошенно мелькало и заодно вечерело и замолаживало, чтоб не терять времени даром; кого-то из оставшихся нас понесло, как необъезженную лошадь в чисто поле; не разбиться бы, мечтательно думали кто-то мы, сидя меж тем не в своих санях предовольно, даже с блеском разрастающегося вместе с закатом комфорта.) Да и неприкрыто видно: почти криминальный интерес он испытывает к собственному в высшей степени подозрительному явленью на свет или куда-то еще, потом разберемся, когда надо будет. Вон как его разобрало этим нестерпимым и, по всей видимости, неукротимым, пока не окоротить, рожденьицем! До чего же любят некоторые лишний раз порождаться за наш с вами, налогоплательщики, счет! Просто меры никакой не знают своим бессчетным прибыткам, без царя в голове умножающим сущности, нагло утучняющим наши виденья, и без того дико отягощенные многим другим! Не удержишь его даже в рамках приличия, которые легко уймут и стреножат любого. По всякому движению видно – паразит зарвался. Только и смотрит, где б кровушки нашей литр левый глотнуть. Вот чем бы другим его расшевеливало, так ведь нет, другим не больно-то его нашевелишь, хоть кол откровенный на голове теши! Не явилось на свет еще такого другого, чтобы раззадорить в нем подобные всплески и стенанья эмоций. А тут, можно сказать, на пустом месте застенал, извопился весь до невозможности, в пух и прах разрождался, так что не одному ему совершенно ни с чего тошно стало. И с поздравленческими чувствами, бодрячок бодрячком, прямо безудержно, внаглую замолодцевал, как бы парадно гарцуя! Ни укорота, ни управы нет на него, зачем так открыто дружить с беспределом? Где это видано – встречать день рождения путем нагло назначенных поздравлений, изготовленных самопально, причем нескрываемо культличностного образца?! Вместо добрых фейерверков пальба в белый свет как в копеечку, из личного страха собственноручно смастряченных пугачей. Да и самозахватов и самоназначений хватает в пренеприятном избытке. И другим нехорошим попахивает, вместо того чтобы деликатно, сдержанно интеллигентно благоухать честным и сытным застольем. К тому же никакого дня рождения, собственно, нигде поблизости что-то не наблюдается, так, лишь неразборчивое нечто помелькивает то там, то здесь смутно, но вот переполох очень даже хорошо наблюдается, а темненькая возня давно идет прямым текстом. Прячьтесь поскорее кто может! Как непредсказуемо, как непересказуемо то с поздравленьем идущее, блеща вторжением, войско!

О Господи, даже самому мне больше всех страшно. Час от часу всех тяжелей мне не легче! А будешь вот знать, как стращать людей допотопным методом дня рожденья! Что ж, попробуем теперь, для возвеселенья страстей, идти от обратного, взяв за точку отсчета отнюдь не близкий конец существования. Пока до него доберешься для установки измерительных приборов и дальнозорких треног, иных проницающих оборудований, – в три шкуры умаешься, в десять ботинок истопчешься, в две среднерусских довольно-таки полноводных реки слезами сольешься, плодовитой соплей изойдешь и

прочих мокрот выше крыш напускаешься. Немало погадишь и натоскуешь наших равнин и прекрасных их видов сточными водами бесценного своего существования. Что и требовалось доказать: лучше бы тебя тут как следует не было!

24 сентября

***

Все ближе и неотвратимей роковая дата – годовщина моей гибели путем рождения. Она грянет, быть может, завтра. Готов ли ты, во всеоружии ли? Если говорить хоть немножко с совестью и не быть до конца бессовестным, то следует сказать: нет, напротив, ужасаюсь и исподлица трепещу, внутренними слезами невольно взмокаю. Накануне дня рождения предчувствую в себе тьму ехидствующих и жидовствующих, словно ереси, нерождений. В чем-то уж очень хорошо родился, прямо лишнее, не мешало бы поубавить, а в чем-то и вообще, надо сказать, даже близко не рождался. Огромная тут проблема: быть частично рожденным, а также чересчур перерожденным в том, с чем бы порядочному человеку к рождению и подступать в трезвом уме да твердой памяти не надобно никогда, запрятав куда подальше некоторый изначально данный ему бредок явленья на свет.

Вот и получился я весь в перемежающуюся, наглядно порочащую меня клеточку, весь из чересполосиц кое-как собран, сляпан: жизнь чередуется во мне со смертью насущной весьма неравномерно, и не понять-разобрать закономерности этих сочетаний, этих от меня потаенных согласований жизни со смертью: они явно в удобном им сговоре, жертвой которого я вынужден выступать постоянно, хочешь ты этого или всеми воплями протестуешь, брошенный во взаимную их бездну как в океан щепка. Никто тебя и спрашивать не будет, очень ты с ответами нужен! Бодро являйся день изо дня, и все дела твои барабанные, китайский болванчик (который, разумеется, средневолжского пошиба... ну и разлива, этого тоже ведь не отнимешь да и не скроешь, жгучей тайной не сделаешь). Лишние вопросы здесь неуместны и непоощримы. Посему (дабы не смущать нескромно собою такую крупную вещь как небытие в его двуединстве с жизнью) вляпаем тут от греха подальше и для отвода глаз точку, которая прикинется сразу тупой, как бы умственно отсталой с рожденья, взятки с нее гладки. Вот, полюбуйтесь, как умалишенно и голо она смотрит: . Всем гляделкам она, внезапно между тем получается, наичестнейшая гляделка! Смотри, смотри, точечка, так и далее, может, высмотришь для меня что-то умное, с чем не страшно пойти в жизнь то ль грядущую, то ль, как водится, в очередную, – а это все равно что сходить за первый попавшийся угол, где обязательно сидит разливающий спиртосодержащую жидкость и очень на эти мгновения доблестный, блещущий нескрываемой человечностью бомж. «И ты здесь, Вася!» – он ласково скажет, щурясь от чрезмерно посетивших и слепящих лучов человечности, неудержительно исходящих из играющих прытким солнцем глаз его. «И я», – неудержимо скромно и в лад человечным его прищурам ответишь, солнечно прытко лучась и светясь. «Ну проходи, раз пришел, – в ответ на ответ он ответит. – Будь как дома. Но не забывай, что в гостях».

***

Во мне угасла какая-то единица; зато укрупнился и засиял во всю обворожительную мощь совершеннейший нуль.

Приятно, доложу я вам, ощущать в себе что-то имеющееся, идеально круглое и завершенное, полное этой гармоничной, нерасточаемо истекающей круглизной и чистейшим из всех видов чистоты отсутствием. Мести меня ни внутри и ниоткуда с внешних должностей теперь уж точно не надо. Всякую пылинку нуль аккуратно в себя вберет, бережно облюбует (очень нуль мой практичен). Возвратит нежащимся сиянием. Меж досугами полюбуйтесь сегодня на заход солнца, полукосмическое обещает предстать перед вами явление: это не закат будет, а я под вечер пылью любвеобильной исходить буду, сиятельным торжеством драгоценного моего, любимого всей душою нуля.

***

Осень в разгаре. Как окрестность пылаю.

Не спалить бы сентябрь.

Каждая искорка чувства несет опасность больших воспламенений.

Любовь из последних сил в себе прячу. Боюсь притронуться к пожароопасному миру. Не дышу, не

смотрю, не касаюсь – пусть побудет сколь можно долго все целым.

Зажжешь сентябреющую окрестность от какой-нибудь невзрачной соринки огней личных и что дальше делать будешь? Изложи порядок действий при тушении пожара и необходимые меры предотвращения распространенья. Вы меня простите, но я при порядке действий постоянно теряюсь, а меры предотвращенья меня сразу самого пресекают. Лучше открою вам одну престрашную тайну, возможно, это чему-нибудь или хотя бы одному-разъединственному человеку прекрасно поможет: я ведь до сих пор не в ладах с огнетушителем, на вы с ним, лишь в умозреньях далеких им с проворством большим и технически верно владею, валя навзничь в душе потерявшие сознанье пожары. Эх, а еще, елки-моталки, охранник, набирают в наши ряды всяких! За одно невладение огнетушителями попереть бы тебя изо всех охран кряду, где тебе, сбоку-припека, тепло. Вообще-то тут нужны более повальные меры изгнаний. Скорее всего, вплоть до роспуска института вахтерства, растворенного в крови, пусть это и будет вводом в стране чрезвычайного положения, так как вахтеры обычно на меньшее не согласны. И оставит упраздненное вахтерство взамен себя не зияние пошлое, каким удивить кого бы то ни было трудно, но облавы, час родной комендантский, пустые прилавки и конечно ж скволженье павшего в словах смертью храбрых парламента. Чего-чего, а это вахтеры умеют. Дело свое они вызывающе хорошо знают, не дремлют. Обязательно уж доведут парламент до смертью храбрых, иначе нельзя. Не поймут. Поберегайтесь вахтеров, в каждом из них сидит недовылупленный президент, который может оказаться материлизовавшимся ни с того ни с сего будущим, внезапно свалившимся на голову или севшим на полную наивности вашу шею, отныне достойную одних крепко к ней примененных деяний, то есть со стороны государства и в изящном его исполнении милых вполне действий взашей. Здесь речь идет уже не о неотвратимости наказания, а о непрерывности возмездия вообще: возмездие становится воздухом, которым мы с благодарностью вынуждены учтиво и законопослушно дышать.

***

Что-то будет скоро, это уж точно. Точнее ничего не бывает.

Правда, я не знаю, чтО оно и чем будет, какое переливчатое, славно мерцающее обретет имя.

Но ощущение скорого пришествия чего-то – неизбывно, подлинно и очень реально. А значит, оно, неведомое, еще лишенное всякого лика, непременно настанет и изничтожит скопившуюся грязь межвременья, прозрачными и небывалыми сделает несбывшегося заторные груды и грязи.

Пора, ужасно пора сходить с моей жизнью в химчистку. Слишком много бросающихся в глаза пятен, и мерзких, и застарелых, и всяких неизвестного же совершенно происхождения. Неприлично выходить на разборчивую в мнениях и глазастую улицу, одевшись в такую по виду кухонную жизнищу. (На этом фартуке следы котлетно-кровавых разборок, килечно-томатных фортун и ливерного какого-то моего не то беспредела, то ли прямиком счастья. От картофельного пюре – наркотика русского – я даже незримо чумазый и на вечность впрок обалделый.) Уж каждый уличный глаз останавливает в холодном недоумении, мгновенно леденя кровь взгляда, ее неопрятное и, в силу данной одежды, бездарное шествие.

Жизни моей бы, конечно, побольше пристало нескромных, с веяньем времени платьев, да где ж напастись на нее столько бездн и вздору такого, когда я и сам только вздор бездноватый и голый, только вздох лишний да лишний выдох, который подевать куда – то и знай не знаешь.

***

Как водится, стояла в округе тихая звездная ночь. Она хорошо, крепко стояла, добротных укоренений полна. Ее безвидные ноги отдавали чем-то резвым, упругим и не совсем чтобы уж земным.

Все мои желания были, естественно, на стреме, ну а я сам, ясно дело, неизвестно где был, побывовывал, явно занимаясь чем-то вызывающе нехорошим, скорее всего преступным или к нему очень близко, в непосредственном с ним соприкосновении.

Боже! да это я сидел за письменным столом молчальным, измочаленным немотой поздневечерней, за столом, к глубокой ночи наконец-то развеселевшим и разлепетавшимся всласть не с одним мною, но и с милыми, обворожительными моими химерушками-зверушками, которые любят поскучать или щебетнуть ни о чем близ меня далеко заполночь, взахлеб судача о чем-то своем нездешнем, покуда я отправляюсь куда-то, сам себе несказанно рад, побыть не самим собой, бог весть кем потерянным, бог весть кем не обретенным. Не самим собой, отчего-то более точным и полным и ярким, чем я сам,

на удивление бледнореальный и скудомыслый. Виды мои до крайности малокровны, если не сказать – исчезающи и прямо пропащи. Все поселки мои малообитаемы и безлюдны. Грустно-грустно они выглядывают из застенчиво взгляд потупившего небытия, а может, еще откуда, где им суждено не быть. Но ведь выглядывают зачем-то, для чего-то им это надо. Если эти самые умозрительные поселки хоть слегка зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, и не одним только пожарам! (Впрочем, порочная логика успеха нас далеко завести может.) Вот, поздоровайтесь с ними по возможности более людно, с сердечным размахом (их безлюдье ведь тоже утешить надо, оно участия просит) и заодно им покойной ночи скажите – они любят в ночь уходить провоженными и прощенными до последней своей тропинки, до самого конченого и пройденного навсегда проселка, который до того хитрить наловчился, что перехитрил давным-давно себя самого: прежде времени ты, друг, кончился! еще не все потеряно. Теперь пребывает он в полной растерянности. Только луна что-нибудь соберет, побалует глаза новеньким, скудно бывалым... Что б мы делали без луны, в каких тупиках прогресса всякую ночь себя находили бы? – Ужасно представить. Глаза от всего закрываю. Исчезать с прежней скоростью продолжаю. Прошу освободить проезжую часть дороги, во избежание лишнего и непоправимого. Могу ведь краешком габаритного моего исчезновения проехаться по чему-нибудь ненароком, потом ни бед, ни радостей не оберешься, непоправимые одни пойдут всюду прибытки.

***

В темноте я вдруг струсил себя, до крайности неизвестного и непредсказуемого, обычно владеющего фактором внезапности. От него всего ожидать можно! Лучше быстрей, пока не поздно, избежать себя. Немедленно домой! Дом сделает меня яснее. Дом сотворит меня неопасным и нечужеродным себе. Может, хоть в доме моем я приду наконец-то в себя, вне опасности быть собой подничтоженным.

Только и осталось теперь бояться – себя любимого, очень темнеющего временами и неотлучно готового напасть на меня из-за ближайшего личного угла (из углов я вынужден сплошь состоять, для эстетики выживанья и прелести острых мгновений). Он столь мгновенен, что вряд ли успеешь посторониться. Тут, пожалуй, и собственную смерть проворонить недолго, раз так он молниеносен. Как быть? Как прикажете существовать мне с таким вероломным собою? А отказаться от этого обожающего всякое дно подонка и сдать его для дальнейшей социализации в места не столь отдаленные нежные наши законы не позволяют, капризничают, артачатся. Тут же хныкать, ныть во мне и канителиться начинают, уймы влекут нанятых адвокатов. Дескать, ты получше давай его умягчай и перевоспитывай, находи к нему гуманистические подходы, нельзя так людьми разбрасываться.

Вот еще незадача – возиться с собой, ждать от себя в виде сюрпризов всяких нападок! Как будто других забот у меня мало или русских бед в дефиците стало! Но вот изволь возись, отложив в сторонку иные дела, трепещи пред собой, микроожидай всякого бякова, иначе час не ровен... На одних любвеобильных ухабах его расшибешься, несмотря на намозоленный писательством прочный, как крепость, зад. Тут никакой уже зад тебе не помощник, не выручатель, не поручитель, не попечитель да, похоже, и не попутчик. Так и превратился мой зад с обиды непереносимой на меня в обыкновенную говядину. С тех пор стал я угрюмым и нелюдимым отказником собственного зада. Даже бытовым сиденьем посидеть сделалось не на чем. Теперь обычно сижу лежа (очень, между прочим, удобно да и от расслабухи кроватной приятно, как-то в лучшее все позывает) и будто вовсе не ем, а творю на коленях щи- иль кашеподобную молитву. Во всяком положении есть выгоды, исключительно во всяком, отчаиваться поэтому не надо, это только у страха глаза велики. Но вот сколько весит этот зад, моя шея, в отличие от шеи висельника Вийона, к сожалению, никогда, никогда не узнает. Это привносит в меня повторное дурное настроение и другие его рецидивы, которые я все равно истреблю спешным привлечением повышенных перед собой встречных обязательств быть всегда ровным, стремиться из себя представлять нечто не ниже плинтуса – явления яркого, самобытного. Всякому бы хотелось плинтусом быть, да не всем это дано.

***

Стояла смущенная напротив в одних беспомощных трусиках, и жадно глядящие груди били в упор ярким телесным светом, родней которого не бывает никакого иного света, будь он хоть трижды небесен.

Уже отчетливо ощущалось, как восходит в полутьме комнаты светозарная твоя, происхождением из чуда улыбка – она с нарастанием каждой новой секунды становилась все нездешней. Как и мы перед ней. И мы.

С каждым мигом мы все исчезновеннее пропадали куда-то, счастливо терялись, но пропадали вместе, как никогда съединившись, в каком-то очевидно божественном прикосновении, и ничего лучше, чище, возвышеннее этого порывом нас охватившего исчезания не было страшно давно, почти уже никогда. Может быть, с самого рождения. Но наши рождения были порознь. Теперь мы родились наконец-то как нельзя более вместе. Но как же долго, почти всю напрасно истекшую жизнь нам надо было этого дожидаться...

А если бы наши жизни успели кончиться до нашей встречи? – Вот тогда бы и не было Бога, и не бывало. И все разговоры о Нем во все времена тотчас сделались бы пусты ужасно.

***

Какой пронзительный сентябрьский день за окном и во мне, проникающий, как божественное, начисто возвратившее к жизни ранение!

Точно маленький прекрасный Страшный суд в безмолвной моей округе изредевших и запустевших садов.

Грусть изнутри, из незримости этого дня поглядывает на меня, извопрошав меня, до частицы последней, кажется, извопросив. Что-то в ней – сентябреющей зябковато грусти – есть испытующее и неотступно, мучительно вопрошающее – но и светло ведь, светло. Что? Разгадать это значило бы разгадать этот нераскрываемый, на самом деле далеко отстоящий от нас день. В действительности он существует, длится скрытно в непостижимом каком-то для нас мире, за пределами скудеющего напрасно разума. Только с осенними днями так бывает, так происходит. Не осенние дни – сугубо земные. Они больше, чем следует, присутствуют в нас, тяжелея и зычнея земным осадком, темным следом ли, темным светом пролегая в нас мимо нас.

Сегодня побуду напоследок 46-летним. Уж как-нибудь. Завтра все начинать сначала. И даже больше, чем с начала, – с опустошенного, разрушенного места так называемого самого себя. Для того сегодня и стараюсь усердно, расчищаю под себя будущее место. (Ох, не перестараться бы, не дочиститься бы до того света... как пронзительно, взращивая на мне мурашки, поскребывает он, точно жалуясь, на донышке, на поскребышке уж самом...)

В который остервенившийся раз все сначала? А вот сколько надо будет, столько и начнешь! – как бы голос мне был как бы свыше. А вообще, черт знает, что это было... Даже в страх меня вогнало от невменяемости происходящего и довольно долго оттуда не выгоняло, держа взаперти хватающих за грудки и бьющих эмоций, превративших меня в безответный предмет истязаний, в животрепещущую пытку не очень-то натуральной моей величины.

Скоро все начала откажутся от меня, как от неисправимого неначинанца и непродвиженца. Намекнут прозрачно: сколько можно портить нас, тратить напрасно?! э нет, не хотим мы иметь с ним впредь никакого и пустячного дела, пусть уж обращается сразу к концам и матерым финалам, у него с ними как-то лучше согласуется все, выходит, они прямо созданы друг для друга, а нам надо быть неиспорченными, свеженькими на разные случаи жизни, мы еще переполнены всклень живыми стремлениями. Да уймите же кто-нибудь этого стервеца-начинателя, этого ловкого неудачника под личиной вечного первопроходца, который в действительности есть только один проходимец, в мягком случае, случайный прохожий! Не то мы, начала, всем дружным скопом начнемся, вне себя будучи от нетерпенья! Мы заполним вас катастрофой всеначинанья, вот тогда и увидите, как наступает всех начал начало и чем это обычно заканчивается!

...Грусть исподлица этого дня вопрошает так мучительно во мне безответно, претворяя меня в неприютность, если сразу не в безысходность. Так изнуряюще невыразимо всматривается она в меня из перенаселивших этот день просветленных осенних потаек, словно во мне, именно во мне неминуемо и удачно находя искомое свое во всей предельно грустной полноте и яви, во всей чистоте грусти неизреченной. Но что я на этот порыв сентября отвечу, безмолвием быть средь сентября нареченный?

Одержимый недвижностью и простором, день длительно, распростерто сияет высокой грустью, и лишь я в округе так одиноко себе враждебен (хоть все мое вражество и поувяло, слегло под янтарным солнцем). Но почему же мне так надеждно, почему будущее передо мной простерто? Отчего в свою даль я так ясен, так бескрайне протянут? В ту ли сторону направляется ныне во мне сентябрь мой? О, сегодня я не дам ему заблудиться, сквозному бродяжке! Вместе куда-нибудь в очаровательное не туда

выйдем. Пустите переночевать, скажем, мы нечаянно забродились, а утро нам опять дорогу покажет. Утро вечера мудренее? Или в данном случае и в данном месте сущая это неправда? Ах, просто наши сведенья устарели... Но это ничего, это не страшно и, может быть, еще поправимо. Вот заодно и запасы фактов легко и дешево очень пополним, а то многие из них в ветхость поизносились, много их бог весть где и растерялось. Ну-ка, фактики, быстро мне в душу, там теперь будет ваша котомка! Пора, пора вам меня обогащать, а то живу на небесных одних удовольствиях. Много ли на них протянешь, долго ль?.. Да на пару вечностей вроде должно хватить, а там посмотрим, как изживать собой жизнь дальше. А вдруг тогда уже можно будет пристрастно удариться в обыденное существование и спокойно ни о чем не чувствовать и не думать? Вот было бы здорово, хотя и мертво. Но, наверное, поправима и эта погибель. Ведь все поправимо: все проходит.

***

Покуда вырастет в жизнь, прорастет в высокие дни восьмимесячная дочка (Лизок, блаженно утопающая средь улыбок струящих в тигровых простынных полянах!), мир еще раз успеет, совершив поколенческий скачок, неузнаваемо измениться, – в это уже как-то и не верится охладевшим к переменам, влюбленным в привычки сознанием. Кажется, куда ему еще-то меняться, и так предостаточно изменен, до опасной черты претворен, приугроблен, даже Божьего лика никакой вещи уж не узнать, не внять ни в единой вещи Божьему слову; разнуздались порядком нахраписты вещицы, людьми заразившись.

Впрочем, я его и сейчас не узнаю. Словно в детстве мне был вручен один мир, а потом его тихим образом отобрали и – неуследимыми превращеньями – подсунули другой, обманно другой, на себя не похожий. Отвернувшийся, видимо, от себя в гневе или обиде.

На моей неисследимо длинной, как Сибирь, памяти мир по крайней мере трижды изменился (и нам изменил) катастрофически: пока рос я сам, пока росли старшие дочери и сам по себе, без всякого спросу и без привязки к родным моим ростам. Он сделался окончательно самовольным и почти не моим, наугад ничейным: я в нем только случайный, только ничейный прохожий, инородная соринка схлынувшего бог весть куда времени. Самая малость-скудость осталась в нем моего, да и то незначительная, разве что не мусорная малость... наверное, малее уже ничего из зримости не бывает...

Мир остался для меня окончательно ушедшим. Он не догадался позвать меня с собой; я ему ой бы как еще пригодился... А что же я? – я как-то позабыл, упустил напроситься к нему в спутники, целенаправленно замечтавшись собой – тем, кто был некогда мною.

Но хотя б из отпрянувших теней позвольте спросить: где же тогда нахожусь я – по ощущению громадный, тяготеющий в бесконечность, – если нет меня нисколечко в этом мире, так легко и просто меня утерявшем? Как этот мир может бесстыже именоваться реальным, если не может он даже вместить мои призраки? А они ведь больше бывают порой, чем самая большая, вулканизирующая реальность, и живей любого существа дела, огнедышащие, громоявленные, вулканольющиеся мои существа. Как не стыдно, реальный мир, как тебе только не стыдно?! – Но смотрит себе да немигаюче смотрит, мол, стыд – не дым, глаза не выест. Бог, дескать, не выдаст, свинья не съест. Так и отсматривается, подлец, от меня русскими народными поговорками! А где найдешь защиты крепче и лучше, чем русское всякое вооруженное добротно присловье? Вот то-то и оно. Умолкаю позорно. Конец – всему делу венец, дорогой ты наш, тише едешь – дальше будешь! Это не мною уже сказано. Далеко-далеко не мною, перстом одиноким простора, прикинувшимся ни с того ни с сего прощальной звездою, а может, соколом голым (ну, пошел опять, безудержный наш, пошел из сущности в сущность валяться, хуже пьяного! Когда-нибудь конец этому настанет?). Издали мне слабовато видать, кто там из мира в мир кувыркается. Ищу вот для зрений какой-нибудь крепко созревшей подмоги... Да рябина ж всеместная! Гроздья вспыхнувшей в осень рябины зренье мое хоть на краткий век, но спасут! Я увижу рябину ослепительно ясно! В ее наготе и обнаружишь внезапно всю прекрасную и печальную наготу своего распоследнего, почти уже запредельного зрения... как глядят, как глядятся сегодня рябины поминовеньем всесветной Марины Ивановны...

Наготой рябин смотрю в мир. К новой оптике привыкаю. А что если увижу вас насквозь, до наготы ваших самых нагих мыслей? Тогда тебя возьмут в аэропорты проницать взглядом взрывчатку. На кусок хлеба всегда наглядишь.

***

Лизок полжизни тяжести у меня убрала.

Я стал, вне двоедушных всяких сомнений, наполовину молод. Иначе бы откуда вдруг приливать незахватанно свежим, все на взлет норовящим меня припустить силам? Иные источники этих чудаковатых моих мощностей что-то не просматриваются. Они скорее исключаются, вместо того, чтобы, как порядочным, ясно и далеко, с надеждой бодрящей просматриваться; запишем это им в актив минуса, отсутствие их никоим образом их не красит.

О старческой половине, приватизированной попутно, лучше деликатно умолчим, дабы не дразнить ее понапрасну, и постараемся реже забредывать к ней в бредовые гости; младенчески лепетать с ней до взаимно пылкого отвращения надоело, пусть с ней полялякает вдосталь о костях и погоде кто-нибудь другой и пусть этим другим буду уж точно не я, собственной отсутствующей персоной.

Итак, отчего ж себя не поздравить как бы с чистого листа сердца, с девственно белой миокардной его страницы – мне сегодня по всем на два делящим и надвое сказавшим раскладам выходит всего-то 23 с половиной жидковатых, вполне немногих годочков. Я только-только успел в первый раз пожертвовать собой, отдать себя в долг еще не хищному, совсем человечно сверкающему супружеству. Всего-то шесть дней назад, 19 марта 1980. Еле-еле только на свадьбе своей громокипучей огоревал отгулять, родня в страсть пока приопохмеляется, от праздника ничуть не отстала, чересчур самонадеянно в него затянувшись, веселием шибко балуется. Теперь предстоит еще опять родить первых детей, а до Лизка дойдет чудесный черед лишь поколенье и жизнь спустя. Не все удовольствие сразу. Вперед, вперед, человек посвежевший, человек неусталый, гомо сапиенс геронтопустынный!

Я теперь, даже представить – оторопь берет, индивид с отжитою наотрез старостью, специально и молодиться не надо, кожи с животами подтягивать, юнцовыми волосы делать, лиловизной их взбодряя, и краденым из своего возраста старичком можно не быть. Вот что такое диковинное, бесподобное я из себя представляю! Такие экземпляры до изумления редко в наше время встречаются, это втайне наверняка уж святые реликты. Их нужно бы до трепетной дрожи тщательно беречь и ценить, так как они без малого – музейные раритеты, со временем только укрепляющие и умножающие прелестную во всех отношениях ценность, которой настанет свой черед, а вместе с ним и сбывшееся время моего грустящего одиноко существование напролет портвейна, который я вынужден был осиротить собой на жизнь, чтобы дотащилась она без сиротства куда тащиться ей следует и чтобы можно было потом применительно к тому, что в виде нее случилось, говорить как о жизни, а не как о собачьей подстилке, для прочих ничтожеств попинывая ее задумавшимися ногами.

Поберегись! Поберегись! – во всеуслышанье кричал мне сегодня и грузчик экзистенциальный на рынке, наезжая сзади своей аляповатой, но жизненно неугрюмой тележкой, без малого лунной. Какой тонкий и чуткий тип только с виду рыночно ко мне прикасался, интерферируя со мной резонансно! Сходу угадал мои глубоко несомые мысли: дескать, себя береги крепче! Вот где вольноотпущенный гулял профессор, для отвода глаз прикрытый лоснящейся от пустых жиров сего мира рваниной и жутким похмельем, которое лишь для пущей неважности рвало и метало вокруг косящим население взглядом! Где теперь скитается твоя утонченная до исчезновения мысль, грузоподъемный ты мой интеллектуалоноситель, тихих мыслей моих проницатель и прорицатель мутный, только для глубокого прикрытия тайны как бы конспиративно едва живой? А на деле, конечно, грузчик бывает нередко живее даже Ленина. То есть, получается, живее всех живых во второй степени, а может, уже и стадии (в хроническую запущенность перешло?), пусть Ильичу не будет это в обиду.

***

Что сегодня у меня в мажорном позитиве на разлетном моем столе, в два часа пополудни этого диковинного сентября этого захолустного года? Стихи набоковейшего из всех набоковых Набокова. Непостижимо таинственно живущая, чудотворная проза Алана Черчесова (многодневное и многолюбимое, без труда вырывающееся из легковесного духа чтение). Трепетный треп неунывающих хабалок из достославного города Полынска, с нуля отстроенного Алексеем Слаповским где-то внутри Саратова в роскошное поселение среднего типа, но веселого уровня жизни. Все ищу средь улиц шумных этот самый Полынск и со временем буду вплотную его уже обнаруживать, надо все-таки иметь совесть, так как надоело ходить без реального города, в который хотел бы под старость переселиться.

Нужно расшевеливать поиски – времени остается вкрай, иначе придется жить черт знает где, старость свою по свалкам влача за собой весьма непочтительно, а она упирается. Зато Сарайск, сотворенный из недр Саратова, я уже обнаружил в одном интересном месте, пока от граждан держу его в жуткой тайне, чтобы валом не хлынули и не стали, помимо натурального своего цвета, черными археологами, возбуждая народ на ценностные какие-нибудь или в массах роскошествующие волнения, от которых в панике оба наших безделующих Чернышевских, слава Богу, сбежали бы, шустро перебирая памятниковыми ножищами и не оглядываясь, чтобы с тех пор у нас здесь только их и видывали... Кстати о побегах: 21 апреля 1988 года, в 17 часов 13 минут 26 секунд, введя Алексея Ивановича мелькающими махинациями в заблуждение, я отчуждил у него, будучи в нетрезвом уме и лишенной всякой основательности памяти, 3 рубля советских финансов одной купюрой, чем и ввел себя легковесно в бесконечно долженствующий, но тайно прятавшийся от меня долг. До сих пор все отдаю благополучно. Я специально это сделал: отдавать всегда легче и приятнее, чем брать. Поставил себя перед Слаповским в положение вечного долга. Но и как отдашь, будь я даже при полном своем отдатном желании? Прежних рублей у меня нету, да и деньги нынче пошли не те. Вот сейчас, пользуясь удобным на редкость случаем, милостиво вытерпленный обоюдными сторонами долг я великодушно прощаю. Побыли в призрачных отношениях долга, и будет; призраков следует всячески упразднять, теснить из поля деятельности. Наросшие за годы проценты, в которых кроются миллионные прибыли, безжалостно погашаю, руки мои теперь во всех степенях свободы развязаны. Наши малость дувшиеся втайне финансы, будем надеяться, друг на друга теперь не в обиде, имущественных либо эстетических претензий не имеют и квитами себя ощущают, что соответствует в барометре положению «ясно», но может быть и «штиль», и, если оно там есть, «тихо»... тут-то опять и начинаются разноречия да разночтения. Порядочно непрекращающаяся ситуация с трехрублевым моим советским долгом – чуть ли не расстрельно показательный по качеству пример того, как хорошо и чрезвычайно успешно можно бежать, этот опыт будет полезен не только взявшим за обыкновение удирать памятникам, но и, в частности, бестолково бегающим вокруг да около алиментов, а про спортсменов и о других превентивных бегах и не заикаюсь – там все сплошь из моей даже дурной моторики оказывается неотразимо полезно и применимо, хоть выпускай в виде брошюры или методички меня перед Олимпиадой, – не так, так так прозой пробьюсь, чтобы еще до изгробной травы успеть к вам прорасти и свалить долженствующие дары пред изумленны иль обезумевши от подарочков очи – уже не моя это забота убиваться о степени повреждень очей, не я этим страдать должен. Это ваши проблемы. Там не мои, а окружающие меня ваши глаза фигурируют.

Ко всему замечательному сегодня у меня, оказывается, женский день в кровавой бане роскошной русской прозы! День, на который и меня попасть угораздило, как водится, ни с того ни с сего, врасплох и в самый переполох: без меня конечно же и тут не обошлось, раз уж, мимо идя, на огонек и шумный пар заявился. Просили тебя, ввалился... Приперся не то попариться, не то попиариться, перепутав числа и всякий разумный порядок женщин. А стол мой письмовный мне: нынече, батюшка, у нас здесь, однако, весьма примечательный женственный день, стало быть, полу противуположного кипуче талантливый, помывочный праздник. Просим, батюшка, побыть-потолочься покуда в предбаннике, твое место пред этими дамами нынече там! Ты перед ними, батюшка, получаешься чисто засранец! Да пошел ты, бормочу сквозь велеречиво напыщенную губу столу своему, забатюшкал ты меня совсем и все норовишь учинить надо мной сверхпространственную обиду, которая в моем доме и не уместится, сколь бы она ветошкой шагреневой, безобидною ни прикидывалась! Знай свое место, стой-ка вон у окна, выходящего ни шатко ни валко в благопроизнесенный мой сад, да пописывать мне давай, а сам молчи скорей себе в тряпочку, не то я и не знаю, какая разноречица сейчас в моих строках с твоей лепечущей, нездорОво облепливающей меня помощью будет! А между тем, раздухарившийся не на шутку (без ума он, видать, от женщин, нашел чему во мне подражать! выискал, дурачина, что у меня перенять, собезьянничать, совсем от половых проблем, что ли, сбрендил по примеру недалеко ходящего за примером хозяина?!), духом полный и решительный столик мой преподносит мне щедрой россыпью томики и журнальчики любезниц моих. Так я и знал, кто сегодня с душой моей нежиться будет! Так я и знал, дорогие мои чудесницы!

Вот печальная моя и прощальная Ирина Полянская (никогда не прощу за нее тот свет!), вот искрометная волшебница, чудный в каждом междометьи ребенок Марина Москвина, вот родная, беско-

нечно мне внятная, чеховского дара Елена Долгопят (как люблю я ее неповторимо живую Россию!), самую малость рассерженная Марина Палей (от сердитости которой лишь мне одному как следует и даже вдогон достается... приходится поневоле взлюбить пощечины таланта, забившись потом скулить в уголок, который Марина Анатольевна предусмотрительно убрала цветами, зная, что именно там я буду зализывать раны пощечин, и не давая цветами мне сдохнуть с тоски, по временам предлагая вместо нашатыря шикарно раскрытые чаши бутонов под нос – и дрыгаешься, между наслажденьем и пыткою трепыхаясь, не ведая, в какое бы тихоструйное место чертовой матери себя подевать; словом, она немножко пугает, а мне немножко не страшно), и тонкий знаток души моей Ирина Мамаева (где и когда она меня во мне целительно подсмотрела? – больно ведь ловок я изощренно и очень точно прятаться), и Мария Ботева, будущая в будущем неизвестно чудесной какой, но наверняка уж неотъемлемой Марией Ботевой, и будущая замечательная писательница Наталья Ключарева... впрочем, лишь годы спустя мой нерасторопный и неразворотливый стол три последние имени те обнаружил и быстренько, с ловкостью необычайной мне подсунул, чтобы из справедливости я на него не разгневался, а на описываемое время тех книг там не виднелось, но что-то ж от них и тогда ведь уже было – на моем, не сомневаюсь, столе, который сейчас с наслажденьем проходит свидетелем по делу о Мамаевом и другом наличии и не даст мне соврать, сколько б я во вранье на радостях не срывался: себя одного только и устанешь до дури ловить на отдохновенных и психоразгрузочных в остальном работах по занятию общественнополезной литературой, которой начали, говорят, наказывать вместо пятнадцати суток за мелкое хулиганство, так как суточные воздействия чересчур стеснительно влияют на права человека и открыто покушаются на его свободу.

Как много Марин и Ирин уже на этом свете! Елены с Натальями да Марьи с прилипшими к ним намертво Иванами тоже еще, слава Богу, остались, водятся, каким-то образом не перевелись. Остальных в скором времени подродим. С Запада ввозить такого добра уж точно не будем, да и таких бесподобных, невиданно драгоценных чудес там негусто что-то бывает, прямо становится страшно от тех недостач на всем протяжении Запада, даже если издалека ужасаться. От одного бешено застрочившего на весь мир скромного позора английской литературы – Роулинг я заочно, а то и заглазно километровыми вспышками вздрагиваю, покрываюсь гигантскими смертными вздрогами, а есть ведь еще и другие матерые, которых я бурно читал и менее бурно читать продолжаю, так как остановить меня в любом деле трудно, практически невозможно, в применении ко мне никакие дела так не делаются, самое простое и невинное с виду занятьице вынуждено оканчиваться в моем исполнении чуть-чуть только не преступлением либо шумным отлученьем меня от должности, которую уж не премину я хорошенечко опозорить, идя скромно, неспешно до сути, по пути заворачивая к кому-нибудь в гости, а дальше как получится.

Тихо на осветлевшей душе, покойно и как-то очень-очень верно, надежно, когда есть в моем доме, практически бытуют, в безукоризненно правильном направлении ведя домашнее мое хозяйство, живительные такие женщины в бумажном виде – в духовненьких этаких, свежей краской славно пахнущих платьицах дальних своих присутствий! С каждым днем жить мне становится лучше, жить становится веселее, даже вопреки этой гадовой сталинской фразе, превозмогая непоправимые ее последствия, с течением времени все более усиливающиеся, разрастающиеся; этот усатый и больной на все свои головы гад пророс во все наше будущее. Надо иметь место еще одной повести, чтобы в самое ближайшее ко мне время расширить население моих настольных жителей до сотни, а может, и двух сотен наших замечательно прекрасных, прекрасно не замечаемых, отменно бросово ценимых, но непревзойденных, вне сомнения, лучших сейчас во всех подлунных местах прозаиков (где еще в мире встретишь такую скромную, великолепно замолчанную роскошь, перебиваемую скромно наглеющим расточительством?). Все в моих палестинках уместимся, а потом мятежной ротой выступим на Саратов, начнем брать Россию с него, потому что он лучше всех. Чем больше такого народу в моих заредевших домашних краях, тем дом мой живительнее и действительнее. Про тесноту да обиду тут сразу можно смело забыть, решительно их, безоглядно отринуть. Все там будем, в доме моем, все уместимся! (Как жалко жмутся в прочий всё уголок какой-нибудь уэльбечишко с не менее какой-нибудь амелинатомбишкой, бессмысленной, как наш бунт, елинекшей и беспощадным, ровно бы наша квочка, джонатанлиттеллочком, ну и так дальишко, тому подобнышко, очень приличными писателями, вполне достойными занимать лишние, свободные места нынешне первого европейского ряда,

но все это, разумеется, вытекает из ложно мной понимаемого патриотизма, и если я заблуждаюсь – а именно это я только и делаю, – кто-нибудь из многих наших великих критиков откроет нам глаза и сопутствующие поднятию век новые смыслы, и мы тотчас закроемся, позорно чмокнув, схлопнемся.)

Не сочтите, пожалуйста, данное собирательство писателей приглашеньем на казнь, – нет, это не она, это другое, хотя то, что имел я в виду и что есть сама по себе казнь, внешне очень похожи. Но сколь же обманчиво это сходство! Верить сему внешне правдоподобному и почти не отличимому сходству казни и того, что я имею обычно в виду, ни при крайних каких-то нуждах не следует, лучше на этот случай наконец-то в себя поверьте, пусть и обреченно. Сразу сделается необыкновенно легко, и простор под ногами совместно с одинокой страной почуете! И снимите, пожалуйста, лапшу с даровитых ваших ушей, она хоть, быть может, и добротно китайская, но так, в одних голых русских ушах, вы лучше смотритесь, а то висит, понимаешь. Не мельтешите напрасно продуктом, не столько красоту спасете, сколько насорите. Негоже ходить по миру с лапшой, навешанной нам всем добрым миром на уши, предупредительно заботливым о наиблагоприятнейшем из всех небываний наших. Лучше уж, что ли, их картошкой покруче обмажьте, если вам это зачем-то надо и от этого чувствуете себя как-то легче, спокойнее и если без дополнительного обогащенья ушей никак не обходится, все чего-то неймется. Картошкой пропирсингуйте всю полезную площадь ушей, возможно, и мировую моду так заимеем: кинется к нам, неся на плечах инвестиции и вливаемые финансы. Картошка не подведет, когда органами слуха надобно будет вовсю шевелить, на все пары их раскочегаривая. Даже сама что-нибудь прислушает да шепнет нам потом, бережно выволакивая за ушко да на солнышко, чтоб дурака не валяли и попусту не забывались в ласковой к нам, как родная, безвестности. У России продолжает настоятельно быть только три союзника (последняя союзница выступила широким фронтом в поддержку страны лишь в двадцатом веке, чуток с опозданием выдвинулась): армия, флот и стратегических, наступательных масштабов и вооружений картошка, от которой мы никогда не умрем – это уж точно. В тыл она подло нам не ударит. В разведку с нами пойдет, чуть ли не впереди возбежа. Пытки любые выдержит и не предаст, вымотав при этом превосходящие нервы противника до последних пеплов и прахов. Впрочем, говорю по отношению к ней тривиальные и чувствительно обидные доверью ее вещи. Но она и это как-то по-бабьи совсем простит и при случае на себе немножко силком оженит, сказку делая между делом былью. Я все про картошку; что-то на ней я зациклился, наверно, крепко подсел на нее. Сижу вот, прослеживаю в себе зависимость, картошечно наркотизирую, всем миром полный.

Не так-то все и плохо, коль так. Стол сервирован даровито разнообразной российской строкою отнюдь не скудно, на десять любых передовых литератур хватит. А для человека, живущего за чертой бедности и оседлости во всей целокупной их прелести, полноте, невыносимо щедр стол мой письмовный и расточителен. Не чувствую себя достойным для тяжести некоторых непосильно обворожительных читаемых чар.

Кормежка у меня нынче, будем читать, справная, преотличная. Не во всяких центрах мира такое смакуют, переваривающие емкости таким натруживают, снабжают, потом национальными всяческими способами испражнения примерно в равной для всех доле поноса опорожняют. И не во всякого, знаете ли, коня такой корм, сколь ни крепкожилен был бы тот фигуральный и наверняка уж фигуристый конь, жизненно неугрюмый. По крайней мере, на последнее мы надеемся; если на последнее не надеяться, на что же тогда будет жить?

Опять будь подробно собран в кулак, остаток воли также сожми туда или сунь, как обол, под язык, а что там не уместилось, в кулак или твой язык от тебя не влезло, – полни смело собой любимым путевую котомку, туго набитую под завязку... Теперь только решить, кто же на первый хотя бы случай сбегает, кому-чему еще от распиханного по кулакам, словам и узлам осталось и можно бежать, бежать в черновом варианте исхода до ближайшего пусть магазина. А там дальше, откуда ни возьмись, сразу на двести верст будет ясно видать – и кому бежать, и куда, и откуда, и где кругаля можно для пышности семиверстного бега давать, а где кренделя в стиле недозрелого, но готового совсем барокко выписывать. Сколько раз за всю историю именно так прочищалось наше очень капризное в бытовом пользованьи зрение. История устала это считать и немного от трудов бессчетных привяла. Она не прочь бы сейчас прилечь на часок, пусть и в каких-нибудь обреченных под глобально озорничающий туалет, невинности удобств лишенных кусточках, нашими из неволь и дремучих подполий повылазившими свободными людьми в девственности далеко вглубь, с художествами посрамленных.

***

Прости меня Христа ради, сегодняшний, столь милостиво меня не покинувший день, несмотря на мои прозрачности и выкрутасы. Хочу быть на тебя похожим и делать с тебя жизнь свою. Зовите меня с этой секунды – сентябрь... ну а в особенно уважительные моменты, средь сияния корпораций, следует, конечно, обращаться ко мне, как и принято в бесценностях самоуважения, по полной программе: Сентябрь, значит, буду Федорович по фамилии Ясенев-Просторов иль Листопадов. Можно вместо просторово-листопадной шикарной надбавки и поскромней что-нибудь, умеренней, например, просто и ясно, здорово и сердито: Просторчук или Листопадный, для немаловажного существования оттенка южнорусской прелести (только не называйте меня Рукавчуком, так как это однажды со мной, к печали моей, было: как-то налегке придя домой без рукавов и получив от жены вместо положенного мне по праву скандала досадное и ни на что до обиды не годное прозвище). На первом же и светоносном компоненте фамилии – Ясеневе – всесторонне, углубленно настаиваю, даже излишне топчась и кособочась: это неотчуждаемо мое, это святое, так как будет дарственным ходячим памятником от меня заслуженному дереву РФ по имени ясень. Ничего не скажешь – нагорбился он в пятилетках на благо страны, подвигов перед Отечеством у ясеней немерено: начнешь для переписи доблести их по всей территории РФ собирать – простор от изумления потеряешь да и себя куда-то невзначай выронишь... ну и замнешь для ясности дальнейшие поиски, черт бы с ним. Поисковые операции объявишь закрытыми. Пропал и пропал, значит, так ему лучше, значит, так способнее одолевать немигуче обозревающие нас дни, выходит, туда ему и дорога. Потенции и склонности у всех разные, надо, чтобы душа к делу лежала и очень желательно наоборот – чтобы обратный путь дело со своей стороны также проторивало, не дожидаясь чужих дядей и тетей, которые за ним реально придут, но не с теми уже, а конкретными намерениями и без всякой души... Мытьем не хочет быть, так пусть будет катаньем, на здоровье, лишь бы не ныл, что у него жизнь украли и при этом зарплату сторожевую беспрерывно придерживают, а ЖКХ озверело. Ведь в жизни всегда есть место подвигу о чем-то другом поныть, более веселом, заманчивом. Сходите, наконец, в наотмашь публичный театр, там на сцену взглядом едким, тягучим с презреньем понойте, вздохами тучными артистов поопустошайте. Все развлечение, и баланс эмоций к ночи сходится: ни на копеечку в чувствах товарных не прогадали, с дебетом-кредитом в них не подгадили. Плюс три взгляда случайных на улице прихватили, даром про вас валяющихся.

Вместо этого самого подло надоевшего мне, выевшего всякую последнюю душу В., как бы это помягче сказать, Володина буду в охоточку вольную обнаруживаться бабьим летом прозрачным, паутинкой воздушной пустячной, сверкающим накопленным солнцем опавшим листом, смятенным томлением драгоценной всегда и во всем женщины и небесами, небесами сколь можно далеко ввысь, к нравственной синеве поближе: хотелось бы уровню их соответствовать. Красиво жить мне уже не запретишь! Я вышел, за порог коряво запнувшись, на новый уровень потребления. Темнело и замолаживало. А шел бы ты куда-нибудь подальше, сказал я себе таинственным шепотом, потом полушепотом, потом уже молча, а вскоре – никак; понемногу словами, опрометчиво заглянувшими в отрицалово, меня зашкаливало, прямо за шкирку тащило через нуль в отрицательную сторону, что, конечно, и на мне тотчас сказалось, не могло не сказаться. Но так вот сразу идти на все четыре стороны что-то мне мешать продолжало. Это давало мне более-менее точно знать, что не был я в жизни своей до конца лишь мира сего проходимцем. Знание это как бы где-то рядом со мной и несколько потусторонне бежало, словно сопровождающая, до смерти еще не напуганная жизнью моей собачонка, и угрюмо, мстительно радовало вместо забытой дома, как обычно, радости. Вот и память надо в спешном порядке менять или сдать хотя бы в длительную починку-рассрочку, есть на Сенном базаре дешевое и малость даже приличное местечко по переработке и утилизации вторсырья, где за память лупят деньжищи совсем по-божески, во всяком случае, семейный бюджет уцелеет, не грозя подло затрещать по швам и в ближайшие мои козни всенепременнейше разориться и рухнуть. Сколько еще приятных дел мне успеть переделать средь мира сего! Поневоле приходится себе удивляться и, применяя к себе неотвратимые принудительные меры, через силу ни о чем сверхнасыщенно, крайне содержательно радоваться. Такая радость и есть самая дорогая эмоция в мире: знаешь, сколько за нее потерял, ничего не приобретя.

Сегодня мне (черт меня, смилостивившись и осовестившись, все ж побрал бы, что ли, за рожденческую тянучку, неразбериху и массу устроенных социальных испугов) стукнуло-таки 47 этих самых ненасытно амкнувших меня лет. И добро бы какой с того получил прибыток. Полдня только приходил

в себя после того восполнившегося в круглой цифре удара, да и то сомневаюсь угрюмо, не ошибся ли я входом, – косточки-то не молоденьки, разрешающие способности релаксации мизерны, из одного голого упрямства заставляю себя приходить в себя, по возможности пользуясь правильной, давно проверенной внутренней дверью, чтоб едва ль не без спроса ввалиться туда, где хоть малое теплится про тебя ожидание и масса не слишком третирующих недоумений. Думал уж, пускаясь в отчаянье, словно в бега, и не исполнится никогда, не сбудется эта цифровая дребедень в виде 47, замотался ждать последний месяц, рвя понапрасну редкие драгоценные жилы в целом дрянного, естественно, никудышного, лишь на все медицинское годного организма. И этого брендового замухрышку В. Володина загонял в пух и прах по особенно темным местам и низменным нуждам одичавшей судьбы, где порядочной ноге ступать не только бы не пристало, но и не следовало. Затаскал совсем брендоватого бедолажку – он, несчастный, лишенный позитивных чувств, по-видимому, в зачаточном еще состоянии, ни о чем и не догадывается, со сладострастием самонадеянности обольстившись личной натурой. Думает, будто тихо-мирно вперед и вперед себе правильно все поживает, ан, как всегда, жестоко и беспорядочно заблуждается. Аж немножко жалко мне этого скромного, тихонько обывательствующего негодяя В., деликатно говоря, Володина: не надо было так его по кругу гонять, теперь он нагло дышит с громадным сопом на весь наш просторный текст. Из чистого не то наслаждения, не то вредительства отбивает, гад, у смыслов охотку являться во всей их блистательной точности, на какую они, ленивые, неповоротливые, и так мало способны. Устроил тут умытую кровью бойню, облившуюся заодно, для совместной экономии ужатых средств, и незримыми миру слезами! Это не В. Володин, блин, разудало здесь блинцовеет, а целая пятая колонна в храме нашего тела на постой встала, которую будем с треском из себя выкорчевывать, так как раба бесшумно выдавливать надоело да и тихие эти ковыряющиеся меры уже вполне бесполезны, мы подсели на более сильные наркотики громкой чувствительности.

Как будто не прозаичненького, не прозрачненького дня дожидался, а прямо сразу второго пришествия Себя! Черт бы его, в самом-то деле, также побрал, ибо он так и так не пришел (не жалко такое отдавать на дрянье и дранье), только смутно-величаво и очень пошло наобещал кучу всяких приходов, в том числе, конечно, и с фейерверками, в которых теряются брызги шампанского. А на поверку – доблестные лишь зиянья, какие-то неотвязно нас преследующие не то с детства, не то четыре текста подряд, замучавшие уже в доску шепоты и топоты татар, ни в чем, ни на йоту зияниям не уступающие, да прочие прелести грациозно и самовлюбленно пустеющих исчезаний. А самого его, второпришедшего, – фигушки, ищи-свищи да поминай, как звали, если его, конечно, как-нибудь хоть крупицей доброго имени некогда нарекали, может, обходились кликухой... Точно в очереди на прием к нудно терзающему безответной дверью должностному лицу все эти дни проторчал или в ожидании безнадежно опаздывающего и, похоже, крепко заблудившегося поезда, который вряд ли ожидается прибытием, а если и будет, то, разумеется, не тот, которого жадно ждал всей дрожащей от нетерпенья судьбой. Или заявится, но все равно каким-нибудь злостным своим неприбытием, измываясь над безразмерным терпением все той же внутренне зареванной бедняжки-судьбы (аж мне самому жалко ее стало). А терпенью ведь недолго и лопнуть, и тогда неизвестно, какими глазами на вас взглянет замордованная обидой ваша лишь по названью да по разнарядке свыше, но не по обладанью судьба. Вдруг будут ее глаза запредельны, совсем нездешни? Не поедешь ль с ума, будто мимо чужого перрона, глядя кануто в них?

Ну-с, и что ты особенное, необыкновенное чувствуешь в сей отчасти даже как бы возвышенный, ну или хоть немного приподнятый день? Сколь грандиозно именуются твои суперчувства и прочие супера?

Абсолютное Ничего имел я счастье несчастья восчувствовать. Вот чего. Довелось-таки хлебнуть на склоне лет добротной, крепкой пустотки, не пронесена мимо меня чаша сия, отведал да и наотведывался. А именуются те супера просто и доходчиво чушью собачьей. Вот чем они именуются, если кто еще сомневается в их оглушительно бессовестном даже названии.

Хожу целый день как потерянный, с понесенной безвременной утратой в груди, вместо уместного там винца, которое все дела в груди гораздо лучше бы сделало. Только-то и всего значительного. И это, очевидно, максимум, на что значительность ныне способна применительно ко мне распространиться. Из всей грандиозности можно отметить, что лишь знатно пучит развязный живот да потягивает не-

уклонно лежать (косвенным взглядом воровато ищу места возможных валяний и втайне скрытых от себя самого потенциальных лежек), причем с такой ненасытностью, будто и не лежал вообще никогда, а теперь вот настал срок до горизонтального положенья дорваться, надо прилежно и честно наверстывать, не увиливая: всей исключительно бегучей жизнью, мол, выслужил себе такую награду, но только награда пока не нашла своего героя. Ну и, дорвавшись, вконец огероился, лежкой незаметно увлекся, замер в одном немечущемся положении, дружно с собой возлеживая, чтобы награде не слишком трудно было меня обнаруживать и быть моей.

Давно думал сходить в этот день в лес, куда больше года что-то не всовывалась нога моя. Но и в лес проленился охотно. Чувствую, упускаю задаром этот роскошный, величественно сияющий во весь земной храм день бабьего лета, благостно расселившийся окрест и в меня заглянувший каким-то любопытствующим чудным окрайком; и огромны, и печально прекрасны эти женские неизреченные глаза милой грусти, какими день глядит и глядит неотрывно во мне. Его светлое медлящее расселенье во мне слегка смещает сознание, и без того смущенное природно совестливым сентябрем, – оно всегда в такие солнечно приувядшие, прощанием сентября тронутые дни вынуждено счастливо быть как бы изумленно отставшим, как мешкающая тень, а может, недопришедшим. Кажется, сознание наступает на несколько мгновений позже свершившегося уже времени, вяло отзываясь на естественный ток секунд, и с повинным опозданием влачится к следующей, успевшей наступить минуте, опомнившимся рывком пытается нагнать ее, стать как-нибудь ею (все тщетно: в недосбывшихся, в недожитых оно вечно), чтобы не порушить праведный ход неисповедимых осенних времен. Времени нельзя быть неисправным – тогда все неисправно станет, даже последний цветок этих дней, пустырный бессмертник, и даже влюбленный взгляд, бессмертный на странно исчезнувшее время любви.

Воздастся, суровенько воздастся тебе на том свете за халатное (увалился в постелищу прямо в профессиональном халате писателя, в коий тотчас облекаюсь со страху, стоит мне только увидеть любой попавшийся под писание стол: неврозы всё, неврозы) упущенье такого редкостно вселенского, редкостно божественного дня, волшебствующего тихомолком, что-то все выговаривающего на своем языке на радость себе и другим! Поответствуешь пред Ревнителем Времени за бездарную трату драгоценных и кратких осенних минут, осиянных неизъяснимо печальным, как-то сущностно усталым, хорошо усталым солнцем... Оно от меня устало, сентябрьское солнце? Иль от расточительных летних сияний, не знавших меры, не ведавших цены наносимым в пространства подаркам? Оставь-ка солнце в покое, нашел все-таки, к чему пристать! Ему сейчас явно не до твоих праздных да к тому же лежачих мыслей о нем, напрасно они сладко потягиваются, словно кошечки мяконькие. (Спешу доложить о первых наблюдениях, снятых в качестве густых сливок в процессе кроватно-прикладного эксперимента: лежачие мысли коренным образом отличаются от мыслей вертикальных и намного их лучше, чище, добрей, намного ближе ко всему человеческому, гуманному, буквально уже проникают туда и там обитают, напитываясь отборными передовыми идеями. Вертикальными мыслями можно во всех сферах жизни только городьбу городить, а лежачими – и постель влюбленным легко и ловко постелишь. Одна и та же мысль, будучи в разных агрегатных положениях, сама на себя не похожа. Например, такая простая мыслительная сентенция «А давненько же не бывал ты в лесу!» в вертикальной своей ипостаси значит лишь кучу пустых и напрасных зевков да болезненных, до пыток изверченных недоумений. А если даже резко перевести эту мысль и зафиксировать в горизонтальное свое выражение, то она мгновенно начнет значить, можно сказать, пророчить массу пышных и величественных грез, деликатно потягивающих в сон для унеживающих покоев, уцелеваний, а также игрищ души и повсюду туда вас таки стянувших, последовательно проведших по подробному пути гуманизма, чтобы по пробуждении вручить вам себя самого как новеньким.)

Ну, так что, пень лежалый, – трогаю пробною мыслью нелестно себя, – пойдем нынче в лес-то иль так и будем вздыхать в потолок, взорами томными мух обвевая тощих (маниакально-депрессивный психоз их так иссосал, одни глаза остались... осеннее у животных обострение)?

Эх, куда ж от вас денешься, молодые непоседливые мысли! – ворчу с боку на бок. – Ну, пойдем, что ли, раз легки вы на подъем. Только вот ноги бы мне дать не мои для бегучести столь проворной. (Не смей притворяться нам старым! – одернула тут некоторая – чрезвычайно похожая по характеру на жену – мысль, меня сейчас практикующая и в оборот дела пускающая. – Ты пугаешь, а мне не жалко. Прекрати на жалость давить!) Ах, молодежь неугомонная, все бы вам идти куда-никуда, поперед сво-

их ног выпрыгивать, чтобы наглядно чем-нибудь ярче побыть! И не уединишься с вами нисколечко, один на один ни на чуток не побудешь, есть немалый риск, что ведь и вовсе не сбудешься, если так себя дальше будешь вести.

Я довольно чувствительно, до урчащих не то умиротворенно, не то миротворно кишочков, поропта́л на молодежь в себе, мысленно все напропалую бегущую, топотко отдаваясь в моих скромных от возраста мыслях. В висках делалось больно и много от толпового пробега молодежи в моей голове. Кросс, что ли, мысленноатлетический они задумали там устроить? Этого мне только и недоставало – чтобы бедная моя голова превратилась в пробежечную дистанцию, в какой-нибудь промежуточный финиш, избегнув всего остального, на что она прямым назначеньем дана, став чудовищно напрасной и неуместной для всего остального, что первым делом ее должно бы касаться и озабочивать, тревожить нецелевым использованием мыслительных площадей! Да и кого бы согрела идея иметь взамен головы ликующий топотом и мудиналем стадион?! Меня эта идея не грела и явно греть не стремилась. Ох, вернуть бы мне обычный, к просторечивому разуму привычный калганчик... Большего-то ничего из голов и на дух не надо... – Я ощутимо начинал плакать по снятой своей голове. По волосам не плакал, их не было жалко ни капли, даже сердце не екало, потому что присловье тут чувств распускать не велело, строго стояло на страже каждого их несанкционированного шевеленья.

Впрочем, спал я уже, самым бессовестным образом дрых беззаветно и безответно. Я ведь, между тем, повернулся (улучив предательски зазиявшую зазорину меж мыслями) на следующий бок и вдруг, не ожидая от себя такой прыти, не ведая, что творю, примитивнейшим образом стремительно уснул, будто за мной кто гнался, а иной возможности от погони укрыться, кроме как впасть в сон, не находилось, так что совесть моя была все-таки необыкновенно чиста: я осуществлял бегство в пределах необходимой обороны, что очень законно, за это не сажают и в случае убийства, а тем более в случае сна, хоть он есть тоже убийство, но только излишней бодрости. И каково ж я проворно сбежал! От нехороших, видать, последствий всего предыдущего, на последствия намекать устававшего и прямо на глазах моих томительно изнемогать начинавшего. И по этой еще причине вынужден был я уснуть, пришлось уступить давлению как будто с цепи сорвавшихся массированных обстоятельств, похожих на бешенство текущих событий. Здесь я оборонялся в условиях крайней необходимости. Что очень важно, поскольку тут вообще спокойно убить можно, и за это тебе совершенно спокойно ничего не будет: прав на всем протяженьи убийства. Можно мирно, предушевно и с дремлющей совестью спать, не думая ни о чем, если знаешь и даже в сновиденьях блюдешь все буквы всех без исключенья законов!

Ага, значит – сон. Значит, здесь мы себя обнаруживаем. Вот это – самое то, это – наше, родное! Тут прыть и расторопность очень свойственны нам и любезны! Предавшись верным, ничего плохого про тебя не думающим снам, можно порхаючи гулять где твоей волюшке взбрендилось, не употребляя в дело натурально-физичных движений, не применяя их ни к единому переставшему быть пошло мышечным шагу. Ага-ага, полетаем-ка крылатый идеальный часок без земных усилий в блаженном и явно курортном районе моей приснопамятной кровати! Не удивлюсь, ежели данный милейший на всем протяженьи район очень кстати окажется лесом, пусть и привядшим от давнего моего непосещенья: этот лес втайне сохнет по мне, видно же невооруженным глазом. Не удивлюсь также ничуть и сделаю вид, будто так и надо, если внезапно даже для своих всем попуганных чувств расцвету совместно с тем нежной зеленью взявшимся лесом, беспроблемно затренькаю гнездящимися птичками, аукнусь, неизвестно откуда берясь, сочным, чистых красок и безупречной длины эхом весенним, чуть растерянным, чуть в чем-то заблудшим, – в волшебном районе грубо мятых лихой твердью моей головы и внешне не привлекательных подушек чего только стоящего не бывает! Это же милота сплошная! А если б вы знали, чтО там еще и бывает... представляю ваш ужас заранее, преклоняюсь пред ним и пред вами, заимевшими и несущими мой ужас в себе. Так мужественно было с вашей стороны ужасаться! Несу вам большое спасибо. Тяжеловато оно. Но донести все равно придется. Не выбрасывать же такую ценность посреди бескрайнего чистого поля! Нельзя загромождать дороги габаритными грузами – их и так остается мало, по-настоящему проезжих и действительно куда-то ведущих дорог. Это надо бережнее учитывать, особенно если подвержен ты снам золотым.

Замечательный день рождения! Отменный день рождения! Никто не позвонил ниоткуда, словно бы это «откуда» и не существовало вовсе нигде, будучи чистым недосягновеньем или вымершим наспех прошлым. Никто ни на минуту не помешал мне пребывать неспешно собою – хоть и смеркшимся

изрядно, но пока света хватает: еще не вечер, не закат же голый, в конце концов, я из себя представляю, зачем мне нужен крупный такой стриптиз?! Ведь это тоже огромная удача и несказанное счастье: ни одного вторженья в мои внутренние поздравленья, с какими я не удержался и, не избежав-таки дикообразных од, все же отнесся к себе, да и то большей частью за тем, чтобы было к кому относиться и с кем хоть немножко, для кучности быть. Пусть уж случится некоторая видимость праздника в присутствии кого-то, будет кому за кем присмотреть. В самом деле, не с пустотой единой, щерящейся на меня даже при малейшей провинности моих скромных личных движений, не с пустотой, говорю, сооружать близ себя призраки пышных, брызжущих весельем торжеств, на умозрительной поляне мнимые разводить костры. Какому нормальному празднику хочется испортиться за просто так? Всякому порядочному празднику и самому по себе, собственной, так сказать, экзистенциальной персоной, страшно хочется чего-то попраздновать, как и остальным, составляющим недурственное его наполнение. Что будет с нами, если праздники уважать себя перестанут? Не откажут ли тогда нам от дома и узкогубые будни, привыкшие всем во всем подражать?

Лишь крохотная неувязочка, которую быстренько не заметим: данное недурственное наполнение праздничка во всех мыслимых и немыслимых лицах, во всех смысленных и бестолочных смыслах буду составлять сегодня целиком, если не сказать – полностью, один исключительно я. Но в этом, уверяю вас (если вы, конечно, нуждаетесь в довольно жгучем моем уверении), беды нет никакой абсолютно: качественное наполнение обещаю, гарантия – три самых длинных и аварийных года. С тем и остаюсь пребывать в трезвом уме и приблизительно в подобного же качества памяти, держа связь в урочное время с отставными, могущими чего-нибудь без надзора набедокурить потребностями, находясь в непосредственном контакте со своими твердых понятий благими намерениями. Скоро вязкие хляби (они устали ко дну тяготеть), ведущие во мне в некоторую странность, а может, и в странствие, будут вымощены ими сполна. Далече выгрезилась, дорожка? Может, она из тех, что легко уводит меня из себя самого и, наперегонки с зыбко струящимся маревом, убегает в примолкший сентябрь, отдавая меня в безвозмездный дар какому-то отличному для поселения странствию. О чем на радостях и щебечет без умолку эта болтливая повестушка-свистушка, с которой мы скоро, наверно, распишемся и заживем душа в душу и душой погоняет.

Время – крупное время жизни – избываю с каким-то ожесточенным удовлетворением, с облегчением от этого пропадания дней: кончилось! изжито напрочь! скинул обузу быть 30- или 40-летним, их волненья и тяготы теперь не мои! И все превратности былых возрастов минули меня, благополучно иссякли, пусть и снабдив тайным своим неблагополучием. Эту неподъемность я уже одолел безвозвратно, восполнил собой, сколько смог, а равно и опустошил, сколько утрат хватило. Не достанет теперь опасность присущих именно тем годам опасностей. Все же как-то ускребся. Все же слишком-то сильно и явно концы не отдал.

И это – изжитое с напряженным преодолением (словно не жизнью жил, а противостоял чуткому к твоим слабостям и промашкам врагу) – теперь ничем не разрушить, даже смертью; скажут: умер стольки-то цветущих лет – и этим точным называнием как будто защитят бывшую при жизни жизнь, наполнят ее емкостной и неразрушаемой цифрой, которая, заключив с мертвенной силой в себе, отмеренную жизнь уже не отдаст, не позволит ей никоим образом быть иной, то есть живной протяженностью иного срока. Ты навсегда будешь вровень с жизнью, которую сумел превозмочь.

Годы, с премногим облегчением ставшие прошлым, отстроены до последней соринки, до последних штрихов и завершающих прикосновений самой бездейственной из пустот пустоты. Их не нужно больше ничем наполнять – ни встрепенувшимся, осовестившимся в упущении словом, ни сбежавшим откуда-то днем, до сих пор не вернувшимся (переметнулся скиталец, наверно, на сторону более выгодной, сытненькой временем вечности), ни оборванным в прошлом жестом иль взглядом, так и застывшим, так и отмершим в недосягновении. Все кончено. Сюда не втеснить ни секунды. Все настолько кончено, что лучше не прикасаться. Совершеннее закончившегося закончить все равно не удастся. Те годы не столько в минувшем, сколько в непоправимо завершенном виде. В непоправимо совершенном виде, поскольку тот миг, когда уходит откуда-то жизнь, остается для покинутого совершеннейшим мигом. Мигом последнего совершенства. Сюда не добавить ни крохотки изменений: их ничто не приемлет, ибо нечему их приять.

Это действует успокаивающе, – в прошлом ничего теперь от тебя не зависит, ошибок своих не умножить и никакие твои промахи и тягучие беды тем годам не страшны. Все улеглось, успокоилось, в твоих тревогах там не отыщется надобы никогда-никогда. Как и не понадобится ничего-ничего твоего. Это внушает ни с чем не сравнимый покой (такой безмятежности не вселят и летние, бессмертно плывущие облака). Это неучастие целительно. И лишь тогда ты чувствуешь, как устал, как ты смертельно устал от своего прошлого – еще тогда, когда прошлым оно не бывало, а просто было твоей жизнью.

Важно теперь достойно достроиться – смелей загадывай пощедрей! – до 70 восхитительных, до 70 румяных наверняка лет, а там можно и поразмыслить, кому *отказать* свое непредсказуемое строение. А может, просто сжечь его как идеально почти неудавшееся или как исписавшийся не в том направлении том. Но это потом, когда-то после семидесяти, после великой стройки жизни, на сумеречной стороне дней, на сумрачном склоне лет. Сейчас – кропотливо, упорно возводить каждый день, не оставляя ни щели, ни досадной зазоринки, до отказа набивая пазы отовсюду сквозящего часа, прохудившиеся латая, юрко гибнущие минуты. Мы еще вволю поплотничаем на этом свете, господа!.. на том-то всегда успеется топорное свое показать мастерство... Пойду-ка вот постругаю тщательно и нетщетно дощечку сегодняшнего дня, а то многие им занозились: жалобы поступали. Боже, как она вдруг человечно гладка, августовская дневная лесинка! И как – сквозь муку моего несовершенства – мучительно красива в моих не нарадующихся совершенству руках! С чем сравнить эту пропахшую сосновым бором и зябнущим солнцем дневную бесценность?

В себе сравнений не отыщу.

1 октября 2003 года промозглым утром, в пору не ясных видений и развязно поцапывающих теней, я вышел из дому в неизвестном направлении и не помню сам, как попал мимо рассудка на дрянцеватую свою работу. Долго мерещилось, что как-то невзначай я тут очутился, средь своей служебной работы, настолько явленье мое столам, стульям, горшку с цветком тщеты ванькой мокрым и самому ваньке мокрому вышло смутительно и крайне сомнительно, как будто мое явленье явиться сподобилось без меня (встречали с таким рьяным отсутствием, словно в дверях не торчал, потаптываясь, их покорный слуга). Притягивает меня она, что ли, постылая эта работа, даже из неизвестных направлений и самых затерянных уголков мира?

Вот что она, жестокосердная служба, со мной делает, обладая неодолимым роком убийственного притяжения! И в какое неизвестное направление ни подавайся, куда ни скрывайся, все одно попадешь, как миленький, на эту во всех отношениях злоумышленную работу, которая тотчас и возьмет тебя в оборот, и опять завертит мной, как взбалмошным капризам ее будет угодно, а мне в помыкаемых опять дрожаще ходи, в коленках от страхов чиновных слабей и подламывайся. А недурственно бы (скажем прямо, не кривя неизвестными направленьями) обладать вот какой красивой и полезной весьма для страны и в быту должностью, которая мгновенно бы оправдала мое трудноопрадываемое существование: уполномоченный по особым поручениям неизвестных направлений. Я звучал бы в этой должности гордо и другим бы давал позвучать и наживой нежиться, позволял бы цвести откатам. А то брожу как тряпка, сомнамбуличная ветошь человеческая, не презентованная даже собственной важностью или слаборазвитой гордостью, не опосредованная ни самоценностью, ни мало-мальски вразумительным личным смыслом.

Итак, 1 октября 2003 года, промозглым темнеющим утром я, как сейчас помню, тронулся в неизвестном направлении, ловко симулированном под обычную дорогу на службу. Нужно ждать уже от меня трупа, не меньше. Так, что ли, получается? Но где ж тут утешительные итоги? Увы, нет ни меня, ни итогов, как в воду и тот, и те канули, натворив населению мрак очей и кучу обманов.

– И что, до сих пор не пришел?

– Представляете, какая гадость: до сих пор не пришел! Свинство, конечно, натуральное! Сижу вот, весь из себя вне терпенья, жду у окошка заветного. Может, хоть что-то вернется, огрызок пускай человеческий. Хотя бы подметку какую для видимости похорон заполучить, а то не по-людски как-то все получается...

Давненько, однако, меня не было... Седьмой годок пошел, как я на работу отбыл, пользуясь попутно глаголами «свалил» и «схилял», для большей скрытности. Привязчивая мне служба досталась,

в семь лет от нее не отвертишься, не отлынишь никак. Трудоголю я ныне где-то в неизвестном направлении, прекратив туда пошло мышечным шагом брести и сделав сидячий акцент на конечные результаты и выход продукции. Хреном груши также люблю околачивать. Но это вместо обеденного перерыва, праздников и выходных. А иной раз, когда сильно грушами увлечешься, и вместо жизни.

Этот человек изначально безымянен, какое бы имя ни тщилось скрасить его из последков рвущихся сил. Он все будет не тот, кем назван. Все будет снова и снова решительное никто. Пусть известность его широко по-над миром простерта и он треплем у всех на устах, пусть все флаги ему в руки, пусть все в гавань его корабли. Нет, и не броненосец он, не броненосец. Опять ошибочка вышла, смутив нас танцующим кривенько выходом. Но откуда же мощные выстрелы? Почему это пустынное море осквернило нас беглым огнем?

Что в нем такое, чего не поддается никакому названью, не существует, но все равно им пребывает, обстреливая белый свет с завидной регулярностью, изумляя нерастратным обилием рвущихся нами снарядов?

Ночь напролет писал что-то жутко еще никем не написанное; бродил, ползал, другими способами перемещений бесплотно сквозил средь такой опасности слов, что и не знаю, каким чудом вернулся. Сказать по правде, едва ноги унес обратно. Еле уцелел, по временам вися на волоске. Завтра и далее по тексту нужно тоже каким-то невероятием уцелевать. Когда не вернусь (а такой исход жизни вполне реален), все-таки считайте меня как-нибудь уцелевшим. Так будет лучше для всех – не стану терзать вас призраком рьяным своим. А буду по-прежнему немножко явственно родным. Ведь хотя бы семиюродным по реальности я вам все ж таки довожусь. В седьмом, совсем изредевшем мною колене... А может, и пятке... за скопищем лет не рассмотреть, в чем храню я свою драгоценную изределость, которая одна у меня осталась из прежних сокровищ, другие меня, слава Богу, благополучно изжили.

Мне сегодня убыло 637 месяцев. Оказывается, это так мало, так скудно. Судя по скромным цифрам. Зря мои ощущения обманывают меня старческим и многим случившимся. Зря они лгут. Мои поздние годы – вранье привыкших наговаривать на меня много лишнего чувств. (Мы их за это накажем и подсократим, а иные упраздним: пора прикрыть их трескучую говорильню, страдаю уже повреждением нутряного уха.) Не очень солидное и так себе внушительное число как раз говорит о том, что почти ничего и не было, лишь бываниям притворялось. Ну что такое это якобы способное соорудить в тебе тихий ужас 637? Что за притча? Что за бред? Лишь три цифры подряд! Только-то и всего. И весь тихий ужас. Что, вы не видели три цифирки, стоящие подряд? Да видели вы и больше стоящих подряд цифр и не ужасались, а, напротив, все более обольщались. Глядя на это скудное по всем внешним мощам число 637, даже младенческих переживаний не успеешь ощутить, не говоря уж о старческих длительных изнеможениях, лишь мелькаешь, как хлюст в клипе. Не жизнь, а шоу-бизнесова малина.

Н-да, взирая на это число, крутя его так и эдак, проницая взглядом, полным раздевающего гипноза, хочется безотлагательно плюнуть с досады – столь оно жалко, всем наличием скудно: ни до чего в нем не доглядишься. Сколько жил вроде бы на повышенных мощностях, сколько сил положил на пределе вроде бы сил, старался ко всему приобщиться, всем стать, стремился все выше и дальше, а в наглядности, в этом заунывном цифровом обличье, получается куцый и подлый наверняка хвостик – весь мой сухой остаток! Ну не обидно ли? Что же это за жизньзнь (ой, что-то излишне бодро и призывно зазвенело... не звоночек ли *оттуда?*) такая вырастилась, ежели ее почти в ничто уместить можно? Это смутительная какая-то ерунда припуталась ко мне, а не жизнь. Вот припуталась и меня до смущенья ума попутала. В этом-то сомнений уж точно нет никаких, тут сомнения угасают. Боже мой, как ярко, как четко темно на всем моем протяжении стало... Меня сегодня убыло на 637 месяцев... Всего-то на 637 крошечных смертей Луны. А это так мало, что ничего по мне и не заметишь, лунный ущерб на мне не отразился. Так что извините, ничего не было, никаких особых изменений со мной во вселенских масштабах не произошло. И опять обидно. Хоть Вселенную в себе сокращай вследствие ее возрастной профнепригодности.

Сегодня немного поболели с утра воспоминания, а так чувствую себя ничего, в остальном не больно. Превозмогая некритичность больного, приходится признать: воспоминания мои сильно расша-

таны. Нужно что-то неотложно с ними делать, иначе они начнут прогрессировать. Или, может быть, подлечить горячечным ставший Саратов? Он семь лет страдает самопроизвольным испусканием ярких и безутешных видений. Этот город болеет зияющей невосполнимой потерей. Он и сам, бедный, устал от ранящих чересчур глубоко свежих иллюзий, от непомерно явственных галлюцинаций, которым хочется быть взамен прошлого, вынь им да выложь. Ему на месяц иль более предписать бы полный покой. И лечебную тишину в окне. И небесно врачующую закатную тишину, мягкую стынь. Может, и мне тогда в скором времени станет легче и мои воспоминания резко пойдут на поправку, втайне снова, конечно, готовясь к былому. Опять они, опять возьмутся за старое! Какая же светлая мне с ними беда!

Что ж, дело конченое: Валерий Володин, ненужное зачеркнуть. Останусь существовать лишь в двух последних словах, за ужатостью и по экономии средств переместившись из четырех: очередное грядет уплотнение, в мою фамилию обещаются подселить Иванова из офисного планктона, рейдерский захват меня был вчерашней ночью посреди сновидения осуществлен. Так что взяли меня еще тепленьким, а бежать дальше сновидения было некуда, вот и попался... Уж простите ради всего святого, теперь я только Ненужное Зачеркнуть. Так надежнее я помещаюсь и без малого целиком. Да и уютнее себя чувствую, взмыв над именем бедным и смирным моим, оставив его на растерзание будням и строгому, как отставник, быту. Ну хватит вопить, имечко, хватит, уймись. Не засоряй тишину мою криками, и без того окрестности мои голосисты, точно ушиблены вечным праздником... Нет, голосит во всю мочь и немочь! Что ж, возвращусь кормить свое отощалое и одичалое имя, иначе отдаст ведь свободно концы... А с такими финалами нам не по пути. С тем и остаюсь Иванов-Володин... а может, Володин-Иванов, не различить, ненужное зачеркнуть. Впрочем, так и так не поймешь, какой вышел из всего этого человек, смутно ощущаю себя расплывчатой массой сильно разбавленного населения, видимо, не в той пропорции ошибочно разжижили. Сейчас в дверь офиса заглянет, суя наугад в кабинеты свои разнообразные морды, наша акула бизнеса, весь заранее трясусь, обмираю и мрусь – это я говорю, дрожащий планктон. Пожирует мною сейчас наша акула, ох как она поживует... Ну, не прощаюсь, а просто пошел элементарно прятаться. Буду жить теперь в стол. Может, хоть так из меня что-нибудь получится.

Неверкино – Саратов, 2002–2004; 2007–2010.

Алексей ПОРВИН

***

Ротой, по улице проходящей,
вскинута запевка, и воробей,
сшибленный в облако, пролетает
мимо моего окна.

Я успеваю заметить рану
прямо между взмахом и головой –
там, где нежнеет пушистый воздух,
увлекающий наверх.

Как же тебе удаётся, птичка,
истекая от мотива, лететь?
Кажется, песни войны толкают
тело всякое – наверх?

Тело взмывает и вдруг – сильнее
делается, а спадает – пятно,
клочьями виснет на зимних ветках,
схожее с душой твоей.

***

Сад подвластный, ты не клонись
к метрам покоя, в сумерках – моего;
стадо на пастушьем пруте
водит по окнам голосом гроздевым,

словно знает – здесь, над столом,
маленький свет, врастающий в потолок –
это безмятежность, а в ней
шорох пыльцы, негромкий и листвяной.

Дерево ветвями сплестись
с деревом хочет, чувствуя общий грунт,
но моя не дышит листва
окриком, направляющим твой изгиб,

но твоя не слышит кора
звуков, созревших не от пастушьих рук –

Алексей Порвин родился в 1982 году в Ленинграде. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Волга», «Нева», «Новая Юность», в сетевых литературных журналах «TextOnly», «РЕЦ»; в переводах на английский – в журналах «St. Petersburg Review», «Fogged Clarity», «SUSS» и др. Автор книги стихов «Темнота бела» (М.: Арго-Риск, 2009). Постоянный автор сайта «Новая Камера Хранения». Живет в Санкт-Петербурге.

сад подвластный, лучше склонись
к небу, оно и в окнах моих – одно.

***

С полуночи надышано –
и чем-то, замутняющим даль,
цветочным, а потом – порхающим
вновь запотела печаль;

и чем-то разговорчивым
пейзаж до основанья покрыт:
отпрянь, молчанье, от окошечка,
не протирай, говорит.

Не вторить виду майскому,
когда примешан к влаге такой,
отважусь вряд ли, если дышащий –
облачно-спящий, морской:

с его дыханья точного
переходить на собственный шаг –
не это ли навек предлетнее
утро, где утро – пустяк?

***

Длится игра пред светом неверным –
вместо лучика засиять в меня:
комья глубинные борются с верхним
ожиданием дня:

кто-то с гористой пашни отступит,
тусклой оставаясь неправотой,
если победа в сиянии топит,
призывая – *«постой!»*

Лишь бы поспешность нас избежала;
сталь взрезает землю, спросив у всех:
в гору тащиться – не выдержит жила
эту пахоту вверх?

Вывернутые пласты на пологом
склоне означают, в рассвет сыграв:
глубь земляная отпихнута плугом
без разбора, кто прав.

***

Никто не покидает берег,
не ступит на ребячий ледок,
ведь сквозь ледок зияет гибель
и глубина, сквозящая в бок –

а что в боку нагретом, левом,
прозрачного бежит сквозняка?
И что в боку, извечно правом,
не двигается наверняка?

Да всё одно – соблазны веса:
он любит хрустнуть первым ледком
(на луже разве что, а глубже
ему не нужно – там *не о том*);

о, водоём, как прежде, ждущий
пришествия объёмных пальто
и курток тягостных размеров –
их не дождёшься – ты *не про то*.

***

Символ твоей весёлой власти
втекает в просторный вдох,
а чему ещё подчиняться,
если ты – промок?

Если в лесном ручье мутнеет
осадок грозы былой,
полюбуйся выбором рыбьим,
правильной игрой.

Неунывающие стайки
целуют ничто, а в нём
заключён секрет оставаться
тёплым летним днём –

рыбы, губами припадая
к трепещущим пузырькам,
присягнут прозрачному флагу,
а не облакам.

Феликс ЧЕЧИК

***

Всё просто и хитро,
бесхитростно и странно:
и речки серебро
и золото каштана.

Октябрь. Вопреки
наложенному вето,
прогулка вдоль реки
каштанового ветра.

И я на пару с ним
лечу, и сердце радо,
как будто парусник –
легко и безвозвратно.

Музыкант играл...

I.

Молчит оглохшая строка,
воды набравши в рот,
покамест правая рука
не подберёт аккорд.

Покамест левая в тиши
блуждает, как впотьмах.
И немота моей души
перерастает в страх.

Но музыкант нарушил тишь,
заговорив сквозь тьму
на языке понятном лишь
ему, ему, ему.

И прочь отчаянье гоня,
как будто из тюрьмы,
он вывел за руку меня
из тьмы, из тьмы, из тьмы.

Феликс Чечик родился в 1961 году в городе Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, стажировался в институте славистики Кёльнского университета (проф. В. Казак). С 1997 года живет в Израиле. Автор 4-х поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций.

2.

Уповаю и надеюсь,
что опорой вам:
утром – Вольфганг Амадеус,
ночью – Людвиг ван.

Потому что – это важно, –
важно видеть свет
в час, когда темно и бражно
и просвета нет.

Я возвёл себе хоромы
в поднебесье из
песнопения вороны,
глядя сверху вниз.

В них живу, как посторонний,
и надежды нет,
просыпаясь под вороний
аккомпанемент.

Время – форте, счастье – пьяно, –
вызывай врача
Иоганна Себастьяна
Шостаковича.

3.

Октябрь. Под скрипы уключин
и шорохи в камыше,
неистовый Малер созвучен
моей беспризорной душе.

Озёрной для мятного чая
воды вскипячу в котелке.
Десятой симфонией стая
гусей проплыла вдалеке.

Куда – никому не расскажет.
А ветер, спустившийся с гор,
берёзовой веткою машет,
как палочкой дирижёр.

4.

Фоном: Моцарт, Гендель, Бах.
И на этом фоне
засыпают боль и страх,
словно ночью кони.

Умирают страх и боль,
как на поле брани,
лишь коснётся нота «соль»,
застаревшей раны.

Страх и боль воскреснут вдруг...
Но не унывайте –
к вам спешат на помощь: Глюк,
Гайдн и Вивальди.

А в полночных небесах
звёздное раздолье,
где горит созвездье Страх
по соседству с Болью.

* * *

Безумие, виденье,
потусторонний сон:
моё сердцебиенье
с твоим не в унисон.

И сердце, мучась вечным
вопросом, – бьёт под дых
одним, но бесконечным
биеньем на двоих.

* * *

Задолго до седин
во все концы мело.
Я сердце посадил.
А сердце проросло.

А я-то думал, что
пришёл ему конец
среди забывших о
прощении сердец.

Цветёт за годом год
и плодоносит сад:
целебный словно мёд,
смертельный словно яд.

А может быть плоды
его приснились мне?
И надкусила ты
и умер я во сне.

Мария ВАТУТИНА

Переславль Залесский

В Переславле, чиненые дома, резные ставни,
В Переславле бросишь яблоко, попадешь в монастырь.
В Переславле-городе озеро – наша ширь, нашатырь!
Не рассказывай о загаданном на Синем камне.

Синий камень тонет в нюнях, всплывает в крови.
Даже если просишь свободы или смерти себе ты,
Даже если просишь славы себе сверх сметы,
Синий камень знает: ты просишь любви, любви.

Синий камень – страшный камень, на него только встань,
А загаданное ужо бегает по осоке в красной футболке:
Большеротое, доброе, восьмилетнее. И тебе, богомолке,
И тебе, язычнице – Александрова Горка, Ярилина лихомань.

Синий камень – сгусток истории, преклонялись ему
Лихоимцы, спускали его с горы овцы христовы,
Катили по льду, бросали в прорубь, всходил на бреге, снова
Отвозили на лодке в середину озера, переваливали за корму.

Синий камень всегда приходил на землю цел невредим.
Синий камень говорил земле: не бойся, родим.
Мы еще родим с тобою, земля, живучих детей.
Синий камень пел-свистел: тетей-потетей.

Видел я в середине озера прозрачный посад.
Да не знал, где дно, а где поверхность времени в синям море,
Восходила рыба серебряной чешуей в световом фаворе,
Возрождала меня назад.

Выбрасывало меня синье море, Плещеева чаша.
Обнимала меня земля, окаймляла осока, оживляла душица.
Приходили попы, смотрели. Приходил народ, побожиться.
Так же выживет и семя́нце наше.

Душе ль мое, бескрайняя бестолковая благодать,
То ли стынь-пороша в зеленой траве до поднебесья,
То ли синь-камень-перекати-полесье,
Разве не знаешь, что тебе от меня загадать?

Мария Ватутина – поэт, журналист, юрист, автор шести книг стихов, лауреат премий «Московский счет», «Антология», «Заблудившийся трамвай», премии им. А.А. Ахматовой, дипломант Волошинского конкурса. Живет в Москве.

Странный век: эта сельдь людская, душу ее язви,
Приплывает к Синему камню, с I-pad под мышкой,
Снимает шлёпки, встает на горячее, просит себе
Ноут-Бога с мышкой,
И это тоже значит: любви, любви.

***

Дерево в лентах. Заплетали светлые эти косы
В Судаке малороссы, в Переславле великороссы –
Поднимались в гору, перепрыгивали по мосткам, наряжали.
Загадывали сокровенное, уезжали, рожали.

Вот и стада бескрайние сгущаются в наших кущах.
От войн бедущих, от волн бегущих
Пришлые люди стучатся в наши мазанки и сараи:
Шотландцы, варяги, бюргеры, самураи.

Говорят, затопило всё по краям господней тверди.
А у нас у самих повесилась мышь на жерди,
А у нас у самих Сибирь комарней сипит.
Одно вот только дерево и стоит.

Шелковые ленты по веткам его змеятся.
Птицы на него не садятся. Боятся.
Уши у него – беда, всё ему Коляда.
Страшное дерево: стоит, и ни туда, ни сюда.

Дерево в лентах стоит у меня перед глазами.
Выскакивает из-под земли в Боголюбове и в Рязани,
В чаще лесной торчит, всплывает в озере топляком.
Хочет помочь, не знает как, сплелось клубком.

Александров

По монастырскому двору, где на траве блестит пеленка,
Кружит по клеверу в жару фигурка рослого ребенка.
Ребенок Лиза кучеряв и своенравен не по летам.
У девочки монарший нрав, и он идет Елизаветам.

Она еще не осознала пут, не поняла, что арестантка!
Что быть наследницею – труд. Эй, барышня-крестьянка!
Кружись-кружись, игрушечный призор шутовской челяди пригашен.
Потешный флот – твой здешний двор, но тем и страшен.

Лети за куклою, кидай ее, кричи, надменно горлопань указы!
На Серой речке усачи да богомазы,
Да в жарких фалдах фаворит, да фрейлины, помятые спросонок –
Пусть не показывают вид, что всё здесь на крови стоит – и даже ты, ребенок.

Но вдовья доля, вдовья часть – одна шестая мирозданья –
Пока играешь ты во власть в растерянности вырастанья,
Уже видны в лице твоем. И взглядом, жаждущим подмоги,
Ты смотришь на изгиб дороги за Александровским Кремлем.

Москва

Плачут лилии лепестками,
Словно слезами красными.
Поджигали Москву, лепетали:
Гори-гори, ясная.

Полицейские хлопали полами,
Поджигали избы, изнутри полые,
Крестились, «прости и помилуй» ухали,
Макали в солому факелы, нюхали,

Поддували руками-лопатами,
Отбегали галками лохматыми,
Не смотрели друг на друга, не верили,
Что и третий Рим похерили.

Вижу красные лилии,
Вспоминаю, как тебя спалили и
Думаю взять на вооружение
Самосожжение.

Погода

1.

Манкая, как бабья красота,
Пагубная, злая –
Нас одолевает теплота
Крах усугубляя.
Все теплее русская зима
С каждым перегоном.
То ли пыль осела на дома,
То ли снег шифоном
Покрывает шифер старых крыш,
Стаивает мигом.
...Боже, так врагов не победишь
С их блиц-кригом.

2.

По периметру фасадов
Пущены огни.
От погодных перепадов
Ног не протяни.

Новогодние сюжеты...
Помнишь, в Рождество
Звал к себе меня, мол, это
Правильней всего.

Взял вина, еду простую
В коротанье дня.
Говорил, что в ночь такую
Сгинешь без меня.

Говорил, об эту пору
Одному невмочь.
Что на тропочке к забору
Будешь ждать всю ночь.

Переделкинский калязин
Утопал в снегу.
Я ответила отказом,
Щедрым «не могу».

Мне в такую даль некстати,
Я постель стелю,
Я вообще уже в кровати.
...Словом, не люблю.

До сих пор не вижу света:
В чем-то был подвох.
В ту ли ночь родился где-то
Новогодний бог,

И одной любви недолгой
Умер нежный свет,
Словно снег под дачной ёлкой,
Где подарков нет?

3.

Как прежде, жив литературным
Трудом и только им одним,
К гламурным улицам и урнам,
К отеческим гробам больным
Ты возвратился. Горек дым.

Я вижу, взгляд твой так рассеян,
Как будто пшикнули из глаз,
Как под Изборском из расщелин,
Водой, когда в последний раз
Судьба испытывала нас.

Ночной Москвой, сухой и стылой,
В огнях таких, что спасу нет,
До Красной площади постылой
С катком (по тысяче билет) –
Молчи! Молчи! Не плачь, поэт.

Тебе поможет амнезия
Не сокрушаться ни о чем.
А дух гостиницы «Россия»
Еще томится за плечом.
За ширмой с черным сургучом.

4.

Восемь лет гоняет по жилам кровь
Гениальный орган, лишенный зренья.
Я теперь всё думаю, что любовь
Это только время, а не явленье.

На себе поставила опыт я:
Только время делало нас родными,
Даже если в разные мы края
Уносились пулями холостыми.

Даже если ветками не срослись,
Даже если век над тобой кукует
Птичка рыжая, но, продлевая жизнь,
В перекрестных рифмах не маракует.

И уж если следовать за строкой –
То она – не я – источает силы,
Истончает вены свои тоской,
Словом, любит, я бы так не любила.

Я бы так не длила за часом час –
Превращая время в любовь, как будто
Не встречает вечер один из нас
В тот же час, когда у другого утро.

Словом, я удачно тебя тогда
Возвела в космический статус брата.
Кроме пользы нет от меня вреда,
Как любила мать говорить когда-то.

Нина ГОРЛАНОВА

ЗЕЛЕНАЯ КЛЯКСА

Рассказ

– Интонация, господа, интонация! – воскликнул Пригов.

А его приятель кормил со своей вилки соседку в платье со скорпионами (рисунок такой), показывая, сколько можно выпить: чуть-чуть.

Много было вброшено загадок: а это чьи стихи, а вот это...никто не уступал натиску банкета.

Обозначу место действия: немецкий город Ф.

Время – начало двадцать первого века.

На конференцию тогда собрались слависты со всего света. Когда буйные пляски концепций закончились, начался литературный вечер, для которого и были приглашены писатели. И наконец грянул раблезианский банкет в огромной профессорской квартире.

Я вышла на лоджию, и сразу рядом оказался Костя Белов, похожий на всех американских президентов сразу. Впрочем, я слышала его подвыпивший голос еще за столом – как он воевал в Афгане. Подвинул рюмку: вот тут стоял пулемет... голосу него глуховато-умный, с бархатцами словно.

– Была засада в пустыне... на день нас забросили, а пробыли три. По рации сообщаем в штаб: уже умираем без воды. А те свое: сщас-щас появятся моджахеды. Стояла такая тишина – ни зверей, ни птиц, ни насекомых. С тех пор я не люблю тишину. На третий день на нас набрел караван торговцев водой. Мы показали им оружие и забрали воду. И это, конечно, не прибавило к нам любви местного населения. Моджахеды так и не появились.

Женщина с волевым подбородком – это его жена, вспомнила я (они похожи). А рассказывал он гениальной славистке Д. (агрессивный макияж, гегелевские круги под глазами).

– Какие-то серебряные проволоки у нее на шее. Красиво, но будто из петли вынули, – сказал он про Д., когда мы стояли на лоджии.

При этом он страшно морщится, но это ему идет.

– Мне вообще одна читательница подарила браслет с черепами из слоновой кости – пришлось потихоньку выбросить, – ответила я. – И давно ты в Германии?

– Дочь вышла замуж за немца. Зятя зовут Петер. Здесь много нас – из союза. Всегда профессор приглашает на писательские вечера и банкеты.

– Дочь сегодня с тобой?

– Была. Они с женой сейчас домой пошли – устали. А я еще на концерте семафорно маячил тебе из зала, но в это время ухнул Пригов, изображая кикимору, и чья-то дочка громко заплакала...

– Ты же иврит учил... я думала, что уедете в Израиль.

– Нет. Иврит я учил для поездок на Мертвое море... псориаз открылся – внезапно после одной истории... по службе.

Костя, майор в отставке, целый год ходил к нам учить иврит, но больше обсуждал с мужем мемуары про Афган. Критиковал практически все, что читал: в составе такой-то части не было такого рода войск и т.д.

Нина Горланова родилась в деревне Юг Пермской области. Окончила филологический факультет Пермского университета (1970). Работала лаборантом в Пермском фармацевтическом и политехническом институтах, младшим научным сотрудником в Пермском университете, библиотекарем в школе рабочей молодежи. Методист в Доме пионеров и школьников. Автор десяти книг прозы и многочисленных публикаций в толстых литературных журналах («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Урал», «Волга» и др.). Живет в Перми.

– Один сержант пишет, что он воевал в той же части, что и я. Я его не помню, хотя все сержанты у меня как наяву. Он описывает, как убил снайпер лейтенанта – в ответ на работу пулемета. Помню этот случай, только пулемета в тот день у нас не было – он был на другом участке.

Я не исключала, что аберрация памяти у самого Кости, хотя остальные его рассказы поражали деталями, которые нельзя придумать.

Например:

– Однажды четыре «вертушки» играли в догонялки. Задний вертолет пикировал, набирал большую скорость и обгонял всех. Тогда отставшие спохватывались и делали то же самое. Причем двери открыты, жара, и солдаты высовываются, машут друг другу, орут, показывают кулаки, неприличные жесты...

– Видимо, во время войны нужны такие игры, типа инициации, – сказала тогда я, – Нужно отвлечься от ужаса смерти. Регулируемая опасность лучше неожиданной.

Вернемся к банкету. Уже все пели:

– Меня мое сердце

В тревожную даль зовет!

Кто-то стал выслушивать сердце гениальной славистки с озабоченным видом: в самом ли деле там страна родная? В самом ли деле зовет?

Впрочем, банкет вдруг закончился – все отправились гулять по ночному городу.

Ночь была не немецкая, а чуть ли не итальянская.

Говорили все по-русски, только два американца беседовали с Приговым по-английски.

Поплыл звук католического колокола, как бы предназначенный от века.

Мы вплотную подошли к собору и увидели несколько ящичков в стене, как в письменном столе.

– Для чего они? – спросил Пригов и потянул один.

В нем мелкие монетки. Наперебой все стали предполагать, что какие-то бедные люди могут взять эти евроценты, чтобы не было стыдно; или, наоборот, положить, чтобы купили для собора что-то. А до этого – напоминаю – был банкет, и каждый выпил свою меру прекрасного южнонемецкого вина. Поэтому Марина с воодушевлением сказала:

– Представляете: выдвинем другой ящик – а в нем ангел!

– А на ангела что можно купить? – спросил Пригов.

– Кстати, я еще в Афгане стал замечать, что ненависть губительна, даже к врагу. По некоторым было видно, как они ненавидят душманов. Именно такие чаще и гибли.

Так Костя начал свой рассказ. Сразу признаюсь: я не буду делать вид, что понимаю до тонкостей все эти выражения («Позиционная война», «На плечах противника», «Встречный бой», «Разведка боем» и т.п.).

– Мой отец когда-то работал с Черненко, – издалека, слишком издалека, шел рассказ Кости.

– С тем самым Черненко, который Генсек?

– Да. Он одно время был секретарем по идеологии в Пензе. И отец мой там же работал. И вот я из армии написал письмо Черненко, когда он стал генсеком... непросто было предотвращать прорыв душманов на нашу территорию – в Узбекистан. Нужно было громить их отряды далеко от границы. А вертолет может взять керосину только на два часа полета. Далеко залетать нельзя, а надо... Так умельцы придумали запасной алюминиевый бак. Но! Стенка его пробивается любой пулей, и тогда вертолет превращался в летающий крематорий... Ну и Черненко позвонил в наш штаб: «С вами Черненко разговаривает» – «Какой Черненко?» – «Тот самый». – «Константин Устинович?!»

– И тебя позвали к телефону?

– Еще бы не позвать! Позвали. Мы поговорили. Черненко спросил: как отец, то-се... После этого меня стали повышать по службе. Стали повышать, но одновременно ждали, что и я им помогу. Но тут Черненко скончался...

Я все же спросила Костю про баки: заменили алюминиевые баки? Оказывается – нет.

– Зря я писал Черненко! Зря... втравили меня в такую историю...

Костя уже жил в Москве (началась перестройка), вечером звонок. В дверь вваливается тяжело

раненный Никола – сослуживец по Афгану (прозвище Могикан, простое солдатское лицо):

– Костян! Ничего не спрашивай. У меня семь минут. Запомни два слова: зеленая клякса. Теперь все – прощай. Посмотри внимательно, чтобы не было крови.

И снова заковылял к лифту. Крови нигде не было. Костя посмотрел в окно: раненый перековылял через дорогу, никто – вроде – его не хватал. На самом деле спецслужбы не носятся, как в сериалах, на черных бешеных машинах.

До этого Никола менял цвет волос. То зеленоватый... то вдруг блондин, то рыжий, то брюнет. Думали уж всякое про него. А на самом деле оказалось: жена у него парикмахер – на дому красит клиенток, краска остается. Она говорит мужу: «Давай на тебя смажу, у меня будет новый муж».

Вдруг после этого появления раненого Николы последовал взрыв активности коммунальных служб: по всему дому, но потом оказалось по всему кварталу – проверяли то газ, то свет, то водопровод. Костя уже понимал, что искали кровь на полу...

Когда все утихло, Косте позвонил по телефону другой сослуживец с просьбой помочь устроиться в столице. А был этот другой – контрразведчик. Еще однажды уверял Костю, что во время сложного разговора с агентом потерял два кило веса. Почему ему нужна помощь... не ясно.

Встретились на лавочке. Контрразведчик уговорил:

– У меня такое есть во фляжке – на 24 травах, ты просто ахнешь.

Выпили. Контрразведчик и говорит:

– Давай слово.

Костя с облегчением подумал: вот сейчас скажу им, и они отстанут от меня со своей кровавой абракадаброй.

– Зеленая клякса.

Взгляд собеседника остекленел, изо рта его посыпались названия цифр. Костя подумал: ну, все это я не запомню, надо выпрыгнуть из этой истории.

Стал прикидывать, как бы ему из Москвы слинять.

Сослуживец уже отбарабанил свое и удалялся.

На другое утро Костя проснулся и с ужасом понял, что помнит все слова и все цифры. На самом деле, были сильные травки во фляжке.

– Помню: иду по улице, идут дети и едят снег – счастливые! Лет девяти. Как я им позавидовал!

Через какое время на Костю вызывает начальство! Проложили коммуникационный канал – по нему человек должен пройти. Кабель был бронированный (чтобы мыши не прогрызли). За ночь этот кабель украли. Начались допросы.

Потом все утихло.

Вдруг снова вызывают Костю:

– Ваше дело забрызгано водой. Все расплылось. Зайдите еще раз, мы заново запишем ваши показания.

Водой? – засомневался Костя. Наверное, водкой. Праздновали очередную благодарность, рука дрогнула... У них там все стены в рамках, а в каждой рамке – благодарность.

– А притом вызывал Кешка Иванов, с которым перед началом войны с Афганом я служил на узбекско-афганской границе. Внешне этот Иванов – лошадь, вставшая на задние ноги, но лицо светлое... Тогда афганские пастухи будто нечаянно выгоняли свои отары на нейтральную полосу, где была невыеденная трава. Стрелять нельзя, поэтому мы БТРами их вытесняли. Ну, всегда трех-четырех овечек нечаянно задавим, в ведрах баранины наварим. Они особой курдючной породы, нежный жир. То бишь свои были в доску! А тут допрос за допросом... Уже мое поведение называет беловщиной! Мол, что же я скрываю...

– А ты что?

– Я молчу. Я же не знаю, в какую историю влип... А Иванов переходит порой на ласковый тон: мол, помнишь, на высотке душманы, а тут, в распадке (пошла в дело желтая салфетка), нас «вертушки», суки, высадили, побоялись дальше лететь, а потом говорили, что ошиблись. Мы бежим, я волоку плиту от миномета, она восемьдесят кило, а нас уже стали обстреливать...

– А ты?

– Я не покупаюсь, молчу. Он начал угрожать. Я только стараюсь его не возненавидеть. Чтоб не пропасть совсем... И вдруг Иванов исчез. Совсем. Ищут его. Нет его. А нужно тебе сказать, что на войне у нас появились свои поверья. Что есть солдаты, приносящие несчастья. Сами они выживают, а вокруг все гибнут. Роты стараются перепихнуть его друг другу. В конце концов он оседает где-то в прифронтовой полосе: писарь, водитель. Точно так же верили что есть, якобы, носители удачи: с ним рядом снаряд упадет и не взорвется; пошли в атаку на дзот – у вражеского пулеметчика заклинило пулемет. С «везунчиком» стараются поменяться по ритуалу «махнем не глядя», но меняются с выгодой для него...

– Да, я сама знаю историю двух братьев: во время второй мировой один погиб в первом же бою, а другой – прошёл всю войну минёром и дошёл до Берлина без единой царапины!

– Этот Иванов был везунчик. И вдруг исчез. Я стал подумывать о переезде в Пермь, там родители жены. Подал рапорт, чтоб в отставку уйти. И тут попал в автокатастрофу один наш сотрудник со странной фамилией Дремо. Я помогал жене Дремо забрать тело из морга... и там увидел тело Иванова! Каждый из нас, человеческих существ... в общем, все мы понимаем, что покойник – это не очень веселое зрелище... но все же – это правильных очертаний мясо... а что я увидел... даже тебе не расскажу... То есть пойми: он был лошадь, вставшая на задние ноги, но правда лицо было светлым! А тут все перекошено от страха, рот по диагонали просто!

– Ты уверен, что это был он?

– На сто процентов. У него с годами бородавки стали на лице выскакивать... И почему мне нечаянно якобы его выдали вместо погибшего в авто? Тоже загадка... Случайно ли? Ну, ошибку тут же исправили, а у меня открылся псориаз, я слег в больницу... и тут отставка, мы в Пермь скорее...

– Как – в один миг открылся псориаз?

– Не совсем. Я ехал домой в метро. После того, как мы узнали о гибели сослуживца в автокатастрофе... в общем, жена моя несколько дней не позволяла мне сесть за руль. И вот я еду в метро, слышу «Уберите елку из моих ушей!» – подумал, что снова пароль – отзыв... И все зачесалось, все тело! Но потом оказалось, что в переполненном вагоне везли украшенную елочную ветвь – это приближался День Победы 9 Мая...и елкой попадали в уши людям. Но псориаз все нарастал...

– Дальше я знаю – ты оказался в Перми.

– Но каждый май – перед Днем Победы – стараюсь помянуть Иванова. Первый раз еще в столице я дал во дворе знакомой собаке кусок пирога и сказал:

– Помяни Иннокентия Иванова!

А песик-то понял, съел как-то степенно.

В Перми Костя открыл строительную фирму.

– Не один. Мы с Зуром открыли. Зураб – тоже мой товарищ по Афгану, он в Пермь переехал за сыном тогда...

– Ну помню я Зура, вы же приходили на Новый год один раз. Кто-то его сравнил с пятнистым сладкогубом... красавец!

Помню, как Костя тогда сокрушался: безжалостно уничтожается старина. Бульдозером сносят подряд все: изразцовые печи, редкостной красоты лепнину внутри дома... Ставили фундамент и отрыли двухсотлетней давности водопровод из лиственниц: каждая по 7-8 м длиной, в диаметре полметра и внутри выжжен канал для тока воды... Решили: давайте нарежем несколько колец от бревен – на память. Так лиственницы настолько окаменели, что все цепи порвались на пилах! Можно было бы все это поместить в музей старой Перми, но каждый час простоя для фирмы...ужасно дорог.

– На Западе премируют каждого, кто звонит о находках! А у нас потом будут говорить, что история Перми скудна, что жили здесь какие-то темные люди... Знаешь, Нина, по ходу жизни нарастает любовь ко многому: к истории особенно...

– И все? Ты так и не узнал про зеленую кляксу ничего?

– Слушай по порядку. Вот однажды я прихожу к Зуру в гости, и с экрана телевизора меня уличают: «Потом вы избавились от тела Гарри и покопались в бумагах Джима»...

– Тебя уличают?

– Нет, конечно. Но пойми: я предчувствовал, что продолжается все... что в Перми в покое меня

не оставят. Эти слова про тело Джимми просто ударили меня! Хотя они-то ни при чем... да, просто телевизионный детектив... И когда мы выкопали клад – коллекцию древних монет, я понял, что из Перми пора срываться. Что меня арестуют за сокрытие клада, а там дожмут... в тюрьме.

– Господи! Это ведь не баран чихнул – подбросить в старый дом коллекцию драгоценную.

– Так на кону большие бабки были – золото партии!

При этих словах (золото партии) я вздрогнула. И вскрикнула:

– Про золото я писать не буду! Костя, послушай, ведь подумают, что я знаю, где оно... Замучают меня!

И вообще мне это не интересно! Хотя в русской литературе было немного трикстеров (Хлестаков, Чичиков), в советской – Бендер... меня они не волнуют! Я понимаю: Остапа любят, потому что при советах нельзя было предприимчивому человеку себя проявить... только плутовать... честно, мне почему-то не хочется писать о плутах! Почему же мне не интересно писать об этом? Ведь о плутах пишут весело, я тоже стараюсь писать весело... но у меня другая веселость, не сатирическая, а жизнестроительная, что ли...Плута же любить я не могу, а без любви писать уже не хочу...

– Кстати, как ты узнал, что пароль «зеленая клякса» относился к золоту партии?

– Анализировал... читал все... Началось с Черненко. Они думали, что я знаком, значит, могу знать, что я с теми, кто прячет золото партии... Но все же уверен до конца я не был. Пока не дали медаль.

Итак, Костя сразу же сдал государству клад с монетами.

Делать нечего, государство его решило наградить.

Медаль вручали в Москве, телевидение снимало, все честь по чести. Был прямой эфир.

А Костя заранее приготовил табличку с цифрами. С теми цифрами, которые знал. Так и написал «Номер ячейки такой-то». И когда у него брали интервью, он держал в руках эту табличку. Ее видели миллионы телезрителей.

Теперь убивать-пытать Костю не было смысла... Телекамеру, правда, оттащили от Кости через 30 секунд, но все равно миллионы видели.

Потом газеты писали, что ячейка, номер которой видели миллионы, оказалась, по слухам, найдена пустой. Там лежала для смеха стирательная резинка. Но не скорбите об этом человеке, который первым открыл ячейку. Он проявил чудеса душевной пластичности: тут же выпустил книгу «Как я не нашел золото партии» и продал сюжет Голливуду за 3 млн долларов.

Потом писали, что вся эта линия с паролем «Зеленая клякса» была отвлекающим маневром от настоящих ячеек, где лежала папочка с кодами активации счетов. Но о ней ничего не известно до сих пор.

Перед тем, как нам расстаться, Костя рассказал вдруг еще одну историю из военной своей поры:

– Помню, в Афгане забыли солдата... Погружались спешно в «вертушку», и ответственный за погрузку офицер ошибся в счете. Только в полете это обнаружилось. Долетели до Узбекистана, заправились и вернулись. Еще с высоты увидели стог, а в нем спит наш солдатик. А поблизости кругами ходит афганский пастушок. Им за каждого живого «шурави» давали тысячу долларов. Обычно ведь как летали – звеньями! Один спускался, а остальные ходили в вышине охраняя. Но тут всего всего один вертолет! Делать нечего, рискуя, спустился, забрал солдата. Пастушок сбежал.

У нашей гостиницы мы простились. Но что вы думаете?! Костя вдруг вернулся и радостно говорит:

– В конце войны стали уже бензиновые двигатели на дизельные заменять – на БТРах. Они меньше горят, и солдаты могут спастись.

28 декабря 2010
Пермь

Александр МИРРО

МОНСТР

Рассказ

Когда наступал вечер, часов девять-десять, Влад опускался в кресло и прикрывал глаза. Таким образом он забывал о мире. О всех его проблемах. Хотя бы на полчаса. Но в этот раз ему не удалось – как только он сел и закрыл глаза, в комнату ворвался его маленький сын и стал чем-то шуршать и скрипеть. Что-то грохнулось, но Влад не поддался. Он тихо сказал – Артем, иди в свою комнату. Потом повторил еще раз, не открывая глаз. Возня прекратилась. Но через секунду Влад почувствовал резкую тупую боль в правой брови – он увидел, как по ковру катится цветной пластмассовый кубик. Его маленький сын замер в дверях комнаты и, хихикнув, бросился вон.

– Артем! Что это такое? – Закричал Влад, чувствуя, как все в нем закипает. – Совсем с ума сошел?

Из кухни вышла его жена, Алена. Лицо ее было недовольным и заспанным, волосы разметались по лбу.

– Что случилось? Что кричишь?

– Твой ребенок совсем с ума сошел! – Раздраженно ответил Влад, щупая бровь.

– Успокойся. Не надо на него кричать. – Понижая голос, сказала жена. – Не кричи.

– Не кричи, – обиженно передразнил Влад и вздохнул. – Пусть не кидается в отца игрушками.

– Артем! – крикнула жена, повернув голову в сторону двери.

– Что? – раздался после некоторой паузы детский чуть шепелявый голос.

– Не кидай в папу игрушки. Хорошо?

– И что он там вообще делает? – выдохнул Влад.

– Хорошо, – выкрикнул ребенок. А потом послышалось: – Чертов... ах, ты так.

– Что? – напрягся Влад. – Что он сказал?

– Не знаю, – устало проговорила жена и вышла из комнаты. – Он играет во что-то. – Послышался ее голос уже из кухни.

– Играет, – бесстрастно повторил Влад и прикрыл глаза.

Мысли беспорядочно проносились. Он прислушался к звукам из других комнат – на кухне охнул холодильник, и одиноко звякнула тарелка. Тишина вновь постепенно обретала уверенность в квартире, изредка позволяя отдаленным звукам проезжающих машин за окном тревожить слух.

Влад подобрал цветной кубик и сжал его в руке. Ребенку пять, и он порой сводит меня с ума, думал Влад, глядя на игрушку. Артем, нервный парень. У него с этим некоторые проблемы. Иногда он устраивает невыносимые истерики, заходится в плаче на полчаса так, что не успокоишь. Откуда это у него? Врач его смотрел, но ничего внятного так и не сказал. Жена ему постоянно говорит не кричать на сына. Но ведь порой невозможно не закричать. И сама ведь отчитывает ребенка. Когда Артем пролил на ее новое платье клюквенный морс, она чуть с ума не сошла. Наорала на него так, что он весь покраснел как рак. И она тоже кстати. Оба были раскрасневшиеся – жена злая как черт, а ребенок испуган до истерики. Слава богу, не зарыдал. Единственное, сладости его успокаивают. Иначе никак. У него проблемы с психикой, он нервный, повторяла Владу его мать, бабушка Артема. Как будто он не знает? Особенно, если это повторять по сто раз. Владу приходилось постоянно сдерживаться, когда

Александр Мирро родился в 1981 году в г. Курганинске Краснодарского края, закончил Институт журналистики и литературного творчества. Рассказы публиковались в журналах «Топос», «День и ночь». Лауреат премии «Свободный театр» за 2009 год. В «Волге» дебютировал с рассказом «Заметки о рождении и смерти». Живет в Москве.

все в нем кипело, и он сквозь зубы, стараясь не повышать голоса, отчитывал Артема.

В комнату снова вбежал его сын и сходу бросил отцу:

– Эй, ты, чертов, что делаешь? И прыснул. Влад не стал реагировать, а просто прикрыл глаза. – Эй! Ты что спишь? – пискнул Артем. Влад молчал. Лишь приоткрыл один глаз. Его маленький сын подобрал с пола пару игрушек – зеленую фигурку солдата и что-то еще – и выбежал из комнаты.

Наверное, нахватался из мультиков, подумал Влад, слушая утихающий топот. Жена говорит, что дети как губки, все впитывают. Похоже, она права. Все плохое и все хорошее. Влад покосился на пульт от телевизора, лежащий на стеклянном столике. Но мысли не отпускали. Он поднял с пола начатую бутылку пива и отхлебнул пару раз из нее. Холодная жидкость приятно обожгла пищевод.

За окном раздался вой сирены. И Влад вдруг посмотрел в ту сторону, где недавно стоял его маленький сын. Он представил его, стоящего до сих пор с игрушкой в руке и подумал, что пять лет назад он был в другом месте, в другой квартире. Жил с родителями. И не было никакого Артема. Был живот жены. Ее охи и капризы. Влад напрягся – но вспомнить что-то особенное из того времени не смог. Все пролетело как-то незаметно. Вся эта беременность. Он даже не помнил свою жену в больнице. Когда это было? Зимой или летом? Влад переключился на свою память, которая стала заедать с возрастом. А может, меня просто не было тогда? – подумал он и медленно встал с кресла, которое жалобно скрипнуло.

Он подошел к окну и стал смотреть на улицу. Он видел темно-серую поверхность реки, берег, сложенный из гор бурого песка, скелеты кранов, асфальтовую дорогу, по которой периодически проносились машины, редких в такой поздний час прохожих, кто с собаками, кто сам по себе. Небо было чистым, темно-синего оттенка, закат уже случился, и мелкие ласточки соревновались друг с другом в выписывании зигзагов. Где-то далеко выла сирена, визжали шины машин, слышались даже людские голоса. Было такое ощущение, что где-то в такой час все еще кипит жизнь и что-то происходит. Владу нравились эти звуки и это чувство.

Он отпил еще пива и стал следить за девушкой, которая вела на поводке ризеншнауцера. Парочка перешла проезжую часть, и тогда девушка отпустила пса, который с радостью бросился вперед. Девушка остановилась и перетянула длинные волосы резинкой. Влад вдруг вспомнил себя, танцующего в квартире родителей. Он уходил в армию, ему было восемнадцать, он был худ и наивен. Родители собрали гостей, пришли друзья Влада – Илья и Макс, которого со школы все звали почему-то Мишей. Они все здорово напились. Влад весь вечер прикрывал свою остриженную голову кепкой.

Он помнил, как волновался тогда. Ежился от холодного ветра, переминаясь с ноги на ногу вместе с другими призывниками, такими же бритыми и худыми парнями с испуганным взглядом, перед пыльным грузовиком, в который им надо было залезть и трястись несколько часов в неизвестности. Его отправили под Иркутск, где он отслужил два года. Его приятель Илья ухитрился уехать домой через год. Он служил почти рядом, но они ни разу не виделись. Из того времени Влад помнил немного – чистка картошки насквозь замершими руками, высокий заикающийся парень из Хабаровска, с которым Влад делился сигаретами и пил чистый спирт, заедая конфетами, сухое вытянутое лицо прапорщика (или сержанта?) со сверлящими черными глазами, драки и гороховый суп, который приходилось отламывать кусками. Влад не намеревался идти в армию – так получилось. Сразу после школы он полетел в Красноярск, чтобы поступить в университет. Он помышлял о факультете экономики. В Красноярске жили родственники, и родители рассудили, что так сыну будет проще («не надо будет делить с кем-то общагу», повторяла мать). Владу же было все равно, он хотел поскорее сбежать из родительского гнезда. Жить с родственниками, сестрой матери, которую он видел пару раз в детстве и не запомнил, Влад тоже не собирался. Он думал пожить некоторое время у тети, а потом переехать в общежитие. Без такого опыта студентом и не стоит называться, думал он тогда.

Полный планов Влад приехал в Красноярск вместе с Ильей и Максом. Город казался большим и чужим и в то же время манящим. Им он сразу понравился. Но обоюдного чувства не случилось – за день до вступительных экзаменов друзья отравились, съев что-то в студенческой столовой. Возможно, это были котлеты, объяснял потом родителям Влад. От резких болей в животе невозможно было уснуть, а потом началась выворачивающая наизнанку рвота. Потом прибавился дикий жар. Провалявшись в больнице несколько дней, он упустил возможность поступить в университет. Влад

вспомнил тоскливые белые стены и бесстрастное сухое лицо медсестры, чей нос с горбинкой и потемневшие зубы отпечатались в памяти сильнее всего прочего. И еще вспоминалась какая-то гадливая усталость, тупая беспомощность. Илья отравился вместе с Владом и так же пролежал пластом все дни, изредка подкалывая медсестер сальными шутками. Их приятелю Максу повезло больше, он не ел в столовой и поступил в университет (правда, не в Красноярске, а в Москве). Отучился и женился на однокурснице. А Влад с Ильей выписались из неуютных холодных стен больницы и вернулись домой.

На улице совсем потемнело. Девушка с ризеншнауцером исчезла, как и все прочие прохожие. Из другой комнаты послышались громкие детские возгласы. Влад задернул штору и сделал жадный глоток из бутылки. Им овладела неясная ему растерянность. Он вдруг на секунду побоялся сделать хотя бы шаг в сторону от окна. Ему не хотелось выходить из комнаты. Не хотелось идти проверять сына или заглядывать на кухню. Это было странное для него чувство. У Влада даже похолодела спина и заныл желудок. Он прислушивался к звукам. Надо поговорить с кем-то, просто поболтать о ерунде, спросить жену о работе или новых туфлях, позвонить кому-нибудь, чтобы прогнать эту тревогу.

С Ильей и Максом близкое общение прервалось. Илья хоть и жил поблизости в том же городе, но собственное дело и непростая семейная жизнь поглотили его с потрохами. Они лишь изредка встречались. Макс же вовсе пропал – по слухам, он связался с сайентологами и перебрался в Швецию. Влад подумал о Сергее, муже его сестры (с ним он часто проводил вечера после работы, обычно они пили пиво и обсуждали детей, жен и прочие мелочи). В голове возникло добродушное небритое лицо с массивным носом и ироничной ухмылкой, прячущейся в усах. Влад тут же отбросил эту затею.

Все как-то запутано, подумал он, стоя посреди комнаты и боясь пошевелиться. Нужно подождать, и это само пройдет. Так бывает. Столовая, больница, медсестра с горбинкой на носу, улыбающийся Илья, красное от крика лицо прапорщика, безумная свадьба, беременность жены... Дальше полная бессмыслица. Влад потер виски и вздрогнул от громкого воя сирены под окном.

– Ты что делаешь? – послышался голос жены в темноте комнаты; непривычный и такой живой. – И без света?

Раздался щелчок выключателя, и Влад зажмурился на секунду.

– Влад, что с тобой? Что ты стоишь у окна? – затараторила жена, проходя в комнату в направлении шкафа. Там она чем-то зазвенела.

Влад уселся в кресло и поставил бутылку на ковер.

– Сколько времени? – спросил он тихо.

– Не знаю. Поздно. А что? – жена развернулась к Владу и с удивлением заглянула ему в глаза.

Влад посмотрел на нее в ответ. В ее выражении лица он узнал заботу, недоумение и слабую уверенность. Привычное сочетание. А что у меня с лицом? – скользнула мысль. Влад растерянно усмехнулся.

– Ты что? – шепнула она.

– Все нормально. Ничего. Я просто...

– Надо уложить Тему.

Влад улыбнулся, давая понять ей, что согласен уложить ребенка. Вздохнул и вылез из кресла.

Малыш издавал булькающие и шипящие звуки, изображая какую-то битву или сражение. В комнате был беспорядок, она не была переделана под ребенка – старые бледно-желтые обои местами ободрались, в углу под окном каменел чертежный стол (за которым занималась младшая сестра жены пару лет назад), светло-ореховые шкафы, забитые невесть чем, и потрепанный серый ковер под ногами. Ребенку предназначался стол, скрипучая кровать и небольшое пространство для игрушек. Малышу было все равно, он был слишком мал, чтобы что-то понимать. Он был погружен в собственные игры, где солдаты сражались, теряя руки и ноги, в страшных битвах с монстрами. «Мы теряем его, друг! Где этот чертов монстр!? Ах, ты так! Чертовые пришельцы, где наши оружия? Ты чертова гадина!» Влад слушал своего маленького сына и снисходительно улыбнулся.

– Ну что, чертов? Пора спать? – поинтересовался он.

– Эй? Уже? – Артем дернулся и с мольбой в глазах посмотрел на отца. – Еще чуть-чуть.

– Нет, пора.

– Ну... – протянул Артем, исказившись в лице, и отвернулся к своим солдатикам и монстрам.

Он продолжил свою игрушечную битву. Влад напрягся.

– Артем? Я что сказал?

Малыш не реагировал. Его отец наблюдал за ним, стараясь погасить нарастающее недовольство. Знакомый сценарий, думал Влад. Он сдался.

– Ладно, еще чуть-чуть. И все.

– Хорошо, – бросил малыш, не оглядываясь.

Влад зашаркал на кухню. Квартира была небольшая, она досталась им от матери жены, которая умерла три года назад. Влад вспомнил полубезумный взгляд тети Сони. Тогда он, действительно, испугался за свою жизнь. Ему стало страшно, когда он заглянул в ее глаза, в это обволакивающее безумие. Остальное лицо действовало в отрыве от этих глаз. Она много пила и сошла с ума. Ее сбила машина. Влад отогнал эти мысли и уселся в плетеное кресло, которое ему очень нравилось. Он любил сидеть в нем по утрам в выходные и курить. В углу кухни между кухонным шкафом и балконом он с тоской отметил пачку обойного клея, валик и канистру грунтовки. Они еще не закончили ремонт, который длился больше года. Бежевые когда-то стены кухни помутнели, а местами почернели.

Влад с облегчением подумал, что, наконец-то, нащупал прежнее свое состояние и тревожные мысли испарились. Он вернулся в комнату сына. Малыш продолжал играть.

– Ты, чертовый монстр! – пищал он. Нам нужно убить тебя! – Игрушки разлетелись в разные стороны.

– Артем? – позвал его Влад, и ребенок обернулся. Детские глаза воинственно смотрели на отца.

– Я тебе рассказывал, что хотел поступить в Красноярск? – вдруг спросил Влад свою жену, когда они укладывались спать.

Влад сидел на кровати, а жена читала журнал, укрывшись одеялом. Он повернулся к ней.

– Что? – бросила она, не отрываясь от чтения.

– Я хотел поступить в Красноярск. Я тебе говорил?

– Нет, – задумчиво произнесла жена и покосилась на него.

– Хотел. Но не получилось. Отравился в столовой, – Влад усмехнулся. – И в армию залетел.

– А, да! – вдруг вспомнила жена. – Помню. Ты говорил, – кивнула она и снова вернулась к журналу.

Влад некоторое время смотрел на нее, а потом укрылся одеялом и закрыл глаза. С чего вдруг? – Пронеслось в его голове. Завтра все пройдет. Надо уснуть. Мысли цеплялись одна за другую. Водоворот смутных образов утянул его на дно сна.

Было светло, солнце так и атаковало стекла автобуса. Влад подставлял гладко выбритую щеку. Скулы слегка щипало из-за мыла, которое он использовал вместо пены. Ароматный брусок он спер у новичка. Уж лучше хозяйственного, улыбнулся Влад самому себе. Он ехал домой после двух лет изнурительной, а иногда тоскливой и скучной армейской службы. Он представлял, как приедет домой, позвонит в дверь, всех обнимет, удивит своей возмужалостью, встретится с друзьями, пойдет первый раз гулять по городу в чистой поглаженной рубашке, обрызганный чем-нибудь приятным. Будет шутить по поводу своей службы. Будет хорошо спать на чистой, широкой кровати, а потом встанет и вкусно позавтракает. Будет, в общем, отдыхать и не думать о завтрашнем дне. Он трясся по кривой дороге, автобус кряхтел и стонал, подпрыгивая на ухабах. У водителя тихо играло радио. Что-то знакомое. Влад чувствовал, как теплеет у него внутри от пронизывающих солнечных лучей. Впереди много всего, думалось ему. Он ощущал приятную и освежающую легкость, давно забытую со времен детства. Ясность и свободу. Влад следил за полоской горизонта, и ему хотелось, чтобы эта дрожащая линия подольше не пропадала за горами и домами. Он прикрыл глаза, а потом раздался странный звук, похожий на колокольчики, на сотню колокольчиков. Этот звук перерос вскоре в один раздражающий звон.

Влад проснулся и осознал, что звенит будильник на сотовом телефоне. Он оборвал дикую мелодию. Стало очень тихо. Его жена что-то промямлила и перевернулась на другой бок. Влад чувствовал, как вспотел лоб. Он смотрел в окно. Утро только начиналось.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

КВИНТЕТ

Вот осень, а может быть, и зима,
Но зимою – опять-таки осень,
И весною осень, и летом,
И осенью – это уж ясно,
Потому что с осенью – проще,
Потому что с осенью – легче,
Да ещё и куда привычнее
Вспоминать о былых временах, –
Времена ли это любви,
Времена ли года, а то и
Времена скитаний давнишних,
Времена бессонниц моих, –
Сквозь бездомицы, через ночи,
В те глубины, где путь короче,
Где слова до щедрот охочи,
Потому что – куда без них? –
Вот зима, ну а может быть, осень,
Да, пожалуй, конечно же, осень, –
Одиночество, тусклая лампа
Над столом, а то и свеча, –
Листья в окна глядят и звёзды,
Ветви мокрые тяжелеют,
Голова тяжелеет, плечи
Устают, но всё же не сплю, –
Ну а может быть, сплю? – да вряд ли! –
Занавески дрожат, и форточка
Приоткрыта, и ветер входит
Гостем поздним в бессонный дом, –
Ночь осенняя, затяжная, –
И ещё ничего не знаю –
Что за нею? – тропа земная,
Как всегда? – ах, потом, потом! –
Ну а что же сейчас? – да мысли,
Что, как листья в окне, нависли
Над седой моей головою,

Владимир Алейников родился в 1946 году в Перми. С 1964 года живёт в Москве. Окончил отделение истории и теории искусства истфака МГУ. Участник и летописец содружества СМОГ. Стихи в отечестве начали печататься в период перестройки. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Огонёк», «Волга», «Континент» и др. Автор множества книг стихов и прозы. Член союза писателей Москвы. Член ПЕН-клуба. Лауреат премии Андрея Белого. Живёт в Москве и в Коктебеле.

Над столом, над этим листом,
На котором пишу я прозу,
Над которой глотают слёзы
Все метели мои и грозы
В мире, вроде бы обжитом, –
Но куда там! – совсем пустынном,
Том, в котором речам старинным
И ночам предыдущим длинным
Оживать суждено теперь,
Оживать и вставать за мною
То ли стаей, то ли стеною,
То ли звучною тишиною, –
И ненастье скребётся в дверь.

Странное дело! Занавесь
Опускается, поднимается.
Над чем? Над прошлым? Над будущим?
Да поди разберись. Попробуй.
Кто-то вроде бы смотрит в окно моё.
Или сам я смотрю в окно?
Позабытое – вспоминается.
Небывалое – тут как тут.
У него настроение – будничное.
Так ли? Так. Действительно, так.
И часы: тик-так да тик-так.
Мой будильник. Совсем старик.
Стук неспешный да нервный тик.
Так бывает. Но вне времён –
Ходу времени верен он.
Ходу памяти. Можно – так.
Ток подспудный. Уж он мастак
Вызывать не образ, так звук.
Отсвет прошлого. Тук да тук.
Отзвук радости. Дней исток.
Запад, север, юг и восток –
Четырьмя лучами креста.
Видно, всё-таки неспроста.
Да, конечно, не просто так.
Имя времени. Вещий знак.
Ночь. Звезда. Под звездою – дом.
В доме – я, со своим трудом.
То есть, с книгою этой. В ней –
Всё сильнее и всё полней
Разгорается вешний свет
Лет, которых со мною нет,
Как считает разлад чумной,
Но которые – здесь, со мной.
Всем им сердце моё сродни.
Сердцу дороги – все они.
Снова ночь – и осенний лад

Слов моих в тишине. Я рад.
Снова осень – и взлёт ночной
Мыслей всех, что дружны со мной.

II

С тобою цветы, моя осень,
Цветы, над которыми – листья,
И выше которых – звёзды,
А там, за звёздами, дальше –
Созвездия и галактики,
Мерцанье, сиянье, свеченье,
Струенье, самосожженье
И сызнова, неизменно,
Счастливое воскрешенье, –
Кругами, волнами, спиралями –
Рождающиеся миры,
Сближающиеся дары.

С тобою мосты, моя осень,
Мосты, по которым в прошлое
И в будущее иду я
Над плещущейся водой,
Над мёртвою и живою,
Над тихою и сквозною,
Над дикою и ручною,
Озёрною и речной,
Над прорвой иду морскою,
Над бездною океанской,
По всем десяти, знакомым
С детства мостам, по всем,
С которыми связан чем-то
Доселе невыразимым,
Которым обязан чем-то
Таким, чему имя – речь.

С тобою мечты, моя осень,
Мечты, у которых – ночи,
С тобою ночи, с которыми –
Шаги мои в доме пустом,
С тобою дом, за которым –
Холмы, а там, за холмами –
Горы, а над горами –
Небо, и море под ним,
А там, за морем – пространство
Со временем, темень, рань,
Звезды моей постоянство
Над именем, снова – грань.

III

Попросту – сон. И не просто –
Сон. Сновиденье. Великое.
Может быть, и наивное.
Да вам-то – какое дело?
Для вас ли пришло оно?
Совсем не для вас. И баста.
Пора бы понять. Смириться.
Исчезнуть. И не мешать.
Сон – для того, кто спит.
Сон – для того, кто грезит.
Сон – для того, кто бодрствует.
И даже во сне. Всегда.
Сон – для давно не спящего.
Для никогда не спящего.
Сон – пробужденье. Вхожденье
В сонмы снов. На века.
Сон: попадание в тон.
Там: выпадание в сон.
Происхождение тем.
Скажет ли кто: не вем?
Вам ли – начальный звук?
Знак. Магический круг.
Дом ли тебе – для снов?
Сам ли ты в нём – для слов?
Сон. Сновиденье. Сень.
Сфера. Фонарь – сквозь день.
Мера. Свеча – сквозь ночь.
Эра. Пора. Точь-в-точь
Как и вне сна. Во сне –
Тоже ясна вполне.
Чары. Пиры. Дары.
Горы. Дворы. Миры.
Море: восторг и стон.
Что? – до-ре-ми – сквозь сон?
Медлить нельзя, пойми.
Тянется – так возьми.
Фа-соль-ля-си – сквозь мрак.
Ластится. Только так.
Значит, бери. Пришло.
До – и за ним светло.
Гаммы. Звучанье сна.
Там, где всегда – весна.
В детстве. А может – здесь.
Высь. Встрепенёшься весь.
Рвёшься туда. Лети!
Сон. В унисон почти –
До. И чуть позже – ля.
Доля. Твоя земля.

Воля. Планида. Путь.
Вера. Химера. Суть.
В сердце горенья. Сеть.
Жуть. Наважденье. Плеть.
Плоть. Побужденья. Слух.
Плыть. Пробужденье. Дух.
Петь. Восставать. Не спать.
Музыке – быть. Звучать.
Слово, и в нём – число.
Зеркало – и крыло.

IV

Как быть с тобою, щедрая душа?
Да так и быть! – Видений в мире много.
Возможно, сам он – дивное виденье.
А может, сновиденье. Кто уверен,
Что это – явь? И всё же это – явь.
Такая вот. Где вдосталь измерений.
Где столько состояний и событий,
Что все они – спиралями, кругами,
Пунктирами и дугами сквозь время –
Встают и ждут ночами за окном.
Вниманья ждут. А может, пониманья?
Конечно же! Придёт ли пониманье?
И что же там – за кромкою, за гранью?
Какие откровенья и желанья?
Какая глубь – за влажной тишиной?
Какие тайны там, какие тропы?
Какие встречи там и расставанья?
Какие там, в тумане, обретенья?
Какие там ключи – и что сумею
Открыть я ими? Двери иль врата?
Кристалл магический и зеркало ночное.
Свеча, горящая на краешке столетья.
Клич. Или плач? Начертанное слово.
Но что – за словом? Ночь. А что за ночью?
Речь. Имя времени. Оно всегда – со мной.

V

Нет, не стану я растолковывать –
Что, да как, да где, да, тем более,
Почему. Зачем объяснять?
Ночь как ночь. И речь моя – с нею.
Клич ли в ней, а может, и ключ,
Плач ли в ней – да не всё равно ли?
Вам-то что? Пусть встало из боли
Всё, чем жив я. Дыханьем лет,

С кровью давшихся мне когда-то,
Переполнена эта книга.
Ими, славными, я поддержан –
В одиночестве, в тишине.
Здесь, в глуши моей, – осень. Странно,
Что, как прежде, я сросся с нею.
И не странно вовсе. Привычно.
И в диковину всё же. С ней –
Связи тайные. Нити. Ноты,
По которым сыграют что-то
Небывалое – там, в грядущем.
Но когда? В свой час. Поздний час.
Осень с памятью чай привыкли
Пить со мною. Сидим в затворе –
И чаёвничаем. Земное
Дружит издавна и с небесным.
Запредельное – тут как тут.
Зазеркальное – тоже рядом.
Что – за словом? И что – за взглядом?
Что за свет – за осенним ладом?
Где-то верят – и, может, ждут.
У тебя что ни сон – то с явью.
У тебя что ни шаг – то с правью.
Век – в сраженьях бессчётных с навью.
Внук Стрибожий глядит в окно.
Ты Сварожич – и, солнце славя,
Говорить ты сегодня вправе
О таком, что в крови и нраве –
И с душой твоей заодно.

Сергей БОРОВИКОВ

Триумфы Евг. Попова

Евгений Попов. Песня первой любви: рассказы. М.: АСТ: Астрель, 2009; Каленым железом: повести, рассказы. М.: АСТ: Астрель, 2009; Ресторан «Берёзка»: повести. М.: АСТ: Астрель, 2010.

И представилось мне, что мы с Поповым – такие же старенькие, как сейчас, но живем году этак – ну для круглого счета, в 61-м, и я торжественно вывожу: «К выходу в свет собрания сочинений Евгения Попова в трех томах».

А что, ведь красиво. Нынче нам торжественности не хватает. Вся торжественность на «Единую Россию» уходит, с такими излишками, что на граждан ее и не остается. Впрочем, и коллеги из руководства писательских союзов не отстают.

«О ВИЗИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЮЗА РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В КУЗБАСС 14–16 МАРТА 2011 г. 14–16 марта 2011 г. Кемеровскую область посетила представительная делегация Союза российских писателей, в которую вошли: лауреат Национальной литературной премии «Большая Книга», член приёмной комиссии Союза российских писателей Алексей Николаевич Варламов, сопредседатель Союза российских писателей, председатель Омского отделения Союза российских писателей Александр Эрахмиэлович Лейфер, сопредседатель Союза российских писателей, председатель Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсен Борисович Титов. В мероприятиях первых двух дней визита также принимал участие и председатель Томского регионального отделения Союза российских писателей Владимир Михайлович Крюков. За помощь в проведении конференции делегация отметила благодарственными письмами председателя Комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Кемеровской области Галину Михайловну Соловьёву... Во время всех мероприятий и встреч делегацию сопровождали кемеровские и новокузнецкие писатели».

А? «Сопровождали». Это коллеги-писатели коллег-писателей! Еще встречается и «По итогам визита», и все те прелести казенного словаря, которых в брежневские времена избегали уже и советские писательские руководители. Да что там в брежневские! В сталинские даже не написали бы в *писательских* изданиях, что, к примеру, писателя Фадеева или писателя Симонова в таком-то городе «сопровождал» местный писатель такой-то. Цитаты взяты из отчета т.н. называемого «демократического» Союза российских писателей. Тьфу! Ну, а «по ту сторону» – т.е. в т.н. «патриотическом» Союзе писателей России что?

Да то же самое, только имена другие. Но это парадная часть. А на заднем дворе, как известно, который год идет жестокая драка за дележ остатков литфондовского пирога. Она особенно обострилась вокруг приватизации «переделкинских дач». Здесь уж воистину пошли брат на брата без всяких там «патриотических» и «демократических» затей. Открытые письма и доносы, перечисление грехов явных и тайных, уличения и устыжения. И все в печать, в интернет, туда его, туда, в лохань! Апофеозом «переделкинской» эпопеи стало избиение президентом российского ПЕН–клуба Андреем Битовым первого секретаря СРП Светланы Василенко. Воля ваша, но вообразить Сергея Михалкова, отправившего на больничную койку Агнию Барто, никак не получается.

Но хрен с ними, с нашими, т.е. ихними литнравами, вернемся к предмету разговора: три тома сочинений Евгения Попова.

Так что ж, прикажете начать типа: «Женька-то Попов трехтомничек забабахал?» Как-то цинично звучит. А главное, несправедливо.

Вообще я никак не решу, или даже не догадаюсь, для кого мне писать. И не только сейчас.

Не вообще писать, хотя здесь тоже сомнений хватает, а вот в каждом отдельном случае.

Иногда мне кажется, что пишу только для автора, даже если его и ругаю.

Иногда, что сам для себя.

А порой мне даже мнится, что я пишу для всего человечества.

Договоримся, что эти свои заметки я пишу

именно для читателя журнала «Волга», человека традиционно, а также в силу изысканности тиража тоже изысканного, современную русскую литературу знающего. И поэтому имя писателя Евгения Попова для него не звук пустой. Поэтому я не стану начинать с самых азов, типа города К. на великой сибирской реке Е., напутного слова молодому писателю Василия Шукшина и истории альманаха «Метрополь».

Итак, три тома.

В них собраны, естественно, рассказы и повести из прежних сборников.

Но многого, из ранее печатавшегося, увы, нет. Нет «романа с газетой» «Прекрасность жизни» и «романа–комментария» «Подлинная история «Зеленых музыкантов», зато впервые публикуются 20 рассказов. И поскольку никто ранее про них не знал, я только про несколько из них и напишу. Чтобы быть первооткрывателем.

Но прежде я вспомню свои заслуги перед Евгением Поповым. Нет, не ту, что в 1988 году журнал «Волга» напечатал самую, вероятно, громкую его вещь «Душа патриота, или различные послания к Ферфичкину». То была заслуга коллективная, и прежде всего Владимир Потапова, который работал тогда у нас завотделом прозы. Имею в виду собственные литературно-критические обращения к творчеству Попова.

Я даже забыл, сколько их всего было, и собирался было озаглавить данный текст «Бог троицу любит», имея в виду статьи «Евг. Попов без и др.» (1991) и «Поповщина» (2004), в каком случае данный текст был бы третьим. Но оказалось, что я забыл статейку «Евг. Попов как национальный писатель» (1993), которая была предназначена для какого-то невышедшего сборника Попова и потому напечатана мною в нашей «Волге». Вспомнил,,. когда оказалось, что именно она столь высоко ценима самим писателем, что цитаты из нее вынесены на обложки 1-го и 2-го томов его собрания сочинений.

И поэтому то, что здесь я немного коснусь лишь новых–старых рассказов, говорит не о моей лени, но лишь о том, что главное и о «Душе–патриота», и о «Ресторане «Березка», и о многих рассказах, уже было мной сказано и давно.

Вот эти новые–старые рассказы: «Триста шестьдесят пять белых рубах», «Когда настало пробужденье», «Живой живущий человек», «Назначение», «Пар», «Идол», «Иван Иваныч», «Лицо Льва», «Так уж устроено», «Сплошные подвиги», «Алгебра», «Или-или», «Казус», «Замшевая обувь», «Арт-дизайн», «Зы-зы-зы», «Смерть сапожника», «Гуманизм», «Круги и пузыри», «Нечаянная встреча».

Я попытался выяснить у автора, когда они написаны и почему только сейчас явились на свет.

С разрешения автора воспроизвожу его ответ.

«Дорогой Сережа, да я, по совести сказать, ИСТОРИЮ НЕПЕЧАТАНИЯ и не помню. Думаю, что такие вещи, как, например, «Круги и пузыри», «Когда настало пробужденье», я при Советах вообще никуда не предлагал из-за якобы скабрезности содержания, имеющего (в первом случае) ОПОСРЕДОВАННОЕ отношение к М. Кузмину, или из-за ЭСТЕТИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЙ («Живой живущий человек») или из-за опасений, что потащат в КГБ («Пар», «Иван Иваныч», «Сплошные подвиги»). Довольно бессмысленный черновик рассказа «Или-или», написанного примерно в 1971 году, был опубликован в каком-то альманахе фантастики (Вместе, кстати, с одной из первых публикаций В. Пелевина), тут же и тогда был мною переписан, оснащен псевдоглубокомысленными эпиграфами, навязчивой темой гоголевского пальто. «Медаль Берии» я, естественно, тоже никуда не носил, и рассказ был опубликован в Американском альманахе славистов тиражом 200 экз. году в 1991.

А в новые времена я об этих рассказы просто забыл, их у меня слишком было много, не напечатанных.

Ценны для меня «Или-или», «Круги и пузыри», «Лицо льва». А другие рассказы я просто люблю, как папаша деточек, возможно даже убогих, глупых, хулиганистых».

Читая незнакомые мне рассказы, я, по угрюмой редакторской привычке, ставил плюсы и минусы, и вот что получилось:

Плюсы: «Когда настало пробужденье», «Лицо льва», «Или-или», «Так уж устроено».

Плюсы двойные: «Живой живущий человек», «Назначение», «Иван Иваныч», «Казус», «Смерть сапожника», «Круги и пузыри».

Минусы: «Триста шестьдесят пять белых рубах», «Пар», «Идол», «Сплошные подвиги», «Алгебра», «Замшевая обувь», «Арт-дизайн», «Зы-зы-зы», «Гуманизм», «Нечаянная встреча».

Коротко лишь о нескольких.

«Живой живущий человек». Представление об этом рассказе лучше всего может передать поэзия Дмитрия Александровича Пригова. Беспросветная, казалось бы, погруженность в реалии советского быта (в данном случае поиски героем рассказа электрических лампочек, взамен перегоревших), из которой вырастают однако «почва и судьба» (эту строку Пастернака очень любит Попов, во всяком случае охотно цитирует). Каким образом писатель этого достигает, объяснить не умею.

«Когда настало пробужденье» – третий из известных мне «клопиных» сюжетов русской прозы: У Лескова есть «Удивительный случай всеобщего недоумения», у Ильфа–Петрова история гусара-схимника графа Буланова.

«Иван Иваныч». А это рассказ про человека, которого приучили вести себя правильно, то есть прилично, и он не имеет право на другое поведение «как советский». И все же оказывается, Иван Иваныч остался человеком, когда приспичило дать по морде ворюге. Про это был хороший фильм «Уходя – уходи» с Николаем Рыбниковым и Виктором Павловым, но я полагаю, что рассказ написан раньше.

«Казус», «Смерть сапожника», «Назначение» (в этом рассказе едва заметен Шукшин, и это хорошо) – одни из лучших рассказов писателя. Они должны входить в антологии.

Все рассказы и повести в трехтомнике откомментированы автором. Так, что комментарий становится продолжением текста. Ну вот, например, к рассказу:

«И стоя в очереди»: «...**резкий неприличный звук** – производил на советских издателей моих текстов такое же шоковое впечатление, как в свое время на западных издателей – последняя глава «Улисса», где Молли Блюм произносит свой внутренний монолог на фоне начавшегося у нее «обычного женского». Создается впечатление, что ханжи всех стран, времен и народов «родились запечатанными» (Петроний).

Ниловна, Пашка – персонажи революционно-христианского сочинения М.Горького «Мать», экспрессивно, на грани китча, экранизированного Всеволодом Пудовкиным. Мне этот немой фильм до сих пор нравится. Там, на фоне жуткой драки, появляется хладнокровный титр, символизирующий, пожалуй, всю нашу новейшую историю – «В трактире становилось все веселее».

...поленница колбасы и швабра... – Из этого рассказа также можно узнать, что тогда продавали в советских провинциальных магазинах. Увы, колбаса вскоре оттуда исчезла».

Впрочем, читателям известно пристрастие Евг. Попова к комментированию своих текстов, скажем по «Подлинной истории «Зеленых музыкантов».

Итого, по моей арифметике, вышло, что из впервые опубликованных рассказов имеется 6 превосходных, 4 хороших и 10 проходных. Сам автор, как видим, выделил как «ценные» всего 3 рассказа.

И что все это означает – мои плюсы–минусы, авторская самооценка?

А означает, что нравится нам это или нет, но наступила пора итогов, и для Евгения Попова главным на сегодня стал выход трехтомника. Я убежден в том, что значительная часть из написанного Евгением Поповым, неотъемлемая и оригинальная часть русской прозы. Его будут читать (если только вообще будут читать), а ценить и понимать спустя годы больше, чем современники.

А сейчас что ж, живем мы не в 1961-м, а в 2011-м году и, между прочим, 5 января Евгению Анатольевичу исполнилось 65 лет. С чем я его, разумеется, забыл поздравить посредством телефонного звонка, но исправляю это сейчас посредством печатного слова.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Эта волшебная литературная жизнь

Гурский Л.А. Союз писателей Атлантиды: литературные фельетоны. – Волгоград: ПринТерра–Дизайн, 2010. – 120 с.

Если бы не аннотация, новая книга Льва Гурского читалась бы как фантастический роман с элементами альтернативной истории, удачно замаскированный под сборник фельетонов. Впрочем, почему читалась бы – и читается именно так, даже если гербарий саратовских околокультурных событий кому-то случайно покажется знакомым. Тем более, что автор книги подсказывает такой вариант прочтения чуть ли не с обложки. В самом деле, первый же текст начинается с воображаемого диалога «двух каменных гостей» – памятников

Федину и Чернышевскому, и далее «история одного города» вполне в духе Leo Gursky развивается на фоне волжских литературных пейзажей. Статья (или главка?) «Дух Единого Целого против Геморроя», например, посвящена сборнику с прозрачным названием «Что есть реальность? Беседа о реальности», изданного на основе материалов одноименного семинара, существующего в Саратовском университете, но цитаты, выбранные автором, заставляют вспомнить в первую очередь Пелевина времен «Generation П» и «Чапаев и Пустота». В финале этой рецензии читателя ожидает совсем уж кэрроловский совет: «...стоит лишь три недели постоять вверх ногами – и геморрой как объективная реальность исчезает. А что, если постоять на голове подольше? ...Этак можно усомниться в существовании и самого ректора, и губернатора, и даже страшно вообразить кого еще».

В таком «перевернутом» миропознании есть своя зазеркальная правда, и весь этот набор козырных карт местечковой словесности становится с такой точки зрения одновременно узнаваемым, сказочным и логичным. Так и Ассоциация саратовских писателей, аббревиатура которой анаграммически обыграна в названии книги, и генерал на посту министра культуры, и прочие вполне себе существующие не только на бумаге персонажи подтверждают известный тезис Чеширского кота – «все мы здесь не в своем уме», в том смысле, что дальше идти некуда. С другой стороны, любопытно в этом контексте вспом-нить «Историю советской фантастики» Рустама Святославовича Каца и подивиться, на-сколько перевернутая (или наоборот?) реальность совпадает с придуманной. Там, правда, история страны и литературы была рассказана, так сказать, в лунном свете, здесь же, т.е. в сегодняшних саратовских интерьерах и при дневном освещении проступают «родимые пятна» социализма в самом что ни на есть совковом его изводе.

Сказка, как известно, ложь... Впрочем, тренированный глаз легко выхватывает из текста эти самые более чем прозрачные и угрожающие намеки: «...По мнению автора диссертации, нынешним компетентным органам необходимо «формирование уважитель-ного отношения граждан к истории своего Отечества, а равно – к истории отечественных спецслужб». Это замечательное «а равно» не требует комментариев, и так все ясно. Как видим, и сегодня находятся желающие поставить знак равенства между Отечеством и гос-безопасностью... Так с чего же начинается Родина? С заветной скамьи у ворот?..» (ст. «Славянский шкаф еще не продан»). Хорошо, что нынешнее поколение совсем иначе реагирует на призыв «не надо бояться человека с ружьем», вспоминая при этом не пьесу сталинского лауреата, а какого-нибудь заокеанского терминатора.

Понятно, что «Союз писателей Атлантиды» – никак не magnum opus Льва Гурско-го, но это книга вполне встает в один ряд с другими произведениями из его библиографии. Пародия на литературную среду, рассказанная в постмодернистском ключе, вот что такое культурная жизнь города С из книги «Союз писателей Атлантиды». Единственное и замечательное, на мой вкус, отличие именно этого сборника от образцов жанра – это то, что все персонажи существуют в действительности и названы своими именами. Получается, что знатный детективщик Гурский и здесь разгадал загадку. Но, правда, нам, читателям и одновременно участникам событий, от этого знания жить веселее и лучше уж точно не становится.

Алексей КОЛОБРОДОВ

Непобеждённый на стройке

Сергей Боровиков. Двадцать два. – Саратов: ООО «Издательство «Научная книга», 2011. – 592 с.

Объявленный издательством тираж в 300 экземпляров даже коллекционным сложно назвать – шестисотстраничный фолиант, натурально, разойдется по друзьям и поклонникам писателя, а оба эти круга не пересекаются, но совпадают. Другое дело, что Саратовом география распространения уникального издания явно не ограничится. Ибо друзья и поклонники Сергея Григорьевича зафиксированы по всему миру, и не только русскоговорящему.

У меня относительно названия – собственная версия: в книгу вошли тексты, писавшиеся с 1989 года, ну и, соответственно, публиковавшиеся в два последних десятилетия. 1989 – 2011, получается как раз 22, по Мандельштаму, «звуков стакнутых прелестные двойчатки».

Красиво. А ежели я в своем предположе-

нии заблуждаюсь, и уважаемый автор поднимет меня на смех, имеется хлипкая подпорка для сей арифметики: Сергей Григорьевич до сих пор не замечен в переиздании своих произведений, написанных тогда, когда Боровиков был членом Союза писателей СССР, советским же критиком и редактором.

А коли начал – договорю: отношение Сергея Григорьевича к литературе, как, в известной степени, ремеслу, всегда мне импонировало, да и феноменология советского писательства – один из его магистральных сюжетов. Отношения человека со временем – у него и вовсе сюжет сюжетов... Тем не менее, настоящим, образующим автора и его окрестности, он, не сомневаюсь, полагает собственное писательство отчетного периода – одиннадцать лет до миллениума, и одиннадцать – после.

Как-то совпало, что тогда, в 89-м, кончилась советская власть, а писателю стало за сорок. Последнее важнее: «спустя сколько-то лет, а именно, в конце 80-х, я утвердился в печальном выводе, что критика из меня так и не вышло. С омерзением окинув прожитой мной путь, я почти перестал писать, но вновь, как в юные годы, сделался читателем. Был крайне всем недоволен и незаметно поумнел» («Крюк. Ненаписанный филологический роман»).

Кстати, главная вещь Сергея Боровикова – «В русском жанре» – имеет аналогичную датировку.

Я сделался счастливым обладателем этой красивой, двадцатидвухлетней книги и сразу понял: рецензии у меня не получится. Какая к черту, объективность, если речь идет о Боровикове, которому я обязан в жизни чрезвычайно многим, и, как выяснилось, кое-какие обязательства отбил: многие тексты книги появились не без косвенного моего участия, что наполняет меня радостью довольно щенячьего свойства.

«Хронос» – ценный не столько фактурой, сколько литературой, – задолго до появления «Календаря» Дмитрия Быкова и концепта «год – книга» Александра Архангельского, – был придуман как рубрика «Общественного мнения», специально под Боровикова. Там же появился рассказ «СССР на стройке», куча рецензий – книжных, киношных, телевизионных... «Рассказы старого книжника», с их неподражаемой интонацией, писались для газеты «Гек», которую редактировала моя жена Наташа, пока не забеременела. У «Гека» был короткий и яркий век, узнаваемый логотип – карапуз в башлыке (меня и Наташу с Сергеем Григорьевичем, помимо прочего, сближала и любовь к Аркадию Гайдару).

Но фишка не только в почетной, хотя и второстепенной роли публикатора – практически все тексты, попавшие в «Двадцать два», мне знакомы, и задолго до прочтения. Или параллельно с ним.

Как говорят музыканты – спасибо за ансамбль.

О процитированном «Крюке», его замысле-исполнении, Сергей Григорьевич, помню, говорил за рюмкой. Редкий для него случай: рассказ оказался скучнее текста. Наверное, потому, что в «Крюке», с его штрихпунктирами, непрерывен только вневременной саратовский ландшафт, а все мы, хоть с рюмкой, хоть без – только часть его, целого. Вроде фотографии в семейном альбоме без конца и начала.

Опять же, за рюмкой, вернее – за целым столом с цельным гусем (Боровиков праздновал окончание книги «Русский алкоголь», на которую возлагал тогда определенные надежды), Сергей Григорьевич прочно и надолго подсадил нас на ретро-шансон. Мы, конечно, знали и любили Александра Вертинского, а вот Юрий Морфесси и Петр Лещенко с тех пор вошли почти в ежедневный, не только застольный, обиход.

Все трое – герои книги, Боровиков мониторит литературу о них, как правило, слабую, но метод его таков, что певец проходит через очередную биографическую поделку в обновленном, очищенном от словесной шелухи виде. «Менее смертном», как говорил Анатолий Мариенгоф.

То Сергей Григорьевич, в своей сварливой манере, жалуется, будто Арбитман пристает с ножом к горлу «сделать рецензию на Гурского» (и рецензия появляется, да какая!). То заинтересованно рассуждает со мной о писательском феномене Слаповского («настоящая беллетристика должна быть, прости Господи, глуповата») – и текстов об Алексее Ивановиче в книге едва ли не больше, чем о других литераторах из ныне живущих...

Кстати, со многими ныне живущими персонажами книги автор меня и познакомил: с Евгением Поповым, Владимиром Войновичем, Андреем Немзером...

Словом, прохожу как соучастник, и если автор готов брать всё на себя, восторги останутся при мне.

...Хоть у меня и не рецензия, скажу пару

слов о навигации: в книге три раздела – условно критический («Струна»), условно прозаический («Опыты») и условно публицистический («Саратов»; триаду название-подборка-содержание я оценил). Однако особо заинтересовали меня «Опыты» – и потому, что там нашлись незнакомые прежде рассказы и даже сказка, и потому, что Сергей Григорьевич всегда и многословно настаивал на несерьезности своих занятий подобного рода, а вот поди ж ты... Казалось бы, прекрасно известный мне рассказ «СССР на стройке»: привычное дело, знакомая география. Но вот как заиграло:

«Сушёная рыбка местного улова – от крошечной баклешки до леща – расстилалась серобокой дрянью везде, где торговали, но вобла, астраханская вобла, а только астраханской она и бывает, вся на подбор, одинакового, словно на машине деланного, размера, с приятной твёрдой припухлостью брюшка, содержащего двойные сомкнутые, наподобие моллюска, оранжевые, ладошки икры, легко отделяющиеся от подсушенных внутренностей (тогда как в вяленой рыбе самодельной местной засолки, один желчный пузырь способен отравить своей едучей болотной слизью не только икру, но и всё удовольствие от поедания её), а если поднять к солнышку, то светящаяся не как полусырой лещ его мутным непрозрачным мясом, не как невесомая, без жиринки баклешка своим серым стёклышком, но полновесным янтарным светом ровно провяленного тельца, чуть темнея к позвоночнику...»

А?

Знающие Боровикова поймут, с какой интонацией я произношу это «А?».

Надписи на книгах, которые мне дарит Боровиков, всегда имеют схожий мотив учительства-ученичества. «Дорогому Алексею Юрьевичу Колобродову – победителю-ученику от непобеждённого учителя».

Объясню, в чем тут дело. Объясню, быть может, и самому непобеждённому.

Основной урок Сергея Григорьевича: литература – это главное, живое, на глазах и руками совершающееся дело, но дело всегда личное. Претендовать на некие бонусы только потому, что сочиняешь, пытаешься печататься и издаваться – глупо, несерьезно и пошло. Обуздать в себе похоть кукарекать вне литературного контекста, исключить соблазн стадности, отправить в игнор псевдоцеховую не то солидарность, не то грызню... Открыто Боровиков всего этого не проговаривал, тем паче, не постулировал, но само его присутствие делало данную модель постыдной, да и невозможной.

Мои товарищи, плотно или краями соприкоснувшиеся с «Волгой» Боровикова – Олег Рогов, Алексей Голицын, Алексей Александров, Сергей Трунев – вынесли достоинство, такт и самоиронию из своих отношений с литературой.

Урок оказался востребован с годами, именно сейчас, когда литература (не только в Саратове) сузилась до трехсот экземпляров и размеров дружеского застолья.

Впрочем, нам хватает.

Анна САФРОНОВА

Опять про «Двадцать два»

Сергей Боровиков. Двадцать два. – Саратов: ООО «Издательство «Научная книга», 2011. – 592 с.

1. Жалко

И как не пожалеть дорогого моему сердцу автора, когда:

– на обложке фрагмент жалостной картины Перова «Гитарист-бобыль»: бедный стол, бутыль ополовиненная, старческая рука, гриф гитарный (тело вместе с главой усечено за ненадобностью при оформлении),

– книге предпослан такой эпиграф из Евгения Рейна, что впору налить себе отнюдь не чернил, и плакать...

...И видит он русское море,
Стакан золотого вина.
И слышит, как в белом соборе
Его отпевает страна.

– душераздирающая – надпись на обороте титула: «Эта книга увидела свет благодаря Леониду Натановичу Фейхтлихеру». Спасибо ему и от благодарных читателей тож. А где все 22 года были издательства, скажем, «А», «Б» иль «В»? (виновата, «Вагриус» выпустил «В Русском жанре» в 2003 году).

В общем, игру автора под условным названием «давим на слезу» я оценила.

Между тем почти 600-страничный том содержит потенциально три книги (сужу не

по количеству разделов, коих именно три). И было бы совсем неплохо, если б на протяжении всё тех же пресловутых 22-х лет они выходили более или менее регулярно. И автор, и читатели имели бы дивную возможность порадоваться не единожды. Впрочем, мы и так имели возможность радоваться, потому как ни одной неопубликованной работы в сём представительном томе нет. Все они печатались в журналах и газетах – «Новый мир», «Знамя», «НЛО», «Независимая газета», «Новые времена в Саратове» (список привожу избирательно, полностью он есть в книге).

2. О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?

«Я – саратовский литератор. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном – если это литература».

Вот так, по-маяковски, ясно, жестко, определенно. Датирована работа 1999-м, это уже накануне вынужденного закрытия «Волги» в 2000-м. И как главный редактор этого журнала Сергей Григорьевич был не менее интересен, чем просто «саратовский литератор». Да и сам С.Г. вряд ли считал определение «саратовский» качественным показателем.

Два слова о смешном. В очерке «Я сам», о котором сейчас речь (он предваряет книгу), я оценила количество (и качество) упоминаемых имен. Не поленюсь и полностью привести. Анонимные, но посвященным понятные: профессор П; «Самый Главный писатель. В Саратове – К». Далее: М. Лобанов (в связи со статьей «Освобождение»). Ельцин, Евтушенко, М.Н. Алексеев, некто Пичугин, Аяцков. Сорос. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Якубович. Монсеррат Кабалье (в связи с тем, что не удалось достать денег на книгу «Пароход на Волге»: автор книги Цыбин здесь не упомянут). В эпизоде – Н. Петров и Ф. Искандер.

(Я не привожу абзац из имен авторов публикаций в «Волге», призванный доказать ее мощь и славу, а также и по случаю всплывающие фамилии классиков и персонажей из классики.)

Пустовато как-то на полях сражений. А где ж имена павших?

Эту, я бы сказала, странность исправил Андрей Немзер, опубликовавший в №1 «Нового мира» за 2001 год статью «Передо мной лежит последний номер “Волги”», где добрым словом помянул нас, сотрудников покойного журнала, грешных, поименно. Одна из последних фраз статьи: *«Заливистый радостный лай раздается буквально над “свежей могилой”. Впрочем, к чему ждать элементарных приличий от тех, кто не в ладу с родным языком».*

Мы, благодарные останки, услышав сквозь заливистый лай мощный голос Немзера, слабо шевельнулись, приветственно помахали критику кто чем мог.

...Ладно, верю: Боровиков нас всех слишком любил, чтоб поминать всуе.

3. О самом главном

Раздел «Струна» – это почти 400 страниц книги – отличный, прямо скажем, «отчет» за 22-летнюю деятельность. При том, что фирменный цикл «В русском жанре» сюда не попал даже в избирательном варианте.

Открывается раздел заметками о Шукшине, в разные годы написанными и объединенными в «мозаику» – авторское определение жанра работы, – сложенными под общим заголовком «Шукшин минус Шукшин». Читать интересно, для тех, кто Шукшина читает. Читают ли?

Вот примитивная, очень неточная, но все ж какая-никакая статистика. По запросу «Василий Шукшин» Яндекс выдал 479 тыс. ответов. Кого бы еще из покойных классиков минувшего века потревожить? Ага, Юрий Трифонов, скончавшийся почти 7 годами позже Шукшина. Увы, не догнал: 295 тыс. ответов на запросы читателей. И это при том, что в сети масса «не тех» Шукшиных, «не тех» Трифоновых...

Но попадаются новости, от которых немеешь:

GZT. RU Понедельник, 21 марта 2011, 12:14
http://www.gzt.ru/topnews/wallet/251104.html

Золотые и серебряные монеты достоинством 50 квач – денежного средства африканского государства Малави – с изображением советского писателя Василия Шукшина выпущены Центробанком Малави по заказу Сбербанка РФ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, африканская монета выпущена к 80-летию со дня рождения писателя и, скорее всего, сразу станет коллекционной редкостью.

На аверсе квача отчеканена веточка калины и изображение памятника Шукшину работы Вячеслава Клыкова, который установлен на его малой родине в селе Сростки на горе Пикет. На реверсе монеты изначально планировалось раз-

местить портрет английской королевы Елизаветы, но проект претерпел изменения и теперь там изображены лев и тигр.

Сбербанк не поясняет, почему для чеканки монеты была выбрана именно Малави, где Василий Шукшин никогда не бывал. Известно, что тираж монеты составил 5 тысяч штук и ее можно будет приобрести в отделениях Сбербанка.

Так что сомнения наши напрасны, есть, как бы это сказать, «читатели» и по сей день. И без кавычек есть. О Трифонове, к примеру, недавно вышла статья Дениса Драгунского в «Частном корреспонденте» – «Время и место Юрия Трифонова» с подзаголовком-напоминанием «Лучший советский прозаик скончался тридцать лет назад, 28 марта 1981 года». А Шукшин («Характеры») вообще попал в шорт-лист премии «НОС–1973» (не будем комментировать этот оригинальный проект), вместе же с Трифоновым («Нетерпение»).

Боровиковская мозаика о В.М. интересна двумя моментами: автором, наблюдательным и временами беспощадным, и Шукшиным в авторской интерпретации – непривычным, неровным, «не классиком».

А вот книга Ал. Михайлова о Маяковском Боровикову неинтересна, и остается читателю только одно: любоваться, как изящно шинкуется на мелкие кусочки ЖЗЛ-овская поделка. Да и в целом лучшие работы С.Г. – о лучших же, об ярких, о значительных, о противоречивых: «Евг. Попов без и др.», о Милашевском, О Морфесси, о Сатуновском, Берберовой, Архангельском, Палей, об Эдуарде Кочергине (нелишним будет напомнить, что положительный отклик на «знаменскую» публикацию «Рассказы питерских островов», вторую в жизни художника БДТ Кочергина, написан Боровиковым в 1999-м, а летом 2010 Кочергин получает Нацбест за книгу «Крещенные крестами». Как принято было говорить в прежние времена: «Не проглядел!»), о многих других.

О Трифонове, из статьи 2000-го года: «Сейчас мне 53, и, перечитывая Трифонова, я спрашиваю себя: разве может это быть уже неинтересно, лишь потому, что небывалая сила Трифонова была и в разгадке тайны советской жизни?» А ведь точнее и не скажешь: буквально каждая буква трифоновской прозы сгибается под тяжестью этой тайны, и приглушенность, какая-то кажущаяся «безымоциональность» ее – всё от этого, от неизбежного присутствия всех и вся пропитавшей, начиная с Мальчиша-Кибальчиша (здесь должен быть смайлик), пресловутой советской тайны.

Иногда кажется: вовсе не жалко, а наоборот, хорошо, что книга вышла именно сейчас. Читаем: «Имя Виктора Топорова вряд ли знакомо большинству потенциальных читателей». Опаньки, сказали бы митьки. Год написания статьи – 2000-й (речь идет о книге Топорова «Двойное дно. Признания скандалиста»). А в 2011-м – кто не знает Топорова? Кто-то при упоминании этого славного имени зубами скрежещет, кто-то побелевшие пальцы в кулаки сжимает, и лишь, думаю, малое меньшинство приветственно улыбается. И снова не откажу себе в удовольствии – небольшая цитата из «22»: «В злоязычии он и в самом деле мастер, но стоило ли приводить столько пусть лихих, но и оскорбительных эпиграмм на здравствующих людей, чьи фамилии любезно сообщаются читателю?» Теперь уж надо бы так: «Имя Виктора Топорова вряд ли незнакомо...» Далее всё – идеально соответствует нынешнему времени.

Ну ладно, не будем превращать С.Г. в пророка. И у пророков случаются накладки. Из статьи 2001 года: «Прежде была система выращивания молодых от газетных публикаций до первой книги под четким руководством СП и ВЛКСМ с их студиями, семинарами, совещаниями молодых...» Цитату на этом месте обрываю, чтобы даже предположительной, возможной ассоциацией не обидеть современную литературную структуру под именем «Дебют».

4. Любит – не любит

А если даже и не любит, всё равно стремится к объективности. Стиль от этого иногда усыхает: «Тут есть о чем поразмышлять и поспорить, но нельзя не отметить вдумчивость исследователя, ее искреннее стремление понять смысл судьбы Федина...» (о статье Н. Сломовой из сб. «Фединские чтения»). Складно, гладко и – не по-боровиковски. А чаще возникает (ну, это когда автор не просто «не любит», а еще и рассержен) – злая, *но всегда интеллигентная,* ирония: «Вообще, заявлениям автора не слишком следует доверять: если он обещает чего-то не делать, справедливо признавая действие нецелесообразным, то непременно обещание нарушит...» (о Борисе Мягкове, «Булгаковская

Москва»). Бывает еще резче: вот кратенькая рецензия на книгу Акунина «Статский советник»; заголовок рецензии: «Уж лучше Крестовский». Тут, казалось бы, и саму рецензию можно не читать, но... «Впрочем, если и считать романы про Эраста Фандорина имитацией, то следует признать бесспорное мастерство их создателя» (финальная фраза рецензии).

5. Свободный полет

Конечно же, про эту книгу надо сказать, «как положено». Широта кругозора. Великое множество самых разных тем. Сотни имен авторов, среди которых, что особенно приятно, заметно присутствуют «нецентровые» (где, скажем, еще найдешь рецензию на такое экзотическое издание, как «Тайна именования. Словарь фирмонимов – новейших названий предприятий Вятского края в конце XX века». Издано клубом «Вятские книголюбы»? А у С.Г. – есть, и можно читать как прозу).

Кстати, о прозе. В «22» она выделена в раздел, скромно обозначенный «Опыты», но и в «Струне» есть вещи... которым как бы тесновато в рамках критики. Здесь я назову хотя бы две – «Хронос» и «Метафизику русского пьянства».

«Хронос» – опять же «мозаика» (см. выше) из заметок по поводу самых разных дат. 12 апреля 1961 года (понятно, Гагарин), день рождения Булгакова – и попытка «выявить нечто менее очевидное» в его популярности. Даты-подзаголовки, конечно, структурируют «Хронос», но на самом деле это абсолютно свободный полет. Великая отечественная, Армстронг – Хемингуэй, 19 августа 1991 года (путч, само собой), убийство Столыпина, Юлиан Семенов, Пырьев, Фадеев, Берия и Маленков, Гоголь и далее, и далее... Объединяет всё это разнотравье личность автора, его просвещенная свобода рассуждать обо всем, что интересно всем, но в первую очередь – соотечественникам.

А уж «Метафизику русского пьянства» – эссе? проза? записки? – полную неисчерпаемого благородства и чудных открытий как в литературе, так и в жизни – скорее всего прочитает в первую очередь всяк, которому «22» попадется в руки. Потому что написано, как всегда у С.Г. – умно, весело и неожиданно. И, главное, неоскорбительно для небеспристрастных.

6. Финал

А вот из раздела «Саратов» (последнего в книге) я приведу грустную цитату и всего лишь одну.

«Кроме горстки читающей нищей интеллигенции, наш журнал в городе никому не нужен, тем более наверху. Андрей Синявский утверждал, что у него с властью не политические, а эстетические расхождения. Несмотря на то, что «Волга» не была рупором постмодернизма или авангарда (находя и тому и другому, как и сугубому реализму, свое место), эстетические принципы журнала вряд ли могут быть близки тем, кто учреждает прижизненную премию имени литератора, не входящего в первые ряды российской словесности. Работая над номерами, мы видели перед собой мыслящего читателя, может быть, учителя, может быть, рабочего, может быть, представителя «среднего класса», неважно, но приученного к серьезному чтению».

Написано С.Г. в 2000-м году.

Теперь «Волга» продолжает выходить, но по большому счету, одиннадцать лет спустя всё так и осталось.

Сергей ТРУНЕВ

Кушать подано!

Черные дыры букв. Альманах творческой лаборатории «Территория диалога» – Самара: ООО «Книга», 2011. – 186 с., ил.

Черные дыры букв, словно бы вне всякого дизайнерского вмешательства «прожгли» обе обложки альманаха. Уже в этом первородном акте содержалось что-то от малевического квадрата, от делезовской черной стены и белой дыры, что-то очень непростое и претендующее на что-то еще более непростое и претендующее... Однако может претензия заключается, подумал я, вовсе не в графическом воспроизводстве утомительной повторяемости постмодерна, а в чем-то еще? Например, первая обложка, состоящая из плотной папиросной бумаги, призвана представлять нам фуколь-дианско-бодрийяровский сюжет о тотальной прозрачности современного мира?

Но вспомнилась, признаться, не вся эта интеллектуальная озабоченность судьбами мира,

а то, как в советских гастрономах большой накрахмаленный продавец неописуемого достоинства заворачивал в подобного рода бумагу нечто по-настоящему деликатесное. На связь альманаха с советскими деликатесами указала мне и нарочито неровная обрезка издания, и использованные шрифты, пробудившие мысли о канувших в рынок бурных самиздатовских временах. Захотелось открыть и не торопясь, за чашечкой хорошего чая, вальяжно смаковать содержимое.

Облом... Дальше шел занявший полные две страницы чертовски скучный, сухой и монотонный отчет редакции о проделанной работе, каких-то успешно проведенных в 2008–2009 годах проектах, круглых столах, музыкальных рингах, литературных рингах и прочем. Очарование самиздата уступило место сонно-зевотному состоянию, которое с уже упомянутых советских пор неизменно сопровождает меня на любого рода официальных мероприятиях, чему бы они не посвящались.

Когда же началась довольно объемная поэтическая подборка, я понял, что представленные в ней авторы в большинстве своем лишь пробуют портить сибирские леса так, чтобы на выходе получалось искусство. Искусство же получилось, на мой взгляд, хорошее и разное. Что касается хорошего, то оно не слишком обильно присутствовало в стихотворениях А. Фральцова, Е. Соловьевой и А. Варта; поэтесс в основном испортило близкое знакомство с русской классикой и соответствующими ей рифмами; поэтов – отчасти банальная невнимательность к слову, отчасти – желание выпендриться. Понимаю, это непедагогично, но пару строк из лыка Н. Рублева не выдернуть просто не могу:

От фразы: «Предъявите-ка студак», –
Мурашками душа уходит в пятки,
А попу словно сжал внутри кулак
Накачанной, брутальной азиатки.

Если это прочувствовано на личном опыте, должно быть, суровое ощущение. К счастью, у начинающих поэтов, как правило, не все прочувствовано, не все до конца осмыслено. Иначе откуда взяться в подборке авторов явно студенческого возраста стихотворению «Боль и память», посвященному «детям, зверски расстрелянным в сорок первом в Бресте на глазах у своих матерей» (А. Мягченкова). Ну, хотела бы А. Мягченкова в союз советских писателей пролезть годах, этак, в семидесятых, было бы понятно. А так, действительно: боль и память... И не знаешь, как относиться к соседству двух этих текстов, поскольку отрицают они друг друга как поверхность и тотальная эклектика отрицают глубину и избирательную память.

И снова следует отдать должное дизайнерам, проложившим каждую рубрику альманаха страницей, сделанной из того самого цвета бумаги, в которую продавцы в советском прошлом завертывали сахар, конфеты и прочее. Я всегда поражался их умению делать «кульки»... В следующем кульке оказалась проза. Подростковая проза достаточно хорошего качества, со всеми ее истериками (О. Трошинская, А. Калинин), эпизодическим впадением в детство (Н. Масленникова), жестокими уличными реалиями (П. Кудрявцев) и, в финале никчемной изодранной жизни – уходом либо в нечто, до боли напоминающее компьютерную «бродилку», либо в столь характерную для России бесцерковную религиозность, сиречь мистицизм (Д. Казанцева, Д. Орехов, О. Соколов, Н. Трошкин, И. Линькеев). На мой-то взгляд, хрен редьки не слаще, но если представить литературу зеркалом реальной жизни, то в свете обещаний этой литературы интересная жизнь ожидает нас буквально в ближайшем будущем.

Следующими в рубрике оказались философские эссе, точнее, короткие и вполне вменяемые размышления на тему, заранее заданную цитатой из какого-нибудь классика (видимо, во времени авторы по условиям конкурса также ограничивались). Здесь наиболее интересным и даже поучительным показалось эссе Д. Панфилова, посвященное феномену виртуального в современной культуре и демонстрации совершенно особенной жизненной траектории тех, кто согласился на свои деньги содержать огромное количество производителей «виртуалки»

Рубрика «Конспекты лекций», в рамках которой в стилистике поупражнялись старшие товарищи литераторов, оставила двойственное впечатление. Так, при богатстве материала в лекции о М.К. Мамардашвили (Е.Д. Богатырева), она не произвела должного впечатления, поскольку Мераба Константиновича за невозможностью слушать следует читать. Но никак не пересказывать. Лекция о визуальной поэзии

(А.М. Уланов) подкупила не столько текстом, сколько, собственно, визуальными материалами. Отечественный музыкальный авангард в исполнении Н.С. Миловидовой, явил собой отнюдь не концерт, а основательно насыщенную партитуру. Наконец, относительно лекции, посвященной анализу романа Павла Крусанова (О.А. Соколова) ничего вразумительного сказать не могу, поскольку самого романа не читывал.

Конкурс драмы поразил двумя феноменами: во-первых, тем, что драматические произведения не только смотрятся, но и читаются. Я, признаться, не любитель чтения пьес, не хватает фантазии выстроить целостную картину. Ну, это весьма субъективно. Во-вторых, и это уже объективно, ни в одной из реплик героев я не услышал настоящего матерного слова. Исключение составляли жалкие подобия, типа «задолбал». Но это и понятно: где уж начитавшимся высоколобых ионесок и стоппардов отечественным драматургам с совершенстве владеть русской разговорной речью.

Следующие двенадцать страниц альманаха я также не читал. Да и не пытался, поскольку надпись на оберточной бумаге гласила «Мнения жюри». К чему мне, стороннему читателю, эти мнения? И почему они столь навязчиво внедрены в середину альманаха? Ну, делаете вы претенциозно выглядящее и содержательно вполне съедобное издание для талантливых подростков – так и российский флаг Вам в руки! Они будут создавать новую российскую литературу! А тут, откуда ни возьмись, МНЕНИЯ ЖЮРИ...

В «Галерее» я обнаружил несколько картин, написанных маслом и несколько же неплохих снимков. И то, и другое оставляю без комментариев, ибо по собственному выбору остался в XX веке, так что анализ специфики феноменов визуальной культуры отнюдь не моя стезя.

Наконец, кульминационная (лично для меня) рубрика «Круглый стол» с общей проблемой, определяемой как: «Искусство, наука и техника: грани взаимодействия». И тут неожиданно я столкнулся с проблемой, которая волнует мои истощенные мозги уже как минимум несколько лет: почему для того, чтобы выразить одну банальную мысль следует собрать ряд авторитетных свидетельств, вооружиться ужасающей простого смертного терминологией и написать преамбулу в несколько страниц, а то и томов. Вот, к примеру, последний абзац доклада «Искусство и научно-технический прогресс: контуры взаимодействия» (Е.Д. Богатырева) начинается такими словами: «Как продукт культурного творчества любая информационная система существует ровно настолько, насколько востребована человеком для решения постулируемых им задач. Вопрос вызывает человек, который действует здесь неосознанно, либо находится еще в поиске своих онто-оснований, которые в мире социальной (масс-медийной) коммуникации более опознаются в своей диалогической перспективе» (158). По-моему, никаких вопросов здесь не должно возникнуть, поскольку в свете мнения самой Е.Д. Богатыревой информационная система существует ровно столько времени, сколько в ней нуждается человек. Или, вот, пример индивидуального авторского открытия, которое давно уже является общим местом гуманитарной мысли: «Перефразируя Дж. Беркли, существовать – значит быть воспринятым на экране. Быть «засвеченным». «Нарисоваться». «Приобрести глянец»» (165) . На мой провинциальный взгляд, «быть видимым» давно уже является не языковой и/или теоретической конструкцией, а реальной и эффективно действующей стратегией власти. Власть утрачивает фукольдианский паноптический характер, предполагающий «высвечивание» преступника. Отныне властвует тот, кто видим, на кого направлены взгляды, кто хотя бы на мгновение остановил внимание масс на самом себе. Можно назвать подобный тип власти властью нарциссической. Вот доклад (хотя, это сообщение докладом не назовешь) «Космические снимки как источник вдохновения» А.Ю. Бавриной может на время остановить взгляд любого человека. Хотя бы, не тривиальностью темы. Остальные доклады (Е.А. Беляевой, И.В. Демина, С.Я. Еслеевой) показались достаточно съедобными, вполне удобоваримыми блюдами, способными значительно обогатить и расширить интеллектуальные способности среднестатистического российского студента.

И это хорошо. Ведь если подводить общий итог, то предлагаемый авторами альманах, несмотря на весь свой нарочитый глянец, на вкус не произвел впечатление деликатесного бисквита со взбитыми сливками. Скорее, он напомнил сытный слоеный самарский пирог,

полнотелый, богато украшенный поверх сахарной пудрой изюминами и разноцветными сахарными шариками. И путь никого не смутит эта, странная на первый взгляд, смесь сладкого и соленого. В ней, собственно, и дело.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Самарский неформат

Черные дыры букв. Альманах творческой лаборатории «Территория диалога» – Самара: ООО «Книга», 2011. – 186 с., ил.

Название. Литературный альманах, №2 – Самара: ГУК «Самарская областная юношеская библиотека», 2010. –100 с.

Должен сразу заметить: всё, что дальше будет сказано в отношении «Черных дыр букв» (забавно, но название именно в таком склонении звучит по-кручёныховски интригующе), да и другого самарского альманаха – это не рецензия, а скорее что-то вроде попытки разобраться с форматом региональных художественных изданий. Не секрет, что по сей день во многих городах России выходят ежегодные «Энск литературный», выпускаемые силами местных отделений СП под протекцией областных минкультов, или что-то в этом духе. Понятно, какую литературу там публикуют и на какого читателя подобные журналы рассчитаны. Так вот, помня об этом, тем приятнее обнаруживать в тех же самых городах продукты совсем другой литературной жизнедеятельности.

Альманах «Черные дыры букв», представляющий собой (из аннотации) «итог работы творческой лаборатории «Территория диалога», созданной в 2009 году для развития результатов первого молодежного фестиваля искусств «Созвездие мысли, слова, образа и звука», инициированного Самарским государственным аэрокосмическим университетом», – хитрая «матрешка» для читателя из «своих», впрочем, как и положено изданию, желающему быть одновременно сборником научных трудов, литературным журналом и иллюстрированным докладом о достигнутых успехах. Если же это в первую очередь сборник «по итогам», который все-таки предназначен для тех, «кто внимательно следит за литературным и художественным процессами в Самаре» (это я опять цитирую аннотацию), то он мне кажется избыточным, т.к. в своем стремлении записать всё и вся в эти самые итоги становится больше похожим на печатное подобие интернет-сайта – смотри разделы (или закладки) «Мнения жюри», «Конспекты лекций» и т.п. Впрочем, несмотря на внешнюю (оформление у альманаха соответствующее – косой обрез, суперобложка из кальки) и внутреннюю эклектику, «Черные дыры букв» дают представление если не о пресловутых процессах, то, скажем, о бурлении в одном из сегментов культурного поля этого города. Да и имена молодых самарских авторов, в частности – Александра Фральцова, Екатерины Соловьевой (поэзия), Надежды Масленниковой (проза), – звучат в этом альманахе вполне отчетливо. А это уже результат по значимости никак не меньший, чем арт-проекты, осуществленные творческой лабораторией «Территория диалога» и подробно перечисленные в вводной статье редактором Еленой Богатыревой.

Литературный альманах «Название» (номер за 2010 год, главный редактор Галина Уланова), выпускаемый Самарской областной юношеской библиотекой, по сравнению с ЧДБ на первый взгляд смотрится менее выигрышно, однако вопроса о его «прописке» у меня не возникает. Это именно литературное издание, ориентированное на творчество молодых авторов. Приятно, что подход у составителей основательный – об этом говорят и вступительная статья приглашенного литературного эксперта (Данила Давыдов), наличие у издания помимо редколлегии научного консультанта (Юрий Орлицкий), ну и конечно широкий спектр публикуемых текстов. В основном разделе напечатаны стихи и проза самарских авторов – Любови Глотовой, Елизаветы Кузьмичевой, Игоря Тарасова, Татьяны Лукьяновой, Светлы Шленниковой и др., есть в номере и переводы Анастасии Бабичевой (стихи Марты Ронк) и Дмитрия Тилли (интервью с Лоренсом Даррелом). Кроме этого в разделе «Гости» представлены три разных и уже известных в литературной среде нижегородских поэта – Григорий Гелюта, Евгения Суслова и Артем Филатоф.

И пусть поэзия самарцев в основном декларативно наивна, а проза больше походит на сочинения-эссе на заданную тему, все равно альманах читается с интересом. Во многом этому способствует тот серьезный и спокой-

ный тон, взятый редактором с первых строк предисловия.

Любопытно, что оба альманаха не сговариваясь обыгрывают неявный эффект отсутствия в своих названиях. Может быть, тем самым снимая необходимость идентификации их как изданий специальных, связанных с семинарами, фестивалями и проч. Мне же, как, надеюсь, и другим читателям, хотелось бы продолжения и регулярности. Какой же из всего прочитанного следует вывод? А вот такой: я ни в коем случае не хочу ставить «Название» и «Черные дыры букв» на какие-то места виртуального хит-парада самарских художественных изданий, но согласитесь, появление подобных альманахов говорит о том, что Самара литературная все-таки существует, пускай и вопреки формату.

Виктор СЕЛЕЗНЕВ

«...но я поэзию не представляю без такого, как он короля!»

Голос Надежды. Новое о Булате. Выпуск 7 / Составитель А. Е. Крылов. – М.: Булат, 2010. – 624 с., ил.

Его песни я впервые услышал где-то в 1960 году на квартире у Валентины Мазур, завлита нашего ТЮЗа. Напомню, для Саратова тогда этот театр значил примерно то же самое, что для москвичей молодой и боевой «Современник». И Булат мгновенно покорил меня.

Для меня, уж простите мою полнейшую непросвещенность, было полной неожиданностью, что песня может быть не только бомбой и знаменем, как изволил хищно выразиться кремлевский горлопан-главарь, не только до одури патриотической, колхозно-совхозно-огородной или фабрично-заводской-мартеновской, как у тьмы-тьмущей софроновых-сурковых-исаковских-долматовских-матусовских и прочих ошаниных, но и живой, человечной, не про мифических стахановцев или про назначенных героев войны или соцтруда, а про моих живых современников, про их боли и радости, беды и обиды. А главное – быть высокой поэзией, без всяких скидок на так называемую специфику жанра: напечатать нельзя, а спеть ничего, сойдет.

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – мое призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои – люди не великие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат,
ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

Да что это такое в самом деле? Выходит, какой-то там Арбат – подумать только, это религия, а отношение к оной у всех честных советских граждан однозначное (по требованию тупоголовых цензоров вражескую «религию» иногда заменяли на бессмысленную «реликвию»). А та же московская улица, а не Красная площадь с ее красной гробницей и красным же скотомогильником – это, мол, и есть символ всего нашего отечества?

«Пешеходы твои – люди не великие», – они, а не вознесенные вожди и петые-перепетые космонавты – это и есть истинные герои лирики Булата, о них поет, от их имени он говорит.

Слушатели, много лет отлученные от искренней, живой песни, с благодарностью внимали Окуджаве. По всей стране из раскрытых окон звучал негромкий голос Булата, его песни переписывались с магнитофона на магнитофон, волны самиздата доносили до нас его неопубликованные стихи. В Саратове неизданные стихотворения поэта привозили подвижники самиздата – директор букинистического магазина Юрий Болдырев и выдающийся пианист и библиофил Анатолий Катц.

Если хрипловатый голос Владимира Высоцкого доходил едва ли не до каждого, его могли слушать с той или иной степенью разумного понимания даже уголовники и партработники, то диапазон восприятия Булата был куда уже. Сам поэт признавался в Саратове: меня читает интеллигенция. Зато как читала и как понимала своего любимца! До малейшего намека, до последнего словечка.

Окуджава не призывал умчаться от своего наскучившего дома на Северный полюс или хотя бы в тайгу, покорять целину или строить какой-нибудь брежневский БАМ. Поэт не вещал, не поучал, не наставлял, как надо жить,

он просто жил среди нас, жил, как мы, переживал за всех нас.

Даже «комиссары в пыльных шлемах» и «комсомольская богиня» не вызывали тогда отторжения у молодежи, потому что они звучали не в реальном контексте, а как условные знаки, как некие романтические символы. Да их и не очень-то замечали в общей лирической тональности поэзии Булата.

По-иному звучал голос Окуджавы, когда он пел о своем поколении, почти дотла сгоревшем на полях сражений 1941–1945 годов:

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб – разлука и дым...

Так сказать о войне, которую будущий генералиссимус, то ли с великого перепоя, то ли с великого перепугу объявил Великой, да еще в придачу и Отечественной, в ту пору не отважился никто.

А кто не знал песню Булата о простом солдате, бездумно готовом выполнить любой бредовый приказ любого безумного начальства:

Как просто быть ни в чем не виноватым,
совсем простым, простым солдатом.

В глухую пору коммунистического полураспада, более чем скромно названную позже временем застоя, в нашей стране нашлись бескорыстные энтузиасты, которые с превеликим тщанием искали все опубликованные и неопубликованные тексты, все рецензии, все отклики об опальных, или, скажем, помягче о полуопальных поэтах. Казалось бы, никчемная затея: ну кто же позволит под коммунистической пятой издать когда-нибудь эти материалы! Но, вопреки всепобеждающим законам исторического материализма, труд искателей и старателей не сгинул в советской кромешной тьме.

Наш земляк Юрий Болдырев, десятки лет собиравший материалы о Борисе Слуцком, уже в годы перестройки открыл читающей России во многом неизвестного ей поэта, капитально издав его трехтомник и сборники стихов.

А москвичи Андрей Крылов, Виктор Юровский и их сподвижники-подвижники едва ли не всю жизнь посвятили Булату Шалвовичу Окуджаве. Они записывали все его выступления, искали и ищут все его интервью, все упоминания в печати о нем, все отклики в печати, все пародии, булатовские реминисценции.

И вот перед нами семь выпусков альманаха «Голос Надежды. Новое об Окуджаве» – с 2004 по 2010 год. А какое издательство напечатало все альманахи? Конечно же – «Булат», специально созданное подвижниками для любимого поэта, для издания литературы о нем.

Составители нового сборника в предисловии задаются вопросом: «Ну вот и опять Булат Окуджава. Седьмой том... Почему так много? Не пора ли остановиться? Действительно, о ком ещё в короткий срок после ухода из жизни семитомники выходили?» (С. 4).

А можно ли задать встречный вопрос: а почему мы так досконально знаем жизнь Александра Сергеевича? Да потому, что пушкинисты нескольких поколений не ленились записывать о великом поэте любую подробность, любой, казалось бы, малозначительный эпизод из его жизни. Инкубаторные питомцы курсов красной профессуры потешались: мол, какой чепуховиной занимались эти старые ученые, куда им, этим жалким крохоборам, до заоблачных взлетов марксистских мыслителей.

Разумеется, не только мелочи, и, в первую очередь отнюдь не мелочи, интересуют составителей альманаха. Каждый его выпуск – это как бы отчет об окуджавоведении – вот и новый термин появился! – за прошедший год. Публикуются новые воспоминания о поэте, о спектаклях по его стихам, переписка Окуджавы, серьезные аналитические статьи о его творчестве, обзор интернетовских материалов.

Седьмой выпуск альманах, как все предыдущие, щедро иллюстрирован фотографиями Булата, обложками его книг с дарственными надписями.

В том включены материалы о поездках Булата в Израиль и Болгарию, в Иваново и Саратов: встречи с почитателями его поэзии, с писателями и артистами, с художниками и журналистами.

Особенно, на мой взгляд, значителен ивановский раздел, не без усмешки озаглавленный «На родине первых советов». Сколько битв со всей обкомовской сворой на этой самой родине пришлось выдержать художественному руководителю ивановского Молодежного театра-клуба имени Владимира Высоцкого Регине Михайловне Гринберг за право играть

любимых поэтов. Регина Михайловна сумела отстоять спектакль «Замок надежды» (1971), поставленный ею по стихам Окуджавы, от всех бессмысленно проверяющих и злобно угрожающих партдеятелей.

О «Замке надежды», об изнурительной борьбе за этот спектакль, о неоднократных приездах Булата в Иваново рассказано в документальных записях Регины Гринберг «По чертежам своей души», подготовленных к печати и прокомментированных артистом Молодежного театра Андреем Афанасьевым.

Об Окуджаве, о Регине Гринберг, ушедшей из жизни в 2005 году, – и лирический мемуар Андрея Афанасьева «...Живёт неистребимое *булатство*».

Мне посчастливилось познакомиться с Региной Михайловной в сентябре 1983 года в Плесе, в Доме творчество актера. Она рассказывала нам о своем театре, который, как я почувствовал, и был всей ее жизнью, о Булате, о Высоцком. В ее комнате каждый вечер собиралась вольная компания, где свободно обсуждались все литературные и политические новости, в том числе сбитый андроповскими пиратами южнокорейский гражданский самолет, звучали запрещенные песни Владимира Высоцкого. Гринберг в это время готовила спектакль «Мы вращаем Землю» – по стихам поэта. Тогда я записал поэтическое поздравление Высоцкого Юрию Любимову – в честь его 60-летия: «О, как тебе родиться подфартило...»

В саратовском разделе напечатаны обзор Виктора Юровского «И в жизни, и в письмах» – о творческих связях поэта с нашим городом, воспоминания Анатолия Катца «Весёлый барабанщик грустной эпохи», журналистки Людмилы Бойко «Всё не так, ребята!», художественная новелла пушкинистки Любови Краваль «Июльский дождик», переписка Окуджавы с узником ГУЛАГа, поэтом и мемуаристом Александром Морозовым.

В альманахе много интервью с Окуджавой, которые он давал отечественным и зарубежным корреспондентам. Сказано все это давным-давно, а читается, будто произнесено только вчера или сегодня. Или это слово уже завтрашнего дня?

«А разве в России в семнадцатом году не кучка взяла власть? Ведь над Лениным смеялись – и социал-демократы, и представители других демократических партий и движений. Но большевики прекрасно поняли, как может сработать в их пользу старый разбойный лозунг: “Грабь награбленное!” – лозунг Пугачёва и Разина» (С. 119).

«Но я знаю, что наше общество глубоко больно, очень глубоко. Должно пройти много времени, и потребуется много усилий, чтобы оно выздоровело» (С. 118).

«Я знал, что мы находимся в положении, когда резкое улучшение невозможно. Но даже зная об этом, очень горько наблюдать, как развиваются события. Так трагично» (С. 122).

«Конечно, я огорчён, горько сознавать происходящее, но я не удивлён: хорошо знаю историю России, психологию нашего общества. Это дикое, совершенно советское общество, которое, получив свободу, не знает, что с ней делать» (С. 130).

«А вот в нашей комиссии (по помилованию – В. С.) мы составили статистические данные по преступлениям, и выяснилось, что девяносто семь процентов преступлений совершили русские, а три процента – все остальные. Но об этом не говорится, чтобы не обидеть русский народ. Девяносто шесть – девяносто семь процентов убийств происходит на почве пьянки. Об этом тоже умалчивают. Девяносто восемь процентов преступлений совершают рабочие и крестьяне. И об этом не говорится: неприлично» (С. 134).

«... мы победили на поле брани, но оказались побеждёнными в жизни. Германия после войны и Нюренбергского процесса стала одним из передовых демократических государств мира. У нас же ничего этого произошло. Мы оказались обманутыми. Посмотрите, как живут наши ветераны, – просто нищенски. Да, они вправе гордиться своим подвигом, но, если говорить в общественном государственном смысле, они невольно должны были защищать сталинский режим. Вот в чём беда» (С. 136).

«Я считаю, что это – обыкновенное советское преступление, – то, что происходит в Чечне. С о в е т с к о е преступление. Власть нынче безграмотна. Вся – о т т у д а» (С. 148).

«Я даже писал не столько о войне, сколько п р о т и в войны» (С. 151).

«Я думаю, что Германии нужно отдать и Калининградскую область... Я слышал реакцию германского правительства на то, что там происходит. И я желаю им всяческого успеха в устранении этого кошмара... Меня больше

волнует, что происходит у нас. И то, что наша власть очень часто бессильна. Я бы хотел, чтобы она могла организоваться и быть сильной. Но не настолько, чтобы переродиться в тиранию» (С. 112).

Достаточно ли этих цитат, чтобы понять общественный и духовный настрой Булата? Или хотя бы для того, чтобы не принимать всерьез фонтанирующего всяческими фантазиями Дмитрия Быкова, уверовавшего, будто поэт чуть ли не мечтал о втором пришествии коммунистической утопии? (См. в этом выпуске рецензию Владимира Фрумкина на книгу Быкова об Окуджаве).

У нас нынче модно говорить, что такой-то имярек никогда – боже упаси! – никаким диссидентом не был. Ну, протестовал, ну, обличал советскую подлость, – только и всего-то. Корреспондент «Эха Москвы» даже Мстиславу Ростроповичу, бесстрашно бросившемуся на защиту Александра Солженицына, когда на великого писателя, после присуждения ему Нобелевской премии по литературе, остервенело накинулась вся кремлевская свора, отказывает в праве называться диссидентом.

Сам Булат не раз заявлял, что он никаким диссидентом никогда не был. Поэта можно понять: при своей удивительной скромности, он опасался малейшего преувеличения своей роли в истории страны, любого преувеличения значения своей поэзии.

Литературовед Геннадий Красухин в воспоминаниях «Мне повезло его знать», которыми открывается альманах, утверждает, что «явным диссидентом Окуджава не был» (С. 24). Простите, а что еще нужно совершить, чтобы тебя зачислили в диссиденты? Булат публично осудил кремлевскую оккупацию Чехословакии. Написал и исполнял – опять же публично! – сатирическую песню о гусаке – то бишь Гусаке, предавшем свой народ. Неужто этого мало?

В советскую пору сколько было литераторов, казалось бы, достаточно смелых в своем творчестве, однако трусливо подмахивающих клеветнические письма против своих великих современников, громогласные общественные завывания против всяческих империалистов и реваншистов, покаянно бивших себя в грудь на партийных или профсоюзных сборищах.

А для Булата его общественное поведение и его творчество были нераздельны, были едины. В этом я убедился, когда поэт приезжал в Саратов в 1965 и 1985 году. Ни словечка он не вымолвил в угоду партийным жрецам, он вел себя как свободный человек в стране, где можно было только мечтать о «глотке свободы» (название романа и пьесы Окуджавы).

Над рабской страной советов и над цивилизованным миром летели его стихи и песни, славившие любовь и свободу, проклинавшие тиранов всех мастей и рангов. Когда в феврале 1974 года правители империи зла вышвыривали из России великого Солженицына, «Немецкая волна» ежедневно комментировала драматические события песнями Окуджавы:

Виноват, но я Москвы не представляю,
Без такого, как он, короля.

Если кому-то кажется слишком громким слово диссидент, что ж, назовем тогда Булата поскромнее – инакомыслящим, против этого уж никто спорить не будет. Впрочем, «dissidens» в переводе с латыни и означает инакомыслящий.

Леонид ФИШМАН

Ньютон для нас

Акройд П. Исаак Ньютон. Биография / Пер. с англ. А. Капанадзе. – М.: Издательство КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2011. – 256 с.

Питера Акройда, автора книги об Исааке Ньютоне, нет нужды представлять. Известный британский писатель является признанным мастером биографического жанра; написание биографий является едва ли не главным его интересом. Акройд – автор биографий ряда поэтов, писателей и философов.

И вот – биография Ньютона. Что Ньютон значит для нас, современных людей? На ум сразу же приходит знаменитая история о падении яблока, из которой выросла теория гравитации. Более сведущие вспомнят о его работах по оптике и дифференциальному исчислению. Они же скажут, что Ньютон занимался не только физикой и математикой, но и богословием, алхимией, а также на склоне лет штамповал монеты для всей Англии. Открытия Ньютона сформировали мир, в котором мы живем. Но, спроси почти любого из нас о знаменитом англичанине, мы бы только могли

сказать почти то же самое, что написал Стефан Цвейг об Эразме Роттердамском: «то, что он сделал, скрыто от сознания ныне живущих, завалено, как фундамент под уже возведенным зданием». Что же остается? Личность великого человека, которая интересна даже тем, кто не способен в полной мере оценить значение его достижений.

Он был разносторонним человеком, хотя, быть может и не настолько, как титаны Возрождения. Нет, у Ньютона, нарисованного Акройдом, обнаруживаются лишь две основные (но не единственные) сферы интересов: с одной стороны – точные науки, алхимия и богословие – с другой.

Потомки, превознося Ньютона за его научные достижения, пренебрежительно относились к его же алхимическим и богословским штудиям, полагая их чудачествами гения, либо даже проявлениями балансирующего на грани безумия великого ума. (Так, Рахметов у Чернышевского изучает богословские труды Ньютона исключительно с целью познать: до каких степеней сумасшествия может дойти гениальный человек.) Все же именно алхимии и богословию Ньютон уделил большую часть своей жизни; в его доме постоянно горел алхимический горн, а объем богословских заметок превысил все написанное им по математике и физике. Иные, вроде М. Гарднера, с досадой восклицают, узнав такое: «Сколько бы еще он мог бы открыть, если бы не транжирил энергию и талант на алхимию и толкование библейских текстов!»*

Мы, живущие в начале XXI века, вряд ли имеем право быть такими снисходительно-строгими к Ньютону, какими были предшествующие поколения. Те рассматривали его почти исключительно как символ науки Нового времени. Он же был человеком, не менее, если не более других озабоченным вопросами, касающимися смысла его собственной жизни. Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что великий гений науки именно своей душе уделял наибольшую часть отпущенного ему времени.

Как с этим утверждением соотносятся ньютоновские занятия богословием – понятно. Кроме того, во времена Ньютона такие занятия были обычны для ученого. Тогда наука еще не развивалась в конфликте с религией, а напротив, доказывала величие творения божьего. Даже полтора века спустя, во время ставшего знаменитым спора Гексли с Уилберфорсом по поводу теории Дарвина, между религией и наукой еще не сформировалось непроходимого водораздела. «К 1880-м годам – отмечает по этому поводу Уоллер – как ученые, так и люди, не занимавшиеся наукой, больше придерживались взглядов, которые можно было бы отнести к религиозно-прогрессистским» . Пожалуй, только к концу XIX века с появлением прослойки профессиональных ученых пути науки и религии стали радикально расходиться.

А как дело обстоит с алхимией? Но и об алхимии, с тех пор, как Юнг и другие исследователи открыли нам ее религиозно-мистическую подоплеку, мы знаем, что эта дисциплина своей главной целью ставила вовсе не добычу банального золота или синтез философского камня. Алхимия была скорее разновидностью духовной практики. Алхимиков с эллинистических времен интересовало не изготовление золота, и они говорили не о настоящем золоте. Эта «паранаука» имела дело не с безжизненными элементами периодической системы Менделеева, а с элементами «живой» материи, чьи превращения осмысливались как «страдание» и «преображение». Как отмечал М. Элиаде, алхимики «перенесли на материю посвятительную функцию страданий. Благодаря алхимическим операциям, тождественным «мучениям», «смерти» и «воскресению» миста, вещество превращалось, т.е. достигало трансцендентного состояния: оно становилось «золотом». Золото, как известно, символ бессмертия. Таким образом, алхимическая трансмутация означает достижение материей совершенства, а для алхимика – завершение его «посвящения» . Иными словами, занимаясь алхимией, Ньютон желал пройти «посвящение» и достичь некоего внутреннего совершенства.

Мир Ньютона-алхимика был поэтому миром живой и одухотворенной материи. Но это осталось только его частным видением, достигаемым в результате тайных занятий. Сам последний маг и мудрец современного Запада и его первый ученый, Ньютон поэтому являлся по-своему целостным человеком и жил в целостном мире. Однако для потомков он не-

** Гарднер М. Исаак Ньютон и его безбрежный океан истины //«Когда ты была рыбкой, головастиком - я...» и другие размышления о всякой всячине. М.2010. С.27*

редко представал чуть ли не апокалиптической фигурой, которая расколдовала некогда загадочный и уютный мир и оставила нас наедине с холодными пространствами космоса, где действуют безличные и равнодушные к нам законы природы.

Как ни удивительно, для нас, живущих в преображенном ньютоновой наукой мире, сегодня Ньютон – этот более целостный Ньютон, а не гений с досадными элементами иррационализма и безумия, каким он представлялся еще вчера, – теперь кажется гораздо более близким и понятным. Мы уважаем науку, но больше не поклоняемся ей, как не поклонялся ей и сам Ньютон, искренне полагавший себя не более чем мальчишкой, перебирающим камешки и ракушки на берегу безбрежного океана истины. Признание авторитета науки со времен появления моды на идеи «New age» часто уживается в нас с интересом ко всякого рода мистике и оккультизму, которые нередко предстают в облике психологии. Часто мы являемся приверженцами какой-либо традиционной религии, но авторитет духовных пастырей давно уже уступил значимости собственно суждения. Как и Ньютон, в результате своих богословский штудий ставший тайным арианином, мы выбираем религию по себе, верим в наших богов так, как нам кажется разумнее (или удобнее). И, наконец, как Ньютон, мы не забываем, в меру своих способностей, делать карьеру, заботиться о средствах существования и об общественном признании.

Кроме того, образ Ньютона вдвойне романтичен и увлекателен. С одной стороны – обаяние поглощенного наукой ученого, человека не от мира сего. С другой – он вовсе не чужд практической предметной деятельности, не живет в своем замкнутом мирке. Прежде всего, он искусный техник с руками плотника, который очень многие свои приборы придумывал и изготавливал сам. К тому же, склонность к науке не только не мешала ему заниматься государственными делами, но, напротив, давала ему изрядные преимущества: «Он уже сумел отыскать порядок и определенность во вселенском хаосе, что уж говорить о тесном мирке Монетного двора! И вот Ньютон стал постепенно увеличивать свои властные полномочия (как и свое жалованье), одновременно прибирая к рукам управление всеми делами, которые велись на Монетном дворе и которые выполняли тогда около пятисот рабочих. Такова была его натура: ему нравилось властвовать и командовать» (с.184). Такой Ньютон превращается порой почти в героя детективного романа: «В обязанности Ньютона как хранителя входили также выслеживание и поимка частных чеканщиков и фальшивомонетчиков. По сути, он стал кем-то вроде сыщика, расследуя злодеяния «шлёпальщиков», как их тогда называли» (с.185). Да и борьба за приоритеты в разных открытиях, с теми же Лейбницем или Гуком, была полна почти детективных перипетий. Как и судьба его некоторых исследований, например богословских, по новой хронологии, которые издавались без его ведома в черновом варианте и которые затем приходилось издавать заново.

Такой Ньютон восхищает и удивляет; мы чувствуем в нем не только величие, дистанцированность от простых смертных, но и глубинное сходство. Правда, в отличие от большинства из нас, интересующихся то тем, то другим понемножку, Ньютон всем занимался всерьез. Возможно, потому, что он не имел доступа к Интернету и не смотрел телевизора. Обилие информации современного мира – не всегда добро: вместо думания и делания мы ее потребляем для развлечения и из-за «информационного голода». Такого не позволял себе Ньютон, да и не имел возможности. Может быть, поэтому люди прошлого могли на протяжении жизни успеть так много?

Так или иначе, великий Ньютон теперь предстает перед нами не только как научный гений и индивид со странностями, но как человек, который своей раздвоенностью-целостностью предвосхитил наличие таковой же у наших современников. В нем, по сути, не было никакого противоречия между духом науки и религиозностью, и приверженностью алхимии и т.д. И то, и другое и третье являлись лишь гранями души человека, который всегда находился в центре собственного внимания и сам стремился быть мерой всех вещей. Первый ученый, последний маг и мудрец Запада, Ньютон в каком-то смысле сегодня стал нормой.

Приятно осознавать себя карликами, стоящими на плечах гигантов.

Иван КОЗЛОВ

О БОЛЬНЫХ, ВЕЛИКИХ И ЖЕСТОКИХ

Лурд

Что есть чудо? И что с ним делать, когда оно к нам приходит?

Казалось бы – на прошение отвечено, «ваш вопрос решен положительно», живи дальше и радуйся, благодаря Всевышнего. Ан нет, не так всё просто.

И вот чудо совершается на наших глазах. Сможем ли мы вынести всю его, в конечном итоге, обыденность? Ведь шок и восторг рано или поздно закончатся, а с последствиями нарушения законов «реального» (да-да, в кавычках) мира, нам предстоит жить и дальше, приспосабливая под привычные мерки однажды вдруг изменившуюся по нашим просьбам реальность.

В такой непростой, хотя и чаемой, по определению, ситуации оказались герои фильма Джессики Хауснер «Лурд» – парализованная паломница Кристина и ее окружение, свидетели ее чудесного исцеления.

Стерильная атмосфера фильма – цветовая гамма решена в холодных синеватых тонах – вводит зрителя в гипнотический транс. Каждый кадр хочется рассматривать как картинку, которая, впрочем, не предполагает иных эмоций, кроме отстраненного эстетического любования. Католицизм, в том виде, как он представлен в фильме, лишен пафоса, теплоты и восторга. Собственно, почему бы и нет? Паломничество по местам чудесных исцелений давно поставлено «на поток» и, несмотря на время от времени случающиеся чудеса (да-да, без кавычек), персонал по-европейски вежлив и предупредителен, как будто вы находитесь на банальном курорте, а не в месте, освященном многочисленными исцелениями.

Паломники, само собой, говорят о свершавшихся здесь чудесах. Надеются, что это произойдет и с ними. Хорошо, не только надеются, но и верят – в том самом главном смысле. Но эти чувства как бы предполагают оговорку: да нет, со мной такого не может произойти, я простой человек, да и вера моя не крепка.

Однако происходит. Кристина, которая не могла и пальцем пошевелить, уже ходит в кафе и танцует, флиртует с военными и думает о будущей семье. Реакция окружения представляет собой весьма широкий спектр – восторг, зависть, сомнение (может, всё же не чудо, а ремиссия?), равнодушие, наконец...

Финал фильма остается открытым. Кристина присаживается в заботливо придвинутую к ней инвалидную коляску, но остается неясным, что с ней будет дальше. Оказывается, вынести чудо едва ли не сложнее, чем его вымолить.

Последнее воскресенье

Почему-то именно так в нашем прокате перевели название фильма «The Last Station» режиссера Майкла Хоффмана. Российскую премьеру фильма ждали, и ждали пристрастно. Неудивительно – ведь фильм о Льве Толстом, вернее, о самом трагическом эпизоде его жизни, знаменитом уходе из Ясной Поляны и кончине на станции Астапово. В основу ленты был положен автобиографический роман Джея Парини, изданный у нас аккурат к премьере. Забавно, что литература сегодня выполняет роль птички-паразита при огромной наземной или подводной зверюге-кинематографе. Вдвойне забавно в данном случае: чтобы покупали книгу, нужно снять кино о

герое этой книге – писателе.

Этот фильм обманывает многие ожидания, и обманывает приятно. Хорошо смотреть «их» фильм о «нас», где нет привычной клюквы, вопиющих несообразностей и сакраментальной загадочной русской души. Что удивляет в ленте – так это истерическое внимание к персоне Льва Толстого в современной ему России начала XX века. Такого жадного и требовательного отношения к современным XXI веку писателям нам и не увидеть, и не понять.

Лента отнюдь не замыкается на сугубо литературных проблемах. Здесь есть и любовные линии (непростые отношения супругов Толстых и роман секретаря писателя Булгакова с одной из последовательниц учения великого писателя), и финансовые интриги (подпишет ли Толстой завещание, по которому права на его произведения переходят во всеобщее достояние, как настаивает соратник писателя Чертков и против чего яростно выступает графиня Толстая).

Кристофер Пламмер и Хелен Мирен удивительно адекватны в ролях четы Толстых. Остается только гадать, какими были бы изначально планировавшиеся на эти роли Энтони Хопкинс и Мэрил Стрип. Мне пришлось даже включить английскую звуковую дорожку, чтобы «вернуть» впечатление о «Последнем воскресенье» именно как об иностранном фильме, настолько идеален дубляж. Не вызывают отторжения и трактовки остальных персонажей. Демонический Чертков дан широкими экспрессивными мазками, а в меру наивный Булгаков – тонкими импрессионистическими штрихами.

После этого фильма остается лишь удивляться, что нашей литературе выпал такой волшебный период, когда она была «властительницей душ». И в какой-то мере остается и сейчас – та великая литература XIX века. Недаром же Майкл Хоффман признавался: перед тем, как приступить к работе над сценарием о фильме про Толстого, прочитал все пьесы Чехова – наверное, чтобы приемы драматургии другого великого писателя помогли ему в будущей работе.

Железная хватка

«Железная хватка» – ремейк, оригинальный фильм с Джоном Уэйном был снят в 1969 году. Лента Джона Хэтауэя называлась, впрочем, как и фильм братьев Коэнов, «The True Grit», но старая версия переводится как «Настоящее мужество», а нынешняя – как «Железная хватка». Парадокс вполне в духе Коэнов. Равно как и то, что постмодернистский вестерн (а значит, не совсем, всё-таки, вестерн), стал одним из самых кассовых вестернов в истории мирового кино.

«Железная хватка» – кино обо всем сразу. Это и Америка старого и недоброго времени, когда права человека не были национальным лозунгом, а выгрызались вместе с мясом у другого человека. Это и медитация над жанром приключенческого кино. Игра в игру.— кто же нынче в здравом уме и трезвой памяти будет смотреть вестерн на полном серьезе?

Серьезная не по годам девочка с помощью алкаша-маршала идет по следам убийцы своего отца. Дикая природа, дикие нравы. Стрельба и лошади. Виски и мрачные шутки. Змеи и цинизм. Искренность и вероломство. Разум и чувство. Гордость и предубеждение. Преступление и наказание. Ну, и так далее.

Новый фильм братьев Коэнов – тоже экранизация. Надо ли говорить, что совсем недавно в продаже появился литературный первоисточник – роман Чарльза Портиса? Хм, пролистав голливудские проспекты ближайших премьер, мы можем предсказать появление если уж не трети, то одной пятой книжной продукции! (Остается пожалеть, что в нынешнем году никто не берется за экранизацию «Торговца дурманом» Джона Барта или «Клариссы» Ричардсона. Впрочем, подобного рода список у каждого свой...).

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать ___ апреля 2011 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.